



*... Пространством и временем
полный.*

О. Манделштам

*Так жить, чтобы в конце концов
Привлечь к себе любовь пространства,
Услышать будущего зов.*

Б. Пастернак

МОИСЕЙ САМОЙЛОВИЧ

КАГАН

Избранные труды

в VII томах

Работы по общим проблемам философии, культурологии,
эстетики и теории отдельных искусств, истории культуры и искусства,
художественной критике

Санкт-Петербург
Издательский дом «Петрополис»

МОИСЕЙ КАГАН

ВО ВРЕМЕНИ И В ПРОСТРАНСТВЕ

Том VIII

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

Санкт-Петербург
Издательский дом «Петрополис»

УДК 1–18
ББК 87
К 12

Каган М. С. Избранные труды в 7 томах. Том VIII. Дополнительный. Моисей Каган во времени и в пространстве. – СПб.: ИД «Петрополис», 2011, – 456 с. – илл.

Авторский коллектив
выражает сердечную благодарность
Юлии Освальдовне Каган
за участие и помощь
в подготовке этой книги к изданию

Составитель – Т. А. Акиндинова

Публикация VIII тома, дополняющего семитомное издание избранных трудов М. С. Кагана (1921–2006), приурочена к девяностолетию ученого. Книга содержит воспоминания о нем его коллег, учеников, друзей из разных городов и стран (о каждом из них представлены краткие биографические сведения), статьи, осмысляющие и развивающие его научное наследие, поздравительные тексты, адресованные к 70-летнему и 80-летнему юбилеям. Некоторые тексты перепечатаны из прежних сборников и периодики, часть из них переведена с иностранных языков.

Том снабжен фотопортретами самого Моисея Самойловича, фотографиями, запечатлевшими его вместе с коллегами, за кафедрой в ленинградско-петербургских аудиториях и в деловых поездках, на отдыхе, в близких и дальних путешествиях, в семейном кругу. Большинство фотографий публикуется впервые.

ISBN 978-5-9676-0366-2

© Каган Ю. О., 2011
© ИД «Петрополис», 2011

СОДЕРЖАНИЕ

Солонин Ю.Н.	НОМО SCIENTICUS. М.С. Каган – человек мысли и науки	10
	Вехи жизненного пути	27
	Уйдя из жизни, он остался в истории	33
РАЗДЕЛ I. ВСПОМИНАЯ УЧИТЕЛЯ И ДРУГА		35
Каган В.Е.	Чайковского, 43	36
Бернштейн Б.М.	МИКА. Дружба, жизнь, урок из истории философии	37
Бердзенишвили М.	В поисках вечного	62
Брандт Г.А.	Мой Каган	64
Василевская Н.И.	Так нас учил Каган	69
Власенко В.В.	На волнах памяти	73
Герман М.Ю.	«Красная стрела»	81
Дайксель А.	Порядочность производит порядочность – о связующей силе прекрасных достижений	86
Докучаев И.И.	Каган в моей жизни	91
Долинина К.В.	Культура как профессия	108
Елинер Г.И.	Штрихи к портрету	110
Заборов Б.А.	Се Человек!	114
Закс Л.А.	Человек на все времена	117
Запесоцкий А.С.	Истинный петербуржец	136
Иконникова С.Н.	Энергия творчества и обаяние личности	142
Калитина Н.Н.	О Моисее Самойловиче Кагане	147
Кон И.С.	Он был источником оптимизма	152
Конев В.А.	О сохранении мысли	156
Лаврова-Яшина И.З.	Семинар по эстетике на истфаке ЛГУ. Начало 1950-х	159
Ланина Н.А.	Навсегда в сердце	168

Морозов Н.Ф.	Друг трех поколений одной семьи	170
Пита Сеспедес Г.	Путь кубинца в пространстве и времени М.С. Кагана	172
Праздников Г.А.	С благодарностью и любовью	183
Прозерский В.В.	М.С. Каган на философском факультете 60-х годов	194
Столович Л.Н.	Моисей советской эстетики	199
Уваров М.С.	«Невы державное течение...» Воспоминания об учителе	210
Целма Е.М.	Я помню...	216
Чавчавадзе Н.	Счастье, что это было!	217
Чухович Б.Л.	О М.С. Кагане. Несистемные воспоминания	219
Шамес Л.Я.	Слово об учителе в парадигме либерализма	227
Ядов В.А.	Человек, которого природа наделила талантом аналитика и поэта	230

РАЗДЕЛ II. ОСМЫСЛЯЯ НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ

Яковлев Е.Г.	Заветы Моисея	232
Мосолова Л.М.	М.С. Каган: ступени научного творчества	233
Акиндинова Т.А.	Искусство в системе культуры: концепция М.С. Кагана в традиции философского исследования проблемы	242
Астафьева О.Н.	Мир и личность М.С. Кагана: путь к системно-синергетическому пониманию культуры	255
Балакина Е.И.	Учитель – это звучит... вечно!	279
Баркова Э.В.	Целостность культуры как живая Вселенная: наследие М.С. Кагана в преемственности идей .	291
Бранский В.П.	Научное завещание М.С. Кагана: будущее синергетической культурологии	300
Валицкая А.П.	Об одном незавершенном споре: «общественники» и «природники» о предмете эстетики	310
Грякалов А.А.	Diis ignōtis, или Эстетический взгляд	318
Запесоцкий А.С.	М.С. Каган: выдающийся теоретик культуры ...	328
Калугина Т.П.	«Истина – это целое»: системный подход М.С. Кагана и музей	332
Коськов М.А.	Культурология по М.С. Кагану	339
Соколов Е.Г.	Проект: классика	348



Устюгова Е.Н.	Стиль петербургской культуры	359
Фоняков И.О.	В волшебном зеркале искусства	372
Чертов Л.Ф.	Пространственные модели в научном творчестве М.С. Кагана	374
Юровская Э.П.	О секретах мастерства	381
РАЗДЕЛ III. ИЗ «ЮБИЛЕЙНОГО»		389
К 70-ЛЕТИЮ		
Балакина Е.И., Жерносенко И.А. «В своем Отечестве...»		390
Еремеев А.Ф.	М.С. Каган как системный объект системного подхода	391
Иванов В.Г.	Феномен МСК	396
Пигров К.С.	Человек Просвещения среди кентавров, или с нами все в порядке, пока Каган с нами!	401
Сунягин Г.Ф.	Мой учитель	404
К 80-ЛЕТИЮ		
Столлович Л.Н.	Ода Моисею Кагану	406
Закс Л.А.	Декарт компьютерной эпохи	407
Маркарян Э.С.	Феномен М.С. Кагана	411
Мочалов Л.В.	Немного выпадая из жанра	416
Раппопорт С.Х.	Феномен Кагана. Заметки очевидца	423
Щербакова А.А.	Обаяние духовности	434
IN MEMORIAM		
Сунягин Г.Ф.	<i>Тост во славу!</i>	437
ИЛЛЮСТРАЦИИ		

HOMO SCIENTICUS

М. С. КАГАН – ЧЕЛОВЕК МЫСЛИ И НАУКИ

Ю. Н. Солонин*

Друзья, ученики, сотрудники М.С. Кагана издают книгу, которую можно признать не только вкладом в почтение памяти выдающегося мыслителя, но в не меньшей мере в качестве опыта увидеть в себе то, чем они ему обязаны, то, чего бы не было в них, не соединись они с интеллектуальным миром Моисея Самойловича. Мне в этой работе выпало предварить книгу чем-то похожим на введение, что я исполняю в форме небольших размышлений об этом человеке и его деле.

Чтобы решиться говорить, а тем более писать о другом человеке, нужны нравственная ответственность и моральное приуготовление. При этом троякого свойства. Во-первых, ответственность перед возможным читателем, которому, раз он обратился к напечатанному, должно представить истинные размеры, оригинальную необычность, познавательную и духовную ценность того интеллектуального феномена, который можно назвать *миром Кагана*. Работа эта непростая, достаточно указать на то, что за более чем 60-летнюю научную работу им выпущено несколько десятков книг монографического содержания, иные в нескольких томах, и более 700 статей. Но дело не в количестве, а в том охвате сфер гуманитарного знания, куда вошли все его существенные разделы. Но что еще важнее – все эти работы несут в себе новые для своего времени, отчасти актуальные и поныне, идеи и разработки. Написанного им так, «для количества», попросту не существует. Я мог бы продолжить эту характеристику сделанного Моисеем Самойловичем, указав, что каждое переиздание его книг несло в себе порой существенный пересмотр, изменение и развитие исходной концепции или идеи. Он сам для себя делал открытия и обрабатывал их своей мыслью, включал в мир своих идей. Я говорю это доказательно, ибо на моих глазах совершалось освоение им синергетики, модификация ее к целям истолкования процессов развития гуманитарного знания, и особенно для понимания того, что происходит в мире культур-

* Юрий Никифорович Солонин – доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой культурологии Санкт-Петербургского государственного университета, вице-президент Российского Философского Общества, председатель Комитета по образованию и науке Совета Федерации Федерального Собрания РФ, с 1989 по 2010 – декан философского факультета СПбГУ.



но-исторических явлений. Этим существенно изменился его взгляд на системный метод как основание методологии гуманитарных наук вообще. Точно так же, что мне было особенно удивительно, уже в конце жизни он обратился к сфере фундаментальной онтологии и, не будучи по природе своего мышления сторонником метафизического спекулятивизма, развил достаточно своеобразную теорию онтологического плюрализма. Или вот еще пример: будучи в целом сторонником учения об общественно-экономических формациях (что я считаю, вопреки развязной и неумной критике его в последние лет двадцать, крупнейшим вкладом в социально-историческое знание), он, также в конце жизни, обратил внимание на работы по так называемой «кочевой цивилизации» народов Азии и построил это понятие в свою философию культуры и историю культурного процесса.

И вот, приняв во внимание это интеллектуальное богатство мира Кагана, стоит серьезно призадуматься, как донести его читателю, не упростив, не элементаризовав или просто не искажив его воззрения. С этой проблемой, и это второе, связана моральная ответственность перед самим собой, и состоит она в том, насколько пишущий вправе по силе своей подготовленности, профессионализма браться за истолкование мысли этого ученого, обычно всесторонне развитой, обоснованной и изложенной с неподражаемой логической строгостью. Мне не раз приходилось, прослушав научный доклад М.С. Кагана, ловить себя на наивном недоумении: о чем теперь спорить, кажется, достигнуто окончательное решение вопроса, настолько оно безукоризненно изложено. Я ни разу не сталкивался с ситуацией, когда бы он находился в теоретической нерешительности, не умел ответить на вопрос или не решить какое-либо противоречие. Любую фактичность он умел поднять до надлежащего уровня идеализаций и построить из них впечатляющую своей законченностью рациональную модель. Если сама эта процедура, может быть, не столь уж редкая, то виртуозное интеллектуальное мастерство, с каким она свершалась профессором, удивительно. Конечно, с моральной ответственностью того, кто берется представить его идеи, связано и осознание в себе способности сформировать установку готовности к непредвзятой интерпретации, к должному минимуму объективности. При всем уважении к М.С. Кагану, основанному на признании существенности его теорий, которые нельзя не отразить как важнейшее интеллектуальное достижение, он имел и идейно-теоретических противников, оппонентов и сонм спорщиков со стороны тех, кто просто жил в мире иного духовного опыта. Мне лично известны все эти интеллектуальные и психологические категории, в их числе и те, кто, рискнув говорить о его взглядах, не определился в своей нравственной ответственности.

Конечно, никто, видимо, не подумает, что в вышевыраженном пассаже содержится призыв к славословию или «некрологической» благопристойности. Эти жанры, какая бы ни была к ним психологическая тяга, не имеют шанса на успех, то есть ни быть прочитанными, ни одобренными. Да они не отвечали бы и интеллектуальной позиции Моисея Самойловича. Его пустые похвалы никогда не интересовали, а к критическому восприятию своих суждений он относился в высшей степени доброжелательно и с интересом, включаясь в обсуждение разумных критических аргументов. Следовать такой позиции я буду и в дальнейшем. Это как раз тот третий момент – воздать должное ему, проявив внимание к системе воззрений, теориям и идеям, которыми полны его работы. И здесь постараюсь не остаться голословным. Всем известно, что свои юбилеи (а я участвовал активно, кажется, в четырех последних) он всегда превращал в научные конференции и приготавливал сам заглавный доклад. А их ход известен: обсуждение нередко становилось полемикой и иной раз довольно острой. Именно этот характер дискуссии удовлетворял его более всего. Я как-то заметил, что в своих ответах, а это уж определенно были импровизации, он был всегда отменно интересен, блестящ, и они даже бывали более впечатляющими, чем подготовленные им доклады. Следовательно, говорить о Моисее Самойловиче – значит говорить о его научной личности, ибо ученым он был в своей главной сущности, если допустить мысль, что у человека их несколько. И вот так я поступил, повинувшись внутреннему побуждению, когда отмечался его последний прижизненный юбилей – 80 лет. Опять конференция, опять гости – ученый люд, да и своих много. Я, открывая ее по тогдашней своей должности, позволил себе говорить о нем, взяв предметом тип его научного мышления. Я ощущал рискованность своего выступления, где можно было невольно задеть самолюбие юбиляра. Но то же внутреннее чувство говорило мне, что я поступил удачно. В правоте его я убедился и по тому, как внимательно он слушал, и по напряженной тишине зала. Выступление было скорее импровизацией, но все же я сохранил несколько тезисов. Я начал с того, что подчеркнул целостность всего его творчества. И это удивительно. Обычно такое определение – пустая ритуальная фраза, демонстрация научной вежливости. Но в случае М.С. Кагана оно обладает буквальным, абсолютным значением. Эта целостность определяется не устойчивостью тематики – ведь бывает же, что живет человек и все время пишет об одном и том же одно и то же. Как раз, как я уже сказал, тематической широте его интересов позавидуешь. Но что бы он ни изучал, он подчинял предмет своему методологическому принципу рациональной ясности, которому следовал всю жизнь, укрепляя и обстраивая его с ходом времени. Он мог иной



раз с интересом послушать вольную философскую спекуляцию. А слабость к ней, имитация то гегельянской метафизичности, то хайдеггерианской – обычная болезнь молодых философских организмов, чаще она проходит, но изредка остается как хронический интеллектуальный недуг навсегда. Я не раз слышал от него насмешливо-благожелательные суждения на сей счет. Неприемлемой для него была подмена спекулятивизмом строгого знания в тех сферах, которые, по его убеждению, только и допускали научный подход. Спекулятивизм был чужд его интеллектуальной природе. Она была в другом. Я еще вернусь к конкретизации этой темы, здесь ограничусь общим суждением, что говорил о нем как совершенном, строгом, даже жестком рационалисте. Последний картезианец нашего времени, так я обобщил свое выступление. И оно было им принято. Я понял, что тем самым оказался созвучен его внутреннему пониманию себя самого, обойдясь без стандартных банальностей. И этим, я и ныне уверен, оказал ему то уважение, которое уместно в отношении мыслителя, все поставившего служению объективной истине.

В своем автобиографическом очерке, насколько я понимаю, он и к себе сам подошел в этом духе¹.

Однако позволю себе еще несколько, скажу так, исторических воспоминаний. Имя Кагана вошло в мое студенческое сознание, когда я даже еще и не различал его в сонме преподавателей. В те годы среди множества тем пробуждавшегося от замороженной спячки профессионального мышления наших философов (а это начало 60-х гг.) выделялись проблемы природы эстетического и ценностей. Шли какие-то споры, смысл которых мне был еще мало внятен, и в центре их оказался Каган. Он уже считался одним из лидеров отечественной эстетики, и когда я этого лидера все же впервые увидел, он меня удивил физиогномической странностью: очень сухощавый человек с морщинистым лицом, но таким, что и в голову не придет подумать – пожилой. А причиной тому были очень живые, умные и остро смотрящие глаза. Через них-то и воспринимался весь человек. Эстетика, да и аксиология, не мое дело. Мой сокурсник, прежде надлежащего времени умерший Герман Яковлев, с которым Каган связывал какие-то научные ожидания, толково мне разъяснил размежевания философов искусства того времени по толкованию сути прекрасного. И позиция Кагана оказалась самой развитой, самой доказательной, да еще и прекрасно изложенной в его капитальной книге «Лекции по марксистско-ленинской эстетике». Лучшей теории эстетического в

¹ Разумеется, я имею в виду его книгу «О времени и о себе», вышедшую в 1998, а затем ее расширенный вариант «О времени, о людях, о себе» (2005).

те, да и в последующие годы у нас не существовало. Ее не портило и название¹. Кстати, он никогда не отрекался от своей приверженности философским принципам марксизма, именно тем, что исходили от самого немецкого корифея, а не в последующих редакциях. И в этом деле ему не откажешь в смелой оригинальности. Он настаивал на устарелости перевода «Капитала» и примыкающих к нему философских текстов Маркса. Он, например, доказывал неадекватность перевода известного положения о личности как *совокупности* всех общественных отношений. «Совокупность» слишком механистический термин, чуждый философской манере и интуиции К. Маркса. Каган обратил внимание, что в авторизованном французском переводе было употреблено слово «ансамбль», а это привнесение уже совершенно иного смысла из сферы, скорее, философии целостности. А ведь было же такое идиотическое положение, когда нельзя было пользоваться собственным переводом Маркса, а только тем, который как раз и был создан в 20-е годы, в механистическую эпоху!

Да, и вот эти глаза Кагана. Один раз я ощутил их разящую силу. Сидел я в Публичке, в журнальном зале, и листал какие-то старые немецкие философские журналы, вдруг испытываю психический дискомфорт. Какая-то сила или незримое воздействие начали возбуждать во мне тревогу. Начинаю исподволь осматриваться и вдруг натываюсь, именно так, на острый взгляд кагановских глаз. Он мне потом заметил, что ему было диковинно видеть студента своего факультета за иностранным журналом. Но это была мимолетность, памятная только мне. Конечно, мне не могло и почудиться, что четверть века спустя я буду его коллегой и в самые последние дни его жизни получу от него письмо, начинающееся словами «дорогой друг».

А вот теперь мне выпало говорить о нем. И, согласившись на эту участь, я ищу обобщающий тезис, который сгруппирует все, что мне приходит на ум. Конечно, Каган принадлежал к типу концентрированных, сосредоточенных характеров. И точкой сосредоточия была наука. Не вообще, а она как главная, если не единственная, форма жизни, лучше – способ жизни. Как самая совершенная деятельность. И он обладал, как мало кто, наиболее совершенно уготовленным для этого орудием – своим рациональным, энергичным мышлением. Мышлением аналитика, системати-

¹ Когда изменились времена, я стал настаивать на том, чтобы он переработал и вновь издал свои эстетические лекции. Я мог бы этого и не делать, поскольку он сам определял свои намерения и планы. В 1997 году вышли они уже под названием «Эстетика как философская наука», сохранив характер лекционного курса. Но к тому времени М.С. Каган потерял интерес к этой области, даже считал эстетику дезактуализированной наукой, решившей свои основные проблемы.



затора, с редкой способностью компоновать знание и придавать ему ясную форму, то есть лишенную двусмысленных или неясных понятий.

Этой интеллектуальной силой он привлекал к себе людей даже совершенно чуждых серьезной мыслительной практике. Кажется, что, предлагая свои схемы, где все уложено, все компактно, все взаимосвязано (кто не знает его графические композиции соотношения предметов науки, понятий и областей деятельности!), он успокаивал неуверенные натуры, убеждая в безусловном порядке и благоустроении всего сущего.

Впрочем, некоторые убеждения М.С. Кагана, да и усилия, ставили его в проблемную ситуацию, практически разрешить которую он не был в состоянии. Я сочувствовал ему, но помочь в некоторых случаях не мог. Вот пример, возможно, показательный. Все, кто научно общались с Моисеем Самойловичем, знают о его святой вере во всеислие методологии. Оно и понятно, ведь метод делает науку; методологическая культура, упадок которой был ему очевиден, основа объединения ученых в некие сообщества, комплексно, по единой программе производящие всесторонние знания. И лет двадцать тому назад он убедил ректора С.П. Меркурьева учредить общеуниверситетский семинар. Мне показалось, что его питала вера, что это то, чего жаждут ученые всего университета. Нечего говорить, что он ошибся. Мерзкие времена разводили людей, научные интересы развевались, несовместимости были очевидны, и три-четыре заседания с бездарными докладами исчерпали замысел. Иной раз мне совестно было смотреть на руководителя семинара, настолько все выглядело жалким. Не знаю, насколько Моисей Самойлович осознавал научное безвременье. Он ведь ко всему прочему был и непоборимым оптимистом.

В оценке значения методологии я с ним всегда был согласен. Иное дело проблема философии.

Я нахожу, что в своих философских воззрениях, может быть, правильнее сказать: по стилю своего философского мышления, он был человеком устойчивого традиционалистского типа. То есть он не «преодолевал» свои прежние принципы и устои, находясь в новых условиях, а раздвигал их, перерабатывал, можно сказать, развивал. Сейчас ведь как – мало кого узнаешь по произведениям, если их отделяет лет пять. То это прежде ярый сторонник деконструктивизма, энергично расчленяющий основные ценностные категории жизни, чтобы выявить и представить очарованному ими миру их исходные малопривлекательные и даже brutальные начала или сердцевину и с ядовитой улыбкой наблюдать произведенное замешательство. А ныне это уже человек, ищущий религиозные основания духовного преображения. Бывало и наоборот. Повальное увлечение русской религиозной философией, которое переживали с конца 80-х годов по 2000-й год, вдруг сменилось интеллектуальным трез-

венничеством, и либеральная философия индивидуализма стала для этих же мыслителей основанием теоретических издевок над «консервативными» уклонами всех, рискнувших что-то там говорить об устоях русской жизни, самобытностях и нравственных ценностях. Впрочем, я не раз прежде чуть подробнее касался этих удивительных мутаций и не заслужил ничего, кроме язвительных колкостей моих коллег, которые почему-то посчитали защищать свободу мыслить «как хочу».

М.С. Каган в среде столь быстро меняющихся умственный окрас людей, очевидно, выглядел консерватором и в чем-то отсталым, оставаясь верным прежним интеллектуальным пристрастиям. Я уже сказал, и после еще скажу, что он был энергичным проводником системного подхода. Но уже к самому началу 90-х годов среда сторонников заметно поредела. Появились новые кумиры, прежде всего из любимой им Франции. Я вспоминаю, как, едва став деканом, был вовлечен в его замысел издать к 70-летию сборник его статей по системному методу. Его энергии достало, чтобы в обнищавшем университете выхлопотать разрешение на внеплановое издание. Но перспектив распродажи не было никаких. Я не знаю, как издательство покрыло убытки, но ясно еще и теперь вижу перед собой унылое лицо знаменитого главного редактора университетского издательства Н.А. Захаровой. Сборник оказался дорогим и неперспективным, а Моисей Самойлович все расширял и расширял его состав новыми статьями. Я думаю, он был прав. Он следовал своему долгу представить миру то, в чем этот мир нуждался.

В это же время открылась перспектива преобразовать системный подход под влиянием синергетических представлений, чем он и увлекся. Более того, он был убежден, что на этом пути открылась возможность подойти к постижению истинного механизма культурно-исторического процесса. Его работы последних почти десяти лет жизни были посвящены созданию новой научной, а не спекулятивной философии культуры. В этом деле он встретил союзников в лице проф. В.П. Бранского в Петербурге, а в Ростове проф. Е.Я. Режабека. Да и в других местах водились социокультурные синергетики. Москвичи ограничились вежливым, и, как мне показалось, слегка отчужденным восприятием его идей. В Тарту синергетические интерпретации культуры как семиосферы предпринял знаменитый Ю.М. Лотман в работах последних лет, когда он уже предстал более как культуролог теоретического склада, а не эмпирик-литературовед. Мне неведомо, было ли между М.С. Каганом и Ю.М. Лотманом какое-либо взаимодействие, но теперь очевидно, что для мыслителей-рационалистов, каковы все упомянутые ученые, в методологических поисках иного пути, как в направлении перехода от системно-структурного анализа к синергетическому, не было.



Итак, Моисей Самойлович – едва ли не главная фигура в отечественном культуроведении, стоявшая, а может быть, и возглавлявшая его развитие по теоретико-рационалистическому вектору.

В пучине разрушенного сознания общества, в волнах мифологизированного и охваченного одурью грубого мистицизма, оккультизма и суеверия мышления, в мгновение ока охвативших Россию и ее ученые слои, невзирая на их социальную и культурную принадлежность, фигура мыслителя, следующего заветам научного рационализма, блюдущего каноны стройного, методологически корректного объективного исследования, выглядела впечатляюще странно, старомодно и иногда даже донкихотски. Но я воспринял эту позицию одновременно как нравственный и интеллектуальный подвиг, хотя она была вполне естественна для человека независимого мышления. Надо думать, время делает свое дело, и можно уже видеть проблески прозрения, попытки навести порядок в духовном арсенале времени. Разум восстанавливает свои позиции, хотя его пробуждение идет крайне медленно. Итак, я считаю важным поставить на первое место рационализм. Ибо все, что мы знаем, вышло из этой мастерской Разума. Остальное – его временные красоты. Сейчас, говоря о личности ученого, я больше всего нахожусь под впечатлением другой его особенности – его легендарной работоспособности. Я пытаюсь отойти от шаблонного способа охарактеризовать это в общем-то не такое уж редкое качество. Я сознаю, что для этого недостаточно назвать количество созданных им в разных по форме, стилистически и содержательно жанрах трудов. Может быть, где-то и кем-то написано больше. Специфика его научной деятельности не прояснится, даже если примем во внимание достойную удивления широту исследовательских интересов М.С. Кагана, о чем я уже сказал. Они охватывают практически всю сферу гуманитарных наук и искусство. Разработка онтологических проблем наряду с прежде разработанными им проблемами научного познания ставит его в ряд крупнейших философов страны. Обычно человек с такой широтой научных интересов обозначается метафорой «возрожденческая личность». Но мало ли было даже в недалеком времени причисленных к этой почетной плеяде? То есть и в этой, в общем-то, верной характеристике содержится что-то уже обычное, стирающее оригинальность, и я, не избегая ее, чувствую ее недостаточность. Я ощущаю, что в поисках адекватного постижения его личности нужно идти не от количества и даже не от содержания его трудов, а от их внутренней формы, то есть того, что выделяет их из массы всего написанного в философии.

Читая работы М.С. Кагана, независимо от их размеров – краткая ли статья или монография, – исподволь и неуклонно осваиваешься с мыслью, что перед тобой каждый раз непременно целостная работа. Автор

ясно ставит проблему, очерчивает границы исследуемого, раскрывает внутреннюю структуру ее, то есть делает то, что именуют разработкой проблемы, рассматривает альтернативные пути решения, их эвристические потенциалы и ограничения, и затем шаг за шагом раскрывает свой подход и аппарат, средствами которого исследование продуктивно разрешается. Именно результативность характеризует все направление, весь смысл творчества этого философа. Я не знаю, и думаю, что не ошибаюсь в своем неведении, ни одной его публикации из серий «к вопросу» или «некоторые вопросы», столь облюбленных нашей философской наукой в старые годы, по сути избегавшей всяких вопросов и проблем. Нет у него и столь распространенных ныне экспрессионистских всплесков, в бурной невнятице бессмысленного нагромождения метафор, обрывков цитат, аллюзий, постмодернистского жаргона, в которых отсутствует реальный смысл философского исследования. Все подобное – пустая имитация энергии философской мысли, любительство. Именно профессионализм как залог продуктивности характеризует работы М.С. Кагана. Вне его продуктивность как высшая мера всякой деятельности невозможна. И вот, говоря об этой стороне его творческой личности, я не могу не употребить выражения *личность гетеанского типа*. Во всей истории духовной жизни Европы последних столетий никто, кроме Гете, не придавал такого значения *продуктивности* человеческого духа. Сейчас в ходу сорт людей, именуемых трудоголиками. Возможно, это и положительный типаж. Но труд сам по себе, на износ, без цели, без результата, точнее продукта, прибавляющего материальные и духовные богатства и развивающего самого субъекта деятельности, сомнителен в своей ценности. Гете его отвергал и в продуктивном бытии, в эффективной деятельности видел смысл и предназначение жизни. Если я ухватил суть гётевского понимания деятельности, то в этом случае, имея в виду творчество М.С. Кагана, я безоговорочно причисляю его к указанному типу личности. И не случайно, что сама природа деятельности так интересуется его. Логика выхода на эту проблему осмыслена им самим и изложена в упомянутых мемуарах. С нею не поспоришь. Она – в закономерностях развития стратегии той исследовательской программы, которой ученый следует всю жизнь, даже если он ее и не представил в законченной рациональной форме, а, подобно нашему великому поэту, прозревал сквозь призму «магического кристалла». Но этим-то кристаллом является нравственная личность ученого, невозмутимое убеждение, что философия – это не бесконечно-неопределенный дискурс, а целеустремленная на результат работа творческой мысли, венчающаяся своими свершениями. Работать и мыслить – значит соответствовать своей сущности, а совесть – это внутренний страж нашего долга.



Сам Моисей Самойлович связывает обращение к теории деятельности с необходимостью развить и обосновать свое эстетическое учение¹. Рассматривая основы художественной деятельности, философской теорией которой выступает эстетика, он вынужден был обратиться к прояснению того, что есть деятельность и законы – общие и специфические, – управляющие ею. Эти места его мемуаров весьма поучительны и методологически важны для философов и методологов науки. Они описывают важнейший феномен прогресса науки, особенно понятный с точки зрения любезного Моисею Самойловичу нелинейного развития сложных систем. Он состоит в том, что решение одной научной проблемы дает импульс возникновению пучка новых научных проблем, переход к решению которых требует оперировать методологией, хотя и вырастающей из первичной, но более высокого уровня. Между сложностью проблемы и качеством методологии ее разработки существует когерентность (согласованность). Так, эмпирически найденную нашим знаменитым психологом Б.Г. Ананьевым триаду деятельности: игра, учение, труд, М.С. Каган поднимает до категориального уровня: общение, познание и преобразование. На этом уровне проблемы деятельности разрабатываются не узко эмпирически, а абстрактно-теоретически. Сама деятельность существует реально как система ее конкретных видов, обладающих своими специфическими законами, но в которых своеобразно преломлены универсальные, общие законы деятельности как таковой. Понять природу сложного объекта можно было только средствами адекватного метода.

Этой методологией он считал системный подход в той степени развитости, какую он имел к началу 70-х годов. Рассматривая человеческую деятельность как систему, исследователь обнаружил неполноту принятой эмпирическим путем триадичной системы. На основе теоретических аргументов, разумеется, не лишенных объективного практического значения, она была дополнена еще двумя элементами: ценностно-ориентированным и художественным видом деятельности. На этой основе открылись новые, научные и философские перспективы, в частности, новые направления: философия деятельности, развитие которой М.С. Каган связал с возможностью создания новой философской антропологии. Но помимо этого получало развитие и философское учение о ценностях – аксиология, до этого существовавшая только в форме подступов, прикидок, постановок вопросов². Да и теория искусства как художественной деятельности представляла в ином, так сказать, динамическом модусе.

¹ Эта мысль руководила им при втором издании «Лекций по марксистско-ленинской этике» (1971).

² Рассказы о том, как утвердилась аксиология в СССР, принадлежали к любимейшей теме М.С. Кагана во время дружеских посиделок. Видимо, оттого, что это было делом интеллектуального подвига и первого обретения общесоюзной известности.

Основным содержанием жизни М.С. Кагана стал труд, осознаваемый им как продуктивная научная деятельность. И я смею утверждать, что она составила стержень жизненной биографии ученого. Работа не упраздняла другие сферы интересов и деятельности, не делала его односторонним. Совершалась она в достойных формах внешне неспешного, несуетливого, но безукоризненно организованного и как бы неприметного деяния. Перед нами она предстает в своих конечных результатах, становившихся событиями в нашей философской жизни. И к каждой своей обязанности он относился, как она того требовала по своей сути¹.

Начало научной работы у М.С. Кагана никогда не исходило из философского догмата, а из «природы вещей». Важно подчеркнуть и другое: развитие и совершенствование теории всегда у него оказывалось опосредованно развитием и совершенствованием философско-научной методологии. И это положение я считаю принципиально важным для понимания научной практики М.С. Кагана. Развитие методологического аппарата предшествует научной разработке проблемы в точном смысле. Это принцип научной философии, принятый, по крайней мере, со времен Ф.Бэкона и Р.Декарта.

Я уже говорил о принципиально рационалистической установке М.С. Кагана. Для него философия не область самопроизвольного бесцельного дискурса, а научная дисциплина, венчающая познавательную деятельность человека в постижении наиболее общих законов бытия. Следовательно, он поборник научной философии, базирующейся на научной же методологии. В этом отношении его личность как ученого и философа предстает образцом *картезианского типа*. Научная философия сообщает нам наиболее общие законы сущего и этим венчает все здание науки.

Я бы хотел обратить внимание еще на одно теоретическое обстоятельство, оно связано с той же синергетикой. Синергетика, как известно, была разработана в сфере естествознания и математики, конкретнее, в термодинамике. Но уже ее родоначальники, и в первую очередь И.Пригожин, усмотрели универсальный характер выявляемых ею закономерностей. Природный универсум, социум и культура, сам человек и т. д. – все это есть иерархии, находящиеся в непрерывной динамике. Характеристиками этой динамики выступают самоуправление и самоорганизация. Но переходя от одного уровня и состояния самоуправления и самоорганизации в другой, они входят в фазы дезорганизации и потери управляющего принципа, то есть в хаос. Хаос системы так же предопределен, как

¹ Есть такая манера важничанья в ученой среде – демонстрация своей кабинетной занятости: «Я пишу книгу». Сколько раз я слышал такую фразу – отговорку на просьбу где-то что-то сделать. М.С. Кагану такой выверт был чужд. Как он работал, я не знаю, но что он сделал – вижу.



и ее порядок, организация. Выход из хаоса в новый системный порядок не имеет никакого однозначного предопределения. В так называемом бифуркационном состоянии сверхсложных систем решающее значение приобретает случайный фактор, воздействие которого может определить направление изменения системы. При выборе оптимального пути перехода из хаоса на новый уровень самоорганизации системы сказывается воздействие совершенно новой составляющей процесса развития – аттрактора. Достаточно ли этой модели для описания процессов, происходящих в социокультурной сфере? М.С. Каган утверждает, что простое подведение социокультурных объектов и человека под понятие сверхсложных систем наряду с природными было бы не просто недостаточным для объяснения их функционирования, но приводило бы к потери их специфики. Мы бы попросту имели еще один случай редукционизма, только в более сложном исполнении. Следовательно, стоял вопрос о развитии синергетического подхода до той степени, на которой он мог бы быть продуктивно применен к объектам особой качественности. Чтобы показать, насколько ясно понимал проблему М.С. Каган, решуь привести довольно большую цитату из «Введения в историю мировой культуры»: «...И. Пригожин готов был перенести понятие „истории“ во все области естествознания, дабы подчеркнуть *всеобщность законов саморазвития* <...> Однако сложность данной методологической ситуации состоит в том, что простое перенесение методологии изучения природных процессов на изучение динамики социокультурных систем, на несколько порядков более сложных, не приносит новой информации, поскольку их специфика, этой сложностью порождаемая, ускользает при таком подходе от взгляда исследователя. Необходимо было, следовательно, – что и было сделано мной в ходе работы над «Философией культуры», «Эстетикой...» и данной книгой – *„привести разработанную основоположниками синергетики программу изучения процессов саморазвития в соответствие с более сложной структурой антропосоциокультурных систем“*¹.

Но меня не покидает одна мысль. Столкнувшись впервые с аппаратом синергетической методологии, во всяком случае, в той его интерпретации, которая дана в работах М.С. Кагана, В.П. Бранского, В.И. Аршинова, В.В. Васильковой и др., я не ощутил, за исключением новизны понятий, что соприкоснулся с какой-то абсолютно новой техникой объяснения. И это отношение к смыслам синергетических категорий разделяли все те, кто более или менее полно прошел диалектическую выучку.

Те рациональные интуиции и смыслы, которые несли в себе понятия и содержательные утверждения диалектики, в целом соответствова-

¹ Каган М.С. Введение в историю мировой культуры. СПб., 2000. С. 59.

ли смысловым комплексам синергетической теории развития и ее способам объяснения. Конечно, новые, строгие понятия, обладающие ясными определениями, много значат в построении объяснений. Категориям диалектики этого свойства очевидно не доставало. Но родственность установок двух методов несомненна, и синергетический историзм, как его мыслил И. Пригожин, в значительной мере согласуется с духом того историзма, который развит в русле творческой, рационально приемлемой линии философской диалектики. Не мистической и не догматической. Возможно, что переход на развитый концептуальный аппарат системно-синергетического объяснения сохраняет рациональный смысл диалектической теории развития, обогащая ее обретениями новой науки.

И все же синергетический подход есть развитие системного взгляда на мир, концентрирующим концептом которого является категория количества. Именно эта линия развития научного мышления, сформировавшаяся в научно-философских представлениях в начале Нового Времени, определила и научную картину мира, и образ социального пространства человека, и инструментальный тип отношения его к жизненному миру вообще. Каковы бы ни были усложнения этого мышления и этого взгляда на мир, качественное понимание всегда остается второстепенным, которое подчинено и транскрибируется понятиями, входящими в смысловое поле количественных категорий. И в синергетике понятия сложных и сверхсложных систем тоже относятся к области количественных представлений. В приведенной мною цитате М.С. Кагана я тоже встречаю эту логику: объяснить качественное своеобразие антропосоцикультурных систем их большей сложностью по сравнению с природными аналогами, то есть количественными параметрами. Я не уверен, что это перспективный путь. Смысл, который связан с качественным отношением к предметному миру, всякий раз оказывается не затронутым.

Я полагаю, что существует принципиальная возможность создать качественную (квалитативную) картину мира. В основу такой теоретической программы ложится категория «целого» и соотнесенных с ней понятий. Например, понятия «тип», «морфология», «органичность», «часть», которые формально использует и системная методология, но более адекватно коррелируются именно с целостными представлениями. И это касается ряда других понятий, освоенных и модифицировавших свой смысл в системном подходе. А такие словесные кентавры, как «целостные системы» или «системно-целостные образования», вызывают недоумение. В настоящее время целостная методология занимает позиции маргинальной методологической программы по отношению к системному, теперь – системно-синергетическому анализу. Ее концептуальный аппарат слаборазвит или расхищен. Но несомненны не только



признаки ее живучести, но и тенденции к росту. Традиционно философию качественного понимания мира в Новое Время связывают с именем Гете и идущей от него линией натурфилософии. Например, работы В.Буркампа в 20–30-е годы прошлого века. В настоящее время в Европе сложились устойчивые школы целостных исследований, работающих над созданием логики и методологии целостного понимания мира, – последователи О.Шпанна, Лео Габриэль и его ученики. Да и в России целостный подход имел своего сторонника в лице Н.О. Лосского и не только его.

Интеграция наук является еще одной идеей, которой М.С. Каган оставался предан всю жизнь. Вопреки всем очевидному отрицательному следствию для культуры от расщепления, распада, размежевания наук, тенденция эта не остановлена. И пока нет реальной перспективы переломить ее в ближайшем будущем. У меня есть подозрение, что сама эта тенденция коренится именно в квантитивизме современного мышления, где анализ, разделение, выявление простейших элементов, проведение границ и демаркаций в исследуемых областях являются преимущественными установками.

М.С. Каган сохранял убежденность в интегрирующей функции философии, которая своим аппаратом, своими универсальными законами создает фундамент единства знания и наук. Возможно, что интегрирующий феномен философии еще не использован, но все попытки научной философии решить задачу интеграции оказались тщетными. Я вправе задать вопрос: а может ли философия, подвергающаяся тем же тенденциям дезинтеграции, взять на себя функции объединительницы знания? Может быть, это задача иной философии? Т. е. не философии квантитативных интуиций и их рационализаций, какова нынешняя, а принципиально иной?

Широта философской, гуманитарной и теоретико-методологической проблематик, объединенных общим принципом, побуждает говорить о существовании особой исследовательской программы М.С. Кагана. Я настаиваю именно на понятии программы в том, что касается его научных работ, поскольку они являются не порождением своевольного каприза интеллектуала, а обнаруживают внутреннюю логическую связь между собой и взаимообусловленность. А это достигается крайне редко, потому и программ немного. Но в сочинениях М.С. Кагана встретится еще один необычный пример этой широты как будто бы выпадающей из этой программы. Это работы по истории культуры Петербурга, историко-культурное исследование в собственном смысле слова. Своеобразие исторического письма Моисея Самойловича полнее всего представлено монументальной монографией «Град Петров». Я попытаюсь показать, что это своеобразие опять-таки прочно связано с его историко-культурной кон-

цепцией и работа не имеет ничего общего с тем легким фактографическим чтивом о Петербурге, каким заполнены ныне книжные прилавки.

Есть такая особенность в распределении человеческих талантов: хороший, занимательный рассказчик обычно плохой, скучный писатель; замечательный лектор и преподаватель нередко либо вообще уклоняется от научного писательства, либо представляет столь неважную продукцию по части своей профессии, что невольно испытываешь недоуменное огорчение, и наоборот: теоретик, дарящий нам глубокие научные труды, оказывается сплошь и рядом поверхностным и никудышным преподавателем; ученый-экспериментатор и ученый-теоретик – обычно два несовместимых таланта и так далее. То же и в исторической науке. Специалисты в области теории и методологии исторического процесса нередко просто не в состоянии дать очерк реальной исторической жизни на основе собственной же теории, подменяя ее сухим безжизненным схематизмом. То ли в этом странном распределении талантов сказывается дисфункция полушарий головного мозга, как утверждают некоторые физиологи, то ли природа, то ли различие своеобразия теоретического знания и эмпирики отображают принципиальную демаркацию идеального и реального, – могу на сей счет строить только догадки. Одна из них, уже давно привлекающая мое внимание, сводится к представлению о существовании двух различных типов творческого воображения. Одно наделяет его обладателей способностью конструировать миры идеальных сущностей и конструктивно проявлять себя в эйдетических пространствах, другое же, наоборот, привязывает исследователя к предметному миру и научает из его феноменальных структур извлекать связи и отношения описываемой реальности и только в пределах воспринимаемого – так называемое предметное мышление. Может быть, что-то более важное об этом предмете скажет нам когнитивная психология. Подождем.

Но исключения, которые удивляют нас, разрушают наши вроде бы прочно утвержденные объяснительные бастионы. И вот историко-культурные исследования М.С. Кагана – ярчайший пример такого исключения. А более точно – его труд по истории одного из величайших когда-либо сотворенных национальным гением России культурных феноменов, каковым является Петербург.

О нем писали многие и много с самого момента закладки города. Есть в жанре истории Петербурга и шедевры, но ни одно сочинение, ни один историк культуры не поднимался до осмысления истории города на всем протяжении его трехвековой истории и в такой полноте, какую являет нам труд М.С. Кагана. О городе писали преимущественно историки, мемуаристы, путешественники. Художественная литература и поэзия, изобразительное искусство дали нам многосмысловой и противоречи-



вый образ города. Богат историческими легендами и мифами и петербургский фольклор. Поэтика очарования и трагизма, загадочность и призрачность, реальное и фантастическое и многое другое, что находят в нем и чуткие наблюдатели, и те неискушенные насельники его дворов-колодцев, коммуналок и «спальных» районов, покоряют всех, независимо от того, каким образом человек соприкасается с городом.

М.С. Каган работал над книгой в пору, когда после долгого периода вырождения и стагнации города как живого культурного организма появились предпосылки восстановления его величия. С гибелью великой империи Петербург, подобно новому Китежу, стал погружаться в пучину забвения своей собственной сути. Столица, переполненная величественными дворцами, скукоживалась до размеров заурядного областного города. Его строгие проспекты и площади заполняла серая, безучастная к его трагедии толпа, в которую невольно превращались живые полноценные люди, основная часть жизни которых пожиралась чудовищной индустрией, ставшей главным знаком «пролетарского города». Преведний величавый город не соответствовал типу своего нового населения. Провинциализм становился неотвратимой судьбой Петербурга, ставшего Ленинградом. Новый житель отторгал город своим безразличием к нему. Новое время, начавшееся с 90-х годов, не принесло счастья всему этому миру и его насельникам, но самому городу неожиданно дало шанс стряхнуть с себя пыль провинциализма и вспомнить о себе, своем достоинстве, прошлом величии. Настало, казалось, время утвердить свою культуру как то высшее, чего достигла в свое время нация. Первые порывы этого движения, может, были слишком экстравагантны, подчас рекламно-крикливы. Но над затихшей пучиной стали пробегать волны внутреннего движения в ней: из глубин забвения стал подниматься новый град. Приходила в движение общественная мысль. С новой остротой вспыхнули споры о миссии и судьбе города в русской истории и будущем России, яростно обсуждалась культурная антитеза Москвы – Петербурга, появились притязания на утверждение особого культурного статуса города в стране, и более того, о его естественном праве быть культурной столицей России. Пошли нескончаемые споры о загадке города, о его метафизической сущности и даже о нем как особом предмете философской рефлексии. И именно в среде этих обстоятельств создавался многоплановый, полифонический и в то же время целостный текст, культурно-историческое полотно, раскрывающее не только культурную историю города, которая, как это ни удивительно, никогда прежде не была написана, но и вносящее веские суждения, во многих случаях бесспорные и окончательные, о сущности явления «Петербургская культура» как особого культурного типа. Я имею в виду указанную книгу М.С. Кагана. Класси-

ческое гегелевское соотношение логического и исторического здесь соединилось в целостный образ Города как живого организма. Поскольку это сравнение не в духе методологической культуры М.С. Кагана, я заменю его выражением «саморазвивающаяся и самореализующаяся сверхсложная система». И все же продолжу в своем стиле. М.С. Каган добился редкого успеха показать органичное единство, структурное согласование всех форм, линий и форм общественно-культурной духовной и материальной культуры города. Если иметь в виду теоретическую точку зрения, то им было создано особое петербурговедение, по крайней мере поставлено на научную почву, в противоположность прежней горячей и впечатлительной, но в существе своем неизлечимо любительской манере искать неведомые метафизические корни города. И мы имеем классический труд, саму историю культурного Петербурга.

Каждый, кто будет иметь возможность воспринять основные сочинения М.С. Кагана, убедится не только в последовательности и методичной настойчивости, проявляемых им в проведении своих воззрений, не только в их рациональной обоснованности и научно-философской достоверности, и даже не столько в их системной упорядоченности, сколько в их единстве и законченной целостности. Не это ли, в конце концов, идеал научности и цель каждого мыслителя?!



ВЕХИ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ

Моисей Самойлович Каган – доктор философских наук, почетный профессор философского факультета Санкт-Петербургского государственного университета и почетный работник высшего образования, заслуженный деятель науки РФ, был одной из ярчайших фигур в истории философского факультета, активным деятелем гуманитарной культуры не только нашего города, но и России, а ранее всего Советского Союза.

Вся жизнь Моисея Самойловича была неразрывно связана с Санкт-Петербургским университетом, на филологический факультет которого он поступил в 1938 году. В 1941 г. он ушел добровольцем на фронт в составе народного ополчения, был ранен в боях при обороне Ленинграда, а став инвалидом войны, работал политруком госпиталя в Перми. Награжден орденом Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда». Потом были годы учебы в аспирантуре исторического факультета на кафедре истории искусства; преподавание на историческом, защита кандидатской диссертации на тему «Французский реализм XVII века». В 1960 году Моисей Самойлович стал доцентом только что созданной на философском факультете кафедры этики и эстетики, а в 1968 году – её профессором, с 2000 года профессор кафедры культурологии.

На фоне продолжавшегося на протяжении всей советской истории идеологического давления на науку сам факт открытия в 1960-е годы, названные «оттепелью», в Москве и Ленинграде кафедр этики и эстетики означал не только признание философского статуса этих дисциплин, его можно было понимать как призыв обратиться к проблемам личности человека, к изучению его внутреннего мира, ценностей и смысла жизни, эмоционального мира – нравственных и эстетических чувств, творческого процесса, вкуса. В это время после бурных дебатов было признано и право на существование марксистской теории ценностей – аксиологии; с еще большими трудами утверждалась теория знаков – семиотика; начала разрабатываться методология структурного, а затем системного анализа. Характеристикой нового этапа философской жизни стало открывшееся широкое поле исследований, требовавших углубления точности, строгости, научности методологии. Все это отвечало складу ума и направленности натуры М.С. Кагана, который всю жизнь защищал идеал философии как науки, как объективной системы знания, построенной на теоретически и методологически обоснованном базисе. Но его увлечение проблемами методологии гуманитарного знания, междисциплинарных исследований всегда было сопряжено со стремлением внедрить общенаучные методы, как, например, системный или синергетический подход.

ды, в конкретные области гуманитарных исследований, эстетику, теорию культуры, аксиологию и т. д.

Круг научных интересов профессора Кагана постоянно расширялся: от филологии – к истории искусства – к эстетике – к философии. В сфере общефилософских проблем он обращался к разработке теории человеческой деятельности, теории ценностей, теории воспитания и общения, философии культуры. В монографии «Философия культуры» им было предложено использование идей теории систем и синергетики, что позволило представить культуру как многоуровневую иерархическую систему, связанную с другими системами общества и природы, очертить как ретроспективные, так и перспективные линии функциональных изменений ее компонентов, выявить тенденции их интеграции в структуры нового качества. Аксиологию М.С. Кагана, представленную в монографии «Философская теория ценностей», можно считать его манифестом в защиту гуманистических позиций в морали, политике, образовании и экологическом воспитании. В этой работе осмысливается развитие ценностных ориентиров человечества, особенности ценностных ориентаций различных общественных сфер, возрастная и гендерная дифференциация ценностей.

С именем Кагана связан важный этап в развитии отечественной эстетики. В значительной степени благодаря ему эстетика с 60-х годов XX века стала интенсивно и творчески развивающейся философской дисциплиной, привлекая научный интерес многих исследователей и художественных практиков. Поколения гуманитариев узнавали эстетику благодаря фундаментальным монографиям Моисея Самойловича «Лекции по марксистско-ленинской эстетике» (Л., 1971), «Эстетика как философская наука» (СПб., 1997). Хотя к 60-м годам уже появились первые учебники по эстетике, они представляли собой мало связанные между собой очерки по отдельным проблемам, да и над научной трактовкой этих проблем все еще тяготел догматизм сталинско-ждановских постановлений об искусстве 40-х гг. и мифологии соцреализма. Более 40 лет научной деятельности Моисей Самойлович посвятил обоснованию и укреплению статуса эстетики как фундаментальной философской дисциплины. «Эстетика сможет стать наукой только тогда, когда обретет систему», – такова была позиция М.С. Кагана в этом вопросе, и за создание системы он взялся самостоятельно. В созданной им эстетической системе был не просто собран и обобщен известный материал – здесь в горизонте современной мысли выявлен предмет эстетики, ее разнообразные грани, намечена логика и методология исследования. Вначале был найден принцип системной организации эстетических категорий, затем разработан системный подход к искусству, что послужило стартовой пло-



щадкой для дальнейших системных исследований в области художественной культуры, затем – поля человеческой деятельности и, наконец, культуры в синхронном и диахронном аспектах. Эстетические исследования Кагана были посвящены изучению места эстетического и художественного в системе общества, истории, культуры в целом, связи и различия этического и эстетического, эстетического и художественного, художественного и религиозного. В исследовании искусства он обращался к нему как к специфическому виду человеческой деятельности в ряду основных видов деятельности человека, исследовал искусство как систему видов и жанров, методов и стилей, во взаимной обусловленности структурных, функциональных, исторических, социокультурных закономерностей («Человеческая деятельность» (Л., 1975), «Морфология искусства» (Л., 1972)), исследовал отдельные виды искусства в системе исторического развития культуры – «Слово в культуре», «Музыка в культуре». На протяжении всей творческой жизни ученый стремился придать системный характер историческим исследованиям, создать образ истории как целостного процесса («Введение в историю мировой культуры». СПб., 2003). Моисей Самойлович был организатором и научным редактором коллективных исследований, посвященных истории эстетической мысли и ее месту в культуре («Лекции по истории эстетики». Л., 1972-1980), системному изучению истории мировой художественной культуры («Художественная культура докапиталистических формаций Л., 1984, «Художественная культура капиталистического общества». Л., 1986), истории становления философии культуры («Философия культуры. Становление и развитие». СПб., 1995). На протяжении многих лет Моисей Самойлович активно занимался внедрением эстетической теории в практическое сознание искусствоведов, критиков, художников, дизайнеров, кинематографистов, театральных деятелей – он был активным членом практически всех творческих союзов, организатором научных конференций, объединяющих усилия деятелей науки, искусства, философии, эстетики. Моисей Самойлович был душой и организатором деятельности проблемного совета по этике и эстетике, на протяжении десятилетий, объединявшего и координировавшего научные исследования эстетиков всего СССР.

Особое место в творчестве М.С. Кагана занимает тема нашего города, который он преданно любил, в котором прожил почти всю свою жизнь. Судьба Петербурга прослеживается в капитальном исследовании «Град Петров в истории русской культуры», посвященном многогранному анализу огромного исторического материала. Феномен северной столицы России предстает здесь в контексте трехвековой полемики вокруг замысла города, его становления и развития. В исследовании показано, что

Санкт-Петербург – Петроград – Ленинград – Санкт-Петербург при всех превратностях своей судьбы способен вновь обрести сознание своего гражданского достоинства, художественной уникальности, культурного величия.

М.С. Каган – автор около 750 научных трудов, все еще продолжающих выходить, и более 20 монографий; под его редакцией изданы основные учебные пособия по эстетике и культурологии, являющиеся главным учебно-методическим материалом в преподавании этих дисциплин в настоящее время. М.С. Каган – один из лидеров в области эстетики и культурологических исследований не только в нашей стране, но и за рубежом. Переводы его научных трудов издавались во многих странах – в Германии, Франции, Англии, Дании, Италии, США, Канаде, Финляндии, Венгрии, Польше, Чехословакии, Болгарии, Югославии, Румынии, Турции, Сирии, Китае, Южной Корее, Японии, Кубе, Грузии.

Плоды деятельности М.С. Кагана проявились не только в его научных трудах, но и в создании школы многочисленных учеников. Он был не просто ученым, блестящим лектором, с артистизмом владевшим ораторским искусством, опытным педагогом, но мудрым и заботливым Учителем в высшем смысле этого слова, который не просто передавал знания, но и учил научной честности, воспитывал умение мыслить логически, поступательно двигаясь от одного обоснованного положения к следующему без отступлений в стороны и перепрыгивания через доказательства, – эта „прививка” и эти уроки мастера, нетерпимого к интеллектуальному произволу, расхлябанности мысли, не забываются и лежат в основе всего того, что наслоилося на первоначальный фундамент знаний позже.

Трудно найти среди гуманитариев не только нашего города, но и всей страны тех, кто не знал бы его работ, многие считают себя его учениками. Но главную школу Кагана прошли те, кто слушал его лекции, занимался в аспирантском семинаре, писал под его руководством научные работы – от курсовых до кандидатских и докторских диссертаций. Темы руководимых им студенческих и аспирантских исследований очерчивают контуры воображаемого гуманитарного Университета, создателем, руководителем и вдохновителем которого был М.С. Каган. Как оратор он всегда обращался к аудитории, «мыслил на людях». Это отразилось и в его книгах: когда читаешь их, будто бы слышишь его интонации, ощущаешь, что это обращено к тебе, вызывает на диалог, на обсуждение проблемы. Поэтому так часто в названии его работ встречается слово «лекции», а не просто «учебник» или «научная монография». Слушатели его лекций становились свидетелями того, как этаж за этажом складывается здание новой философской дисциплины, а он объяснял устройство всех



узлов и скреплений, все было четко продумано, строго и корректно выведено из базовых постулатов, поскольку он строил систему, а это требует организованности мышления. Моисей Самойлович никогда не жалел времени для занятий и общения с учениками, проявлял к их работам искренний интерес, радовался и гордился достижениями своих учеников, и, при всей своей мировой известности и научной маститости, был удивительно демократичен в общении с молодежью. Так, благодаря его руководству студенческий научный кружок перерос в настоящий общегородской клуб, где ставились не только академические проблемы, но появлялись интересные люди из города: ученые, артисты, художники, художественные критики. Университетской же публики набивалось столько, что философы терялись в толпе филологов, физиков, историков, биологов и представителей других факультетов. На заседаниях обсуждались театральные премьеры и новые фильмы, новые стихи и проза. Моисей Самойлович строго следил за тем, чтобы эстетики не замыкались в своей профессиональной ограниченности, а были открыты на встречу всем веяниям современной художественной жизни.

Аспирантский семинар, которым он долгие годы руководил, также собирал слушателей и участников со всего города, независимо от академической принадлежности, – это была настоящая школа гуманитарной мысли, научно-исследовательской работы, критического анализа, взаимного интереса, формирования этико-научной корректности. Впоследствии некоторым из его учеников посчастливилось стать его соавторами в коллективных исследованиях, инициатором, организатором, научным редактором которых был профессор Каган. Все профессора кафедры эстетики нашего факультета в разные годы были учениками и воспитанниками Моисея Самойловича и с гордостью считают себя членами научной школы Кагана, которую объединяют воспитанные им такие общие черты, как стремление к методологической строгости, к панорамному подходу к конкретным проблемам, историко-культурный кругозор, приверженность этико-гносеологическим ценностям. Но и за пределами кафедры и философского факультета весьма различные по своим теоретическим позициям его ученики объединены некоей незримой связью, которую можно назвать „неформальным сообществом”, стержнем которого является М.С. Каган.

Моисей Самойлович был великий труженик, работал ежедневно и продуктивно, почти без отдыха до самых последних дней жизни. Несмотря на энциклопедическую эрудицию в разных сферах науки, культуры, искусства, был на протяжении всей жизни постоянным и неутомимым читателем библиотек. Но при этом он не был «кабинетным ученым» – предмет, которому была посвящена его научная деятельность, – искусство,

культура – он не только досконально знал, но и любил. Круг его научных, духовных, жизненных интересов был чрезвычайно разнообразен. Он свободно владел несколькими европейскими языками, которыми активно пользовался в научной деятельности и общении. Он с энтузиазмом отдавался самым различным сферам гуманитарной деятельности – от художественной критики до экспериментов в школьной педагогике, от публицистики до участия в акциях петербургской интеллигенции по поддержанию престижа нашего города. По своей творческой природе Моисей Самойлович и в жизни, и в работе был чрезвычайно артистичен. Все – от его речи, создаваемых им мыслительных конструкций и их графических изображений, таланта общения, отменного остроумия и юмора вплоть до умения выбирать галстуки и носить костюмы – было отмечено эстетическим блеском, элегантностью, живым обаянием.

Для многих Моисей Самойлович Каган на всю жизнь стал примером Ученого, Универсанта, блестящего интеллектуала. Он был яркой, «звездной» личностью, Учителем в науке и в жизни, что доказывает великую роль личности в культуре, в образовании.



УЙДЯ ИЗ ЖИЗНИ, ОН ОСТАЛСЯ В ИСТОРИИ

10 февраля 2006 года после тяжелой и длительной болезни на 85-м году жизни скончался Моисей Самойлович КАГАН.

Отечественные наука и культура потеряли одного из крупнейших своих представителей, труды которого стали основанием современной науки, культуры, теории искусства, эстетики и художественной деятельности. Это был ученый поистине универсального склада – его пытливая мысль не обошла вниманием ни один важный раздел гуманитарных наук и искусства.

Моисей Самойлович Каган родился 18 мая 1921 года. Вся его сознательная жизнь была связана с Петербургом и Санкт-Петербургским государственным университетом. Когда началась Великая Отечественная война, Моисей Самойлович Каган, прервав учебу в Университете, добровольцем ушел на фронт, был тяжело ранен при обороне Ленинграда, но продолжал оставаться в строю, работая политруком в тыловом госпитале. Вернувшись в Ленинград в 1944 году, он закончил прерванную войной учебу. В 1946-м приступил к преподавательской деятельности и не прекращал ее буквально до последнего часа жизни. Одновременно с этим началась его научная работа, которая составила, без преувеличения, эпоху в отечественном обществознании и гуманистике. В своих исследованиях он впервые поднял ряд фундаментальных проблем теории ценностей, сущности художественной деятельности, теории воспитания, человеческого общения, культурологии и методологии науки. Его жизненное мировоззрение формировалось во времена идеологического давления на науку, но он всегда неустрашимо следовал идеалу объективного научного знания, опирающегося на разум и опыт. Он был в числе тех, кто смог защитить этот принцип в недавнее время общего обскурантизма, псевдонаучного невежества и примитивного мистицизма.

Трудно представить себе отечественную гуманитарную науку без того, что сделал для нее Моисей Самойлович Каган. Уйдя из жизни, он оставил труды и идеи, развитие которых послужит импульсом для подъема нашей духовной культуры. Смерть застала философа за рабочим столом. Последние его дни были отданы работе над готовящимся к печати многотомным собранием трудов, выход которого станет достойным памятником выдающемуся гуманисту.

Педагогическая деятельность Моисея Самойловича Кагана – особое уникальное явление в педагогике высшей школы. Через его лекции и занятия прошли тысячи слушателей во многих городах тогдашнего СССР и за границей. Их ясный стиль, неподражаемое богатство мыслей, обра-

зов и убедительная аргументация, за которой стоял огромный научный опыт и высочайшая научная нравственность, снискали Моисею Самойловичу Кагану легендарную славу педагога и оратора. Им созданы научные школы, получившие общероссийское признание. Ученики Моисея Самойловича Кагана работают во всех классических университетах страны и во многих зарубежных странах. Особые заслуги Моисея Самойловича Кагана – перед ленинградцами-петербуржцами. Им созданы замечательные книги о нашем великом городе и родившейся в нем культуре, благодаря которой Россия заняла достойное место в семье европейских наций.

Моисей Самойлович Каган не был поглощен лишь сугубо научными интересами. Это был открытый, общительный человек, жизнерадостность, остроумие и дружелюбие которого влекли к нему людей всех возрастов без различия социального и служебного положения. Моисей Самойлович никогда не жалел времени для общения с учениками, гордился их достижениями и при всей своей мировой известности был демократичен в общении. Моисей Самойлович всегда являл собой пример Ученого, Универсанта, блестящего интеллектуала.

Научные, педагогические, общественные заслуги получили признание и были высоко оценены; солдатские награды – орден Отечественной войны I степени и медали «За отвагу» и «За оборону Ленинграда» соседствуют с высокими научными и педагогическими степенями – заслуженного деятеля науки РФ, почетного профессора Санкт-Петербургского государственного университета, доктора философских наук.

Уйдя из жизни физически, Моисей Самойлович Каган остался навсегда в истории Университета, войдя в плеяду его выдающихся ученых и педагогов. Его научные идеи обогатили отечественную науку, став ее неотъемлемой частью. А в нашей памяти сохранится образ человека высочайшей культуры, нравственности и обаяния.

*Вербицкая Л. А., Тарасов С. Б., Пиотровский М. Б., Бурбулис Г. Э.,
Гранин Д. А., Степин В. С., Викторов А. Д., Троян В. Н., Мурин И. В.,
Соловьев Ю. Н., Иконникова С. Н., Додин Л. А., Грусман В. М., Гусев В. А.,
Крайнев В. В., Ястребенецкий Г. Д., Мосолова Л. М., Голик Н. В.*

«Санкт-Петербургские ведомости». 14 февраля 2006 г.



*Р*АЗДЕЛ I.

ВСПОМИНАЯ УЧИТЕЛЯ И ДРУГА

ЧАЙКОВСКОГО, 43

В. Е. Каган*

Моисею Кагану

Приехать в Питер. Пить его
слоистую слепую сырость,
в которой сплавлены родство
и стиснувшая зубы сирость,
и тучи поперек и вдоль,
и встречи сладостная боль.

По старым улицам пешком,
смакуя шаг и неба серость,
прийти во дворик, что знаком,
как скромного застолья щедрость
без ресторанного вранья,
простая, теплая, своя.

Глаза щекочет окон свет.
Заплакал бы – да плакать нечем.
За столько лет иных уж нет,
А те, кто есть ещё, далече.
За тридевять земель идти.
И не успеть. И не найти.

Из сборника: Молитвы безбожника. 1965–2005. СПб., 2006. С. 236.

* Каган Виктор Ефимович – врач-психиатр, психолог, доктор медицинских наук. Поэт и прозаик. С 1999 г. живет и работает в США. Автор многочисленных стихотворных сборников.



МИКА. ДРУЖБА, ЖИЗНЬ, УРОК ИЗ ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ

Б. М. Бернштейн*

Я всегда сожалел о своем философском невежестве, вернее – о вопиющих пробелах в философском образовании. Иногда мне казалось, что если бы я начинал сначала, то непременно пошел бы учиться на философский факультет. Хотя я вовсе не уверен, что это был бы хороший выбор. Да, случалось, я остро переживал кустарное происхождение и скверное состояние собственной философской оснастки. В иных случаях, однако, я замечал, что профессиональные философы с академическим подбоем думают ненамного лучше меня. Это наблюдение позволяло мне задумываться, на свой кустарный манер, о природе философского знания. Знаю, что я не первый и что плоды моих размышлений никого не поразят оригинальностью. Я просто примыкаю к определенной партии. Но добровольно, по убеждению.

Если человек – это стиль, то философ – это стиль философского мышления. Конечно, существует преемственность, наследование, развертывание и варьирование наличных идей и все такое. Но в последнем счете философская мысль кумулятивна и не кумулятивна вместе. Каждый мыслитель, если он мыслитель, может начать с чистого листа. Сильное философствование, даже когда оно вписывается в традицию школы, есть эманация личности, ее собственного непреодоленного и непреодолимого склада, ее способа переживать мир и понимать себя.

Так и с Каганом.

* * *

В океане современных мемуаров стало принято называть великих уменьшительными именами – Митя, Маня, Катя, Никеша, Владя... Нередко меня от этого коробит, и я вспоминаю, что некогда этот прием называли заимствованным из французского словом «амикошонство»;

* Бернштейн Борис Моисеевич – искусствовед. По окончании в 1951 ЛГУ работал в Государственном художественном институте в Таллинне. Доктор наук, почетный профессор Академии художеств Эстонии. Член Международной ассоциации художественных критиков (АИСА) при ЮНЕСКО. С 1995 живет в США. Автор трудов по русскому и эстонскому искусству, теории искусства и методологии искусствознания.

«ами», как известно, – друг, а «кошон» – свинья. В словаре иностранных слов 1980 года оно еще есть, но в обиходе я его не встречаю. А раз слова нет, то все позволено. Но вот затруднение. Оказывается, я сам не смогу называть человека, с которым близко дружил гораздо более полувека, Моисеем Самойловичем. Или профессором М.Каганом. Близкие и друзья называли его Микой. И я уже иначе не могу, простите меня.

Мика.

Мы знакомились дважды.

Первая встреча имела для меня критическое значение. Сентябрь сорок шестого года. Только что демобилизованный младший техник-лейтенант, я, после трудных приключений, в последнюю минуту был зачислен на исторический факультет университета. По причинам, которые не так просто объяснить, я хотел учиться на историка искусства. А порядок был таков: чтобы быть допущенным к искусствоведению, надо пройти особое собеседование, по-академически – коллоквиум, проверку на интеллигентность. Искусствоведы – белая кость, не выдержишь – затеряешься в серых шеренгах историков.

В первых числах сентября я уже ходил на лекции с искусствоведами, но искусствоведам еще не был.

Наступил день, когда все неотсобеседованные будут подвергнуты проверке. Сначала лекции, а после лекций – коллоквиум. Последняя перед испытанием лекция – заведующего отделением профессора Иоффе. Иеремия Исаевич читает вводный курс, и в тот день он рассказывает нам о различных классификациях видов искусства. По-видимому, вирус теоретизирования попал в мой организм еще с материнским молоком, которое, разумеется, на губах не обсохло, когда я поднял руку, чтобы сообщить профессору об еще одном способе группировки – нечто в эту минуту посетило мою вполне невежественную голову. Иеремия Исаевич либерально согласился, что и такой подход возможен, вот так.

Лекция кончилась, законные искусствоведы ушли, остался десяток или полтора соискателей. В аудиторию снова входит Иоффе, а с ним еще некий молодой человек, в костюме с иголки, с чисто подстриженными усиками, галстук, крахмальная сорочка, обручальное кольцо на пальце, закуривает «Казбек». Мы не лыком шиты, слышали, что это – талантливый ученик Иоффе, кронпринц, можно сказать, аспирант, но уже читает курс лекций... Выглядит, на наш комсомольский взгляд, ужасно – мещански, или, верней, по Марксу – филистерски. Ко всему еще это кошмарное обручальное кольцо, какой архаический пережиток!

Иоффе и его талантливый ученик садятся за преподавательский стол и начинают выкликать по алфавиту. С моей фамилией долго не отсидишься. Я встаю, Иоффе поднимает на меня свои прекрасные библей-



ские глаза и говорит – этого не надо, я с ним уже поговорил. Моя морфологическая теория сработала!

Однако усатый делает мне знак ухоженным пальцем, чтобы я подошел к нему.

– Когда вы в последний раз были в Эрмитаже? – спрашивает он с очевидным подвохом. Ну, это напрасно, в Эрмитаж меня водили еще накануне моего импровизированного бракосочетания в Питере, в прошлогоднем ноябре. Да и сейчас успели.

– На прошлой неделе, – отвечаю я чистую правду.

– Что вы там смотрели?

– Импрессионистов. На третьем этаже (тоже правда).

– И кто вам там понравился?

– Ренуар, – говорю. – Писсарро. Дега. Мане...

– Мане или Моне? – спрашивает он с удивлением.

Хм. Их, оказывается, двое похожих, кто бы мог подумать. Но ты тоже хорош: ты же спросил, кто мне понравился, да?

– Моне! – говорю я твердо, показав, что релятивистская интерпретация проблемы вкуса, которой я придерживаюсь до сих пор, практически неопровержима. Действительно, крыть нечем, мне понравился Моне – и все тут. Вот Моне мне понравился, а не Мане. Вот я такой. Моне – да! А Мане – нет! И усатый отпустил меня с миром.

Теперь мне можно в искусствоведы.

Но кто же мог предсказать в ту минуту, что этот усатый, этот замечательный Моисей Каган вскоре станет моим ближайшим другом, очень дорогим для меня человеком на долгие, долгие десятилетия?

Скорей всего, так случилось благодаря второму, параллельному знакомству, к которому привела цепь случайных обстоятельств, возможных только в условиях простого советского быта.

Мой тесть, юрист, вскоре после окончания войны перевелся из Ташкента в Москву, на должность главного арбитра одного из министерств. Ему удалось откупить у дальних родственников фрагмент кооперативной квартиры, чужеродного осколка НЭПа в тканях социалистического хабитата второй половины сороковых годов. Фрагмент составляла бывшая ванная комната, площадью около пяти квадратных метров, из которой была удалена ванна. Туда и вселился главный арбитр с женой и младшей дочерью; для дочери арендовали диван у соседей. Однажды к соседке по кооперативной коммуналке приехал из Ленинграда сын с женой – и моя теща воспользовалась оказией: молодые люди любезно согласились отвезти старшей дочери с мужем, то бишь со мной, гостинец – килограмм яблок в кулечке. Яблоки гонцы съели в поезде по дороге домой. А позднее сообщили нам открыткой о посылке, приехали на наш угол –

знаменитый тогда угол Лиговки и Обводного канала, купили в угловой будке кило яблок и доставили его по адресу.

Неподлинный фрунт оказался поводом для знакомства, а затем и дружбы. Вот тут-то выяснилось, что яблочный знакомый – школьные друзья Моисея Кагана и его жены. В их доме мы встретились частным порядком. Поначалу было жутко, но постепенно стали обвыкаться, а там позволили себе садиться уж бочком, выпили брудершафт...

Выражаясь языком будущего Кагана – так сложилась исходная *многоканальность* наших отношений.

Весь Ленинград, несколько поколений ленинградских интеллигентов знали, каким он был блистательным лектором. Я помню, как он уходил из аудитории после рутинной лекции под аплодисменты. А мы не были щедры на этого рода восторги. Разве что Пунину, да и то не каждый раз. Я выношу за скобки великолепную и свободную речь, вольное владение материалом, импровизационную свободу изложения и неожиданные ходы мысли, которые рождались как будто бы тут же на месте. А то и впрямь на месте. При этом он держал удивительную дисциплину облика: никакого хождения взад и вперед, да что там хождения, ни одного лишнего жеста, поворота, движения, аскетическая скупость мимики – зримая пластика логики. Такое видишь и слышишь не каждый раз.

Но главное – метод, который можно найти и в его книгах и который особенно неотразим был в лекциях. Вообразите себе дальнейшее подобие сократической беседы, но без беседы – монолог, который вынуждает к соучастию, вовлекая в самый процесс обдумывания. Он выдвигал проблему и всячески демонстрировал ее проблематичность, но отнюдь не сразу. Он реферировал различные решения и позволял сначала их пережить. Только затем, сбивая, показывал наглядно, что это были псевдорешения, логические тупики, ложные дороги. Хочешь-не хочешь, приходилось думать, деваться было некуда. Мы брели за ним, заблуждаясь, по этим дорогам, проблема запутывалась, усложнялась, становилась все труднее, напряжение нарастало – и когда на горизонте начинала вырисовываться ее неразрешимость, он эффектным логическим ударом разрубал узел. Решение оказывалось бесспорным, мы переживали интеллектуальный катарсис.

Если вы читаете теоретический курс, этот способ – из лучших.

Таковы были уроки сверх уроков, метауроки: как делается лекция. Они мне в жизни очень мне пригодились, очень.

Бывали и другие. Начались занятия кружка эстетики. Активисты разбирали темы будущих докладов. После заседания мы вдвоем бредем к набережной.

– Слушай, – спрашивает Мика, – что ты думаешь о К. Л.?

– Идиот, – говорю я с несвойственной мне живостью реакции.



Руководитель кружка смотрит на меня не столько с недоверием, сколько с осуждением.

– Посмотрим, – возражает он, взглянув на меня с упреком, и я чувствую, что он надеется открыть в этом парне некие возможности, а заодно учит меня – учит, как следует относиться к людям.

В тот раз я оказался прав. Пришло время – и Мика в этом убедился: перспективный студент оказался не только дураком, но и негодяем, автором доносов на руководителя, и не куда-нибудь, а в Смольный. В доносе, среди прочего, говорилось, что Каган крадет его идеи; это было наименее опасное обвинение.

И все-таки, я кагановский критический взгляд запомнил хорошо. А позднее не раз видел, как воодушевляла и подхлестывала его учеников доопытная вера учителя в их интеллектуальные потенции.

В наши студенческие времена он умел держать дистанцию – сама молодость ему велела – и в то же время быть непосредственным и демократичным.

Как-то он отозвал меня в сторонку перед своей лекцией и сказал:

– Ну, вот что. Мои лекции вы еще услышите. А сейчас в «Титане» показывают фильм, который выпустили на экраны по ошибке, его к вечеру снимут и запретят. Бери всех достойных людей и давайте, сейчас же бегите смотреть.

Я взял множество достойных людей. Так мы посмотрели в первый раз некогда знаменитый «Скандал в Клошмерле». Вечером того же дня я, захватив жену, смотрел его вторично.

Новый 1951 год мы встречали у наших яблочных друзей, Магды и Гриши. Празднованию предшествовали драмы. Выяснилось, что смыкаются две компании, вторая была компания младшей сестры Магды и, главное, сестрино мужа, которого мы не любили. Жена, узнав о смычке, сказала, что никуда она не пойдет. Симметричная драма разыгрывалась, как оказалось, у Каганов на Чайковского, и там жена рыдала и не желала участвовать. Кое-как собрались, мрачные, некоторые явились с покрасневшими глазами. Начало торжества было ужасным, ледяным и молчаливым. Однако после рюмки-другой дело пошло на лад, наша партия ожилилась и в конце концов успешно выдавила конкурирующую компанию из дома. Куда они девались, не упомяну, но упоение победой нас развеселило. Это был чудесный праздник, лучший из многих! В разгаре ликования Мика и моя жена оказались под столом, ненадолго. Однако, вернувшись из ближнего подполья, Мика сказал – ну, тебе пятерка! Мне и вправду предстояло сдавать ему последний экзамен – по истории эстетики. Если вы заглянете в мой дипломный документ, то увидите, что Каган был человеком слова.

Не думали мы в ту ночь, что год будет невеселый, что этнобезработица заставит меня искать работу в Таллинне и что отныне нам жить в разных городах.

* * *

Поговорим о высоком.

Однажды он сказал нам: «А у Виктора Шкловского есть работа о том, как сделан Дон Кихот». И добавил *со значением*, подняв палец: «как сделан!» К тому времени мы получили уже полную дозу квазимарксистских инъекций и твердо знали, что правильное содержание решает все. Еретическое замечание было сделано не *ex cathedra*, а для небольшой компании, в кружковой беседе – чтобы нас озадачить, намекнуть, что не все так уж просто, спровоцировать размышление.

Позднее я прочел эту статью Шкловского, больше – я прочел ее в той книге, где ее читал сам Каган, из его библиотеки родом. Она и сейчас передо мной, вот тут, на столе:

Виктор Шкловский. О теории прозы. «Круг». Москва–Ленинград, 1925.

На тыльной стороне обложки две печати:

АКАДЕМКНИГА

и

Лавка писателей

Цена 10 р.

Не знаю, в какой из этих лавок она была куплена за десятку, без сомнения – довоенную или, скорее, военную.

Нет, вообще-то я не книжный вор, книжку я захватил в Таллинн и отдал ее, потрепанную и рассыпающуюся, на институтскую кафедру кожи в переплет. Переплетенная, она осталась у меня, где-то в недрах библиотеки, забытая нами обоими, а когда шел последний жесткий и быстрый отбор книг для отправки в Калифорнию, она, каюсь, была брошена в очередную винную коробку и перебралась вместе со мной на другой, более новый конец света. Сейчас она стала сувениром.

Я уверен, что Мика купил ее, будучи студентом-филологом, и, читая, беспощадно подчеркивал нужное и делал пометки на полях карандашом. Пометки для себя, слова не дописаны, знаков препинания нет. Почерк чуть мягче так хорошо мне известного зрелого. Это неопубликованный ранний Каган! Воспроизведу часть – так, как написано, без реконструкций.

На обороте титульного листа – нечто, не имеющее отношения к Шкловскому и к теории прозы:



Игра – риск жажда сильных ощущений

На обороте предисловия:

Рассудок упорядочивающий обсуждающ вот это то-то разум убийца искусства

На первой странице, перед началом статьи Шкловского: *не узнавать вещь разумом но ощущать тайно истинную соль предметности*

Далее на полях – отклики на бегущий рядом текст Шкловского:

Искусство цель имеет не эконоом но служит для живого свежего восприятия вещи не разумом, а чувством лаконизм еще не есть выразительность

Самочувств потенциальный гений для котор не создалоь среды [.....] благоприятной для проявления

Видение выражение его в воплощении худож уже давно стали говорить о науке видеть

Обществ цель и смысл искусства

Искусство трезвого рассуд форм натур челове и челоев искусств строит коробка ромб цилиндр шар.

Нетрудно разгадать недописанные слова.

Повторяю, мне чудится здесь студент-филолог. В его заметках – не только отблески мысли самого Шкловского, но и настроения читателя, вкус к афоризму, коэффициент преломления, свойственный атмосфере филологического факультета тех лет.

Позднее он подписался бы не под каждой из этих заметок. Он наверняка бы не согласился с тем, что упорядочивающий рассудок – убийца искусства. Это значило бы сдать собственный рассудок – рассудок теоретика искусства с его необычайной упорядочивающей мощью. Но интересно другое.

Есть нечто совершенно кагановское в том, как расположились его маргиналии в книге. Пристальное чтение – с густыми подчеркиваниями и записями на полях – было отдано работе, открывающей сборник: знаменитой статье «Искусство как прием». Следующие статьи, более конкретные, включающие и ту самую, про конструирование Дон Кихота, были всего лишь прочитаны, эти страницы чисты. Только в самом конце, уже после оглавления, за последней чертой, снова написано:

Как сделана вещь

Для него важно было найти, схватить, извлечь главное, теоретическую завязь, идею. Приложения можно опустить, важны начала – *principia*, порождающие основания. Выражаясь словами великого философа, идея сама по себе была ему куда интересней ее феноменологии. Это очень кагановское. А о Гегеле еще придется вспомнить.

* * *

К рубежу 40-х и 50-х годов Кагана знал едва ли не весь художественный Ленинград. Он читал лекции и вел семинары по эстетике, кажется, в самых значительных творческих организациях города, им восхищались, его везде любили и приглашали. Профессиональная известность – на всю страну – пришла к нему, я думаю, после монструальной конференции в Тбилиси в конце февраля 1956 года.

Демократия неистовствовала: близился первый съезд Союза Художников СССР, который неспешно готовили вот уже более двадцати лет, с начала тридцатых годов. На съезде, среди прочего, будет зачитан доклад о положении дел в искусствоведении и критике. Такой доклад – вещь столь идеологически ответственная, что доверить его подготовку одному лицу или даже группе авторитетных лиц было невозможно. К составлению доклада следовало привлечь всю искусствоведческую общественность. Точнее, на обсуждение был предложен не текст доклада, до текста оставалось еще несколько промежуточных процедур. В начальной фазе процесса надо было обсудить и утвердить тезисы, из которых должен был распусться доклад.

Для этого и созданы были в Тбилиси искусствоведы и критики великой страны. О тезисах ничего не помню, полагаю, что это была стандартная жвачка; иного, собственно, и быть не могло. К тому же, куда интересней рутинного говорения было неформальное завязывание человеческих и профессиональных знакомств, прогулки по Тбилиси, визит к уже не запрещенному, но еще не разрешенному Ладю Гудиашвили, поездки по стране, грандиозное пиршество под открытым небом у стен древнего храма Самтависи, посещение серных бань и гомерический прощальный банкет. О речах в зале можно было бы и вовсе забыть, если бы не выступление ленинградского эстетика М.Кагана, взбудоражившее аудиторию до предела, притом двояко: оно вызвало замешательство в президиуме и восторг в зале.

Каган осквернил святыню.

Я должен все время держать в уме, что события, о которых речь, происходили по меньшей мере два поколения тому назад. Голые факты без контекста, без напоминания о реалиях, не дешифруются – коды забыты. Поэтому напоминаю: советское искусство было единым и многонациональным. Антиномическое сочетание единичности и множественности, которое не в первый раз в истории человечества озадачивало наивное сознание, решалось посредством чеканной формулы, восходившей к последнему живому классику марксизма и вождю народов: советское искусство было *социалистическим по содержанию и национальным по форме*.



Вот эту простую истину, ставшую неопровержимой после того, как она была раскрыта тов. Сталиным, Каган постарался ревизовать. Метод его критики тоже представлял собой двуединство, но совсем других начал – талмудического и логического. Талмудическое шло от времени, без него тогда обойтись было немыслимо, логическое было от Кагана. Сначала выступавший указал, что у тов. Сталина нигде не сказано об искусстве, социалистическом по содержанию и национальном по форме. Сказано это о культуре; искусство, конечно, составляет часть культуры, но ей не тождественно. Наука, скажем, принадлежит культуре, но нет национального по форме бинама Ньютона. И вообще, сказано было у классика в другом месте: «социалистическая по форме, т. е. *по языку*». И т. д.

Затем, в логической части, формула, уже целиком, была превращена в руины. Исходя из других незыблемых марксистских тезисов – о единстве формы и содержания и о безусловном примате содержания – выступавший показал, что в форме не может быть ничего такого, что не было бы задано содержанием, иначе окажется, что у формы, помимо содержания, есть еще некое параллельное содержание, чего быть не может! Следовательно, диалектика национального и интернационального при- суща самому содержанию и получает выражение в форме.

Те, кому эти рассуждения покажутся схоластическими, смешными, не имеющими отношения к делу и проч., могут их забыть. В советской аудитории февраля 1956 года каждый нюанс такого рода был полон значения, и я мог бы рассказать, почему. Но не знаю, буду ли понят. Скажу одно – реабилитация национального начала в художественном содержании влекла за собою санкцию национального сознания, нестерпимого для имперской системы. Отчасти поэтому, а отчасти от наслаждения самим актом развенчания догмы, зал возликовал. Каган мгновенно стал безусловным авторитетом, художники наперебой звали его в мастерские в надежде, что он сию минуту научит их, как писать, кто-то задавал ему философские вопросы самого разного свойства, желая получить немедленные и последние разъяснения...

Мика на всю жизнь сохранил теплую привязанность к Грузии. Он дружил с грузинскими художниками и философами. Он любил посещать Грузию и летал туда при любой возможности. Он издал альбом, посвященный творчеству Ладо Гудиашвили. Он быстро овладел грузинским искусством ведения стола и стал блистательным тамадой-пришлецом, любителем, превзошедшим почвенных профессионалов. Я подозреваю, что, помимо всех прочих причин, Мика любил в Грузии место своего первого триумфа, поле выигранной битвы.

Пока мы на свой манер решали проблемы советского искусствознания и критики, в Москве созвали очередной съезд партии. Следить за

газетами было не с руки, жизнь в Тбилиси была куда интересней. Чего стоил один визит к Ладо, живому художнику вне соцреализма, прошедшему некогда парижскую школу и оставшемуся грузином, писавшему обворожительных – полнотелых и обнаженных! – грузинских красавиц и всякие фантастические сцены, и это на пороге весны 1956 года!

После осмотра картин гости были приглашены к столу.

– Дорогой Моисей! – восклицает признанный чемпион тамадизма, скульптор Морис Талаквадзе, – ты сегодня герой и победитель, алаверды к тебе! Разрешаю тебе выступить бэз утвержденных тезисов!

Мика медленно поднимается, обдумывая тост.

– Что молчишь? – молниеносно реагирует Морис. – Не привык бэз утвержденных тезисов, да?

Тостирование по кругу, доходит очередь до меня.

– Дорогой Борис! Грузинский народ, эстонский народ далеко – но мы братья!

Прожив в Эстонии к тому времени четыре с небольшим года и не будучи эстонцем, что очевидно, я начинаю по-честному мямлить, что я, мол, не принимаю тост на свой счет, а отношу его на счет республики...

– Нэт, – перебивает Морис – ты неправ! Я за культ личности! Я не согласен с товарищем Марксом по двум вопросам – по вопросу о культе личности и по вопросу о расценках на художественные произведения...

– Морис, у Маркса про расценки не написано!

– Я не знаю. Мне говорят, что это марксистские расценки...

Вопрос о расценках на художественные произведения остается запутанным по сей день. Вопрос о культе личности как раз в то время получил неожиданный оборот.

Вернувшись в Москву, мы услышали про тайный доклад Хрущева.

* * *

Наступило время выбора.

Я говорю не о свободе выбора, но только о возможности выбора. Да и с нею еще предстояло освоиться. Некоторые из будущих диссидентов разных направлений во второй половине пятидесятых были секретарями комсомольских организаций и партийными активистами. Возращивание внутренней свободы – занятие деликатное и трудоемкое, индивидуальное и не свободное от внешних условий.

В конце шестидесятых годов вышло отдельными выпусками первое издание кагановских «Лекций по марксистско-ленинской эстетике», вскоре, в 1971-м, – второе, отдельной толстой книгой. В списке рекомен-



дованного чтения по курсу эстетики я долго ставил эту книгу на обязательное первое место – отнюдь не потому, что был дружен с автором. «Лекции» радикально отличались от прочей учебной литературы по эстетике, доступной отечественному студенту-гуманитарию.

Издания, претендовавшие на роль учебников эстетики, стали появляться уже в начале шестидесятых годов. Самой фундаментальной и самой официальной была толстая книга, коллективный труд, с классическим для тех времен названием «Основы марксистско-ленинской эстетики» (правильно, везде преподавались «Основы марксизма-ленинизма», главное – заложить добротный фундамент). Официальный статус основополагающего учебника обязывал к отсутствию какой бы то ни было проблемности. Авторы его были озабочены более всего тем, как бы не сказать что-либо определенное: доктринальные банальности, механическое суммирование тем, ничего не говорящие перечисления... Если принять во внимание внушительный объем учебника, легко заключить, что авторы справились с основной задачей успешно. Заставлять студентов читать этот том было стыдно. Да я и не заставлял.

Когда вышел в свет немецкий перевод кагановских «Лекций», западногерманская – тогда еще западногерманская – печать отозвалась на них словами о марксистской эстетике с человеческим лицом. Верно. При этом ударение следует сделать на каждом из двух последних слов. Прежде всего – у книги было лицо. Все, что автор имел сказать – а имел он сказать многое, курс был выношен, формировался и трансформировался в течение долгих лет, – все это было внятно артикулировано, логически упорядочено и систематически изложено. Это была система эстетики, как ее понимал и выстраивал **этот** автор, Моисей Каган. И лицо было действительно человеческое, не каменное, не знающее иного выражения, кроме стиснутых челюстей, могучих желваков и грозно сощуренных глаз, а человеческое, светящееся мыслью.

Но вот была ли эта мысль вполне марксистско-ленинской?

Право же, как говорят в стране, где я сейчас живу, – good question, хороший вопрос.

С марксизмом все непросто. Известно, сколько марксистских церквей и деноминаций расплодилось уже к рубежу шестидесятых и семидесятых годов. Вынесенная в заголовок связка «марксистско-ленинская» указывала на определенный вариант учения. Однако тут была некая хитрость. Учебник «не-марксистско-ленинской» эстетики в это время и в этом месте не мог быть издан. Но то, что было под обложкой, Ленин вряд ли одобрил бы – он на этот счет был строг. Подозреваю, что ему не пришла бы по душе философская теория ценности, введенная в советский теоретический обиход в начале шестидесятых годов и, как оказалось, не

противоречащая марксизму и даже согласная с ним – на доказательство последнего тезиса было потрачено много чернил. Вряд ли он принял бы на марксистское вооружение и общую теорию систем, которая в те же шестидесятые стала новым и увлекательным методом философствования. Между тем, оба подхода составили реальную основу кагановских «Лекций».

Понятие ценности позволило ему выйти за пределы предшествующих споров о природе эстетического и выстроить логически стройный порядок главных эстетических категорий. Еще интересней оказалось обращение к системному мышлению. Он признал одновременную правоту различных пониманий искусства, которые десятилетиями, если не столетиями, разделяли главные школы эстетической мысли. Но объединение нескольких наиболее распространенных определений искусства не стало эмпирическим – или эклектическим? – рядом положением, но системой взаимосвязанных и взаимозависимых элементов. Система оказалась чрезвычайно перспективной, не случайно ее графическое изображение, «кагановская пятичленка», было помещено на обложках двух его итоговых книг – юбилейного сборника статей 1991 года и обобщающей работы, изданной спустя три года в Германии¹.

В этом месте повествователя подстерегает искушение углубиться в суть дела и пересказать то, что в идеях Кагана представляется ему главным. Но я все-таки не поддамся. Во-первых, книги его всем доступны – и лучше уж обратиться к оригинальному изложению, нежели довольствоваться бедным пересказом. Ну и затем – здесь не место для научно-популярных переложений, мне хочется говорить о личности.

В те годы, когда выстроенная (он бы сказал – «открытая» или «вскрытая») им структура показала свою порождающую способность, у него, я думаю, возникало чувство творческой окрыленности. В каждом направлении можно было прокладывать свою тропу. Система элементов и исполняемых ими функций, которая составляла феномен искусства, позволяла строить систему видов искусства так, что взамен традиционных перечислений возникали стройные функциональные спектры – и в

¹ Системный подход и гуманитарное знание. Ленинград: Издательство Ленинградского университета, 1991; Mensch-Kultur-Kunst. Systemanalytische Untersuchung. Hamburg-Eppendorf, 1994. На моем экземпляре первой книги есть авторское посвящение:

Дорогому моему другу и соумышленнику – Борьке – иностранцу – ха-ха! – с любовью и благодарностью за помощь в конструировании этой книги. Ноябрь 1991 г.

Посвятительный смех выдает переходность эпохи – той осенью я эмигрировал из Советского Союза, не подымаясь с собственного дивана: Эстония обрела независимость, а мы с женой – эстонское гражданство. О соумышлении поговорим чуть позже.



1972 году появилась фундаментальная «Морфология искусства»¹. Выделенная в отдельный блок коммуникативная сторона художественной деятельности заставила задуматься о различиях между коммуникацией и общением – и, по-кагановски упорно вгрызаясь в тему, он пишет книгу о межчеловеческом общении.

Наконец, вся пятиместная схема наводит на мысль о структуре человеческой деятельности. Оказывается, что ее четырехместный предок удачно изображает главные и системно взаимосвязанные аспекты человеческой активности, – и вот уже созревает соответствующая книга нешуточного размаха: «Человеческая деятельность». Тезис, найденный и зафиксированный в одном сочинении, оказывается опорой для развернутого исследования в следующем, архитектоника системы проявляется и усложняется одновременно, чертеж свода, нарисованный однажды мимоходом, в следующем цикле становится сводом, ярус возводится над ярусом, с каждым шагом расширяется поле философского зрения.

...Как-то мы вместе были в Москве – то ли конференция какая, то ли симпозиум, много их было, никак не припомню, что за ученое событие привлекло нас в тот раз. Мы вышли после окончания заседания с мыслью где-нибудь перекусить. С нами выходят два московских профессора, известные в те времена специалисты по культуре. Они беседуют более между собой, мы пассивно участвуем в разговоре, и тут Мика вдруг им говорит:

– А знаете, друзья, я ведь выхожу на культуру.

В этом «выхожу на культуру» чуткое ухо могло услышать нечто помимо прямого значения – то, что за текстом. Я думаю, что он в ту минуту спонтанно выражал переживание интеллектуального полета, видение ландшафтов подлежащей новому, персональному освоению ойкумены, ощущение играющей интеллектуальной силы, способной это сделать.

¹ Почему-то именно эта книга вызвала величайший гнев хранителей догмы из Академии Художеств. С тем же успехом стражи соцреализма могли придирались к другим работам Кагана. Тут они, видимо, нашли материал себе по зубам. История постыдного разноса в Академии Художеств с последующей публикацией стенограммы в рептильном журнале «Художник» подробно описана М. С. в его автобиографической книге «О времени и о себе», не буду пересказывать. Упомяну, однако, что в золотые времена перестройки, где-то во второй половине восьмидесятых, его кандидатура была выдвинута в члены-корреспонденты Академии художеств. Мика написал письмо в газету «Советская культура», где мотивировал свой отказ баллотироваться. Аналогичный отказ послал и я – вместе с тремя коллегами из Эстонии; мы тоже имели честь быть представленными к процедуре избрания. Чудо гласности – наши отказы были опубликованы. И, как я узнал чуть позже, в Академии Художеств обиделись!

«Выхожу на культуру» – подобно тому, как боевой летчик говорит в микрофон: «выхожу на цель».

Столичные культурологи, в полном сознании своих прав на домен, не обратили внимания на слова ленинградского эстетика. И зря. То, что он напишет, будет куда интересней их собственных сочинений. Я знаю, о ком говорю.

На мой взгляд, двухтомное «Введение в историю мировой культуры» занимает особое место среди его поздних работ.

* * *

Так вот, о выборе на рубеже пятидесятих и шестидесятих годов.

Лешек Колаковский в своем монументальном трехтомнике «Основные течения в марксизме» уделил марксизму постсталинского периода в Восточной Европе ничтожную долю труда, едва превосходящую по объему параграфы о сотериологии Плотина и христианском неоплатонизме как дальних истоках марксова учения. Более пристальное историческое разглядывание сюжета не сможет миновать эволюцию кагановского философствования – это одно из течений, характеризующих эпоху постсталинизма на родине сталинизма. Не знаю, составлена ли диаграмма метаморфоз интеллигентского сознания в период от XX съезда и до путинских времен (название условное, трудно определить это состояние отвердения и сверхтекучести одновременно). Вероятно, составлена, за всем не уследишь. Если составлена, то там, в пестром плетении линий, можно найти на редкость причудливые кривые. На их фоне график изменений кагановской философской позиции выглядит относительно простым и последовательным. Будучи мишенью монопольных носителей марксизма, он сам, тем не менее, долгое время считал себя марксистом, и вправду старался им быть. Я мог бы, модной красоты ради, промолчать об этом. Но иконопись мне плохо дается, куда интересней реальная личность. Да и вообще – нужды нет.

Я знаю многих, кто не прощал ему позднего марксизма, я и сам не раз отчаянно спорил с ним. Теперь спор больше не актуален, пришла пора понимать и, если удастся, объяснять. Вообще-то я понимал, в чем дело, и раньше, но злоба дня возбуждает и понуждает к прозелитизму. Хотелось обратить его в свою веру. В чем я не преуспел нисколько.

Итак, о понимании.

Две вещи, мне кажется, определяли линию его интеллектуального поведения в те долгие годы – от послесталинской оттепели и до постперестроечной свободы.



Первая принадлежала к основополагающим чертам личности. Мика хотел быть цельным. Ему претило хамелеонство, даже вынужденное, даже в ослабленном виде. Он внутренне нуждался в принципиальной преемственности позавчерашнего, вчерашнего и сегодняшнего Кагана. Его эволюция должна была быть плавной и не угрожать постоянству однажды принятых начал. Более того, он – я полагаю, не без напряжения, с нелегкими усилиями – стремился избежать циничного фарисейского двуязычия, которое стало судьбой и привычкой большей части интеллигенции, и не только интеллигенции, но вообще – изрядного множества так называемых советских людей. Не хотел говорить с кафедры одно, а на кухне другое, противоположное. Он, если угодно, тоже не хотел жить по лжи, но только не на солженицынский, а на свой, утопический манер. Для этого надо было не просто строить утопии, но быть утопистом – по натуре, от рождения.

Историческая реальность предлагала скудную пищу для поддержания его надежд. Как сверхчувствительный сейсмический прибор, он улавливал едва заметные колебания политической и идеологической почвы и искренне радовался, когда ему казалось, что это сдвиги в сторону свободы, туда, где, по слову классика, свобода каждого будет служить залогом свободы всех. Вот пришел новый человек, вот на высоком совещании было сказано, вот где-то появилась статья, где есть такой абзац... Ничего не значащие вибрации огромной, угрожающе инертной, вялой и вязкой системы он каждый раз готов был принять за сигналы обновления – наивность мудреца, чья мудрость спорила с ходом жизни. Он был не первый: вспомните для начала греческих отцов философии.

В начале восьмидесятых годов, когда – видимо, в качестве упреждающего синдрома – смертность секретарей ЦК достигла неслыханной отметки, у Мики возникла идея коллективного труда, который был бы кратким очерком истории мировой художественной культуры. Понятно, что тень И.И. Йоффе и его «Синтетической истории искусства» незримо поощряла эту идею. Структуру труда он, естественно, выстроил сам, и выглядела она вот так: в синхронном сечении были выделены духовно-содержательное, институциональное и морфологическое измерения художественной культуры. В историко-типологическом членении была сохранена классическая схема – докапиталистические формации, капиталистическое общество, социалистическое общество. Меня Мика привлек к делу, и, помимо одного из разделов вступления, моим было институциональное измерение – тема, близкая моим тогдашним занятиям. Пока шла работа над докапиталистическим и капиталистическим томами, все шло достаточно гладко – если не считать, разумеется, издательских и цензурных придинок.

О цензурных и редакторских кошмарах написано уже достаточно, хотя тема не полностью исчерпана. Упомяну лишь один эпизод. В тексте для первой, «докапиталистической» части я между прочим ссылаюсь на книгу польского автора З.Жигульского по истории музеев. (Zd.Zygulski. Muzea na swiecie. Warszawa, 1982), которая была в моей библиотеке. Ссылка вызвала беспокойство, поскольку недавно отгремели события, которые чуть не привели Польшу к выпадению из социалистического лагеря. У издательского редактора возник серьезный вопрос к Кагану – а что делал этот Жигульский в восьмидесятом году, в разгар бунта «Солидарности»? Не был ли он среди бунтовщиков? Вопрос был переадресован мне, а тут мне попала польская газета, где упоминался министр культуры Жигульский, – и я сообщил в Ленинград, что этот автор – ныне министр культуры в посттермидорианском кабинете генерала Ярузельского, так что с ним все в порядке. Позднее, будучи в Польше, я узнал, что автор книги был всего лишь брат министра, хранитель Краковской картинной галереи, но это уже было не так интересно, ссылка осталась. В следующем, «капиталистическом» томе история повторилась.

– Опять ты своих поляков насовал! – звонит мне Мика из Ленинграда. Действительно, там даже две ссылки, все тот же Жигульский да еще один очень дельный специалист по культуре Ренессанса. Ну, про чистоту Жигульского я повторяю все, что мне известно, но про второго я ничего не знаю, вот его книжка – и все.

– Он жив? – находчиво спрашивает Мика.

– Увы, – говорю я дискретно, – уже несколько лет, как его нет.

Между прочим, виртуальное смертоубийство, которое осталось на нашей совести, ничему не помогло: ссылку убрали. Тем временем я нахожу в каких-то библиографиях обширную книгу по истории художественного коллекционирования, изданную в США, и загораюсь желанием ее увидеть. В отечественных библиотеках ее нет, но мой американский знакомый любезно предлагает мне помочь. Он ее достает, я в своем провинциальном невежестве прихожу в ужас, что я заставил его, видного и очень занятого специалиста по полупроводникам, бегать по букинистическим лавкам и разыскивать старое издание, о чем я ему и пишу с тысячью извинений. На что получаю сердитый ответ, что, мол, никакой беготни, пятнадцать минут у телефона... Теперь-то я знаю, как это делается. Еще до получения книги, находясь в нетерпеливом ожидании, я рассказываю о ней моему коллеге Виллему Рааму.

– Постой, Нильс фон Хольст, Нильс фон Хольст, – повторяет он задумчиво имя автора. – Один Нильс фон Хольст был как бы художественным гауляйтером Прибалтики, уполномоченным Гитлера по вывозу художественных ценностей во время немецкой оккупации...



Я кидаюсь в библиотеку проверять и убеждаюсь, что память Виллема никак не подвела, все сходится. Тем временем из США приходит отлично изданная книга фон Хольста, с напутственным введением самого Герберта Рида. Разумеется, те сведения, которые есть у Жигульского, нетрудно найти и там. Демон толкает меня под руку, и я вписываю вместо ссылки на Жигульского ссылку на Хольста. Ну, что скажут нам на это редактор и цензура? Ничего, вот он тут, Holst N. von. *Creators, collectors and connoisseurs*. New York, 1967, в сноске 18 на странице 106. На книжной полке они стоят у меня рядом – подозрительный братский Жигульский и прозванный цензурой вражеский Хольст.

Но близилось время социалистического тома, и тут между нами произошел серьезный разговор. Я почему-то помню ненужные детали: мы беседовали перипатетически, гуляя по городу Ленинграду, и в решающем месте разговора остановились у водосточной трубы. К теме беседы этот урбанистический фон отношения не имел, прошу не искать здесь скрытую символику. Я отказывался писать параграф об институциональном аспекте социалистической художественной культуры. Эта фаза истории художественной культуры не нравилась мне во всех ее аспектах, и институциональный, с которым я был неплохо знаком, не составлял исключения. Я сказал, что правду, такой, какой я ее знаю – и он ее знает! – написать невозможно, а неправду я писать не буду. Тогда Мика привел главный аргумент:

– А ты не пиши о том, что есть, напиши о том, что должно быть!

– Это мы с тобой будем знать, что я изображаю желанную модель, а все прочие увидят, что Бернштейн – лгун и бесстыжий прислужник советской власти...

Я видел, что он огорчен моим отказом, а огорчать его мне никак не хотелось. Но написал этот раздел другой автор.

Тем временем реальный социализм стремительно переставал быть реальностью. Кажется, третья часть нашего – уже не нашего, а их – труда света не увидела. Зато мне дано было увидеть, что кагановское мировидение и кагановское истолкование истории вовсе не сводится к марксистской доктрине, основания лежат глубже. Марксизм был скорее средством, одной из возможных интерпретаций.

Но что же должно быть?

* * *

О системном подходе он заговорил в шестидесятые годы. На деле речь шла о различных направлениях мысли, так или иначе связанных с исходным греческим корнем. Одно из направлений, может быть – на-

чальное, основополагающее для хода его размышлений, было направление, обозначаемое словом «систематика». В начале его системных построений была систематика, первичное упорядочивание всего, что попадало в поле его дискурса. Перелистайте его книги, не читая, обратите внимание на вид страниц – и вы увидите множество схем, таблиц, спектральных рядов, посредством которых изображены порядки видов искусств, форм деятельности, культурных феноменов, абстрактных категорий. Это нечто большее, нежели дань «начертательной эстетике», как назвал некогда наше общее увлечение Леонид Столович. Та дань была временной, а здесь, у Кагана, это необходимая и потому отвердевшая форма проявления метода. «...Методология системного исследования, – писал он однажды, – предполагает решение двух взаимосвязанных задач: во-первых, *изучение системных объектов как формы существования и движения реального мира, как проявления его упорядоченности*; во-вторых, *конструирования системы категорий, отражающих системные связи изучаемых объектов и делающей упорядоченным само познание*»¹. В те годы его не покидала уверенность в том, что мир, человек, культура организованы в сложные порядки, надо только их открыть.

Как-то, прилетев в Минск, я столкнулся на аэродроме с одним из ближайших и старейших друзей Мики, известным филологом Георгием Степановым, будущим академиком; он улетал домой с какой-то конференции, я прилетел на другую. Мы успели перекинуться несколькими словами о последней книге Мики, я к тому времени ее уже получил и прочел...

– Ну, как структурирует! – на ходу вскричал Степанов.

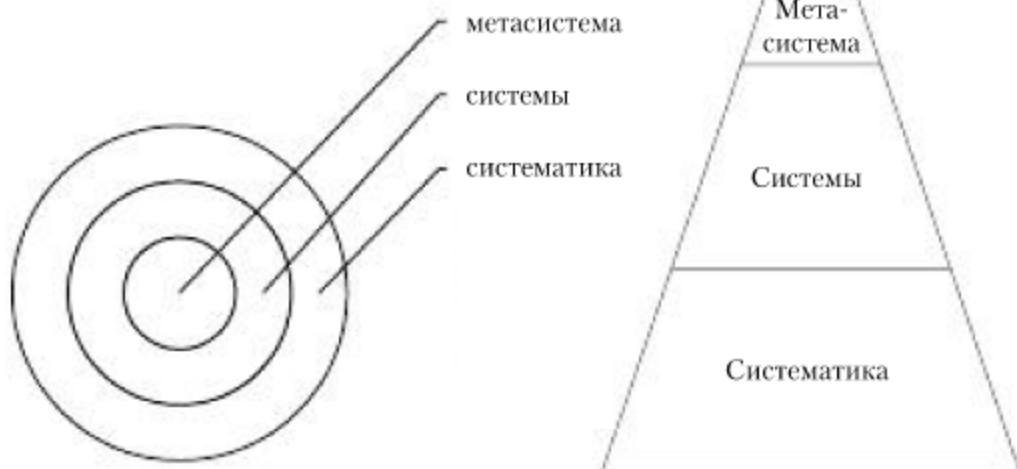
Действительно, структурировал как бог. Систематизирующая сила его ума была такова, что если бы он застал мир в состоянии добытийного хаоса, он бы справился с божественной задачей наведения порядка – хотя бы идеально.

Но систематика как упорядочение художественного и культурного миров, необходимая и интересная сама по себе, – это всего лишь таксономический уровень, своды цокольного этажа. Над нею надстраивается собственно системный подход – как описание и исследование сложных целостностей. Там порядки становятся структурами, там выявляются связи и взаимодействия между элементами, там целое становится чем-то иным и большим, нежели сумма составляющих его частей. Но и эта стадия суммарного дискурса – не последняя. Здание венчает сверхсистема, система систем, охватывающий универсальный замысел или всеобщий принцип.

¹ О системном подходе к системному подходу // Системный подход и гуманитарное знание. С. 29.



Для наглядности я украду прием:



Работы последних лет прояснили, по крайней мере для меня, природу этого принципа и его зависимость от философской личности Мики. «Философская личность» – можно так выразиться? Я имею в виду то устойчивое ядро философствования, которое сохраняется при всех метаморфозах интеллектуальной эволюции и связано с глубинными константами личности самыми крепкими и интимными узами.

Катастрофа реального социализма и завершённый ею кризис марксизма сделали этот принцип хорошо различимым.

Когда-то, наверное, в самом конце пятидесятых годов, наша коллега и общая знакомая сказала мне о Мике с некоторым разочарованием – да, оказывается, он марксист!

– А ты что думала? – спросил у нее я, в те времена тоже марксист.

– Я думала, что он Маркс!

Вот тут, после бала, когда марксизм Кагана обесцветился под влиянием обстоятельств и в результате собственного внутреннего развития, оказалось, что он – нет, не Маркс, нет. Оказалось, что он – Каган.

В основе всего был персональный исторический оптимизм и историческое нетерпение. В конце концов, все или почти все, о чем он писал и говорил, было так или иначе вписано в историю. Хотя структуры, которые он выстраивал и изучал, иногда казались вневременными, это были либо иллюзии, либо издержки изложения. Под ними, как движущее, порождающее, проявляющее и изменяющее начало, струилась история. История должна была иметь смысл и цель, и эта цель должна быть разли-

чима, дана мудрому зрению. Речь шла не о прогностических интуициях, но об объективной и интеллектуально постижимой логике исторического процесса.

Еще в годы моего студенчества он говорил мне, что для него идеалом письма с самого начала был Гегель – его логика, его неумолимое, последовательное, шаг за шагом, возведение всеохватывающей философской конструкции, исходящей из заложенных в основание начал. Но, кажется, следует подумать не только и не столько об идеале философского дискурса, сколько о его сокровенной содержательной сути. Конечно, нашему поколению, вскормленному марксизмом, марксов финализм представлялся верным, а гегелевский – ошибочным. Но в конечном счете, оказывается, дело было не в Марксе. Дело было в понимании и переживании истории как направленного движения к высшему состоянию гармонии, человечности, всеобщего блага. Такова, вопреки всем отклонениям и возвратам, конечная цель исторического восхождения человечества. Поэтому ветшающего Маркса с его историософской схемой мог сменить естественник Илья Пригожин, формулировавший в своей синергетике всеобщий закон развития систем. Там, у Пригожина, присутствует аттрактор – некий сокрытый, упрятанный в самом процессе притягивающий полюс, который позволяет системе, находящейся в хаотическом состоянии, стихийно выбрать оптимальный путь самоорганизации. Если закон всеобщий, то он распространяется на социальные и культурные системы. Принцип аттрактора, куда более тонкий, нежели принцип конечной причины, *causa finalis*, позволял по-новому истолковать и обосновать векторность истории культуры.

Еще раз, я не собираюсь пересказывать, да еще в упрощенном виде, идеи Кагана – читайте его книги, там все написано. Я не об идеях, я о человеке, который не мог примириться с нелогичностью истории и абсурдностью человеческого существования. Не мог, не дано было. Я никак не решаюсь привязывать это его мироощущение ни к наследственному иудейскому мессианизму, ни к еще более чуждой ему христианской эсхатологии. Ему не требовалось признавать наличие надмирного разума. Истоки были вполне секулярно-философскими. Ему хотелось научной строгости, и любые исторические наблюдения он стремился оформить в виде законов: закон неравномерности развития видов искусства...

Разумное целеполагание для него, я думаю, было изначально присуще самой субстанции мироздания и в ее высшем состоянии – культуре – артикулировано наиболее внятно. Примечательно в этом смысле, что Каган-эстетик, которого в свое время преследовали натасканные на запах левизны академические гончие, на самом деле не любил авангард, говорил и писал об авангардном искусстве с осуждением и известным раздражением.



Не думаю, что это происходило от художественной нечувствительности. Его неприятие было не столько эстетическим, сколько логическим – тут была допущена историческая неправильность, процесс восхождения давал сбой, сокровенная часть культуры уходила в сторону, то ли в тупиковую улицу, то ли в дурную бесконечность кругового движения.

Его гуманизм и исторический оптимизм сливались в единое целое ожидания или, лучше, предчувствия эпохи социальной гармонии, окончательной победы истины, добра и красоты. Его историческое нетерпение вынуждало искать признаки приближения этой эпохи здесь и сейчас, в ходе событий и движении теоретической мысли. Поэтому его так обрадовала идея Фукуямы относительно конца истории. Сам Фукуяма, правда, от нее позднее отрекся, но Каган продолжал ждать. Нет-нет, я не пересказываю, но одну цитату приведу. Она – из заключительной главы «Введения в историю мировой культуры»:

*«Вот почему в теоретическом осмыслении сложившейся в наше время уникальной ситуации и состоит главная задача современной философии [...] Как бы ни были поэтому привлекательны различные маргинальные размышления нынешних философов, деконструкции текстов, рассуждения о теле, о смерти, о „симулякрах” и „складках”, они не могут заменить доступный лишь философской рефлексии анализ начавшейся на рубеже веков и тысячелетий грандиозной культурной революции – процесса, который можно сравнить лишь с рождением человечества. Овладение системно-синергетическим мышлением дает реальную возможность осмыслить происходящее как движение от хаоса, господствовавшего в мире в XX веке, в направлении, отвечающем зову аттрактора из третьего тысячелетия».*¹

Интонация повествователя наверняка выдает его несогласия с героем повествования. Но я хочу быть понятым правильно. Я много спорил с ним, когда мне казалось, что он неправ. Я спорил не потому, что мне так дорога была моя правота. Кстати сказать, в своей правоте я сомневаюсь чаще, чем следовало бы. Нет, мне нужна была его правота. Просто я хотел, по праву долгой и близкой дружбы и нередкого единомыслия, чтобы Мика был всегда прав. Поэтому я огорчился, когда оказывался с ним не согласен.

Вероятно, Мике повезло, он был счастливее меня в своих надеждах и ожиданиях. Каждому дается по вере его. Я не вижу аттрактора третьего тысячелетия и не слышу его зова. Но какой аттрактор был в нем самом, в Мике!

¹ М.С. Каган. Введение в историю мировой культуры. Книга вторая. СПб., 2001. С. 303–304.

* * *

Квартира Мики и Юли в Ленинграде была моим ленинградским домом.

Поезда из Таллинна прибывали на скверный, мелкий, неудобный и грязноватый, вечно забитый народом Варшавский вокзал. Я звонил из автомата, найдя исправный, и сообщал, что я уже здесь. Ну, давай быстрее, кричал в трубку Мика, на столе, мол, уже что-нибудь стынет. Быстрее давать было невозможно: такси к Варшавскому заворачивали раз в год, а метро подведено было зачем-то к Балтийскому, куда прибывали только местные поезда. Возможно, тут сказывалось предчувствие той неделикатной по отношению к России позиции, которую могут занять прибалтийские государства, да и сама Варшава, в неопределенном будущем. Так или иначе, но Варшавский в смысле средств внутригородской локомоции был сильно обделен. К тому же, родимые производители чемоданов, как египтяне Древнего царства, не знали колеса. Словом, фрагмент набережной Обводного канала от Варшавского вокзала и до Балтийского был самым ненавистным пространством во всей северной столице.

Но вот, наконец, метро, выход на Чернышевского, возле станции всегда можно купить букетик для Юли, за угол на Чайковского, вот оставленные для вечности, параллельные красной линии домов временные трубы, газ там, что ли, или вода, так я и не узнал, вот двор, помойка слева под аркой, направо в углу лестница – ну, наконец-то, 17-я квартира!

Завтраки бывали двух родов. Если предстояла какая-нибудь всесоюзная или, пусть, всероссийская конференция или иное эстетическое, культурологическое или общегуманитарное соитие, то меня, как и всех, ждал знаменитый «Кагановский завтрак» – приезжий народ набивался в большую профессорскую квартиру, стол с напитками и закусью развешивался в просторном кабинете – и там, за столом, происходила крупномасштабная интеллектуально-пиршественная разминка. Я знал, что Мика любил эти славные завтраки его имени. Я знал также, что за свободой застольного веселья у него была припрятана готовность к очередному выступлению, где некая новая идея должна была задать тон всему обсуждению. Он никогда не являлся на такого рода ученые собрания с пустыми руками, никогда.

Если мой приезд не был связан с глобальным событием, был либо приватным, либо был связан с делами сугубо питерского масштаба, завтрак ждал, согласно отечественному обычаю, на кухне, по-простому, с обменом рассказами о семейных событиях, делах, занятиях, а иногда – с обсуждением, прямо сходу, профессиональных проблем. Где-нибудь в



середине Мика не выдерживал, срывался с места и сбегал вниз, в почтовый ящик, за газетами. Он не мог начать день, не просмотрев прессу. Я уже говорил о том, что он надеялся там найти. Впрочем, начать день – выражение неточное, я прекрасно знал, что день давно был начат. К нашему общему завтраку уже много чего было сделано. Он подымался часов в шесть утра, а может, и раньше; никого не тревожа, варил себе крепкий кофе и садился за стол.

Трудно представить себе этот стол без него. Большой, солидный, просторный ученый стол стоял под прямым углом к полкам, где хранилась подручная литература. На столе были разбросаны, книги, рукописи, бумаги в порядке, понятном, как всегда, одному владельцу. Площади стола все равно не хватало, рядом с креслом, справа, стоял низкий квадратный столик, на котором громоздились нужные книги, книги, только что присланные в дар, на отзыв, чужие рукописи. Напротив главного стола, за окном открывался безнадежный питерско-урбанистический вид: близко придвинутая чужая стена с редкими окнами обывательских квартир... Окно моего маленького кабинета в Таллинне выходило на большую открытую поляну, ближайший жилой дом был далеко через дорогу, по другую сторону шоссе, огромный кусок западного неба с играми закатных лучей на облаках бывал в моем распоряжении. Возможно, этим отчасти объясняется моя низкая продуктивность: Мику не отвлекало никакое зрелище, воображать, что происходит за окнами соседских коммуналок, ему было неинтересно, и он думал и писал, пока я глазел на розовые или багровые облака...

Нет, работать он мог где угодно – в поезде, в самолете, в загородной комнатухе, которую они с Юлей снимали для бегства из города, и даже под открытым небом, на колене, сидя за столом, в кресле, на табуретке или лежа на диване. Вид из окна не имел значения. Но все-таки этот угол между столом и ближайшими полками был эпицентром напряженной интеллектуальной деятельности. Облака тут ни при чем. Дело было не просто в быстрой и напряженной работе ума. За этим стояло нечто большее, глубинное – мощный экзистенциальный импульс, который нес ответственность за редкую по напряжению интенсивность проживания жизни. Во всем.

Я не знаю, сколько тут было от сознательного приказа самому себе, а сколько – от природы. Знаю только, что ему было присуще обостренное чувство уходящего времени и нежелание, невозможность отпускать его пустым. Менее всего это походило на ученую мономанию, и никогда я, да и никто, не видел его суетящимся. Интенсивность проживания означала для него полноту и многообразие. Возможно, поэтому, в частности, он смело бросался испытать неиспытанное, желая преломить сопротивле-

ние материала: написать книгу о самом темном из искусств, музыке, попробовать себя в художественной критике, предстать историком культуры в одной книге или представить особый срез истории искусства – в другой. Лекции – десятки разных лекционных курсов, несчитанное множество отдельных лекций, многие десятки (а может быть – за сотню?) аспирантов, конференции и симпозиумы, не которых он всегда умел быть солистом и предложить новую идею, отзывы, рецензии на диссертации, оппонирование, полемика – и это все как бы орнаментика, маргиналии, поскольку главное – книги и статьи, многие сотни серьезных изданий и публикаций, а к тому же еще – организация, подготовка, редактирование коллективных трудов...

Я знаю, за всем этим он слышал безразличный ритм уходящих часов, месяцев, лет. Когда дело подходило к шестидесяти, он написал статью о времени. Переживание рубежа было выражено наиболее освоенным и достойным способом – философским. Последняя книга, над которой он работал и, кажется, успел дописать, была книга о бытии и небытии. Сначала это была статья в «Вопросах философии», и, как часто у него бывало, статья разрослась в книгу. По поводу статьи у нас вышел спор, тем более, что предмет этого спора наметился в другой, ранее написанной работе. Первые главы «Бытия и небытия» (не знаю, таково ли окончательное название) он мне присылал, они хранятся в памяти моего компьютера. Не исключено, что там что-нибудь переделано. Всю книгу я пока не читал. Поэтому следующий абзац – не более чем гипотеза.

Я не хочу сказать, вернее – я не хочу думать, будто этой книгой он прощался. Он был всегда здоров. Представить себе больного Кагана невозможно. В нем был такой запас энергии, которого должно было хватить на вечность, Мика не мог иссякнуть, как не может иссякнуть скала. И он это знал, ну – если не знал, то чувствовал. К тому же, не в его стиле было письменно обнажать сокровенное. Где-то в глубине не могла не присутствовать мысль об абсурдной конечности жизни, но ей не разрешено было прорваться в написанный текст, тут связи далекие, тонкие и опосредованные. Тема – да. Тема соотнесена с внутренним переживанием личного времени, как соотнесена была с подобным переживанием статья о времени, написанная четверть века назад. Но текст, я полагаю, оставался текстом отстраненного философского дискурса. Мысль о неизбежном уходе была сублимирована до исключения всего персонального.

По тому, что я читал, у меня снова возникло возражение. Я полагаю, Мика был неправ, когда считал, что мысль, пока она мыслится, принадлежит небытию, бытие ее начинается тогда, когда она выражена в каком-либо чувственно данном материале, в слове – произнесенном или записанном. Он отказывал в бытии идеальному!



Теперь, когда он ушел в небытие, его мысли остались здесь, они есть – и мы их не только читаем, мы их думаем. Идеально он здесь, он присутствует в бытии. И я, оставшийся на стороне бытия, думаю о нем, ушедшем на ту немислимую сторону. Думаю со скорбью и с ощущением катастрофы.

Рухнул угол дома.

* * *

Нам с тобой, Мика, досталось не лучшее место и время для встречи. Я мог бы оказаться твоим учеником в Ликее или Пестрой Стое, в Библиотеке или в Явне, в Сорбонне или Болонье, на худой конец – в Гейдельберге или Гарварде. Как было бы здорово! Но я мог не стать твоим учеником вовсе, мог просвистеть мимо тебя во времени и пространстве – за тысячи верст и тысячи лет. Поэтому хорошо, что так. Как славно было с тобой дружить – здесь и сейчас! Спасибо судьбе.

Маунтен Вью, Калифорния.
Февраль – март 2006 г.

Из книги: Борис Бернштейн. Старый колодец.
Книга воспоминаний. СПб., 2008. С. 357–385.

В ПОИСКАХ ВЕЧНОГО

М. Бердзенишвили*

Помнится, как во время всесоюзного съезда художников большинство молодежи выходило из зала заседания и самостоятельно обсуждало пути к истинному искусству. Вдруг из зала выбежал молодой художник и крикнул: «Ребята, Каган выступает!» Все сорвались с мест, чтобы вернуться в зал. Естественно, сознавая, что предстоит нечто интересное, я тоже пошел за остальными. Тогда я впервые услышал невероятную по тем временам критику идеологизированного искусства, а также высказывания о сущности истинного искусства. Общественность это выступление встретила оглушительными овациями, что для меня тоже было впервые.

То же самое произошло и в Тбилиси, на открытии выставки молодых художников Закавказья, на которое приехало множество гостей. Среди них был и Моисей Самойлович. Он говорил о значении подлинного искусства и, в отличие от многих, выразил свое восхищение выставкой. Аплодисменты не смолкали и после того, как он спустился с трибуны. Его выступление произвело огромное впечатление.

Встреча с подобной личностью, конечно же, вызвала у меня желание познакомиться с ним, но тогда мне это не удалось.

Однажды я посетил известного, уважаемого художника Ладо Гудиашвили, и – о, судьба – там я встретил Моисея Самойловича! Он собирался писать книгу о Гудиашвили. Меня приятно удивило, когда он завел разговор о моем творчестве и вдобавок сказал, что обязательно напишет книгу обо мне. В то время стояло всего несколько созданных мной памятников: «Руставели» – в Москве, «Гурамишвили» – в Тбилиси и несколько портретов. Было больше графических работ.

С тех пор прошли годы. Я создал ряд новых монументов, много разных по характеру и объему скульптур.

И вот в один прекрасный день Тбилиси вновь посетил Моисей Самойлович и, будучи у меня в гостях, заявил, что приехал выполнить обещанное. Меня поразило, что он был знаком со всеми моими работами. Со второго же дня начался осмотр на месте каждого памятника или мемориала. Он трудился ежедневно, писал, делал заметки в маленьком блокноте.

* Бердзенишвили Мераб – грузинский скульптор, создатель десятков памятников и мемориалов, лауреат Государственных премий и международных конкурсов. Народный художник Грузии. Живет в Тбилиси.



Поражала его энергия. Для осмотра ландшафта Дидгорского мемориала он поднялся по такой высокой лестнице, по какой даже молодым трудно подниматься. После двух недель неустанной работы он почти все закончил, оставив лишь небольшую часть, которую собирался дописать в Петербурге и сдать книгу в печать.

К несчастью, он не дожил до выхода этой книги. После его кончины книга издавалась в Тбилиси дважды, в русско-грузинском и англо-грузинском вариантах. За эту книгу я питаю к Моисею Самойловичу огромное чувство благодарности. Знакомство с ним оставило во мне незабываемый след.

В тот небольшой промежуток времени Моисею Самойловичу Кагану удалось установить дружеские отношения с моими студентами, которые высоко ценили его человеческие качества. С горечью восприняв весть об его кончине, они устроили вечер его памяти, по традиции благословили и помянули этого славного человека.

Моисей Самойлович блестяще знал тайный язык скульптуры, язык этот – пластика. Свидетельством тому является его же книга «Се Человек», где он рассматривает и многогранное искусство скульптуры. Для восприятия искусства он владеет собственным искусством – философским видением. Несмотря на эпохальные перемены в искусстве, он ищет в нем вечное, то, что является лейтмотивом развития. Это духовный мир человека.

МОЙ КАГАН

Г. А. Брандт*

Когда сейчас смотрю на его фотографию и вспоминаю все с начала, понимаю, что встречу нашу иначе как судьбоносной не назовешь. Достаточно сказать, что снимок этот уже не один год стоит у меня на стеллаже, где рядом только фотография давно ушедшего папы и давно уехавших в другую страну дочки с внуком. Вот так – среди самых близких и смотрит на меня по жизни дорогой Моисей Самойлович.

Эстетика у нас начиналась с 3-го курса. Это была середина 70-х. Я училась на философском, в УрГУ, где Аркадий Федорович Еремеев, один из крупнейших эстетиков страны, заведовал кафедрой марксистско-ленинской эстетики. Именно по его кафедре наша группа и проходила специализацию. И надо же случиться, что летом после 2-го курса мне подарили знаменитые (как я после узнала) «Лекции по марксистско-ленинской эстетике» М.С. Кагана. Почему друзья, почти родственники, но совершенно не связанные ни с философией, ни с эстетикой люди вдруг подарили мне эту книгу – ума не приложу. Но благодаря ей с первых семинаров я в группе с гордостью носила звание «кагановеда». Почти каждый вечер я открывала этот коричневатый пухлый томик и, как роман, читала по 2–3 раздела лекции перед сном. После анти-дюрингов на предыдущих курсах – это была песня. Да и вообще ложилось на душу, как будто там и было, как будто он только достает из глубин и упаковывает в четкую систему то, что ты и так знал, но не мог сформулировать. С этим чувством, что где-то есть такой М.С. Каган, который знает то, что знаю я, только лучше меня самой, я и жила до конца университета. И несколько лет потом. И точно все это время знала, что если настанет час и я пойду в аспирантуру, то только в Питер. Час настал в 1981-м.

На вступительных члены комиссии спрашивали, почему я, при наличии в своем городе замечательного А.Ф. Еремеева, приехала в ЛГУ. Я что-то мямлила про идеи М.С., которые хотела бы развивать. Через несколько месяцев М.С. опять сформулировал всё в 100 раз точнее. Он приехал оппонировать в Свердловск, я его затащила домой (это – как ни поразительно! – оказалось совсем нетрудно), он посидел с папой за накрытым в его честь столом, потом взглянул на меня и обронил: «Ну, нако-

* Брандт Галина Андреевна – доктор философских наук, профессор, заведующая кафедрой социально-гуманитарных дисциплин Гуманитарного университета в Екатеринбурге. В 1981–1984 аспирантка кафедры этики и эстетики ЛГУ.



нец я понял, почему Галина приехала учиться ко мне – она ощутила родство душ». Эти слова, обращенные ко мне, самой что ни на есть зеленой еще тогда аспирантке, ей-богу, умирать буду, вспомню.

Сказать, что учиться у него в аспирантуре было хорошо, – ничего не сказать. Сказать, что он учил не только писать, но и думать, – тоже ничего еще не сказать. Когда в твою жизнь входит, врывается человек такого масштаба, он заполняет пространство всей экзистенции, не только мыслительно-профессиональной составляющей. Но начну все же с неё.

Я долго хранила (с многочисленными переездами, кажется, все-таки потеряла) черновик куска какой-то главы диссертации с его правками. Писали мы тогда от руки, почерк, как у всех многопищущих, оторви и выбрось, да ещё написан текст почему-то слабо-зелёной пастой (за пасту, правда, помнится, получила). Надо видеть этот образец работы научного руководителя. Сколько замечаний на полях! Сколько мыслей по ходу, уточнений, зачеркиваний и правок сверху, какая емкая рецензия в конце! Да еще в тот период, когда он сам сверхактивно пишет, публикуется (впрочем, когда в его жизни было по-другому?), его рвут на части, приглашая в разные университеты, творческие союзы, города, республики... Но он всё делал по-настоящему. Нас учил тоже. И потому в какую бы область гуманитарного знания тебя потом ни занесло, та системность, четкость, ясность мысли и письма, которые столь скрупулезно им оттачивались в наших текстах, никуда уже не девались.

Стоит ли говорить, что общение было не только, и даже не столько, письменным. Были бурные кафедральные обсуждения и наших аспирантских опусов, и статей членов кафедры, и его самого. Каждый мог говорить о каждом – здесь, на поле теоретических дебатов, иерархий не существовало. И любой из нас свободно звонил ему и приходил домой. Сколько аспирантских волнений хранит в памяти зеленый атласный полосатый диван с витыми ножками в его кабинете! Он любил с нами спорить, точнее, когда мы отваживались делать это с ним. Спорил серьезно, а потом, довольный, улыбался. Конечно, укладывал нас как котят, но иногда мог, например, сказать: «Знаешь, мне сейчас в голову пришла одна мысль для книги, которую пишу, я сошлюсь в ней на наш разговор». И ведь ссылался.

Наверное, каждый выдающийся человек (потому он и «выдается») – парадокс, какое-то совмещение несовместимого, когда непонятно, как это может быть, но отчетливо видишь, что так и есть. Особенно – «на расстоянии» (как всё «большое»). В М. С. для меня, может быть, самое дорогое и самое непостижимое – это гармоничное соединение его несомненно-го величия и отсутствия какой-либо дистанцированности, напротив, простота, открытость, внимание и желанье помочь не только в теоретических вопросах, но и в самых что ни на есть житейских (многие из нас

были из других городов, проблем хватало и со здоровьем, и с жильем). Я его наблюдала в многообразных ситуациях, не только с нами, коллегами и студентами, мы вместе с ним ездили на конференции, он много раз приезжал в Екатеринбург. Конечно, бывали случаи, и не раз, и не два, когда взгляд становился отчужденно-холодным, надменно поднимались брови, но, как правило, этого для собеседника, допустившего какую-то бестактность, хватало с лихвой.

Что же касается величия, то он его просто излучал. Понятно, что человек, у которого каждый год в лучших изданиях страны («Вопросы философии», «Философские науки», «Вопросы искусствоведения» и т. п.) выходят статьи и чуть не каждый год новая книга, труды которого переводят на разные языки (это в советское-то время!), не мог нами восприниматься иначе. Но я даже не об этом. Он и по внешнему виду (лицо, осанка, жесты), и по типу общения с людьми, и по отношению к жизни и призванию – был, действительно, МОИСЕЙ! Был как будто отмечен свыше. И потому, понимаю я сейчас, мы бессознательно старались как можно больше находиться в этом поле, просто где-то рядом с ним, вблизи. Вспоминаю из сравнительно недавнего уже прошлого: 9 мая 2003-го, что ли, года. Я за границей. Состояние полной подавленности: бессмысленность в работе, взрослеющая дочь на этапе «перегрызания пуповины», причем в самой жесткой форме, отсутствие друзей, нарастающее отчуждение с любимым человеком. Ощущение собственной ничтожности зашкаливает. Тащу себя за шкурку в офис, к телефону. Что бы и как бы ни было – это день, когда надо звонить, поздравлять фронтовика, инвалида Великой отечественной М. С. (хотя по правде жизни «Каган–инвалид» – дихотомия из разряда свет–тьма, верх–низ, прекрасное–безобразное, где одно по определению исключает другое). Я не помню, *что* он говорил. Помню, что говорили мы довольно долго, я слушала голос, из него вырастал весь образ, и что *после* я вышла другим человеком.

Еще одно поражающее наше юное воображение сочетание. Впрочем, что я пишу?! Ничего мы тогда не анализировали, никакие сочетания не формулировали, просто уивались роскошью общения с потрясающим ученым, собеседником, учителем, человеком и... тамадой. У нас на кафедре был, как он говорил, филиал грузинской школы тамадизма. Обучение проходило на банкетах по поводу защит старших товарищей, где М. С. неизменно давал мастер-классы ведения застолья. Это были на 100% импровизированные, блестящие, умные, тонкие спектакли. Это был фейерверк остроумия, он действительно, как сейчас говорят, «зажигал». Зажигал всех, без исключений. Самых суровых оппонентов. Самых застенчивых аспирантов. (Всемирно известный факт: когда М. С. приезжал в Тбилиси и оказывался за столом с не одним иногда десятком грузин, едино-



гласно выбирали тамадой именно его). Да и потом, уже после аспирантуры, когда бы и в каком бы составе мы ни «сидели» с ним – это всегда был абсолютный праздник жизни. На кафедре в то время работала чудная, не очень уже молодая женщина, лаборантка. В пылу разговора с кем-то она обращается: «М. С., ну скажите, зачем нужны нам эти бесчисленные праздники?». Он неторопливо повернулся к ней и удивленно говорит: «Я бы поставил вопрос иначе: нужны ли будни?».

Вот я и добралась до сути. Дело, конечно, не в тамадизме как таковом. Это лишь одно из проявлений той любви к жизни, в её самом что ни на есть конкретно-чувственном выражении, которой был переполнен М. С. Так, мы видели, что в работе (и в её содержании, и в самом отношении к ней) он – несомненный Гегель. Все, кто хоть раз переступал порог его дома, не могут не помнить над дверью в кабинет подаренный другом-художником барельефный профиль Гегеля-Кагана и парафраз знаменитого гегелевского тезиса: «Всё действительное прекрасно, всё прекрасное действительно». В самом деле, широчайший энциклопедист, мощный систематик, способный вычленив стройную структуру в любом самом сложном и многомерном объекте. При этом работал, как швейцарские часы, при любом раскладе дел, погоде, состоянии духа и тела (как всем известно, в 7 часов утра, когда бы ни лег накануне, всегда уже за столом). Но с другой-то стороны, экзистенциально, и самый что ни на есть фейербахианец с его «люблю, следовательно, существую»! Не только стоик, готовый за идею претерпеть (и сколь терпел!) любые лишения, но и эпикуреец! Страстный поклонник не только светлого бога гармонии Аполлона, но в не меньшей, может быть, степени и безудержного Диониса!

Тема женщины, женской привлекательности и красоты в жизни нашего дорогого Учителя – песня особая. Скажу только, что все без исключения аспирантки, от «первой красавицы» до самой застенчивой «дурнушки» (речь, конечно, о самовосприятии своей внешности), придя в университет и узнав, что сегодня М. С. здесь, обязательно подойдут к зеркалу и что-то подправят, подкрасят, подпудрят. Наблюдала это множество раз. Так что действие его на нас было перформативно во многих отношениях. Да и оставалось, когда мы заканчивали, защищались (у него, мне помнится, все защищались) и разъезжались домой. Начинался другой этап жизни, где М. С. продолжал быть актуальной реальностью, потому что не прерывалось и учительство (сколько раз я его *уже после* мучила не только вопросами, но и статьями, которые просила прочитать), и дружба, и, главное, то, что после общения с ним осталось в тебе как в человеке.

Закончить эти записки хочу текстом, который вылился в те страшные зимние дни, когда мы узнали, что Его уже нет.

Ушел Учитель. Навсегда. Но ведь был! Долго. Сколько раз ты, приехав в Питер, подходил с учащающимся по мере приближения пульсом к дому на Чайковского, взбегал на третий этаж, звонил сразу, без паузы, и через несколько секунд появлялся Он. Любимый и Великий. Как-то на кафедре кто-то обронил: когда Каган просто идет по улице, сразу видно, что идет великий человек. И здесь, в домашней курточке и тапочках, он всегда был великий. И когда, открыв дверь, смотрел, улыбаясь в первую минуту, и обнимал. И когда, потом, неторопливо спрашивал про жизнь, про друзей, и потом, когда отвечал, тоже неторопливо, откинув сначала голову и втянув воздух, чтобы ответить точно, как всегда, сущест-вен-но. Слушать он любил больше, чем говорить, и, может быть, еще поэтому каждое его слово было таким веским. И если шутил, то в десятку, и если критиковал, то опять точно, четко и весомо, и так всегда, даже когда разговор шел про самое бытовое.

Но поразительнее всего, что при всем этом он всегда был близким, близким и любимым. Это сочетание величия и близости, и любви (не симпатии, не уважения – любви) было каким-то совершенно уникальным. И помогало жить. И будет, думаю, и дальше это делать. Часто, когда мне бывает трудно, когда я боюсь какой-то встречи, выступления, когда на какой-то поступок кишка оказывается тонка, я вспоминаю Его. Представляю, что он смотрит на меня, и кишка укрепляется, спина выпрямляется, дыханье выравнивается...

...Помните, хотя было это лет 20 назад, мы катались на лыжах под Нижним Тагилом в день окончания какого-то симпозиума: Вы, Надя Попова и я. Оказались перед небольшой, но очень крутой горкой. Вы изящно съехали и ждете нас. Я дрожу на краю спуска, колеблюсь – страх сковал капитально. Надежда мне тихо: «Галя, на тебя Каган смотрит». Сработало мгновенно. И я не упала. А Вы мне еще что-то такое тогда сказали: «Ну, дружок, да с тобой можно в разведку ходить».

...Сейчас, когда все это пишу, то уже совсем реву. И хотя знаю, что ничего особенного в моем этом писании нет, знаю также, что по всему, как это говорят сейчас, постсоветскому пространству есть не десяток и, может быть, даже не сотня людей, которые, приезжая в Питер или встречая Его в своих городах и весях, переживали эти или подобные состояния. И сейчас испытывают те же чувства: горя, что Ушел, и благодарности за то, что Был. И, значит, Есть в нашей жизни.

Какой светильник разума угас, какое сердце биться перестало! Но скольких успел осветить, скольких согреть! Наш Любимый Великий Человек – МОИСЕЙ САМОЙЛОВИЧ КАГАН.



ТАК НАС УЧИЛ КАГАН...

Н. И. Василевская*

Моисей Самойлович Каган – Мика, без панибратства, а от теплоты душевной – так мы его звали, мы – студенты искусствоведческой кафедры истфака ЛГУ, выпуск 1952 года.

Мне не хочется в своих воспоминаниях акцентировать те моменты, которые сейчас принято называть «через человека». Я хочу поделиться тем сущностным, смысловым, что мы, послевоенные подранки, открыв клювики, вынесли и пронесли через всю жизнь от лекций Моисея Самойловича. И тем не менее на некотором остановлюсь, ибо оно тоже было – сущностным.

Появление молодого доцента у нас на истфаке было замечено сразу. Он притягивал своей внутренней сосредоточенностью на материале, широким кругозором и непринужденностью изложения.

Мика клал на стол спичечный коробок, ходил, стоял, никогда не сидел и как бы просто собою создавал сконцентрированную ауру. Может, именно тогда – в собранности, в ритме шагов, в завораживающей последовательности мысли – рождалось то, что обозначилось потом в его сознании и творчестве как «система – системность – системный подход».

Как-то, много позже, я одной своей коллеге сказала об эмоциональности речевой культуры Кагана – и она мне возразила. Я очень удивилась. А потом, пожалуй, для себя уточнила. Лекции Кагана были, правильнее сказать, интонационными, то есть в них он точно расставлял не только паузы, точки, но прежде всего – смысловые акценты. И это доносило до нас главное, входило как необходимая форма для выражения любой мысли.

Два курса – «История эстетики» и «Марксистско-ленинская эстетика» – были для Кагана как верность себе и дань времени.

Курс «История эстетики» отличался не только своей спецификой. Тогда, в период «описательного искусствознания», Каган раздвигал перед нами горизонты и приобщал к более глубинному, осмысленному постижению искусства любых видов, жанров, времен и стилей.

* Василевская Нина Ивановна – искусствовед и художественный критик. В 1947–1952 гг. училась на кафедре истории искусств исторического факультета ЛГУ. Профессиональную деятельность начала в Государственном Русском музее, затем – многолетний редактор петербургского издательства «Аврора». Член союза художников России.

Мы, в общем-то, – счастливое студенческое поколение, ибо выкристаллизовывались среди настоящих и преданных искусству личностей. Были поистине знаковые имена, можно было с головой уйти в египтологию после лекций Н.Флиттнер; полюбить искусство Древней Руси на лекциях М.Каргера, заразиться эмоциональностью изложения и почти физической ощутимостью произведения искусства на лекциях Ж.Мацулевич и т. д. Но без «красной линии» лекций Моисея Самойловича Кагана университетского образования не состоялось бы. И «суд времени» это доказывает. Такого глубокого курса – науки об искусстве – сейчас нет. Без этого развивается вкусовщина.

После Университета мы разветвились по своим пристрастиям. Но в целом их можно разделить на две части – либо история искусств, либо современность. Я выбрала последнее и занялась прикладным искусством.

В этой связи в деятельности критика имеют огромное значение те постулаты теоретического осмысления искусства вообще и прикладного в частности, которые я обрела в студенческие годы на лекциях Кагана.

«Так уж сложилась моя жизнь, что, при любви ко всем без исключения искусствам, <...> основным предметом моего повседневного внимания и научного изучения были пластические искусства – не случайно одна из моих первых книг посвящена теории прикладных искусств», – написал Мика в своей книге «О времени, о людях, о себе» (СПб., 2005. С. 306).

Я храню книгу 1961 года «О прикладном искусстве» как первую заповедь. И когда в выступлениях и статьях я для подтверждения своей позиции произношу: «Главное – тектоника предметной формы», – я знаю, что в основе моих мыслей – то учение Кагана об архитектурной, а не изобразительной природе искусства предметного мира.

Конкретно из «моей» области. Художник Б.А. Смирнов – глава нашего художественного стеклоделия, а по сути просто Художник. Мика трепетно относился к его творчеству, и это было взаимно: Борис Александрович высоко чтит мнение Кагана. Он был моим большим другом, и по праву моей личной памяти хочу подтвердить отношение Бориса Александровича, в отличие от большинства художников, не принимающих никаких «инако», кроме своих, к критике Моисея Самойловича. Все, что произносил Мика, все плюсы и минусы, всегда было благотворным для общего смысла. Так, книга Бориса Смирнова «Художник о природе вещей», благодаря умным замечаниям Кагана и затем столь же умному редактированию Э.Кузнецова, обрела свой собранно-концентрированный строй.

В этом и заключена суть «ведения искусства», которое на практике и переходит в «видение», в точность анализа, бескомпромиссность суждения.



Эффективность же данного суждения и зиждется на той осмысленной горизонтали университетского образования, которая более всего проявилась в лекциях Кагана. Он – не учил. Он пробуждал интерес – к знаниям, не обязательно сугубо локальным, в известной мере энциклопедическим, но никогда не поверхностным.

Большую часть своей творческой жизни Каган отдал кабинетным наукам – философии, эстетике. И, конечно, имя его – в блистательном ряду современников: Ю.Лотмана, М.Бахтина, Д.Лихачева и др. И тем не менее, он был невероятно живым и действенным. События современного искусства были для него полем. И он на нем – воин.

Помню наше общее увлечение кино. В Союзе художников организовали своеобразное сообщество любителей кинематографа – „киношников”. Пригласили переводчицу и крутили ленты Бунюэля, Лелюша, Годара и др. Иногда такие показы были в каких-то клубах – Печатников, Водопроводчиков... Среди «своих» зрителей всегда был Мика.

Понятно, каких-то скоординированных обсуждений в середине 70-х быть не могло. Но тот обмен мнениями, который всегда возникает спонтанно, при выходе из зала, был значителен даже в такой форме. Я прислушивалась, вникала. Помню, после просмотра «Последним летом в Мариенбаде» Мика сказал: «Какой чистый импрессионизм!» или после «Виридианы» Бунюэля: «Какая похвальная режиссерская смелость!» Может, не совсем так, неважно. Реплики всегда были точны, не случайны, без пустого «нравится – не нравится».

И в такие моменты я особенно ощущала, как смысловое, понятийное естественно переходит в конкретное. Не противопоставление объективного субъективному, а последовательное движение мысли к аналитическому, чему он, опережая время, и учил нас. И ведь на какое-то краткое время искусствоведение от описательного пришло к глубинному, структурному анализу.

Я не переставала удивляться жадности Мики ко всему творческому. Союз художников подразумевался таким, хоть там было много шелухи. И, тем не менее, были прекрасные «круглые столы» и были живые страстные обсуждения выставок. Мика был там. Это понятно. Но Мика был и на отчетно-перевыборных собраниях, сидел до конца, умел слушать. Он во всем – жил.

Я снова возвращаюсь к «своей» теме, к прикладному искусству. Дело в том, что в 60–70-е годы это искусство наиболее динамично и интересно развивалось. Оно к 70-м годам укрепилось на стилеобразующих позициях, было как бы на передовой, и, конечно, Каган не мог быть в стороне.

Еще в 1958 году на страницах лучшего журнала тех времен «Декоративно-прикладное искусство» была его статья «Эстетика и приклад-

ное искусство». Уже назревала дискуссия «О красоте и пользе». В ней участвовали сильные философские умы – такие как К.Кантор, С.Раппопорт, – и более конкретные, обозначившие полынью между этими понятиями, – Н.Воронов, К.Макаров. Каган привносил в те дебаты какую-то убедительную гармонию, так необходимую для пользы дела.

Кажется, любовь Кагана к прикладному искусству не прерывалась никогда. В последние годы жизни он часто оппонировал в Строгановском училище в Москве вместе с Никитой Вороновым, большим знатоком этого искусства, который там преподавал. Мысли летучи, но не улечиваются совсем. И так как воздействие сильной интеллектуальной энергии Кагана на своих учеников было очевидным, то и теперь хочется в это верить. Во всяком случае, выпускники Училища показывают сейчас серьезные работы, а значит, их авторам есть что сказать.

Философ, культуролог, эстетик – Моисей Самойлович Каган, несомненно, внес существенную лепту в такую тонкую сферу, которая зовется – Искусство.



НА ВОЛНАХ ПАМЯТИ

В. В. Власенко*

Ни один завоеватель не может изменить сущность масс, ни один государственный деятель не может поднять мировые дела выше идей и способностей того поколения взрослых, с которыми он имеет дело.

Но УЧИТЕЛЬ – я употребляю это слово в самом широком смысле – может совершать больше, нежели завоеватели и государственные главы. Они, УЧИТЕЛЯ, могут создать новое воображение и освободить скрытые силы человечества.

Герберт Уэллс

Приступая к воспоминаниям о Моисее Самойловиче Кагане, я думала, что писать будет легко – надо только логически выстроить последовательность впечатлений от встреч с ним и все будет в порядке. Но оказалось, что писать о Кагане сложно. Моисей Самойлович был многогранной личностью. Вспоминая особенности его поведения, его привычки, соблазнительно впасть в некий бытовизм, граничащий с пошлостью, хотя Каган и пошлость – понятия несовместимые. В его тостах, в отношении к женщинам несколько не было пошлости. Все это – разные грани его многогранности – многогранности, пронизанной (по точному определению А.Ф. Еремеева) «алмазным стержнем». С другой стороны, подстерегает опасность представить идеальный, «бронзовый» образ Кагана. И это тоже неправда. Каган никогда не был идеальным недосягаемым образцом, он был естественно гармоничным и удивительно живым в своей естественности. И оказалось, что мне трудно «перевести» Кагана на язык воспоминаний.

Но вспоминать о Кагане необходимо и необходимо письменно фиксировать свои воспоминания. Моисей Самойлович Каган – «последний из могикан». Он – представитель того поколения, которое было выкошено войной. Это особое поколение. И в его время подобные люди были редкостью, а сейчас они, кажется, исчезли вообще. Мы, кому выпала

* Власенко Валентина Васильевна – зам. декана социально-гуманитарного факультета и доцент кафедры культурологии Башкирского государственного педагогического университета. Научные интересы: теория и методология культуры, проблемы теории и методологии общего художественного образования, культурологического образования в вузе и школе, культурной антропологии.

ло счастье быть учениками Моисея Самойловича, должны передать эстафету памяти о нем своим ученикам. Порою думается, что та жизнь, те люди, которые правят бал сегодня, и есть реальность. Жить надо именно так, все прочее – выдумка, химера... Но нет, были люди, своим образом жизни, своими действиями и поступками, образом мысли утверждавшие нормальную, человеческую жизнь. Сохранение памяти о них необходимо.

У каждого свой Каган¹. Судьба одарила меня знакомством, а затем и дружбой с Моисеем Самойловичем Каганом на протяжении почти 16 лет. Первая встреча произошла в Ленинграде, куда я приехала на курсы методистов и учителей мировой художественной культуры. 1990 год, октябрь... Холодно, мокро, слякотно, промозгло, голодно... В магазинах пустые полки, почти все продукты по талонам, в свободной продаже только хлеб, сироп, который мы покупали вместо сахара, грузинский чай второго сорта. Курсы проходили в здании Института педагогического мастерства у «Пяти углов». Институт не отапливался, шёл ремонт. На занятиях сидели в пальто, руки мёрзли, писали с трудом. Помню, первая лекция М.Ю. Германа. Михаил Юрьевич – эстет – посмотрел с лёгким презрением на нас, одетых в пальто, нахохлившись, неэстетичных, и приступил к лекции. Но после первого часа и у него от холода покраснел нос, он стал потирать зябнувшие руки, понял наше состояние и проникся сочувствием. Исчезла какая-то невидимая стена, разделявшая лектора и аудиторию, установилась более теплая атмосфера.

Удивительное было время! Полная разруха, скудный быт, а вместе с тем, по крайней мере, в нашей среде, среде учителей, не просто надежды на лучшее, а твердая уверенность, что изменения, которые происходят в обществе, в конечном итоге сделают нашу жизнь честнее, совершеннее, умнее, что мы сумеем создать идеальную школу, в которой, наконец-то, достойное место займет искусство. В общем, по Маяковскому: «...через четыре года здесь будет город-сад».

Курсы близились к завершению, а лекция Кагана все откладывалась и откладывалась, Моисей Самойлович был болен. Имя Кагана проносилось так часто и с таким пиететом, что у меня сложился достаточно устойчивый образ мэтра: большой, тучный, опирающийся на палку, страдающий одышкой, а потому тяжело отдувающийся... Руководитель курсов сокрушалась, что лекция может не состояться вообще никогда, и я думала: «Господи, хотя бы повезло, хотя бы не умер, хоть бы раз услышать!»

¹ «Мой Каган» назвал Л.Н. Столович свои воспоминания о Моисее Самойловиче. См.: Мир петербургской культуры: Памяти М.С. Кагана. Материалы Научно-практической конференции. СПб. 18–19 мая 2006 г. – СПб., 2007. С. 268.



Надо сказать, что до этого я не знала работ М.С. Кагана, а имя его ассоциировалось с ненавистной мне со студенческих лет эстетикой. Курс, который преподавался нам в консерватории, как я сейчас понимаю, был чем угодно, но только не эстетикой. Мы, студенты, не видели никакой связи между эстетикой и любимой нами музыкой и воспринимали ее как неизбежный (наряду с историей КПСС, научным коммунизмом), но ненужный в нашем профессиональном становлении предмет.

И вот, наконец, сообщили, что лекция М.С. Кагана сегодня состоится. Помню, после перерыва мы долго усаживались, в аудитории было шумно, и вдруг все затихло. Я подняла глаза и, увидев за кафедрой молодого человека (сидела на последнем ряду, очки, без которых плохо видела, сняла), решила, что Кагана кем-то заменили, и спросила у соседки: «Кто это?» В ответ – «Каган!»... Впечатление от лекции (и от лектора) было ошеломляющим, я услышала ответы на вопросы, давно мучившие меня, я была как путник, блуждающий в темноте в поисках пути и вдруг увидевший «свет в туннеле». И это восприятие Кагана как очень молодого (а ему было почти 70!) не случайно и не связано с проблемами моего зрения. Моисей Самойлович и спустя 15 лет не воспринимался стариком.

После лекции подошла с вопросом, возникшим в процессе слушания, который сейчас может показаться странным и наивным. Я вдруг поняла, что логика действий Ленина (высылка из России цвета отечественной интеллигенции в 1922 году) рождает сомнение в его непогрешимости, для меня несомненной («гипноз ленинизма»). «Почему он это сделал?» – спросила я у Моисея Самойловича. Каган попытался объяснить мне логику вождя, но меня не убедил (и себя, наверное, тоже).

Надо сказать, что в дальнейшем, и об этом он пишет в своих воспоминаниях, Моисей Самойлович изменил отношение к Ленину и его огорчала неизменность веры В.Д. Днепрова в «хорошего» Ленина в противоположность «плохому» Сталину¹.

Следующая встреча с Моисеем Самойловичем состоялась в феврале 1991 года на ФПК вузовских преподавателей мировой художественной культуры при РГПУ им. А.И. Герцена. Курсы длительные, четыре месяца, и я могла полностью прослушать его курс по философии культуры.

Каждая лекция Кагана была открытием, позволяла увидеть новые возможности решения проблем, волновавших меня в то время. Я посещала лекции Моисея Самойловича не только в стенах Герценовского университета, но и в СПбГУ. Каюсь, если лекции в Большом университете совпадали с лекциями в РГПУ, жертвовала последними. И не потому, что они были хуже. Нет, просто я испытывала неутолимую потребность

¹ См.: Каган М.С. О времени, о людях, о себе. – СПб., 2005. С. 138–140.

в приобщении к миру мыслей и идей Кагана и не хотела терять ни малейшей возможности, предоставленной мне судьбой. Началось погружение в Мир Кагана. Кроме изданных работ читала и конспектировала ещё не изданное. Так, прочла рукописные варианты книг («Град Петров в истории русской культуры», «Музыка в мире искусств», сборник «Системный подход и гуманитарное знание»). С той поры для меня стало традицией читать еще не опубликованные работы Моисея Самойловича. Позднее, когда у Кагана появился компьютер, приезжая в Петербург, я просила его «сбросить» мне на диск относительно готовое («пока все это выйдет в печати!»).

Удивительное качество Моисея Самойловича – потребность в освоении нового – проявилось и в его «отношениях» с компьютером, которые «сложились» сразу, хотя и приобрел он его в 1993 году. Насколько я помню, убедил Кагана сделать компьютер своим рабочим инструментом сын Миша. Моисей Самойлович сразу же оценил возможности компьютера, которые его неизменно удивляли и восхищали: «Посмотри, это – фантастика!» – говорил он, демонстрируя мне „способности” машины. Как достижение культуры компьютер стал незаменимым помощником Кагана: «...освоив компьютер, я перестал работать рукой. ... Я не устаю от монитора и компьютера. Я могу шесть часов работать... для меня компьютер – всегда чистый текст. Я так ценю эту чистоту текста! Эстетически мне это чрезвычайно важно»¹. Когда у него возникли проблемы со зрением, именно возможность выбрать тот размер шрифта, который позволял ему работать, не тормозила деятельность Моисея Самойловича.

Хочу отметить и удивительную способность Кагана легко и изящно скрывать свои физические недуги. Если бы Моисей Самойлович сам не сказал мне, что у него серьёзные проблемы со зрением (катаракта) и он плохо видит, я по его поведению никогда не догадалась бы об этом. То, что у него практически не работает левая рука, мне стало понятно только тогда, когда летом, в жару я увидела Моисея Самойловича в рубашке с коротким рукавом, *увидела* изуродованную на войне руку.

В 1993 году я стала аспиранткой Кагана. В процессе выбора проблемы исследования (искусство и формирование личности) Моисей Самойлович выразил сомнение в её актуальности, и я разделяла эти сомнения. В начале 90-х годов о значимости искусства в формировании и развитии личности не говорил только ленивый. Но у меня были веские, как мне казалось, доводы (которые, к сожалению, актуальны и сегодня). Я спросила: «Что произойдет, если в начальных классах не будет учителя

¹ Каган М.С., Соколов Е.Г. Диалоги. – СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2006 С. 151–152.



ИЗО или музыки? Как будут реагировать родители, руководство школы и другие высшие инстанции? Никак! Скорее всего, обрадуются возможности провести дополнительные занятия, например, по математике. И что произойдет, если в начальных классах не окажется учителя математики? Все забьют тревогу. Преподавателя *обязательно* найдут, уроки математики *обязательно* восполнят. Кроме того, трудно представить, чтобы математику, химию, физику и т. д. преподавал в школе учитель, не имеющий специального образования. Уроки же музыки или изобразительного искусства в дополнительную нагрузку могут дать кому угодно, хоть выпускнику сельскохозяйственной академии (случай из практики)». Мои доводы убедили Моисея Самойловича.

То, что художественное образование не может быть уделом только художественно одаренных детей, что оно необходимо всем, для меня являлось очевидным фактом. Было понятно и то, что школа нуждается в *системных* изменениях. Но как найти основы этой системы? В работах М.С. Кагана я и находила ответы на мучившие меня вопросы.

Как он руководил? Коротко – руководил, не руководя, т. е. не вмешиваясь мелочно в творческий процесс аспиранта, но направляя движущие мысли, определяя генеральную линию развертывания исследования. Были и конкретные советы по особенностям процесса работы, был список книг, обязательных для прочтения. И главное, были работы самого Кагана: и изданные, и вновь выходявшие из печати. Симптоматично посвящение в книге «Эстетика как философская наука», изданной в 1997 году: «Моим учителям и моим ученикам». А в подаренном мне экземпляре написано: «Дорогой Валюше – *последний кирпич в фундамент твоей диссертации*» (курсив мой – В.В.). Материалы этой работы стали основой одного из параграфов диссертации.

Консультации по диссертационным проблемам проходили не совсем обычно, как бы «на ходу» (в прямом смысле этого слова): в метро, автобусе, троллейбусе, в процессе пешего перемещения из одного учреждения в другое. Мне очень нравилась именно такая форма работы: во-первых, я чувствовала себя раскованнее, ибо не отнимала свободного времени у профессора, во-вторых, и это – главное, потрясающе интересно было следить за развитием мысли Моисея Самойловича. Глубоко сожалею, что не записывала подробно содержание наших бесед. Память у меня хорошая и в целом я все помню, а вот детали ушли. А ведь порою в деталях и проявляется самое интересное.

Приезжая в Петербург, я старалась не пропускать лекций М.С. Кагана, его выступлений на конференциях, семинарах, его оппонирование на защитах диссертаций. Каждый, кто слышал Моисея Самойловича, оказывался в плену его удивительного мастерства лектора. Для меня лек-

ции Моисея Самойловича – недостижимый образец: точно выстроенная драматургия (завязка, развитие, кульминация, как правило, в точке золотого сечения, завершение), безошибочный расчет времени выступления, интеллектуальная мощь в сочетании с силой эмоционального воздействия. Лекции М.С. Кагана вызывали у меня прочные ассоциации со звучанием фуг И.С. Баха: начало основной темы, контрапункты и интермедии, развивающие и обогащающие главную мысль, и ее логическое завершение – утверждение. Сокурсница по ФПК в Петербурге возмущалась: «У него так все выстроено, лезвие бритвы не просунешь...» Её это раздражало, меня восхищало! И ассоциации с Бахом были не случайны. Для Моисея Самойловича, по его собственному утверждению, в чтении лекций была важна *интонация*: «...интонация определяет воздействие моё на аудиторию...»¹

Моисей Самойлович уважал незнание. Речь его не была отягощена непонятными для аудитории терминами, включение необходимой терминологии всегда было обосновано, а непонятное – разъяснялось в процессе лекции. Учителя МХК в Кабардино-Балкарии говорили мне, что воспринимать лекции М.С. Кагана им легче, чем читать его работы.

Он был и блестящим полемистом, порою жестким в своих высказываниях, но неизменно логичным и доказательным. И это тоже было хорошей школой. В отличие от многих, Моисей Самойлович любил оппонентов. Приведу его собственное высказывание: «...я действительно благодарен и за все критические замечания. Потому что исхожу в оценке своих работ из той позиции, которая является этическим принципом торговли: *покупатель всегда прав*. Это значит: *читатель всегда прав*, и если он тебя не понял, или неправильно понял, значит, ты не сумел изложить свои мысли так, так чтобы тебя поняли, и поняли правильно (речь идет, конечно, об умном читателе). Что же касается критических замечаний, основанных на различии позиций автора и читателя, то они важны требовательному к себе ученому потому, что говорят о недостаточно убедительной аргументации его идей и требуют ее усиления с учетом сделанных возражений»².

В 1996 году отмечался юбилей М.С. Кагана. Начало торжеств было организовано в его стиле – проведением теоретического семинара по работам Моисея Самойловича. Многие выступающие, без всяких скидок на торжественность момента, остро критиковали идею юбиляра об искусстве как *самосознании* культуры, что само по себе для меня было

¹ Каган М.С., Соколов Е.Г. Диалоги. – СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2006. С. 148.

² Культура и культурная политика: Материалы научно-методологического семинара. Выпуск 1. Синергетическая концепция культурно-исторического процесса М.С. Кагана /Под общ. ред. В.К. Егорова. М.: Изд-во РАГС, 2005. С. 161.



необычно. Как же так? Юбилей, а на торжественном заседании звучат не только (и не столько) речи о заслугах Моисея Самойловича, сколько происходит настоящая интеллектуальная битва?! Таким был Каган, для которого столкновение мнений являлось необходимым процессом развития мысли¹. Выступая с заключительным словом, Моисей Самойлович сказал, что благодарен оппонентам, но они не поколебали его позиции, и он доказательно ответит им своей новой книгой. Эта книга – «Эстетика как философская наука» – вышла в 1997 году.

Умение Моисея Самойловича отстаивать свою позицию, убежденность в своей правоте, основанная не на *вере*, а на *знаниях*, является для меня образцом нравственности ученого и сегодня часто помогает утвердить свою позицию в решении сложных проблем. Сильное впечатление произвела не только на меня, но и на всех участников очередных штудий Школы диалога культур, которые проходили в Москве в марте 1992, полемика Моисея Самойловича с Владимиром Соломоновичем Библером. Речь шла о школе XX века, какой она должна быть. Философы были едины в определении цели школы: *формировать человека культуры*. Но в понимании сути культуры позиции расходились, что и определило содержание их острой дискуссии. М.С. Каган и В.С. Библер по-разному понимали, как должно происходить формирование и развитие личности. Для В.С. Библиера системообразующим фактором было мышление, и отсюда значение в школьном образовании словесной речи и предметов, формирующих разум. Моисей Самойлович считал, что «...поскольку возможности слова, при всем его могуществе, ограничены его рационально-понятийной содержательностью, культура использует для тех же целей другие семиотические средства – жесто-мимические, звуко-интонационные, пространственно-изобразительные»², и, следовательно, одним из важнейших принципов формирования личности является принцип целостности. Отсюда и роль в очеловечивании человека такого синкретического вида деятельности, как искусство, которое способствует формированию и развитию всех потенций личности. Вечером в общежитии мы бурно обсуждали эту «битву двух титанов», и симпатии учителей-практиков (именно потому, что они – практики) всецело были на стороне М.С. Кагана.

Не могу не коснуться еще одного эпизода, важного в понимании отношения Моисея Самойловича к своим ученикам. Март 1999 года, я распечатываю на кафедре культурологии РГПУ последние страницы диссертации. Моисей Самойлович просит, чтобы после окончания рас-

¹ Каган М.С., Соколов Е.Г. Диалоги. – СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2006. С. 268.

² Каган М.С. Метаморфозы бытия и небытия: Онтология в системно-синергетическом осмыслении. – СПб.: Logos, 2006. С. 173.

печатки я приехала к нему (уверена, для того, чтобы показать завершённый труд). А оказалось, Юлия Освальдовна приготовила праздничный ужин в честь завершения диссертации, и они ждали меня, чтобы поздравить и вместе отметить знаменательный для каждого диссертанта момент.

Моисей Самойлович и семья – особая страница в воспоминаниях о нем. Удивительным было его отношение к жене. Трогательно и нежно звучало у Моисея Самойловича – «Юлька». Именно так он называл Юлию Освальдовну, рассказывая о ней, и *интонация* Кагана определяла *смысл* звучания имени. Помню, декабрь 1993 года, закончился международный симпозиум, участниками которого были приезжие друзья-коллеги М.С. Кагана. По традиции, симпозиум завершился «кагановским завтраком». Юлия Освальдовна находилась в заграничной командировке, и мы – молодежь (Миша, его жена Ксюша и я) помогли накрыть на стол. Первый тост в честь жены, её красоты, доброты, ума, умения радушно принимать гостей. Моисей Самойлович сокрушается: «Мы, конечно, старались, но, если бы была Юлька!» Еще один эпизод. Санкт-Петербург, поздний зимний вечер, мы в переполненном автобусе едем в какой-то отдаленный район на очередной семинар учителей МХК, куда пригласили Моисея Самойловича, а он, как всегда, не смог отказаться. Каган жалуется: «Дома больная *жана* (именно так, через «а») грустит, а я, вместо того, чтобы с нею побыть, еду куда-то...»

Восхищался своей, тогда единственной, внучкой Анечкой. И сейчас слышу неподражаемую кагановскую интонацию: «Она прелестна!» В начале 90-х годов с некоторым удивлением, но и гордостью говорил: «Представляешь, ей предлагают остаться во Франции, а она не хочет, говорит – неинтересно жить в Париже, в Петербурге лучше».

Дети одарили его при жизни еще тремя внуками: дочь от первого брака Инга – Максимом, из четверых самым старшим (даже старше Миши, своего дяди), Миша же – второй внучкой Полиной, а Саша, которого с 9 лет растил во втором браке, – Марком. Уже потом, через полтора месяца после того, как Моисея Самойловича не стало, у Миши родился маленький Мишенька (так мама и сестра иногда с нежностью называли М.С.), а спустя три с половиной года Саша дал своему новому сыну имя Моисей с уменьшительной формой, конечно, Мика. Фамильное древо продолжает плодоносить правнуками и праправнуками.

Последняя моя встреча с Учителем состоялась в ноябре 2005 года, когда Моисея Самойловича должны были положить в клинику. Появилась хоть и слабая, но надежда на чудо... Я ушла от Учителя со светлым чувством. Моисей Самойлович был весел, шутил, по моей просьбе определил тему докторской диссертации: «Педагогика глазами синергетики». Он надеялся, и надежда давала ему силы...



«КРАСНАЯ СТРЕЛА»

М. Ю. Герман*

Название условное. Полагая себя педантичным мемуаристом, я склонен все же доверять не только точной хронологии, но еще более тем вспышкам памяти, которые сродни «памяти сердца» (Пушкин). Случайные сюжеты жизни так часто освещены в памяти ярче и значат больше, чем иные значительные события.

Поэтому частность имеет право стать доминантой и даже заглавием.

Тем паче, что когда и при каких обстоятельствах я познакомился с Моисеем Самойловичем, вспомнить совершенно невозможно. Просто потому, что Кагана знали все, я начал с ним здороваться, по-моему, еще не будучи ему представленным, он отвечал мне приветливо и рассеянно – мог ли он, ставший с молодости знаменитым, помнить всех, кто ему кланялся!

Мы часто встречались в Союзе художников – он ведь, в сущности, был совсем молодым в середине шестидесятых – немного за сорок, молодым, но взрослым. Был – тем более в Союзе – настоящим денди (галстуки, зажигалки, отличного покроя костюмы, строгая и пластичная жестикуляция), был, однако, прост, покорял не апломбом – точностью и аргументированностью суждений. Филолог по «базовому» образованию, он говорил на нескольких языках, что по тем временам для людей его поколения было экзотикой. Удивительно, его с интересом и очень почтительно слушали даже художники, люди куда как далекие от горних эстетических категорий.

Во всем сказанном нет решительно ничего, о чем не мог бы рассказать каждый, кто М.С. хоть немного знал. Но у каждого есть заповедные уголки памяти, а в них есть нечто, что ведомо лишь ему одному.

Это было уже в конце шестидесятых. Где-то на проспекте Обуховской обороны в переполненном автобусе я увидел знакомый профиль. Лицо Моисея Самойловича было совершенно лишено светско-ироничной маски. Оно светилось, он, не выпуская моей руки, сказал, даже как-то «вскричал»: «Вы знаете – у меня родился сын!» И столько было в этом юной радости, того, что называется забытым почти словом «счастье», что

* Герман Михаил Юрьевич – литератор, историк искусства, эссеист, автор более пятидесяти книг. Доктор искусствоведения, профессор. Член Международной ассоциации художественных критиков (АИСА) при ЮНЕСКО. Член Союза российских писателей и Союза художников России.

я впервые понял, как много тепла и страстей в этом светски открытом, но, в сущности, почти непроницаемом человеке.

Я читал лекции в институте Герцена. Моисей Самойлович, бывший профессором Университета, преподавал и в «герценовском» (работоспособность его легендарна – он писал, преподавал, ездил в разные концы страны на конференции, защиты, симпозиумы и пр., никогда не показывал усталости).

Он уже был профессором, а я – «и. о. доцента» и ничего более, хотя мне исполнилось 38 лет. Ученой же степени не было у меня никакой, поскольку я, опубликовав несколько книжек, задрал нос и при каждом удобном случае горделиво сообщал, что, дескать, защищать диссертацию «как все» ниже моего достоинства, что надо иметь имя, а не звание, и прочее. К тому же сдавать кандидатские экзамены мне казалось смешным и унижительным занятием.

Я и нынче считаю себя скорее эссеистом и литератором, нежели ученым, но это куда веселее, имея все степени и звания. А тогда – в глазах коллег и сослуживцев – оставался удачливым легковесом. Издателям нравилось, как я пишу, и я в самом деле писал уже недурно, во всяком случае, грамотно и нескучно. Но издательская приязнь вовсе не прибавляла мне дружества собратьев по ремеслу, которых печатали почтительно, но неохотно или не печатали вовсе.

Моисей Самойлович несколько раз спрашивал, не собираюсь ли я защитить диссертацию, и со сдержанной брезгливостью выслушивал мои напыщенные отказы. Он прекрасно понимал суть нашей ученой иерархии, и, надо полагать, вполне разделял известное суждение Эдуарда Мане, полагавшего, что желание иметь орден – вполне разумно: «Все это презрение, мой друг, чепуха... Если бы наград не существовало, я не стал бы их придумывать, но они существуют. А человек должен иметь все, что может выделить его... Это тоже оружие. В нашей собачьей жизни, состоящей из сплошной борьбы, никогда не бываешь достаточно хорошо вооружен...»

И вот зимой 1971 года, вполне для меня неожиданно, мне позвонил Моисей Самойлович Каган и не терпящим возражений голосом сообщил: завтра в такой-то аудитории Герценовского института прием кандидатского экзамена по философии. Я обязан пойти и сдать, предварительная договоренность достигнута. Отказаться было немыслимо и неприлично.

И эта счастливая безвыходность помогла мне окончательно осознать, что мои «метания» были не более чем амбициозной бесовщиной, – презирать ученые степени проще и кокетливее, чем тихо защитить диссертацию. «Смирися, гордый человек».



Милая дама — доцент философии — была готова к худшему, то есть к ситуации несколько «неформальной», и искренне обрадовалась, когда я серьезно ответил на экзаменационные вопросы, что мучительно трудным для меня не было, так как философию, особенно классическую, я очень любил и люблю. А затем, естественно, я стал сдавать и другие экзамены — «вино откупорено, надо его пить», а потом защитил диссертацию — одну, через пять лет другую.

Этот телефонный звонок — знак доброты и дружества, поддержка слегка потерявшего связь с реальностью младшего коллеги. Все это было так необычно, бескорыстно. И возможно, если бы не эта решительность М.С., я бы так и не собрался обрести ученые регалии, которые и в самом деле хотя бы чуть-чуть защищают человека в «нашей собачьей жизни, состоящей из сплошной борьбы»!

Не счесть и не упомнить, сколько раз мне помогал М.С.! В восьмидесятые годы то и дело возникала необходимость в какой-нибудь рецензии, рекомендации, отзыве etc, делалось все это бесплатно, и при всей своей совершенно чудовищной занятости Моисей Самойлович не отказывал мне никогда. Именно *никогда*.

Я считаю себя человеком достаточно работоспособным, могу много писать, но М.С. не только писал необыкновенно много, но и без конца читал лекции, где-то выступал, консультировал, воспитывал аспирантов и докторантов. С раннего утра (до начала лекционного дня — для меня ежедневный подвиг Геракла!) он сидел за столом и успевал написать столько, что уже весь день совесть его была чиста и он мог ехать в Университет.

И при этом — театр, приемы гостей и хождение в гости, и всегда тамада, центр внимания. Энергия и силы — основой этого со временем может быть только мужество и непреклонная любовь к жизни, а ведь как многие и как часто старались ему испортить жизнь.

«Скажи мне, кто твой враг, и я скажу, кто ты!» Я часто убеждался в справедливости перефразированного мною афоризма: страстные оппоненты и просто ненавистники Моисея Самойловича бывали и образованными людьми, но достойными — едва ли!

Нет! Я не стану писать ни о его знаменитых книгах, ни о лекциях, на которые сходились толпы, ни о застольях, которые он вел с неподражаемым блеском и неиссякаемым весельем.

Обо всем этом больше и лучше расскажут его коллеги, я же вернусь к крупицам воспоминаний личных и для меня особенно дорогих.

Он знакомил меня со своими друзьями — особенно я благодарен ему за встречу с Борисом Моисеевичем Бернштейном, человеком поразительного ума и удивительной душевной тонкости. Мы нередко встречались втроем, были на «ты» (оба они — люди много старше меня и уж

куда «сановитее» – отличались редким демократизмом без всякого, впрочем, панибратства). Однажды после достаточно обильного застолья Моисей Самойлович молча надел мою шляпу (вообще шляп он не носил), в ней ушел, так она у него и осталась. И эта мелкая «подробность бытия» до сих пор почему-то греет мне душу. Все мы умели быть детьми.

Мы, кстати, много спорили, были проблемы, по которым мы яростно расходились, но почему-то это нас веселило. Кстати, М. С. никогда не сердился, когда с ним не соглашались, не выносил он только напыщенно-го невежества или советского (равно как и постсоветского) мракобесия. Но и это – все знали, этим Моисей Самойлович славился.

В восьмидесятые годы мы часто ездили вдвоем в Москву – оппонировать. Докторские защиты в столице случались все чаще, своих не хватало, философ и историк искусства вкупе требовались постоянно.

Ритуал соблюдался неукоснительно: двухместное купе («СВ»), бутылка приличного коньяка, бутербродики, казенный железнодорожный чай. Я выпивал едва четверть бутылки и пьянел. Мика же, которому доставалось три четверти, оставался решительно трезвым. И вот тогда, только тогда, что называется, «под стук колес», когда, постепенно темнея, уплывал назад унылый пейзаж, что тянется до Москвы рядом с «полосой отчуждения», когда стихала светская жизнь даже в вагоне «Красной стрелы» и засыпали проводники, М. С. без обычных шуток и острот, серьезно, часто и печально, рассказывал о своих родителях, о матушке своей, совсем уже дряхлой, которую он постоянно навещал, даже «причесывал», о страшных днях войны, о многом, трогавшем меня до слез, порой заповедном: видимо, понимал, что никогда и никому я не расскажу о том, что он вдруг решился мне доверить.

А утром, бодрый и свежий, он повязывал вынутый из специального заморского футляра щегольской галстук и выходил на перрон, закованный в броню неуязвимого бонвивана и остролова, которым его знали все.

Мне жаль, что я не записывал иные из его рассказов, но я их помню почти все. Помню даже доверительное молчание, этот запах поездной гари, в «Стреле» едва заметный, ощутимый как знак дальней дороги, бречание подстаканников на столике. И незабываемую интонацию Моисея Самойловича, узнаваемую даже в телефонной трубке с первого произнесенного им слова.

Энергия жизни и поразительное бесстрашие – этим наполнено было все его существо. Так виделось, казалось его собеседникам. Но кто знает, какой ценой он все это добывал.

До сих пор мне бесконечно жаль, что я никогда и ни в чем не смог быть ему полезным, а он так много для меня (да разве только для меня!) сделал.



Нет в этом мире бессмертия, нет. Как писал Антокольский, «поезда не приходят оттуда». И нет вечной памяти, все забывается, истаивает не в этом, так в следующих поколениях. Еще будут читаться книги.

Но есть все же нечто, что не уходит, что остается как долг, долг хоть как-то заполнить образовавшуюся пустоту тем, что можешь сделать сам. Герои Метерлинка в Царстве ушедших говорили внукам, что они живут, когда о них вспоминают.

Можно сказать и иначе: вспоминая, мы длим жизнь всех – даже тех, кто еще живет на земле, – ведь чем полнее и благодарнее наша память, тем богаче и достойнее наша жизнь.

Эти долги не отдать. Надо просто о них помнить. Хотя бы помнить.

ПОРЯДОЧНОСТЬ ПРОИЗВОДИТ ПОРЯДОЧНОСТЬ — о связующей силе прекрасных достижений

А. Дайксель*

Народы есть мысли Бога, а языки – их духовные крылья. Когда я вел смертельно больного Моисея Самойловича по коридору больницы, он в очередной раз охарактеризовал мне великих мыслителей европейской истории. Если честно, то это я выпрашивал у него об этом, я хотел еще раз узнать это у него, моего большого и почитаемого друга. Он, энциклопедически образованный, понял моё ученичество и говорил, говорил. Как одинокие бисерные капельки из неплотно закрытого крана, капали его суждения, четко продуманные и ясно изложенные... Платон, Аристотель, Фома Аквинский, Декарт, Лейбниц, Руссо, Кант, Гегель... Маркс. Марксист всегда проверял Великих на то, насколько они имели предмет своих рассуждений *homo agens*; ибо этот последний есть основа *общения* и любого культурного творчества – то есть *действующий* человек, а не только *мыслящий*, *homo sapiens*. Мы обсуждали это по-французски, на том языке, на котором он любил говорить в таких случаях.

Потом мы пели в его палате песни Бертольда Брехта и Ганса Эйслера... *Песня Единого фронта*... Тексты я принес с собой... Его глубокое понимание немецкого духа не изменило даже участие в боях Ленинградской блокады: страна фашиствующих судей и палачей (*Richter und Henker*) по-прежнему оставалась для него страной великих поэтов и мыслителей. И меня, которого как-то свела с ним мой друг и коллега Римма Шпакова, он одарил таким же уважением – прекрасный подарок на всю мою дальнейшую жизнь.

* Дайксель Александр – немецкий философ и социолог, доктор наук, многолетний директор Института социологии Гамбургского университета, ныне директор по научной работе Института технологии марки в Женеве.



Моё окно в Россию – кухня Юлии

В монадах нет окон – нас часто занимал этот обычно непонятый лейбницевский образ из 7 параграфа Монадологии. Образ (Gestalt) некой культуры одушевляется внутренним принципом, но возможность приобщиться к Иному, экзистенциально прошедшему, даёт язык. Однако ещё проще это получается через вещи. Хотя функционально они во всем мире похожи – чашка, нож, стул, ковер, жилище, танец, музыка, кольцо, божества – на всем земном шаре не существует двух одинаковых вещей. Образ (Gestalt) культуры неизменно индивидуален. Россия есть Россия. Самодвижущая сила местных вещей существует *a priori*... и именно поэтому она магнетически воздействует на Внешнее, на Иное, на Чужое.

Этим Иным был и я. Величайшей честью было выпавшее на мою долю отношение ко мне хозяйки дома Каганов, ко мне – немцу. Она приготовила мне комнату своего сына и одарила меня сердечным теплом. Однако самым важным оказалось то, что она пустила меня в свою кухню. Я уже знал, что кухня в русском доме – это самое культуротворческое место. Кухня же Юлии была кипящим котлом петербургского духа, и это невозможно описать словами. Наши разговоры поддерживались вещами, как неподвижными – вазами, подушками, чашками, тарелками, лампами, так и текучими – чаем, запахами, пиццей, движениями... Если Моисей Самойлович мне всегда казался Петром I, то постоянная чеканная деятельность Юлии стала для меня олицетворением Екатерины II. Пока я ел и пил, спал и видел сны, моя душа размышляла о *Метаморфозах бытия и небытия*... – книге, над которой Моисей давно работал.

В этой кухне, выполненной в типичных для моих представлений цветах – темно-красном с матовыми желтыми элементами и большим количеством дерева, – на этих 15 квадратных метрах российской культурной территории мне был открыт уникальный доступ на Российский континент, за что я бесконечно благодарен хозяйке этого дома. Конечно, нужно было суметь прочесть каждую деталь, истолковать каждый запах, заставить звучать внутри себя каждый звук... Если Петербург был назван окном России в Европу, то кухня Юлии стала моим окном в Россию. Только сейчас, через материальность этого культурного котла, мне открылись люди на улицах города, их физические и психические движения, их богослужения, их метро, их налоговая система, их песни... и в целом: потрясающая мобилизация зажатых в последние годы сил... Только сейчас во мне выросла терпеливость в отношении различий, поэзии Иного, которая дарит нам глубочайшую радость духа в нашем разнообразном и все же *едином* мире. В одном французском шансоне влюбленная де-

вушка на просьбу матери описать её любовь отвечает... «Je n'ai rien dire ou alors trop...» (Сказать могу либо ничего, либо слишком много...) Мадам Каган – Мерси!

Красота в экономике

Проблемой для культуролога Кагана стала освободившаяся от цепей экономика в собственной стране. Позиция Карла Маркса для него подтверждалась в отношении описания макроэкономики. Но Женевский институт технологии марки показал ему, что коммерческие принципы в компаниях неизменно эффективны. Всё дело в порядочности. Он читал мои книги и стал консультантом при Институте технологии марки в Женеве. Ленинец открыл для себя честного торговца. Центром был не базар – центром была порядочность! Он подхватил: порядочность производит порядочность! Этические принципы республики учёных он узрел и в повседневности бизнеса. Категорический императив оказался применим в качестве эстетической воли в коммерческой жизни – красота и достоинство суть основания длительного экономического успеха, или – развития современной России.

Мы приглашали его к нам на лекции. В Гамбурге мы перевели его труд «Человек – Культура – Искусство», изданный в Германии на немецком языке в моём исследовательском центре в Гамбурге. Его участие в конференциях Женевского института марки дало нам шанс услышать его уникальные тосты. Появились первые статьи для ежегодного журнала нашего института, включая статью «Вещи – гены культуры». Так возникла идея издания книги об экономическом развитии современной России. Совместно с Риммой Шпаковой он способствовал изданию в России моей книги «Магический образ – Товарный знак в эпоху массового производства». В сотрудничестве с Элеонорой Глинтерник появилась новая книга «Товарный знак в Европе и России. Вопросы теории и истории» и в ней раздел, посвященный России. В связи с катаклизмами 90-х годов потребовалось почти 10 лет упорства, чтобы эта работа была издана. Зато профессор кафедры *этики и эстетики* обнаружил, что и в капиталистическом индустриальном обществе действует культурный закон природы: достижения осуществляются в той мере, в какой они красивы. Разум в существенной степени участвует в наших фактических будничных творениях, и, как кажется, он нацелен лишь на голую полезность. Но повсеместно прогресс проявляется там, где разум открывает для себя полезность красоты. Красота, достоинство и порядочность внутренне близки чему-то здоровому и потому морали; соответственно, для честного тор-



говца это становится наиболее прибыльной инвестицией. Так предметы на кухне обрели ещё больше содержания.

Свобода образа – этика Кагана

Эффект есть то, когда нечто более совершенное пробуждает в этом отношении в менее совершенном некую способность... а ргіогі. Понимающий, но энергичный человек, он на моём первом же докладе потребовал произнести его на русском: *Свобода формы – замечания к прогрессу с точки зрения Лейбница*. В своей уникальной книге «Град Петров» он упоминает эту концепцию. Прогресс не означал для него линию, это было раскрытие еще не явленной формы. Он подталкивал меня ко всё новым докладам. *Лейбниц и Пётр I*: я открыл для себя чуткость царя и с новыми идеями шёл через Двенадцать коллегий на философский факультет. *Вольфианское движение в России...* Моисей Самойлович все глубже погружал меня в понимание общности наших народов. Все, что живет, есть содержание в качестве формы, – но осуществлённая воля в объектах в качестве противопоставленного воления людей должна постоянно становиться новой деятельностью... Ленинград стал Санкт-Петербургом... мы называли подобные метафизические процессы *активным образом*.

Мы часто говорили об *эстетическом императиве* с его пятью требованиями к действующему человеку:

Раскрывающееся достижение

Вселенная основывается на завершённости. Там, где люди действуют творчески, – в искусстве, в мышлении, в экономике, – принято энергично осваивать предметы. Люди обладают безошибочным чутьём честных достижений субстанциального Творца.

Обязательная композиционность

Прекрасный результат управляется изнутри. Люди обладают безошибочным чутьём тонкой гармонии. Отношение единичного к целому лишь тогда прекрасно, если части живут целым. Тогда это не есть нечто просто соединённое друг с другом.

Отделяющее единство

Чтобы действовать, тело должно иметь некие границы. Различия указывают на индивидуальную силу. Граница не разделяет – она притягивает. Чем более гордой является красота, тем менее насильственной становится сила её притяжения.

Живительное повторение

Мотивация становится стилем благодаря схожести с самой собой. Экономические органы должны управляться в соответствии с этим прин-

ципом, тогда они будут существовать вечно и приводить к работе и процветанию.

Профессионализм

Люди обладают безошибочным чутьём честных способностей, независимо от образования, пола, расы и дохода. Красота привлекает людей и объединяет их, а уродство просто смешно. Так искусство становится самосознанием совместного существования.

Его мышление подчинялось этим принципам красоты. А его жизнь? Кому такое удаётся целиком и полностью... В рамках нашей темы, посвящённой форме, он, как уникальный человек, и сам стал для меня воплощением активного образа... Мой последний взгляд на него в коридоре больницы... теперь он стоял там один. Я лихо крикнул ему: Успехов! ВПЕРЁД!.. Он не шевельнулся... Проблема не в смерти, проблема в умирании, – сказал он мне однажды.

Древние изображали смерть в виде Амура с опущенным факелом. Господин профессор Каган – сегодня здесь есть многие, кто несёт Ваш факел высоко поднятым, ибо они знали: в метаморфозах небытия хранится бесконечно много бытия. Умершие – это не только боль настоящего или даже просто воспоминание о прошлом. Умершие – это наше будущее. Поэтому еще раз: Успехов! Вперёд!

Перевод с немецкого Е. Н. Левандовской.



КАГАН В МОЕЙ ЖИЗНИ

И. И. Докучаев*

1

Слово «Каган» существует в моем языковом сознании с незапамятных времен. Наверное, оно появилось позже первых слов, которые я узнал, но определить когда – уже не представляется возможным. Оно осело, по-видимому, вместе с другими фамилиями выдающихся ученых, сначала просто мелькающих на страницах учебников и энциклопедий, в речах учителей и ведущих телевизионные и радиопередачи научно-популярного содержания дикторов. Позже эти имена обрастают исторической конкретикой, превращаются в собрание прочитанных текстов и осмысленных концепций, иногда даже в биографию с теми или иными подробностями. Много зависит в этом процессе от любознательности и интереса к деталям. Но только в редких случаях имя приобретает характер образа, который создается благодаря знакомству с живым человеком.

Знать выдающегося человека лично – большая удача. Конечно, чтение текстов таких людей подчас способно заменить собой личное знакомство. Я неоднократно отмечал, прогуливаясь по Литераторским мосткам, Некрополю мастеров искусств в Санкт-Петербурге или Новодевичьему кладбищу в Москве, что многие из тех, кто покоится под могильными плитами, ближе и понятнее мне даже собственных родственников, потому что в своих бесчисленных книгах и письмах они сохранили собственный мир для тех, кто будет когда-либо настолько любознателен, чтобы искать иные миры, будет способен удивляться им и восхищаться. Когда происходит подобное приобщение, даже личное знакомство мало что добавляет к содержанию открываемого мира. Личность имеет много случайного в собственном содержании, а плоды ее творчества почти лишены этой случайности, они запечатлевают сущность и постоянство. Так картина художника отличается от фотографии.

* Докучаев Илья Игоревич – доктор философских наук, кандидат культурологии, профессор. Проректор и заведующий кафедрой философии и социологии Государственного технического университета в Комсомольске-на-Амуре. В 1993 закончил факультет русской филологии и культуры РГПУ им. А.И. Герцена, в 1996 – факультет философской герменевтики Высшей религиозно-философской школы в Санкт-Петербурге.

Однако фотография все же интересна и необходима человеку. Ролан Барт когда-то заметил, что существо этого интереса коренится в способности фотографии вбирать живое присутствие запечатленного на ней человека или мира. Она – мистическое окно в этот мир, спасенный от забвения благодаря ее химическому составу. Воспоминание о живом лице человека – тоже окно в иной мир. Может быть, конкретный характер этого мира покажется кому-либо мелким, однообразным и недостойным внимания по сравнению с вечными сущностями Гиперурии, но жизнь влечет нас, несмотря на случайность ее деталей, ибо в них сокрыто богатство непредсказуемости и новизны. Правда, в отличие от фотографии, воспоминания больше относятся к миру того, кто вспоминает, чем к миру вспоминаемого человека, но жизнь, которая воссоздается благодаря памяти, несмотря на это, все же сохраняет обаяние своей первозданности.

Впервые я стал задумываться о том, что за реальность обозначается словом «Каган», в результате комического происшествия в букинистическом магазине, расположенном у Пяти углов в Санкт-Петербурге. Я учился в выпускном десятом классе тогдашней средней школы и часто заходил в букинистические магазины. Книг издавалось в конце советской эпохи немало, хотя и не столько, сколько нынче. В те времена мне казалось, что девяносто процентов издаваемых книг так и не находят своего читателя. Полки магазинов всегда были заполнены книгами, которые никто и никогда не покупал. Люди искали другой литературы, причем ценителей ее подлинных достижений существовало невероятно много. Поэтому хорошую новую книгу было очень тяжело заполучить, а страсть к коллекционированию книг искала пути для своего удовлетворения. Дефицит книг отчасти компенсировался букинистическими сокровищами, существовали обменные отделы, многочисленные подписки. Книги по философии в советское время издавались и вовсе плохо; классика сокращалась до хрестоматийных текстов, а зарубежных философов, творивших в современную эпоху, по идеологическим соображениям лишь упоминали в критических разносах, созданные же отечественными авторами сочинения не отличались оригинальностью и концептуальной напряженностью. Они все походили друг на друга, как прилепленные к внутренней стороне школьной парты использованные жевательные резинки.

Сегодня мы знаем, что философская мысль и в Советском Союзе выдвинула ряд блестящих имен. Но их популярность пришла задним числом, она оказалась обоснованной не благодаря стандартизирующей все и вся советской идеологии, к которой причастен всякий советский философ, сохранившийся в истории мысли подобно человеку, обреченному на гибель в морской пучине, но выплывшему, несмотря на камень,



привязанный к его шее. Э.Ильенков, Д.Дубровский, Н.Мотрошилова, В.Межуев, И.Свидерский, В.Штофф, П.Гайденко, М.Мамардашвили, А.Зиновьев, А.Пятигорский, П.Копнин, Ю.Лотман, Б.Поршнев, Г.Батищев, В.Библер, Ю.Шрейдер, М.Петров и другие авторы интересны сегодня вне зависимости от того, насколько соответствовала советской идеологии их научная деятельность. Они интересны благодаря творческому отношению к этой идеологии, ее рациональному анализу, даже развитию и обоснованию. Ибо в науке всегда интересны рациональные аргументы и доказательства, а любой догматизм превращает ее в скучный набор фраз.

К концу восьмидесятых годов прошлого века имена выдающихся советских философов были мало известны широкому читателю. Философия воспринималась как реликт и собрание анекдотов и мифов. Только научным детством оправдывались некоторые философские положения, давно переставшие восприниматься серьезно и сохраняемые как музейные памятники интеллектуальных пережитков прошлого. Что можно было сказать в ответ на известную максиму Фалеса «Все из воды и в воду» или отреагировать на учение Платона об идеальности подлинного мира и иллюзорности материи? Лишь улыбнуться, как улыбается взрослый на смешные проделки своего дитяти. Философия давно завершилась, и на смену ей пришла наука. Позитивистское представление о философии стало расхожим мнением, разделяемым в советском обществе и пропагандируемым в школьных классах и университетских аудиториях. Последним философом был К.Маркс, создавший материалистическое учение об обществе. Это учение воспринималось как окончательное философское откровение о мире, которое можно только усвоить и возрадоваться от того, что истина, наконец, у нас в кармане. Советская философия воспринималась, таким образом, как своего рода комментарий, позволяющий усвоить истину. Она, подобно средневековой схоластике, была призвана не развивать, а сохранять уже имеющееся откровение. Однако, будучи философией, она не могла не вносить собственных еретических тезисов в сохраняемую ею систему. И по мере того, как количество этих тезисов возрастало, система постепенно приходила в движение и развивалась. Комментаторы превращались в выдающихся философов. Но для их признания требовалось время. Как схоласты оказались великими мыслителями лишь спустя многие века после гибели средневековой культуры, породившей схоластику, так и советские философы обрели признание только после того, как советская культура и идеология прекратили свое существование.

Тогда в букинистическом магазине я обсуждал со своим приятелем книги, лежавшие на полочке с характерным названием «Общественная литература». Среди них находились и небольшие томики в мягком пере-

плете, на которых стояло имя М.С. Кагана. Это были «Лекции по марксистско-ленинской эстетике». Мой приятель указал на эти книги и сообщил, что Кагана из всего этого мусора можно бы и купить, потому что он оригинален и пытается обосновывать то, о чем пишет. Я не очень пожалел, что книги мне не достались, потому что не вполне представлял себе их ценность. Фамилию автора я где-то слышал, это позволило мне согласиться с моим приятелем, но не более того. Однако я заметил ему, что, наверное, концепция Кагана сегодня уже малоинтересна, потому что была создана еще в двадцатые–тридцатые годы, а сегодня устарела. Конечно, я знал, что философские концепции не устаревают, но я полагал при этом, что в советской философии не существовало таких концепций, которые обладали бы этим подлинно философским свойством. Комментарий, даже если он качественный, может быть и улучшен, а с двадцатых годов минуло уже более семидесяти лет, чтобы это произошло. Моисея Кагана я перепутал с Матвеем Каганом, работавшим как раз в двадцатые годы вместе с М.Бахтиным в рамках Невельского кружка. Ни того, ни другого Кагана я еще не читал. Мой приятель возразил мне, что М.С. Каган – наш современник. И я поспорил с ним, что М.С. Каган давно умер и известен как довоенный автор. На следующий же день я вынужден был купить моему другу бутылку пепси-колы – главного радующего душу советского подростка напитка, поскольку признал свое поражение в споре.

Простить себе такого интеллектуального провала я не мог, а потому отправился в библиотеку и прочитал «Лекции». Так началось мое знакомство с Моисеем Самойловичем Каганом.

2

Прошло шесть лет моей университетской жизни. За это время я не только стал филологом, но и основательно увлекся философией. В своих филологических штудиях я всегда старался найти основания для тех или иных выводов, но филология мне не предоставляла таковых. Я попытался расширить предмет своих интересов и стал заниматься семиотикой. Теория знаков казалась мне ключом к объяснению существа любых филологических явлений, поскольку включала их как частное в свою целостную картину. Однако знаки – лишь способ трансляции и аккумуляции человеческой культуры, но не существо той силы, которая вызывает ее к жизни и придает ей исторически преходящее содержание и неизменную сущность. Постепенно от семиотики я перешел к феноменологии и аксиологии, то есть стал философом. Впрочем, все это произошло позже, а первоначально, увлекшись семиотикой, я никак не мог найти подходя-



щей для реализации своих планов аспирантуры. И тут мне представился случай поступить на кафедру культурологии РГПУ им. А.И. Герцена. Тогда в российском научном сообществе наука о культуре только родилась как самостоятельное дисциплинарное пространство и институт, она искала своего содержания и спокойно относилась к любому проекту включения того или иного метода либо предмета в свой состав. Поиск предмета культурологии был сосредоточен вокруг принципов объединения результатов частных наук в различных сферах культуры и у границ между этими сферами. Если научный метод оказывался интегральным по отношению к ряду других – частных – методов, его культурологический статус был ему гарантирован. Семиотика, конечно же, стала частью культурологии.

Я стал готовиться к экзаменам. О культуре я читал много еще на филологическом факультете, но список литературы, предложенный мне для подготовки, включал массу имен и книг, о которых я никогда или почти ничего не слышал. Книги М.С. Кагана тоже были в этом списке. К тому времени я читал только «Лекции». Они произвели на меня сильное впечатление, поэтому я начал штудировать рекомендуемую литературу с книг М.С. Кагана «Морфология искусства» и «Человеческая деятельность». Особенно меня заинтересовала последняя, поскольку она позволяла вписать различные результаты человеческой деятельности в единую картину его бытия, то есть определить специфику этого бытия и дедуцировать благодаря данной специфике различные его стороны. У меня была собственная семиотическая теория человеческой деятельности, и я пытался согласовать ее с только что открывшейся для меня концепцией М.С. Кагана. Я знал уже, что Моисей Самойлович – профессор той самой кафедры, на которую я поступал, и это вселяло в меня надежду многое прояснить в ходе совместной работы.

На экзамене М.С. Кагана не было, хотя сообщили, что он является членом приемной экзаменационной комиссии. В большой аудитории, где все происходило, только что завершилось объявление результатов экзамена. Присутствовали все его участники. Меня очень обрадовало, что из 34-х абитуриентов отличную оценку получило только семеро, среди которых был и я. Присутствовавшие стали подниматься и направляться к выходу. В этот момент в аудиторию вошел человек, одетый в серый костюм, с галстуком, в руке у него был дипломат. Его внешний вид сразу говорил, что он – профессор. Я находился рядом с ним и сразу угадал, что это Моисей Самойлович Каган. Он опоздал на экзамен и начал с извинений перед членами комиссии.

Шел сентябрь 1993 года. Моисею Самойловичу семьдесят два. Он худощав, подтянут, носит усы. В его подтянутости чувствовалась какая-

то напряженность – результат ранения. Двигался он быстро, с военной выправкой, но плавности в этом движении не было. Угловатость – характерная черта своеобразной кагановской пластики: мне всегда хотелось нарисовать его портрет в кубистической манере. Лицо его – лицо философа, высокий лоб на лысеющей голове покрыт морщинами, взгляд сочетает серьезность и иронию, которую подчеркивали или останавливали улыбка и усы. Усы – гусарская принадлежность – всегда придают человеку молодцеватость, ухарство, плохо вяжутся с обликом серьезного и печального философа. Пожалуй, лишь сарказм оказывался способом сочетания этих столь разных установок, улыбка Вольтера – самое наглядное воплощение подобного сарказма. Но Моисей Самойлович писал книги, лишённые эмоций. Они стремились с натуралистической точностью воспроизвести описываемый ими мир. Автор умался в них до почти полного его отсутствия. Философию М.С. Кагана должно назвать эпической. А его саркастические усы были символом не столько философии, сколько удивительной личности философа, существовавшей за пределами его текстов. Читателям книг М.С. Кагана невозможно узнать их автора.

Я очень переживал в ожидании назначения мне научного руководителя: им мог быть только Моисей Самойлович Каган. Меня сложно чему-либо научить; Моисей Самойлович – один из немногих ученых, у кого можно было учиться бесконечно. И судьба оказалась на моей стороне. Именно М.С. Каган стал моим руководителем и консультантом, больше того – настоящим учителем, к которому даже сегодня, после его смерти, я не перестаю обращаться с вопросами. Параллельно с аспирантурой я окончил философский факультет, потом докторантуру. Все мои диссертации и философский диплом писались под его руководством. Позднее Моисей Самойлович на защите моей диссертации скажет, что я – один из двух его учеников, у которых он учился сам. Я не знаю, чему научился он, но я учился у него многому. Учиться трудно, то есть несложно накапливать знания, сложно развивать собственную концепцию. К моменту начала моей работы с Моисеем Самойловичем у меня уже имелась собственная концепция. И никто, кроме меня самого, не мог бы изменить ее, а тем более заставить отказаться от нее. М.С. Каган был носителем настоящей живой философской мысли. Он пытался заново воссоздать мир средствами собственной философии. Такая жизнь не может не задевать своих свидетелей. Если философия создается всерьез, она должна быть воспринята как вызов, на который необходимо дать ответ. Выработка ответа и является подлинной учебой. В этой выработке есть и простое стремление подражать учителю, его примеру настоящего труда, – и это дорогого стоит, – но главное все же в том, что



концепции Моисея Самойловича позволяли развивать собственные идеи, понимать объясняемый ими мир, спорить и даже разрушать компоненты их конструкции.

М.С. Каган был принципиальным философом, он не мог согласиться с оппонентом, если считал, что его доводы неубедительны. Согласие возможно было либо как обогащение его собственной системы, либо как отказ от нее. И то и другое – редкость для настоящего мыслителя, который создает модели мира в ходе кропотливой и талантливой работы. Ученикам своим, претендовавшим на статус философа, он предоставлял самим убедиться в обоснованности его аргументов, а их аргументы подвергал беспощадной критике. Если ему не удавалось убедить оппонента, он всегда допускал, что сам пока еще не способен воспринять справедливость той или иной позиции, но не признавал ее в силу данного обстоятельства в качестве существенной для понимания мира. Это давало простор для творчества, но и ограничивало его результаты, точнее, дисциплинировало, требовало титанических усилий для того, чтобы добиться подлинного их признания.

Самое главное, усвоенное из уроков М.С. Кагана, – то, что философия конструктивна, что она обязана содержать проверяемые и принципиально понятные для любого ученого тезисы, которые должны претендовать на убедительность, но не на окончательность научного поиска. М.С. Каган был великим рационалистом наших дней, он стремился к логической строгости, а не к языковой выразительности, столь модной в наше эпигонское время. В моем ученичестве я знал только одного человека, рационализм которого обладал бы такой же ценностью и последовательностью. Это Алексей Григорьевич Черняков. Однако если усилия М.С. Кагана были направлены на создание собственных философских моделей, то Алексей Григорьевич стремился к пониманию чужих философских концепций. Учиться истории философии у него – настоящий дар судьбы. Модели, создаваемые Моисеем Самойловичем, могли оказаться не вполне удачными или наоборот – существенно прояснять многие важнейшие вопросы теории и истории культуры, однако они неизменно понятны и верифицируемы. С их помощью всегда удавалось развивать знание и прояснять ситуацию. Метод Моисея Самойловича, как бы он ни назывался: системный подход, деятельностный подход, синергетика, – всегда был призван обнаружить основания для описания мира, то есть являлся подлинной философской работой. Такая работа не могла не быть интересной, потому что поиск оснований невозможен без оригинальности и универсальности полученных в его результате знаний. Если ученику удавалось понять этот метод и присвоить его, он приобретал бесценный философский опыт.

3

Наше личное знакомство состоялось спустя месяц после моего зачисления в аспирантуру. Моисей Самойлович любил общаться со своими учениками дома. Я взял на кафедре его телефон, получил приглашение и приехал. Жил Моисей Самойлович в прекрасной старой квартире недалеко от метро «Чернышевская», в самом центре города. Я шел к знаменитому петербургскому профессору, живущему в таком месте, ожидая чего-то чудесного. Помню, как очень огорчился, что на массивной, обитой кожей, двустворчатой двойной двери его квартиры не нашел металлической таблички с надписью «Профессор М.С. Каган». Но времена были иные, и подобная табличка уже мало кому внушала почтение и даже могла вызвать нездоровый интерес. Квартира М.С. Кагана была воротами в старую петербургскую культуру. Высокие потолки, коридоры, многочисленные комнаты (я так и не узнал, сколько их); стены увешаны картинами, вокруг множество произведений искусства мелкой пластики. Особенно поражал кабинет: очень большой и весь заставлен и завален книгами. Книги везде – в шкафах, на полу, на столах. Не понимаю, каким образом Моисей Самойлович находил в этой библиотеке нужную для него литературу. Из окна кабинета виден двор-колодец, куда редко могло заглянуть солнце, но сумрак и электрический свет создавали особую атмосферу уединения и покоя, искусственного тепла, так характерного для Петербурга. Свой город М.С. Каган не просто любил и изучал, он жил его жизнью, был частью этой жизни и навсегда останется ею. Воздух Петербурга сегодня невозможен без того интеллектуального компонента, который создал Моисей Самойлович.

В кабинете Моисея Самойловича – несколько столов. Два рабочих: большой классический письменный стол и поменьше – компьютерный. Новая техника только входила в моду, но уже внесла изменение в интерьер кабинета философа. А кроме них еще круглый – для приема гостей. Я сел к нему, и мы начали беседу. К тому времени Моисей Самойлович прочитал мой реферат, и я очень боялся его мнения. Однако он почти ничего не сказал мне о его содержании, только о методе. «Если бы я был Лотманом, мне бы понравилось твое стремление все свести к коммуникативным и даже знаковым конструкциям, но мне кажется, что ты все упростил, попробуй взглянуть на мир более широко. Знаки – только одна из граней более сложной структуры мира». Я тогда не мог с этим согласиться, но не мог и просто забыть это пожелание. Оно словно исподволь заставляло меня принимать его в расчет, прорастало и стимулировало отход от моего семиотического проекта. Кандидатская диссертация, правда, была написана полностью в семиотическом стиле, но она стала после-



дним шагом на этом пути. Универсальность взгляда на мир, присущая Моисею Самойловичу, многим казалась чем-то вроде разношерстности учебника, однако она всегда обладала единством; пускай даже это единство было подчас только формальным, оно показывало относительность любой точки зрения на культуру и требовало продолжения исследований, выходя за пределы любой методологической ограниченности. Один из моих коллег как-то раз пошутил: «У Кагана, как в Библии, все есть». Пожалуй, с этим можно согласиться. У всякого философа все должно быть, он не исследует какой-то определенный объект, но создает универсальную основу для исследования любого объекта. И М.С. Каган, несомненно, работал именно так.

Однажды он позвонил мне сам и неожиданно пригласил зайти. Оказалось, что он прочитал мою статью, посвященную памятнику Петра Великого работы Шемякина. В этой статье я утверждал, что памятник выражает тот период в деятельности Петра, который предшествовал его смерти. Это период, когда Император устал от своей деятельности и, возможно, понял всю ее сложность и принципиальную незавершенность. Я утверждал, что сомнительность петровских реформ заключалась в их попытке игнорировать православные начала русской культуры, в чрезмерном энигонстве в своей ориентации на западные образцы, чем очень разочаровал Моисея Самойловича. Он сказал мне, чтобы я искал нового руководителя. Атеизм Моисея Самойловича был больше чем философский скепсис, он был последовательной позицией, граничившей с верой. Я ответил, что считаю религию источником любой самобытной культуры, но ни в коем случае не основой для философствования или научной работы. Для меня как ученого религия не является ответом на все вопросы, но не учитывать ее подлинной роли в истории культуры я не могу. М.С. Каган считал, что я преувеличиваю эту роль, но он, по крайней мере, понял, что я не отношусь к религиозным фанатикам и, будучи верующим человеком, вполне в состоянии воспринимать атеистические аргументы. Эпизод был очень тяжелым, но я решил не менять руководителя, а Моисей Самойлович – не отказываться от своего аспиранта.

Моя работа над дипломом («Онтологические основания семиотики») и кандидатской диссертацией («Семиотический анализ художественной культуры») никогда не носила характера выполнения научного задания руководителя. Я создавал готовый текст и выслушивал критику и рекомендации. Учитывал я эти рекомендации только тогда, когда считал возможным. Наконец, работа была завершена. На предварительной защите она была просто разгромлена оппонентами. И тогда, и сегодня я не отказался ни от одного своего положения, высказанного в диссертации, и до сих пор считаю эту критику глубоко несправедливой. Единствен-

ное замечание, с которым я согласился, – указание на то, что в работе слишком мало внимания уделено непосредственно ее предмету. В самом деле, пытаясь создать модель семиотической структуры искусства, я слишком много занимался основаниями построения этой модели. Увлёкся философствованием. Пришлось дописать новую главу, а те, которые были представлены в первоначальном варианте, существенно сократить. Позиция М.С. Кагана в этой ситуации мне до сих пор кажется чрезвычайно поучительной. Он утверждал, и, безусловно, справедливо, что в силу чрезмерной абстрактности моей теории она трудно поддается проверке. Сам М.С. Каган считал ее непонятной и не решился поддержать или опровергнуть, но признал, что она может содержать ценные компоненты, по крайней мере, для потенциальных читателей. Тогда я не мог ничего исправить: это был стиль моего мышления тех лет, – и Моисей Самойлович хорошо это понял. Он заявил, что требовать от меня иного мышления невозможно, потому что такова уж на сегодня моя природа, и она не меняется за несколько дней, но лишь в результате длительного развития на основе собственных стимулов, а не требований со стороны.

Докторская диссертация («Общение в истории культуры») была написана уже совершенно в другом стиле. Прозрачна и понятна вплоть до тривиальности. Мне до сих пор она кажется результатом скорее требований жанра, чем научного вдохновения. В связи с ее подготовкой и защитой я не могу не вспомнить три эпизода, ярко демонстрирующих личность и научную позицию Моисея Самойловича. На обсуждении темы моей докторской зашла речь о том, что соискатель слишком молод. Никогда не забуду ответ М.С. Кагана: «Не забывайте, пожалуйста, одной важной истины – ученые делятся не на молодых и старых, но на талантливых и бездарных». Когда работа была готова, возникли проблемы принципиально иного характера, чем в истории с кандидатской. Диссертация была посвящена культуре общения, М.С. Каган написал об этом книгу «Мир общения». Я тогда находился уже под очень большим влиянием его философии, прочитал очень много его книг, и не мог не разрушать его концепции в ходе собственной их рецепции. Так, мне казалось чересчур мощным его различие общения и коммуникации. Он полагал, что возможны такие виды деятельности, в которых происходит объективация человека, и, в частности, это явление он видел в коммуникации. Я же считал, что человек остается человеком всегда, то есть сохраняет свою субъективность даже в тех случаях, когда ему приходится ее скрывать или блокировать. Спор был очень жарким. В один из его моментов М.С. Каган воскликнул: «Ты хочешь довести меня до инфаркта!» Но дело в том, что в споре сошлись два принципиальных философа, обладающих и аргументами, и основаниями собственной теории. Каждый так и остался при своем, но



это не помешало Моисею Самойловичу активно поддержать мою докторскую диссертацию. На ее защите он даже позволил себе, несмотря на то, что научному руководителю это возбраняется по статусу, высказать ряд аргументов в пользу моей концепции, когда один из участников дискуссии пытался защищать его – М.С. Кагана – собственные тезисы о различии общения и коммуникации.

Как-то, получая заработную плату за научное руководство моей дипломной работой, М.С. Каган сказал мне: «Вот бы так всегда, ничего не делать, а зарплату получать». Но «ничего не делать» можно было только М.С. Кагану, потому что в своих книгах он уже все сделал. Читай и учись; ведь лучше, чем в книге, все равно невозможно высказать собственную позицию. А книг Моисей Самойлович написал очень много и щедро дарил их своим ученикам. Покупать их было не нужно. Моисей Самойлович знал, как работать по-настоящему и как учить своих учеников.

4

Помимо личных встреч я много видел М.С. Кагана в работе на кафедре, в аудитории, на конференциях. Обсуждение диссертаций, научные дискуссии были его настоящим коньком. Никто не мог столь мастерски воспроизвести чужой аргумент, обнаружить слабость в его основаниях и предложить способ усиления. В самой запутанной ситуации голос М.С. Кагана был как источник света, рассеивавший тьму. Природа этого явления, на мой взгляд, заключалась в том, что М.С. Каган был настоящим философом. Он был профессионалом-ученым, тратившим много времени на исследование чужих точек зрения, читал чрезвычайно много и систематически; я думаю, что он способен был в считанные минуты составить внушительный библиографический список почти по любому философскому вопросу. Блестящее знание европейских языков открывало ему путь ко всем заметным явлениям не только отечественной, но и мировой научной жизни. Но главное, он обладал собственной философской концепцией, позволявшей оценить другую идею. Только имея адекватную универсальную модель объекта, расположенную на прочном принципиальном фундаменте, можно понять слабость и силу иной концепции. В аудитории и на конференции он никогда не пользовался заранее подготовленными черновиками лекции и доклада. Этого не требовалось именно потому, что концепция его была четкой и логичной. Одно вытекало из другого и представляло собой сеть, которую оставалось лишь распутать на глазах у слушателя. Сеть была универсальной, а следовательно, большой, и ее можно было увеличивать или сокращать по мере необходимости.

Однажды на своем юбилее – в Санкт-Петербургском университете отмечали восьмидесятилетие М.С. Кагана – он завершал конференцию. До сих пор я помню его слова. «Если бы я не обладал чувством юмора, – сказал Моисей Самойлович, – я бы поверил всем тем комплиментам, которые получил сегодня, но я никогда не жаловался на отсутствие этого чувства. Я очень благодарен всем за поздравления, но еще больше за критику моих идей; она означает, что я работал не зря. Я был на многих юбилеях, слышал много комплиментов, поэтому и решил провести свой юбилей в форме конференции: именно реакция на мои идеи является для меня лучшим поздравлением. Меня многие критикуют, но мне уже поздно что-либо менять в своей концепции, пускай она останется такой, как есть, и я буду рад, если смогу чем-либо быть полезным моим оппонентам и ученикам в их работе. Говорят, что сегодня не принято быть понятным – это значит быть банальным, но я остаюсь рационалистом и уверен, что наука невозможна без рационально обоснованного метода. Только рациональные доводы могут принести пользу, хотя бы в форме их отрицания и критики. Если истина банальна – я выбираю банальность».

Иногда М.С. Каган казался мне последним рыцарем рационализма. И я очень страдал, когда Моисей Самойлович делал какие-то уступки времени. Так, например, его идея о том, что философия – не только наука благодаря тому, что опирается на эмпирический опыт и строит прогнозы, представляется мне именно подобной уступкой. Ведь и математика не опирается на эмпирический опыт и строит прогнозы, но остается подлинной наукой. Другое дело, что даже математика не основывается только на одной системе аксиом и допускает различные системы. В этом философия тоже мало отличается от математики. Но уступки времени и компромиссы – не были характерной чертой М.С. Кагана, главное в нем – принципиальное следование избранной позиции, даже если большинству она казалась смешной в силу якобы своей архаичности. До конца М.С. Каган оставался рационалистом, до конца сохранил верность марксизму и научил своих учеников видеть его ценность, различать догматическое следование мертвым формулам и эвристические перспективы тех или иных идей.

В 2003 году Моисей Самойлович заболел. После операции на сердце – ему вживляли кардиостимулятор – я с еще одной его ученицей навестил Моисея Самойловича в больницу. Помню чистую палату, кровать, книги и рукописи вокруг. Работать Моисей Самойлович не прекращал никогда, но никогда не производил впечатления перегруженного человека. «Я не только работаю, – сказал Моисей Самойлович, – вот еще читаю прелестную беллетристику», – и показал нам книжку на



французском языке какого-то неизвестного автора девятнадцатого века. Мы вошли, когда у него был врач. «Опять Ваши ученики? – спросил он. – Лечить некогда».

Сколько было учеников у Моисея Самойловича? Трудно сосчитать. Как ему хватало на них времени? Невозможно понять. Однажды я спросил об этом. «Главное – уметь распределять правильно время, не отвлекаться на пустяки, посвятить всего себя делу. Например, не нужно тратить время на руководство какими-либо коллективами. Философия создается не в коллективе, каждый философ работает в одиночку, – ответил Моисей Самойлович и добавил, – наука – это прекрасная игра; нужно никогда не забывать об этом, и только тогда она не превратится в тяжкую обязанность». К сожалению, я не сумел послушаться его совета и слишком много занимался административной работой.

Ирония и шутка всегда были частью отношения Моисея Самойловича к науке и к жизни. Тогда в больнице, указав на свое сердце, он тоже пошутил: «Вот, стал киборгом». Мы очень боялись за его здоровье. Но он казался способным преодолеть все недуги. Выписавшись из больницы, он вернулся к работе, вновь продолжал печатать свои книги. Начиная с 1994 года не проходило и шести месяцев, чтобы не появлялась новая. После выхода в свет трилогии «Философия культуры», «Эстетика», «Теория ценностей» мы решили устроить на кафедре его творческий вечер.

Приближался день рождения Моисея Самойловича, была весна, после больницы он казался совершенно таким же, как до операции: веселым, здоровым, заряженным на работу. Моисей Самойлович рассказывал, как писал книги, как от интереса к искусству перешел к антропологии и философии культуры, поскольку понял, что ключ к разгадке искусства лежит в структуре человеческой деятельности, рассказывал, как не просто было ему печатать свои работы вплоть до начала девяностых годов, как грустно бывает, когда заканчиваешь книгу, но как все оживает, когда начинаешь писать новую, как хочется успеть написать еще книгу по онтологии. Я, помню, сказал ему тогда: «Вы, Моисей Самойлович, непростительно тратите свое время. Столько лет занимались искусством, культурой, человеком и совсем забыли о бытии, оставив его на потом». «Я обязательно успею написать и о бытии. Никогда не было так, чтобы я не заканчивал то, что начинал», – ответил он. И слово сдержал, правда, последнюю свою книгу «Метаморфозы бытия и небытия» ему так и не довелось полистать. «Одно из самых моих больших удовольствий, – говорил Моисей Самойлович, – открыть только что вышедшую из печати книжку, особенно если я сам – ее автор». Мы слушали Моисея Самойловича и старались запомнить его слова, улыбки, жесты. Одна из аспиранток спела красивую песню про еврейского портного. Мне всегда каза-

лось, что Моисей Самойлович принадлежит всем нациям и всем культурам, но тогда – благодаря этой песне – мы все почувствовали себя родственниками Моисея Самойловича, частью его большой еврейской семьи. Впрочем, ведь не случайно же ученики какого-либо руководителя называют себя научными детьми, сестрами и братьями. В этом почти нет преувеличения, особенно если речь идет о научной школе М.С. Кагана.

Между Моисеем Самойловичем и его учениками никогда не было дистанции. Это происходило не потому, что он позволял фамильярность к себе или к другим, нет. Это было каким-то естественным следствием его личного обаяния. Он умел уважать людей и ценил общение с ними. Прогуливаясь по центру города с одним из коллег по кафедре и оказавшись недалеко от его дома, я очень захотел увидеть Моисея Самойловича. Позвонил ему и напросился в гости. Он радушно согласился, и мы оказались в его кухне. Моисей Самойлович был очень гостеприимен: достал свой любимый коньяк, нарезал закусок, и мы долго говорили. Особенно запомнились его воспоминания об ученых тридцатых–сороковых годов: В.Жирмунском, И.Иоффе, о его современниках – Игоре Конне, Федоре Абрамове. Позже я с увлечением, буквально за одну ночь, прочитал его книгу мемуаров. Весь философский факультет Санкт-Петербурга с момента его основания стал благодаря этой книге живым собранием лиц, со всеми их достоинствами и недостатками. Себя Моисей Самойлович тоже не щадил, старался не оправдывать те поступки, за которые себя порицал, и всегда разбираться в причинах тех или иных действий. Завершая разговор в тот вечер, он с грустью сказал: «А ведь сегодня уже нет ни того интереса к науке, ни тех выдающихся людей, кого имело бы смысл слушать или читать. Но я, поняв однажды в юности, что быть профессором – лучшая в мире работа, и сегодня не променяю ее ни на что».

Мысль о том, что Моисей Самойлович есть, что ему можно всегда позвонить, всегда попросить совета или даже прийти в гости, была утешением, позволяла надеяться на то, что нет ни одной неразрешимой научной проблемы, любая из них по плечу, пока жив профессор М.С. Каган. Я знал, что подлинный ответ на любой научный вопрос должен дать тот, кто его задает, что обращаться к кому-либо другому за ответом бесполезно. Но, несмотря ни на что, мысль, что Моисей Самойлович рядом, всегда была чем-то вроде знания того, что где-то существует родной дом, куда всегда можно вернуться из любого путешествия.

5

Однажды мне удалось позвать Моисея Самойловича и к себе в гости. Он приехал со своей женой Юлией Освальдовной, и мы провели со-



вместный семейный вечер. Я волновался накануне и узнавал у знакомых, что предпочитает Моисей Самойлович. Выяснил, что коньяк «Hennessy». Когда я предложил ему сок, Моисей Самойлович, улыбувшись, заметил: «Как можно пить сок, если осталось столько хорошего коньяка?» Шутки Моисея Самойловича были особым даром, казалось, он знал все анекдоты на свете и по любому поводу мог припомнить подходящую смешную историю. Даже о себе он шутил очаровательно и бесконечно. Однажды я пытался о чем-то ему напомнить. Он посмотрел на меня своим привычным взглядом, обладавшим восхитительным сочетанием серьезного и ироничного: «Как ты можешь, зная о моем возрасте, спрашивать меня, помню ли я о чем-либо?» В тот вечер, попробовав торт, приготовленный моей мамой, он сказал: «Не понимаю, почему мы до сих пор не стали миллионерами: если бы создать всем нам кафе, где продавался бы такой деликатес, туда бы всегда стояла очередь».

Застолье Моисей Самойлович умел превратить в настоящее искусство. Все знали об этом, и было само собой разумеющимся поручать Моисею Самойловичу роль тамады. Благодаря Моисею Самойловичу все участники торжества всегда чувствовали себя единым целым, не делились на партии и группы в зависимости от места за столом. Искусство тамады, которым владел в совершенстве Моисей Самойлович, заключалось в его умении поддерживать внимание к своим шуткам. Он постоянно, с очень небольшими перерывами, произносил тосты, а главное – поручал произносить их другим людям, предваряя это лестной и одновременно ироничной оценкой. Каждый ждал своей очереди и слов в свой адрес, не зная еще, чего в них будет больше – похвалы или иронии. Но даже ирония в его устах не могла не польстить. Способность сказать что-либо интересное о каждом из собравшихся была еще одним удивительным талантом Кагана.

Банкет после защиты, юбилей кафедры или какого-либо ученого Моисей Самойлович превращал в не менее значимое событие, чем оно само. Подчас на банкет приходило народу больше, чем на научный диспут, и совсем не потому, что очень хотелось поесть за чужой счет. Мне запомнился юбилей Алисы Петровны Валицкой, на котором не все поместились даже за огромным, составленным из парт, столом на кафедре эстетики и этики герценовского университета. Моисей Самойлович превратил застолье в драматическое событие со своими завязками, кульминациями и финалом. Благодаря филигранной последовательности тостов Алиса Петровна предстала самой очаровательной и самой значительной персоной на празднике. Восхищению Моисеем Самойловичем никогда не было конца, в него продолжали влюбляться молодые аспирантки, несмотря на всю противозаконность подобных чувств. Впечатление

полноты жизни, оставленное им, никогда не забудется никем из тех, кому посчастливилось его получить.

Не могу не вспомнить и о том, каким был Моисей Самойлович во время грустных событий. После похорон профессора Галины Константиновны Щедриной, во время поминок, мы не могли сдержать слез, настолько ужасной казалась эта неожиданная утрата. Говорить было очень тяжело, но Моисей Самойлович нашел именно те слова, которых так не хватало. «Галина Константиновна, – сказал он, – очень любила то, чем занималась, она смогла передать эту любовь людям, которые ее окружали. Пока мы храним эту любовь, будет существовать и память о ней, будет существовать наша наука, будет существовать наша петербургская культура, частью которой она навсегда останется. Мне бы очень хотелось, чтобы ее пример никогда не был забыт, чтобы Петербург не остался без тех людей, благодаря которым он достоин любви». Мы слушали его слова и знали, что Моисей Самойлович с нами, что мы никогда не забудем Галину Константиновну, что петербургская наука будет жить даже тогда, когда уйдут те, кто сегодня составляет ее гордость и славу. И это было лучшим утешением для нас в те скорбные минуты.

В последний год жизни Моисея Самойловича я не видел его. Мне пришлось уехать на Дальний Восток России. Командировок было мало, я появлялся в Санкт-Петербурге раз или два в год, и вот в конце осени 2005 года узнал, что Моисей Самойлович смертельно болен. Я хотел позвонить ему, но не знал, о чем говорить. Прежде никогда не чувствовал, что может настать такой момент, когда наш разговор окажется последним, и я не боялся не звонить подолгу. А теперь я испугался, но мне не хотелось, чтобы Моисей Самойлович почувствовал этот страх. Ему и без меня достаточно страха. Однако он все-таки почувствовал его. «Ты узнал о моей болезни? – спросил он. – Не волнуйся, я многое успел, и врачи сказали мне, что у меня еще есть некоторое время для того, чтобы закончить задуманную работу. Я хочу составить собрание моих сочинений. Если успею – значит, у меня была действительно счастливая судьба». И он все успел. Пожалуй, только учебника по философии для детей не написал, про который говорил в последние пару лет. Но собрание сочинений и книга по онтологии были им подготовлены. Последний мой звонок состоялся за неделю до его смерти. Той зимой я звонил ему каждую неделю, иногда он разговаривал со мной, иногда мне говорили, что ему плохо и он не в состоянии общаться. Чаще я все же слышал его голос. Мне, наконец, удалось прояснить сроки командировки: она должна была состояться через месяц. «Мы увидимся?» – спросил я. «Обязательно, если, конечно, буду жив», – ответил Моисей Самойлович. На его похороны я попросил пойти мою маму, которую Моисей Самойлович знал; она



рассказала мне о них, что могла. Я ужасно переживал, что сам не смог попасть туда и в последний раз посмотреть на своего учителя. Но то, что я запомнил его живым и здоровым, тоже важно.

Сегодня у меня нет, как прежде, утешения в том, что я могу задать Моисею Самойловичу вопрос и получить на него ответ. Утрата великого ученого невосполнима не только потому, что ушел человек, которого любили родные, друзья, ученики, который был неповторим. Это утрата учителя, который знал что-то такое, чего не знал никто до него и никто после не будет знать. И знание это было ценностью для всего научного сообщества. Но со всякой утратой придется смириться. Моисей Самойлович все успел. Он сделал так много, что никогда отечественная культурология и эстетика не будут уже существовать без его вклада. Книги долговечнее их авторов, и они будут продолжать растить семью учеников Моисея Самойловича. Сегодня они стали хрестоматийными, и я каждому своему студенту говорю: существует такое множество интересных текстов в современной культурологии, что можно многое не успеть прочитать, однако книги Моисея Самойловича Кагана необходимо прочесть в первую очередь, поскольку они обладают способностью быть понятными даже начинающим и полезными даже тем, кто уже решил, что все знает. Книги остаются даже тогда, когда уходят те, кто знал их автора – Моисея Самойловича Кагана. Но его шутки, его уважение к коллегам и ученикам, его живая речь, его любовь к науке, его пример профессионализма и образ настоящего философа уже никогда больше не будут существовать для тех, кто этого не видел и не слышал. Именно поэтому я пишу эти воспоминания, они дороги мне как часть моей жизни и как единственный оставшийся мне способ общения с живущим в них Моисеем Самойловичем Каганом.

КУЛЬТУРА КАК ПРОФЕССИЯ

К. В. Долинина*

С тех пор, как на 85-м году жизни умер Моисей Самойлович Каган, прошло пять лет. Наши семьи пересекались многожды и в самых различных комбинациях – в нескольких поколениях, ученичеством, личными дружбами, через общих знакомых, общие места работы. Мы могли годами не видеться, но присутствие друг друга ощущалось всегда как данность. Моисей Самойлович успел поучиться на филфаке у моего прадеда, Григория Александровича Гуковского, и сказанные им, что важнее, по-настоящему услышанные тогда на лекциях слова, оставили свой заметный след во многих будущих работах Кагана. Когда, уже в восьмидесятых, я приходила в дом Каганов на Чайковского в качестве приятельницы их сына, я была принята как наследница большой традиции и как априори родной человек. Когда я слушала лекции Моисея Самойловича на истфаке, мне казалось, что в этом голосе есть и отголосок знаменитых лекций моего прадеда, услышать которые мне не довелось. Я и представить себе не могла, что мне выпадет жребий писать некролог этому большому ученому и близкому человеку. Но так случилось – и это было для меня великой честью.

Моисей Самойлович родился 18 мая 1921 года в Киеве. Вскоре семья переехала в Ленинград. В 38-м, на исходе ежовщины, арестовали отца. После школы юноша, с детства знавший французский и немецкий, выбрал филфак ЛГУ – надеялся так быстрее получить профессию, способную прокормить маму и сестру. За три года закончил четыре курса блистательного тогда романо-германского отделения филологического факультета Ленинградского государственного университета. В 1941 году вместе с сокурсниками, досрочно получившими дипломы, ушел добровольцем на фронт в составе народного ополчения. При обороне Ленинграда в боях под Петергофом был ранен и признан инвалидом войны. В последнем из долгой цепи госпиталей, в Перми, работал политруком. В Ленинград вернулся в 1944 году. Но уже не на филологический, а на исторический факультет – поступил в аспирантуру кафедры истории ис-

* Долинина Кира Владимировна – искусствовед, художественный критик, обозреватель Издательского Дома «Коммерсантъ». Преподаватель факультета истории искусств Европейского университета в Санкт-Петербурге.



кусства. Этот переход, может быть, его спасет — в 1949-м филфак почти полностью погибнет в борьбе с космополитизмом, истфак же, за отсутствием такого количества профессоров-звезд, пострадает гораздо меньше. И этот же переход с факультета на факультет можно считать главным в его научном становлении — с этого момента и до конца жизни Моисея Кагана будет интересоваться не столько анализ произведений, сколько природа искусства и его восприятия. Следующий переход — уже качественный, Каган станет профессором философского факультета, где и создаст главные свои книги.

Студенты в шутку называли Кагана «главным эстетом Советского Союза». Действительно, слушать курс по эстетике в чем-либо ином исполнении было невозможно. У него же эстетика превращалась в стройную концепцию, в которой было гораздо меньше догм, чем сомнений и предположений. Основная сфера научных интересов профессора Кагана — системный подход к изучению человеческой деятельности, теории и истории культуры и искусства. Он верил, что культура есть единый организм, что она, как целое, может не обладать свойствами, присущими всем его частям, что изучать ее необходимо комплексно, не разбивая на мелкие составляющие, за которыми не видно общего. Эти идеи есть во всех его книгах — и в ранней «Морфологии искусства» (1972), и в зрелых «Философии культуры» (1996) или «Философской теории ценности» (1997), и в чисто исторических вроде бы «Граде Петровом в истории русской культуры» (1996) или «Истории культуры Петербурга» (1999), и в ностальгически-искусствоведческом сборнике «Искусствознание и художественная критика» (2000), и в мемуарах «О времени, о людях, о себе» (2005). Он видел культуру как универсальный мир и сам был универсальным исследователем этого мира.

Он долго и тяжело болел. Об этом знали его близкие. Но город, в котором он прожил почти всю свою жизнь, этой болезни как бы не замечал — Моисей Каган был из тех ученых, которые представляют в науке не лицом, но книгами. Десятки его монографий, учебников, эссе продолжали активно жить, создавая эффект значимого присутствия их автора в жизни читателей. Однако он не был исключительно «книжным» человеком — он существовал в культуре Петербурга как важная ее составляющая, как камертон, по которому настраивались идеи и система ценностей нескольких поколений петербуржцев. Пять лет назад исчез его негромкий, но важный для многих голос. Не заметить это уже невозможно.

Из газеты «Коммерсантъ» от 14 февраля 2006 года

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Г. И. Елинер*

Заочно с Моисеем Самойловичем Каганом я познакомился давно, в 1973, когда усиленно интересовался работами А.Богданова, П.Анохина, Л. фон Берталанфи. Тогда было опубликовано исследование Кагана «О системном подходе к системному подходу». Само название работы уже говорило о смелости ученого и глубоком юморе, свойственном автору, а ее прочтение и об оригинальном складе его ума, который заключался в таланте цельно и вместе с тем схематично представлять изучаемый им объект исследования.

Затем мы несколько раз встречались в Гуманитарном университете профсоюзов, на кафедре искусствоведения, когда ее возглавлял А.Гуревич, я же читал лекции по экспертизе произведений искусств. В то время на кафедре искусствоведения царил дружеская атмосфера, а на частых кафедральных посиделках Моисей Самойлович был постоянным тамадой, который на каждую обсуждаемую тему мог рассказать забавный, весьма пикантный анекдот, курьезный случай из собственной биографии или из жизни его многочисленных знакомых. Относясь к Моисею Самойловичу с глубоким уважением и понимая его занятость, я не решался обсуждать с ним интересующие меня темы, касающиеся методологических проблем науки, связанных с изучением закономерностей организации сложных, открытых и гибких систем.

Познакомил и сблизил нас Георгий Александрович Праздников. С тех пор Моисей Самойлович и его жена Юлия Освальдовна стали частыми гостями в нашем довольно открытом доме, где проходили в течение более пяти лет вечера-капустники, вечера-концерты кафедры, на которых постоянными и активными гостями были искусствовед Эмиль Яковлевич Ясенец, артист Леонид Мозговой, преподаватели и студенты с других кафедр и даже институтов. К сожалению, в связи со смертью главного катализатора этих встреч Эмиля Яковлевича и окончанием учебы в университете моей дочери такие вечера стали очень редки.

Вместе с тем наша дружба с семьей Моисея Самойловича год от года укреплялась. Мы стали видаться как у него дома, так и у меня, в ком-

* Елинер Григорий Ильич – врач-психиатр, нейрофизиолог, кандидат медицинских наук, председатель медико-биологической секции Санкт-Петербургского отделения общества «Знание». Поэт. Автор четырех научных монографий и пяти сборников стихов.



пании четы Праздниковых. Дома у Моисея Самойловича чаще всего происходили обсуждения научных тем, которыми были озабочены и я, и мои дети: Илья, доктор культурологии, заведующий кафедрой медиадизайна факультета информационных технологий СПбГУКИ, и моя дочь Наталья – кандидат искусствоведческих наук, эксперт-искусствовед большой юридической фирмы, возглавляемой Михаилом Григорьевичем Любарским.

Однако не все в жизни идет гладко и развивается линейно. Сложные, открытые и гибкие системы в своем развитии имеют много ответвлений, идущих как вверх, так и вниз. Маленькие детки – маленькие бедки, большие детки – большие бедки. В связи с этой поговоркой хотелось бы отметить несколько свойств личности Моисея Самойловича: объективность, человечность и исключительную надежность. Человек чаще всего наиболее полно раскрывается не в праздниках, а в экстремальных жизненных ситуациях, когда наступает черная полоса. Защищалась моя дочь. Несмотря на красный диплом, полученный при окончании университета профсоюзов, ее обвинили в плагиате, причем обвинение исходило из большого университета. Сначала реакция Моисея Самойловича была до боли жесткой, после устного объяснения он потребовал обе работы на изучение и, убедившись в полной несостоятельности обвинения, резко изменил свою позицию и сделал все возможное, чтобы защита диссертации состоялась. Я понимал: он делает это не благодаря нашей дружбе, а именно разобравшись в самой сути конфликта и значимости проведенного исследования, посчитав обвинения результатом высокой эмоциональной неустойчивости обвиняющего лица. Интересно заметить, что при этом ни одного отрицательного эпитета в сторону обвинявшего не было произнесено. Это еще одна черта характера Кагана. Величайшая степень его тактичности является одной из характерных черт культуры российского интеллигента, опирающегося на всепрощение и понимание сложности духовной жизни личности, а творческой – в особенности.

Моисей Самойлович много писал об искусстве, любил предметы старины, и в этом наши вкусы совпадали. Его и мой дом были наполнены такими вещами, и, думаю, это также способствовало нашему сближению и взаимопониманию.

Хотелось бы поговорить и еще об одной удивительной черте не столь характера, сколько натуры – почти детская способности удивляться, восхищаться новизной. Ориентировочный рефлекс «что такое» обычно с начала периода взрослости притупляется, а к старости почти угасает. Моисей Самойлович сохранил его, можно сказать, в почти первозданном виде. Однажды мы собрались по какому-то радостному, праздничному поводу у нас дома в прежнем составе: чета Каганов, чета Праздниковых и

наша семья в ее полном, расширившемся к тому времени составе. Как обычно, тосты произносились по старшинству, и Моисей Самойлович со свойственным ему юмором и вполне серьезным видом произнес тост за хозяина: мол, он очень ему напоминает, и внешне и внутренне, Леонардо да Винчи: так же разносторонне талантлив – рисует, увлечен наукой, изобретает, пишет стихи... И тут я его прервал, сказав, что хочу продемонстрировать всем еще одно свое умение, о котором я сам до вчерашнего дня не догадывался. И, включив видеозапись, я продемонстрировал, как играю на фортепьяно, исполнив довольно сложное произведение, собственную музыкальную импровизацию. Вот тут я и увидел на лице Мики неподдельное детское удивление, граничащее с ощущением, почти детской обидой, что его обманывают, что ему продемонстрировали некий фокус. На самом же деле никакого фокуса не было. Буквально накануне я по телевизору в течение чуть ли не двух часов с огромным удовольствием смотрел мастер-класс пианиста Владимира Крайнего и, воодушевленный увиденным и услышанным, тут же сел за пианино и сыграл импровизацию. При этом я настолько был уверен, что у меня, никогда не сидевшего за инструментом, все получится, что заранее включил камеру, чтобы зафиксировать эту первую в жизни попытку. Интересно заметить, что с тех пор я довольно часто музицирую в компании композиторов, а недавно даже играл в доме композиторов.

Закончу воспоминание о Моисее Самойловиче самым грустным периодом его жизни. М.С. продолжал работать дома, его трудоспособности мог бы завидовать любой молодой человек. Даже за неделю до конца я заставлял его за компьютером, он не прекратил консультировать аспирантов. В те месяцы мы встречались почти каждый день и, пока у него были силы, выходили погулять. Он много вспоминал о своей молодости – довоенной, послевоенной, сталинском, хрущевском, брежневском времени. И в его словах не было ничего саркастического, ернического, брюзжащего, чего так много в современных оценках перестроившихся историков, философов, культурологов. Оценки его были объективными, отражающими реальность прожитого, того поля реальности, по которому ему пришлось пройти за почти семьдесят пять лет.

Последняя ночь. Мои дети, даже не разбудив меня, поехали по просьбе Юли за кислородной подушкой и привезли ее. Через пару часов МОИСЕЯ САМОЙЛОВИЧА КАГАНА не стало. Моя семья сохранит самую светлую память об этом большом ученом и замечательном человеке.

Конечно, это только штрихи к портрету Моисея Самойловича Кагана, ибо сложность и простота этого человека образовывали чрезвычайно яркую личность, многогранный талант которой не смогут отразить все тома его сочинений.



В моих поэтических сборниках можно найти много стихов, посвященных Моисею Самойловичу. Одно из них я и предоставляю на суд читателя...

СУТЬ

Замен великим не бывает:
Будь он художник,
 Будь артист –
Цветок единожды срывает
Познавший душу нигилист,

Орфеи, тронувшие лиру,
И Гамлеты, что ищут путь...
Великие несут открытия миру,
Вникая в истину и суть!

Из книги «Поцелуй на морозе». СПб., 2005. С. 249.

СЕ ЧЕЛОВЕК!

Б. А. Заборов*

Моисей Самойлович Каган старше меня на 13 лет. В 60-е годы, когда я впервые услышал его имя, возрастная разница была не только арифметической. М. Каган был уже серьезным ученым, блиставшим на небосклоне отечественной эстетики, профессором. Я – делающий первые шаги в ремесле, начинающий художник. Спустя годы, в начале 70-х, мой близкий товарищ Олег Сурский познакомил меня с полемикой, которая развернулась вокруг вышедшей из печати книги М. Кагана «Морфология искусства». Нужно признаться, что и сегодня структурные проблемы искусства не являются для меня приоритетными, а в те годы были совершенно непонятны. Но вот что оказалось доступно моему экстремистскому сознанию неуча, выпускника Московского художественного института им. Сурикова: М.Каган замахнулся на непререкаемый авторитет, на «несущую опору» идей марксистско-ленинской эстетики и социалистического реализма в советском искусстве – на господина М.Лифшица. Ясно было, что в этой, с позволения сказать, полемике, понимай – в задуманном избиении автора «Морфологии искусства» – М.Каган не только не покаялся, чего, собственно, и ожидали устроители фарса, но напротив, будучи «неслабым в коленках», атаковал своих ортодоксальных оппонентов. Стоит ли говорить, что наши симпатии безоговорочно были на стороне М.Кагана.

Позже, уже не помню при каких обстоятельствах, я познакомился с Моисеем Самойловичем лично. И с этого момента он стал для меня просто Микой, и любовь к нему никогда не подвергалась сомнению. За годы нашего знакомства Мика, подписывая свои книги, неизменно подчеркивал дружеское чувство: «Старым друзьям Ирине и Борису Заборовым – исповедь, с которой можно обращаться только к друзьям», «Борису Заборову, большому мастеру и ДРУГУ...» и т. п. Я дорого ценю его дружбу.

Мысленно беседуя с Микой, я вижу его с удивительной ясностью: широкою в щеках усатую улыбку, весь физический облик – мне близкий

* Заборов Борис Абрамович – живописец, скульптор, график, художник театра и кино. В 1955–1958 учился в Институте им. Репина в Ленинграде, в 1958–1961 в Институте им. Сурикова в Москве. С 1981 живет в Париже. Работы имеются во многих музеях Европы и России. В последние полтора десятилетия его персональные выставки неоднократно устраивались в Москве, Санкт-Петербурге, Минске.



и милый, слышу его голос. Словом, «если любовь была, ее ничто не может сделать небывшей».

Большинство моих старых друзей ушли «в ночь, которая ожидает всех» – по выражению Горация. Но вот что интересно: во многих случаях я примирён с этим фактом, но в отношении некоторых людей примирения не происходит. Свидетельства очевидцев об их физической смерти меня не убеждают. Мика – один из них. Смерть ему не к лицу.

Встречаемся мы редко. Далеко живем друг от друга. Первые пятнадцать лет после моей эмиграции встречи были невозможны по определению.

Встретились в 1992 году в Париже. В то время я готовил выставку в галерее Патриса Тригано. Мне хотелось, чтобы текст для каталога был написан Микой. Он любезно принял предложение. Сегодня, спустя 18 лет, могу сказать, что этот текст – один из самых глубоких и пронизательных из написанного обо мне.

Часто в критических статьях я больше вижу исторические познания автора, его интеллект. А в обилии цитат – его незаурядную память и профессионализм, наконец – риторический дар. Но, увы, не нахожу серьезных усилий в попытке проникнуть в художественное вещество, понять, проследить и затем прокомментировать художественную идею автора, о котором идет речь. Иная установка в работе Мики Кагана. Он прежде всего ставит целью проникнуть в сущность исследуемого объекта, забывая «на минуточку» себя в этом объекте.

В статье к моему каталогу я обнаружил стремление автора не к незамедлительному воздействию слова на читающего, что есть установка риторики, но к выявлению индивидуальной художественной «плазмы» и проникновению в интеллектуальную идею художника. Иначе говоря, он даёт себе труд вчувствоваться и с вниманием отнестись к эмоциональному, персонифицированному миру творца. Вообще, как мне кажется, у Мики отсутствует профессиональный снобизм, что есть свидетельство высокого интеллектуального уровня. Ему присуща непосредственность, которая, собственно, и делает его человеком вне возраста. Он открыт новым идеям, от кого бы они ни исходили.

Далекий 1968 год. Мой брат, Миша Заборов, написал и разослал свою работу по эстетике «О принципах системного анализа искусства» многим философам страны. Получил ответ только от Моисея Кагана. Его письмо начиналось словами: «С большим интересом прочёл...» Это письмо крупного ученого оказало моему брату большую моральную поддержку; он и сегодня благодарно вспоминает об этом. Сочувственное внимание к тем, кто обращается к нему за советом, – природное качество Мики Кагана.

Последние яркие встречи происходили в Санкт-петербургских застольях. 1995 год. Мой первый приезд в Россию после эмиграции. Санкт-Петербург – город, сохранивший в моей памяти радужные цвета истинно счастливых дней студенческой юности, первых влюбленностей, предстал мрачным, запуганным и безжизненным. В восемь часов вечера в перспективе Невского ни одного человека. У больших подъездов вооруженные автоматами люди.

Необъяснимые русские контрасты: оцепеневший в тоске и в страхе город за окном и веселая встреча друзей у Мики дома. За пиршественным столом, приготовленным женой Мики, очаровательной Юлией Освальдовной, собрались гости. Это был пир не только чревоугодия, но духа и мысли. Хозяин был в экстазе, заражая гостей неуёмной энергией юмора, неиссякаемым запасом анекдотов, остроумных спичей и изысканных тостов.

Мика – истинный эпикуриец в любви к жизни. К ее радостям и удовольствиям, балагур, умница, «Моисей отечественной эстетики», как был назван товарищами по цеху.

Се Человек! В самом определенном смысле этих слов хочу воскликнуть о тебе названием твоей же книги, дорогой Мика.

Париж, 23 января 2011 года



ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Л. А. Закс*

Как давно мы не виделись! Последний раз – в конце августа 2005-го. Мы с Нусей и Бурбулисы (Наташа и Гена) тогда вернулись из Словении и сразу сели на петербургский поезд. Уже зная, что вы заболели. Вы плохо себя чувствовали, болела спина, лекарства поглощались охапками, и было видно, что вам тяжело и что вы устали. Но как мы замечательно пообщались, как нам, несмотря на знакомое и видимое, стало тепло! Как бывало тепло и душевно всякий раз, когда выпадала эта удача, это счастье общаться с вами. Традиционное застолье гостеприимнейшей Юлии Освальдовны, за которым и вам была позволена рюмочка, дополнило незабываемую атмосферу сердечности и взаимной тяги. Мы влюбленно льнули к вам и, кажется, еще никогда так много не обнимались с вами, не жались к вам, почти как дети. Нет, то не были жесты прощания. Хотя мы всё знали и были встревожены, да что там – расстроены и напуганы безмерно. Но, честное слово, мы всё равно не верили. Не могли поверить. Просто представить себе не могли, понимаете? И потому, что это абсолютно противоречило вашему существу, каким мы его знали многие годы. И потому, что наш общий инстинктивный ужас запрещал даже помыслить, не то что вообразить, возможность существования в мире, где не было бы вас.

В тот день мы много говорили: о жизни, о политике, конечно. Как всегда, вы «смачно» рассказали пару анекдотов. А потом, подведя нас к компьютеру, с неожиданным для меня умилением показали фото недавно родившегося внука Марка и что-то рассказали о нем. Потом перешли к внучке Полине, вполне уже сознательной девице. А от нее, ассоциативно, к первым страницам-наброскам недавно задуманной – разумеется, не без влияния семейной детворы – книжки по философии для детей. Это ваше нисхождение с высот философского духа к детскому сознанию было одновременно и удивительным, и, в общем, закономерным: логика саморазвития вас как ученого-философа, на тот момент беспрецедентно решившего несколько масштабнейших исследовательских задач, привела вас к педагогике – главному практическому приложению ваших философских теорий деятельности, культуры, искусства, личности. А роль любящего деда в сочетании с просветительским темпераментом повер-

* Закс Лев Абрамович – доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой этики, эстетики, теории и истории культуры Уральского государственного университета, ректор Гуманитарного университета в Екатеринбурге.

нули этот теоретический интерес в практическую плоскость. Так, вслед за мировоззренчески предельной монографией «Метаморфозы бытия и небытия», вашим итоговым философским трудом, в то время находившимся в печати, настал черед разговору о самой философии для детей, с детьми.

Но этому вашему замыслу, такому интересному и нужному, осуществиться уже было не суждено. Как и мне общаться с вами глаза в глаза. Потом мы часто говорили по телефону, и я слышал, как слабеет ваш непередаваемой красоты голос, как он обходит тяжелые для вас темы. Эти последние, такие трудные месяцы на деле подтвердили, что вы и в собственной жизни настоящий философ. Философ с большой буквы. С каким интеллектуальным бесстрашием, мужественным достоинством и, не побоюсь сказать, поистине героическим стоицизмом (о ваших страданиях можно лишь догадываться) приняли вы свою судьбу, пережили ею приготовленное тяжелейшее испытание. Ни одного проявления столь понятной в ваших обстоятельствах слабости, ни одной жалобы, апелляции к сочувствию, тем более – к жалости! Ни одного даже намека на трагический исход! Вы ведь так не любите нарушать собственные планы и обязательства: поэтому разве только ироничное ворчание на болезнь как помеху в работе (между тем, узнав диагноз, в тот же день по-деловому, письменно, оповестили о нем своих издателей с просьбой ускорить выход публикуемых трудов в свет). Несмотря ни на что, я упрямо надеялся на лучшее. Потому таким сокрушительным оказался утренний звонок 10 февраля 2006 г. О поездке в Петербург и прощании с вами я тут не буду говорить, не хочу. И не потому, что «воспоминание», увы, излишне: помню всё, как будто это было вчера. Но за пять лет я так и не привык к нашему расставанию, не смирился с ним. Так и не научился обходиться без вас в этом мире: с вами в нем было намного уютней. Нет, не то, не только. Ваше присутствие в мире делало его – для меня – более надежным и осмысленным, питало мою веру в лучшее. Видите, как вы приручили меня, дорогой мой Моисей Самойлович! А теперь вот спасаюсь от разлуки с вами с помощью памяти. Правда, часто и она бессильна: когда ни с того ни с сего вдруг вылезет из глубины души вместе с отчаянной тоской дурацкое, по-детски упрямое, ничего не желающее знать: пусть Он будет! Но все же память – волшебство, чудо, наше спасение. В ней мы не расстаемся. В любой миг я могу видеть и слышать вас, могу пережить столь необходимое для меня *ваше существование* во всей его уникальности как драгоценное содержание моего личного опыта. Могу испытать ни с чем не сравнимое наслаждение от одного только своего *присутствия* при вас (прямо по Хайдеггеру: сознание = присутствие), своего *со-бытия* с вами. Однако я могу не только вернуть то, что было, но и экстраполировать – вообразить то, что могло быть и что получает существование «по



моему хотению». И я пользуюсь этим, пользуюсь постоянно. И сейчас воспользуюсь – на сей раз не только для того чтобы опять побыть вместе с вами, вернуть «любви счастливые моменты», но и чтобы поделиться, насколько сумею, этим счастьем с другими.

Я узнал вас и увлекся вами, вначале чисто интеллектуально, задолго до нашего личного знакомства. Студент философского факультета, специализировавшийся по эстетике, я, разумеется, никак не мог миновать ваши работы. Первыми были еще разрозненные выпуски ваших «Лекций по марксистско-ленинской эстетике», то есть их первое издание. На тот момент я уже читал тогдашних новых «классиков» советской эстетики: Ю.Б. Борева, Л.Н. Столовича и своего учителя А.Ф. Еремеева. Все они начинающему эстетике казались, в каком-то смысле, небожителями. Но при этом многое у них решительно расходилось с моим личным эстетическим и художественным опытом и казалось мне насилием мертвых абстракций над этим опытом. А я своему опыту отчего-то доверял. И вдруг я читаю текст, словно исходящий из моего опыта, моей интуиции эстетической реальности и реальности искусства. Каган (а рядом то и дело звучит «Каган» и даже «Коган») становится для меня знаковым именем: *м о ё!* Я уже знаю, кто это, и даже знаю, что мой шеф с вами в добрых отношениях и очень почитает вас. Вы оба придерживаетесь «либеральных» взглядов на искусство и разделяете «прогрессивный» и, никаких сомнений, верный взгляд на эстетические явления как особого рода ценности. И мне это нравится.

Потом появляется ваша статья в «Философских науках» (1970, № 5) о системном анализе человеческой деятельности. Это уже не эстетика, а чистая философия. Никто еще не знает, какая это эпохальная статья – к каким вашим же фундаментальным трудам и открытиям она приведет. Но то, что это ваш мощный рывок из эстетики в философию и что в самой философии это прорыв, я уже чувствую. Шутка ли, в самом деле: впервые выделены и логически обоснованы типологические инварианты человеческой деятельности! И сделано это не на схоластическом идеологизированном языке «марксизма-ленинизма», а на языке «нормальном», рациональном и внятном, научном. Правда, с применением наглядных схем, с долей логической формализации, что претит философам «гегельянско-го» толка, а также дает повод для незлых насмешек остряков-друзей автора. Так, Л.Н. Столович вводит понятие начертательной эстетики, что расшифровывается им как «на черта нам такая эстетика». А Л.Н. Коган говорит о «конверте Кагана», имея в виду четыре связанные на схеме стрелками основные типы деятельности и на их пересечении – в центре прямоугольника – пятый: деятельность художественную. Ей вы придаете особый, уникальный и выдающийся культурный статус, поскольку она не просто воспроизводит все четыре типа деятельности, а гармонично и

«равноправно» их синтезирует, оказываясь, таким образом, уникальным двойником (удвоением) «системы человеческой деятельности» и, тем самым, единственным в культуре способом сохранения всей сущностной полноты и целостности деятельностного опыта человечества. В первый момент эта идея меня восхищает, поскольку подтверждает интуицию особой культурной роли любимого искусства. Подозреваю, что и вы поддались ее соблазну во многом в силу тех же пристрастий. Однако вскоре мой внутренний оппонент выставляет аргументы против такой интерпретации художественной деятельности, и мне приходится – не без сожаления, но вполне убежденно и решительно – отказаться от идеи «равноправия» в искусстве опыта всех четырех типов деятельности. При всей важности и атрибутивности материально-практической («ремесленной») и формально-языковой ипостасей художественной деятельности, они все же генетически, причинно, а значит, и логически оказываются подчинены духовно-информационно-творческим ее ипостасям-компонентам: познавательной, ценностно-интерпретационной и идеально-преобразовательной (образно-моделирующей). Но вы оказались упорнейшим и непреклонным защитником своей идеи. Несмотря на возражения ряда весьма ценимых вами ученых (например, вашего ближайшего друга, умнейшего Бориса Моисеевича Бернштейна). И, кстати, сделали из нее принципиальные и всесторонние, как всегда у вас – «глобальные» теоретические следствия.

Так, впрочем, было и в большинстве других случаев, когда ваши идеи вызвали дискуссию и оспаривались с тех или иных позиций. Мне, во всяком случае, неизвестно о вашем «отступлении» от своих идей по какому-либо существенному теоретическому вопросу (мелкие замечания, особенно уточнявшие и усиливавшие главные положения, вы, наоборот, с благодарностью принимали). При этом социальные обстоятельства дискуссии никакого для вас значения не имели. Спор мог вестись в дружеском кругу или во враждебном окружении, носить академический («чисто» теоретический) характер или получать политико-идеологические «обертонны» (что в советских условиях было небезопасно) – вы всегда стояли на своем, никогда не оказываясь в положении Галилея. Ваша позиция нередко не просто критиковалась – она вызывала дополнительное раздражение и злобу политических и эстетических ортодоксов-догматиков, недоброжелателей-завистников (ограниченность во все века завидует таланту) и просто обыкновенных антисемитов своей самостоятельностью, демонстративной, как им казалось, независимостью. Некоторые примеры вы сами привели в мемуарной книге «О времени, о людях, о себе». Самый известный – попытка вашего «избиения» коллективом искусствоведов Академии художеств СССР (1974 г.), решившим критически обсудить вышедшую еще в 1972 году книгу «Морфология искусства» и



придавшим этому обсуждению (прежде всего усилиями В.С. Кеменова, В.В. Ванслова и особенно М.А. Лифшица) характер идеологического погрома. Я ставлю слово „избиение” в кавычки потому, что замысел организаторов фактически провалился. Отчасти в этом виноваты они сами: столь беспомощны, примитивно-допотопны оказались и их взгляды на искусство, и критические аргументы. Но все же главным виновником их публичного провала, увековеченного публикацией стенограммы обсуждения в журнале «Художник» (1974, № 11–12), несомненно, стали вы, Моисей Самойлович.

На этом примере можно попытаться объяснить феномен вашей идейной стойкости и упорства в отстаивании своих позиций. Во-первых, конечно, бесстрашие, заставляющее вспомнить о Кагане-солдате, Кагане-фронтовике. От войны вам остались не только раненая рука и особый житейский опыт (о котором вы немногословно, но так выразительно умели рассказать). Вы сохранили героический дух своего «повыбитого железом» (Д.Самойлов) поколения, его нравственную чистоту и высоту, его проверенную страшными военными испытаниями и потерями шкалу подлинных ценностей. Ваши смелость и храбрость (догматики-академики ведь рассчитывали, прежде всего, вас запугать – не вышло!) – не чисто психосоматическое свойство, воспитанное войной. Они – прямой результат обретенного на войне духовного опыта, этой самой «шкалы ценностей», в свете которых стыдно, невозможно хитрить, ловчить, руководствоваться «животной» логикой приспособления-выживания (увы, столь многих «интеллигентов» подчинившей себе в советское время). «Лучше вернуться с пустым рукавом, чем с пустой душой», – не помню, кто из поэтов-фронтовиков это сказал. Те же ценности, я уверен, создали и большого, честного, бесстрашно-правдивого вашего любимого писателя и друга Федора Абрамова. Совершенно соприродно с этим другое основание вашей последовательной принципиальности и бескомпромиссности в науке, впитанное с духовной культурой, с особым этосом ленинградско-петербургского, да и всего мирового научного сообщества. У науки и тех, кто ей добровольно-любовно служит, ведь один абсолют, одна идеальная цель и критерий – Истина. И если настоящий ученый убежден, что приблизился к истине, тем более – познал ее, может ли он променять свое знание-убеждение на что-то другое, например, на житейски выгодные и менее социально беспокойные ее симулякры?! Для вас такое было немислимо, хотя вы, по-моему, почти никогда не произносили красивых слов об этом. Разве что когда, почувствовав угрозу ценностным основам научной и образовательной культуры, предложили родному университету проект «Кодекса универсанта». Вы даже не всегда решались на публичное осуждение «вероотступников»-коллег, хотя испытывали неловкость и стыд за них, а с иными просто прекращали общение.

Некоторых своих беспринципных и корыстных гонителей вы, к моему удивлению, в своих воспоминаниях даже не назвали по имени, ограничившись ничем не говорящими новым поколениям инициалами. Почему? Не только, я думаю, чтобы лишний раз не называть малоприятные вам имена. Здесь проявилась ваша удивительная деликатность, ваша соединенная с пережитым *за (и вместо) них* стыдом «милость к падшим». Ведь, с вашей точки зрения, большего наказания, чем само это падение, быть не может! А еще в таком вашем «воздержании» от публичного осуждения мне чудится верная интуиция высочайшей степени совестливого человека – интуиция возможности незаметного, но страшного перехода-превращения добра во зло. Вы не хотели, боялись такого порой неконтролируемо совершаемого превращения и всегда руководствовались благородным «лучше недо-, чем пере-». Я сейчас скажу то, о чем стеснялся сказать раньше: милый Моисей Самойлович, ваше нравственное совершенство и ваше человеческое великодушие не имеют аналогов. Сколько людям они помогли и помогают!

Возвращаюсь к вашей упорной верности своим взглядам. Ведь и при названных качествах можно принимать за истину заблуждение, не так ли? И разве не нормальна для ученого здоровая самокритичность, предполагающая готовность отказаться от ложных представлений и принципов? Так, может быть, в вашей принципиальности-бескомпромиссности все же есть доля самонадеянности и упрямства? Чувства интеллектуального превосходства над другими? Люди, знающие вас в работе и в повседневном общении, рассмеются, услышав такое. Скольких вы умели понять, поддержать, защитить силой и авторитетом вашего великого интеллекта. И тут ваше великодушие проявляло себя в полной мере: вы щедро дарили коллегам, начиная с обычных аспирантов, не только свои идеи, но и позитивные оценки. Радовались находкам и открытиям других. Но при этом держались своей «линии», утверждали свои подходы и концепции и, пожалуй, не особенно стремились к поддержке со стороны и к диалогу. Были в своих исканиях *самодостаточны*. В истории с Академией художеств это тоже помогло вам выстоять. Но что же стоит за этой (в моем перечислении – третьей) причиной вашей тогдашней победы? Я думаю, что когда речь идет о больших ученых, как и больших художниках, вы – не исключение, а, скорее, правило. Правило самодостаточности, монологазма, известного – вовсе не трагического, даже не обременительного, добровольно избранного – одиночества. Тут очень точным будет пушкинское слово «самостоянье», что есть выразительный онтологический синоним подлинной внутренней свободы творческого субъекта. Разве не были самодостаточны и интеллектуально одиноки, несмотря на свой несомненный авторитет и влияние, столь несхожие во всех других отношениях А.Ф. Лосев, М.М. Бахтин, М.К. Мамардашвили? За монологиз-



мом их, как и за вашим, жил напряженный внутренний диалог. Их само-достаточность и самостоянье, как и ваши, были обеспечены, с одной стороны, огромной мыслительной работой, продуманностью и, буквально, выношенностью своих идей, которые критично, придирчиво и тщательно проверялись и перепроверялись, прежде чем выносились на суд коллег. С другой стороны, великих творцов отличает удивительная сила убежденности – того, что О.Мандельштам называл «чувством внутренней правоты». Отсюда особая энергетика, огромная внутренняя страстность и мощная убеждающая сила текстов великих. В ваших главных текстах, Моисей Самойлович, я всё это ощущал всегда. В «Морфологии искусства» и в «Лекциях». В «Человеческой деятельности» и в «Философии культуры». И в особо мной ценимом, вершинном даже на фоне названных (и уже бесспорных!) ваших вершин «Введении в историю мировой культуры». Но еще безусловней властная сила ваших концепций работала в ваших устных выступлениях, где логика, энергетика и красота мысли органично сливались с красотой и суггестивной силой вашей блистательно-мастерской речи, вашего голоса, вашей выразительной мимики и жестикуляции, всего вашего облика.

Впервые мне посчастливилось убедиться в этом в 1971 году, когда вы приезжали в Свердловск в качестве оппонента докторской диссертации моего научного руководителя Аркадия Федоровича Еремеева, а вскоре как автор большого спецкурса по морфологии искусства, в котором «обкатывались» идеи уже подготовленной к печати одноименной монографии. Тогда же и случилось наше личное знакомство, правда, в тот момент чисто формальное. Только что ставший аспирантом кафедры эстетики, я оказался не в состоянии преодолеть невероятную робость перед вами (оборотная сторона огромного пиетета, почти благоговения) и приблизиться к вам на расстояние, с которого возможно какое-то общение. В тот момент я, признаюсь, даже и не мечтал об этом, а только наблюдал за вами со стороны. Хотя уже был в активном внутреннем диалоге с вами (экземпляр вышедшего тогда второго издания «Лекций» хранит его многочисленные следы). Запомнился ваш спич на банкете после защиты Еремеева. Вы вообще были великолепны в свои (на мой тогдашний взгляд немалые) пятьдесят: стройны, подтянуты, элегантны, выразительны в словах и жестах, аристократичны и, одновременно, демократичны: благородная простота, естественность, доброжелательность и открытость. Всех этих прелестных качеств, своего неподражаемого и неотразимого кагановского шарма вы не утратите и все последующие тридцать пять лет нашего знакомства – независимо от хронотопа и жанра вашего общения с людьми! При этом тогда, как мне казалось, всем своим видом вы демонстрировали независимость. Вскоре я понял: что-либо специально демонстрировать – не ваш стиль, вы просто *были независимым*. Ваше вы-

ступление прозвучало диссонансом в хоре других речей-тостов. Поздравляя успешно защитившегося А. Ф., другие всячески акцентировали его карьерные перспективы (а он уже заведовал кафедрой и к тому же был секретарем парткома УрГУ, что и порождало ожидание дальнейшей административной карьеры). Вы же привели себя в пример и пожелали новому доктору философских наук аналогичной перспективы: судьбы – сказали вы – ординарного профессора. В этом пожелании, как и в вашем собственном отказе от карьерных притязаний, сказала ваша сущность ученого и педагога, ведь любые «должности» мешают делать любимое дело: думать, писать и учить. Как вы были недовольны, как искренне соболезновали мне, когда много лет спустя силой обстоятельств (а не моих специальных стремлений, честное слово!) я оказался буквально «увешан» административными должностями. Если уж ничего нельзя с этим поделать, – не раз говорили вы, – то возьми себе хороших помощников, контролируй их, а сам занимайся наукой, пиши. Я не спорил, ибо знал тогда и знаю теперь: вы абсолютно правы.

А ваш спецкурс по морфологии искусства, прочитанный в УрГУ в 1971 (или 72?) году, стал событием городского масштаба. Уже на второй день собралось столько людей (не только студенты философского факультета и городские эстетика, но преподаватели и студенты других факультетов и вузов, журналисты, писатели, артисты), что пришлось перейти из аудитории в большой актов зал. Для меня это первая встреча с вами-лектором, и я, как и большинство слушателей, был восхищен. Вы были в ударе! Вам хотелось поделиться результатами своей большой работы. А результаты впечатляли. Проблема морфологического строения мира искусств, специфики конкретных видов, отношений между ними и их многоплановой типологии на наших глазах получила всеобъемлющее освещение: историко-эстетическое, эмпирически-описательное, логико-теоретическое. Причем каждый из этих планов рассмотрения поража́л масштабом привлеченного и глубоко осмысленного материала. В каждом плане, в свою очередь, раскрывалось множество «сюжетов», каждый из которых сам по себе по информационной емкости и концептуальной завершенности вполне «тянул» на самостоятельное исследование. Скажем, в историко-эстетической части запомнился сюжет о забытом и, фактически, заново открытом вами замечательном исследователе морфологии искусства 18 века Вильгельме Круге. Но самое потрясающее заключалась в том, что проблема не только всесторонне освещалась, но и решалась! И мы были свидетелями ее решения. Решения системного, убедительного и, что бывает крайне редко, по общему слушательскому ощущению – исчерпывающего!

Сущностно-содержательный аспект дела блистательно дополнялся аспектом формальным, исполнительским. К вашему чувству внутрен-



ней правоты явно добавилось вдохновляющее возбуждение опытного оратора-просветителя при встрече со столь массовой аудиторией. Я и потом не раз был свидетелем вашего боевого «мататорского», или, если хотите, артистического, подъема, вызываемого не только (и порой не столько) «быком» (темой), но и публикой, задачей «взять» ее. И вы ее взяли, как брали и потом, когда в 70-е, 80-е и 90-е годы я слушал ваши курсы, отдельные лекции и доклады. На философском факультете и ИПК УрГУ (вы читали о системе человеческой деятельности, об общении и личности, о морфологии культуры). На заседаниях нашего Проблемного совета по эстетике министерства образования СССР (в Суздале, Петрозаводске, Архангельске, Риге, Свердловске и т. д.). На вами же организованных семинарах под Ленинградом. А уже в постсоветское время – в Гуманитарном университете Екатеринбурга, почетным профессором которого вы, к моей радости, стали в 2001 году. И всегда ваши выступления вызывали восторженную реакцию публики, которая, еще даже не начав понимать суть ваших идей и положений, уже оказывалась захвачена... Чем же? Ведь вы не говорили очень «громко» и пафосно, не фонтанировали эмоциями и, боже сохрани, аффектами. Никогда не общались с аудиторией «запанибрата», что ей обычно нравится, наоборот, сохраняли ощутимую дистанцию. Не «трепались», не опускались до бытовых историй, не лили «воду», не развлекали, не заигрывали. Не нагружали свою речь риторическими фигурами и декоративными украшениями. Но в нас, слушателях, очень быстро рождалось ощущение творимого у нас на глазах совершенства. Совершенства, прежде всего, логической формы. По части строгости и стройности понятийных построений, изящества выведения одной мысли из другой, убедительности аргументации, уверенности целеустремленного движения к итоговой картине-обобщению, сопровождавшегося ощутимым нарастанием интеллектуальной энергии, эмоциональным подъемом от победной игры духовных сил и приближающегося овладения истинным знанием, – у вас не было соперников среди известных мне ученых, мыслителей, педагогов. И к совершенству организации сложной мыслительной материи добавлялось совершенство языковой, речевой формы ее воплощения. Вы всегда находили самые необходимые, самые существенные слова и фразы, шли к овладению знанием и его выражению кратчайшим, воспринимавшимся как оптимальный, путем. Отчего ваша речь рождала ощущение прекрасного лаконизма в соединении с классическим – строгим, стройным и ясным – чеканом формы высказывания. Но в этой строгости и чеканности не было ничего наперед заданного, бездушно-механического, поскольку речь, вне всяких сомнений, рождалась впервые, здесь и сейчас, естественно-органически, по-настоящему импровизационно. И всё это органичное единство содержания и единственно возможной для него формы, необходи-

мости-порядка и творческой свободы очеловечивалось, одушевлялось, утеплялось благодаря вашей вдохновенной, возвышающейся над обыденностью, несущей энергию устремленности к истине, но и исполненной доверия, доброжелательности к союзникам-слушателям интонации. Ваша речь была не только мощной, она была *вкусной*. И ее хотелось *вкушать*. Довершал (вернее, конечно, наоборот: начинал) мощный синэстетический эффект вашей речи красивого низко-баритонального тембра голос. Сильный (многие годы не нуждавшийся в микрофоне), способный к гибким, нюансированным модуляциям, послушный своему хозяину. В публичных выступлениях из всего богатого спектра акустически-тональных возможностей своего голоса вы все-таки предпочитали тон строгой, собранной, влекущей за собой торжественности. Я бы сказал, картезианскому строю вашего мышления соответствовал высокий «классицистский» строй вашей речи и тон вашего голоса. В дружеском же общении вы придавали этой органичной ему торжественности обертоны праздничности, дружеской сердечности, веселой жизнерадостной игры.

Конечно, вы любили столь великолепно освоенное вами искусство публичных выступлений. Но все, кто хорошо вас знают, согласятся со мной: дружеское общение – в узком кругу или в большой компании, на природе, в своем кабинете или (и особенно!) за пиршественным столом – вы любили много больше. И мы, ваши многочисленные ученики, друзья, единомышленники и поклонники «от Москвы до самых до окраин» бывшего СССР, мы тоже любили и жаждали «неформального» общения с вами. Мы мечтали о нем, а когда было возможно – приближали и организовывали, «устраивали» его. Как же «бились» за возможность заполучить вас или попасть в принимающую вас компанию, «посидеть» с вами многие, нередко во всех других отношениях весьма далекие друг от друга, группочки, группы и даже целые коллективы в моем родном Свердловске-Екатеринбурге! Как ревновали, обижались друг на друга, «тянули одеяло на себя» – к вашему смущению и неудовольствию (вы никого не хотели обижать и по возможности прятали свои «приоритеты»). Эта «борьба за Кагана», жажда общения с вами понятны. Ведь вы – настоящий гений дружеского общения. Душа любой компании. Созидатель общества и общности. Источник отменяющего любой негатив единого жизнерадостного настроения общающихся и их взаимной симпатии. Тут дело не только в вашем коммуникативном таланте, даре организатора-режиссера, личной тяге к праздничности, неформальным отношениям и свободе. Хотя всё это тоже очень важно и блестяще воплотилось в вашей всеобщее признанной социальной роли тамады. Я несколько раз был свидетелем и участником вполне случайных «тусовок» коллег-эстетиков, возникавших даже в не очень подходящих для этого ситуациях. Например,



в 1991-м в Петрозаводске, когда несколько участников заседания Проблемного совета, усталых и замерзших после поездки, кажется, на Ладугу, оказались на речном вокзале. Ваша воля и ваше доброе мастерство тогда превратили нас, на тот момент внутренне разобщенных и не мечтавших ни о чем другом, кроме как немного согреться и отдохнуть, в дружную компанию почти влюбленных друг в друга людей. Конечно, мы выпили с трудом раздобытой где-то водки. Но очень скоро не это оказалось главным, а излучаемые вами и тем пробужденные и в нас «любовь и дружба».

Вот в чем, я уверен, главный исток и сила вашей покоряющей общительности, одухотворявшей и одушевлявшей все другие уже названные таланты: вы любили людей, любили человеческую общность и дружбу. Для вас достоинства людей важнее их недостатков, общность нравственных ценностей дороже различий характеров, методологий и вкусов. Вы были великодушны к человеческим недостаткам, терпимы к слабостям, снисходительны к людской ограниченности. Я знаю, что многие из тех, кому вы дарили расположение, поддержку, дружбу, оказывались их недостойны. Понимали ли вы это? Думаю, да. Во всяком случае, вы не раз с горечью признавались, что «ничего не понимаете в людях», раз вас обманывали и предавали те, от кого вы этого никак не ожидали. Но ваша любовь все равно была сильнее. А ведь всем людям, как известно, «недодано», и мы тянулись к вам, грелись теплом вашего любящего щедрого сердца, дышали воздухом творимой вами свободы. Вообще благодаря вам нам было чем дышать и что вкушать, ведь в эти минуты и часы, в лучах любовного внимания и уникального единения, как, наверное, никогда, расцветали и раскрывались драгоценные богатства ваших ума и души, многоопытной памяти и молодого воображения. Звенел и переливался яркими гранями ваш ненасытный и неустанный вкус к жизни. Играло и дурачилось ваше нестареющее чувство юмора (ваши знаменитые «фирменные» анекдоты: «Шапиро играет», «Солдат и баба с ребенком», «Три еврея на кладбище» – то небольшое, что удерживает моя слабая на этот жанр память). Искрились комизмом и вкусными деталями рассказывавшиеся вами истории. Рождались ваши бесподобные «петербургско-еврейско-грузинские» тосты, эти импровизационно рожденные всплески проявления вашей великой любви к жизни, к людям, к нам конкретно. Вот где была настоящая «роскошь человеческого общения»! Вот где был праздник! Мы жадно, взахлеб вкушали ваши дары. И наслаждались. И обожали вас. ...Несколько фотографий разных лет – отпечатки наших встреч – хранят следы нашего общего счастья. Смотрю на них, вспоминая наше общение, наши застолья, наше веселье, наше сердечное согласие – и завидую сам себе. И тоскливо «сосет под ложечкой»: как мне этого не хватает! Как мне это необходимо, дорогой мой человек!

Моисей Самойлович, милый, я пишу вам о вас безо всякого плана. Подчиняясь настроению и памяти. А она прихотлива, как рулетка, и что подбросит в следующий миг, невозможно предвидеть. Вдруг рядом, один за другим оживают образы событий, значительно разделенных в реальном времени. Вот весенний, солнечный, дурманящий ароматом цветущей сирени Ленинград. Сирень цветет повсюду. И повсюду продают благоухающие букеты. То, что Ленинград – город сирени, для меня открытие. Какой это год? Не помню. Думаю, середина 70-х. Мы уже знакомы значительно ближе, чем тогда, в 71-м. Вы уже меня узнаете и даже, как мне кажется (и от этого «кажется» душа моя ликует), я вам интересен. После какого-то заседания мы выходим вместе на улицу. По-летнему жарко и, как уже сказано, кругом сирень, и мы идем вместе, мне очень хорошо, хотя я все равно ужасно стесняюсь и комплекую, и прячу свою юношескую влюбленность в вас. А вы должны ехать за город, где на каком-то философском семинаре будете делать доклад. На вас светлые легкие брюки и полосатая рубашка с коротким рукавом и воротником апаш («тенниска» – почему-то решаю я). Она вам очень к лицу. И, наверно, оттого, что «тенниска», в руке у вас мне чудится футляр для ракетки. Это, однако, скорее, небольшой саквояж. Ваша стройная фигура дышитлетней расслабленностью, прекрасной «бесцельной целесообразностью» и свободой, вдохновением пополам с отдохновением. Мы, не торопясь, идем к вокзалу. Вы предлагаете мне поехать с вами, послушать ваш доклад, пообщаться. Но я не могу. При этом понимаю, что и мог бы – не поехал. Не заслуживаю такой чести. Вы спрашиваете, чем я занимаюсь, чем интересуюсь. Рассказываю о своей еще не защищенной диссертации (ага, значит, это не позже лета 1974-го, в 75-м, в марте я уже защитился). О том, как понимаю взаимосвязь искусства и культуры, чему и посвящена моя работа. Отстаиваю информационное понимание культуры, а вы – своё и близкое вам маркарьяновское. Но мы не спорим: ни жара, ни настроение не располагают к спору. «Пришлите автореферат, я напишу отзыв». (И в самом деле, прислали к защите одобрительный отзыв, а почти двадцать лет спустя доброжелательно оппонировали на защите докторской, спасибо.) Потом я что-то говорю о своем тогдашнем увлечении работами М.К. Мамардашвили. «Я уважаю Мераба», – отвечаете вы, но темы не развиваете. Меня начинает одолевать ощущение, что я навязался мэтру, что надоел ему. К счастью, мы уже пришли. Вы, как мне кажется, весьма сердечно прощаетесь со мной, выражаете надежду на продолжение знакомства и приглашаете приезжать в Ленинград. Электричка уходит. Выходя с вокзала, я покупаю за рубль огромную ветку сирени и иду с ней по прекрасному вашему городу, потом спускаюсь в метро, и все одобрительно смотрят на мою сирень. А я плыву вместе с ней и эскалатором, переполненный нашей встречей, счастливый.



И еще одна встреча в вашем любимом городе, уже Петербурге. Память безо всяких усилий озвучивает это слово вашим голосом, вашим произношением. Вы всегда произносите слово «Петербург» с удовольствием, не спеша и чуть-чуть втягивая. Первая, на мгновение, остановка – на первом «р». Потом долгое низкое «губное» «бу-у-у», упирающееся во второе, более протяженное, острое («зубное») рокошущее «р». Вкусно и торжественно. И производные слова звучат у вас столь же аппетитно: «петербургский», «петербурженка». Знаете, я часто «включаю» внутренний диктофон с записями вашего голоса. Но разве его передашь словами?! И так, уже год 1993-й. Мы давно тесно общаемся. Приезжая в Екатеринбург, вы обязательно бываете у нас; собираются мои (а теперь и ваши) друзья: Ира Лисовец, Наташа Кирсанова и ее муж Гена Бурбулис, Володя Харитонов, Миша Мугинштейн. Наши (с Бурбулисами) еще маленькие сыновья Олег и Антон обожают вас, как, впрочем, и все взрослые члены компании. Наступают новые времена, вначале «горбачевские», потом «ельцинские». Мы с вами едины в приятии перемен, в надеждах на демократическое развитие России. Г.Бурбулис становится депутатом, потом, ненадолго, одним из ближайших соратников Ельцина. Летом 93-го он привозит свою семью вместе с моими женой и сыном в Петербург. На прогулочном катере они выходят в Финский залив, и тут раздается взрыв (тайна которого не разгадана до сих пор). Главные пострадавшие – пресс-секретарь Гены и моя жена с перебитым позвоночником попадают в больницу и должны в полной неподвижности провести в ней пару месяцев. Я прилетаю в Петербург и становлюсь сиделкой в больнице на ул. Декабристов, 3. Снова жаркое лето, но я на двадцать лет старше, и настроение существенно иное. В Петербурге я знаю только вас и театроведа Лену Третьякову. Не то чтобы мы очень нуждались в помощи (врачи делают все, что нужно). Но психологическая поддержка, особенно Нусе, которой разве что пальцами разрешено шевелить, явно не лишняя. Друзья познаются в беде. Как и прекрасная человеческая сущность истинных петербуржцев. Совершенно незнакомый нам до этого, большой и красивый Володя Третьяков, замдиректора Манежа, чуть не каждый день, идя на службу, заходит посмотреть на больную, веселит ее, приносит приготовленную женой Леной и ее подругой Людой Лапиной еду (говорю о нем с благодарностью и любовью, скорбя о его безвременном уходе). И вы, семидесятидвухлетний профессор, живой классик отечественной философии, продолжающий каждый день работать за компьютером и делающий еще бог знает сколько разных дел, вы тоже постоянно приходите. Справляетесь о лечении, советуете, сообщаете городские и мировые новости, угощаете вкусными посылочками от Юлии Освальдовны, рассказываете свежие анекдоты, и я вижу, как начинают светиться глаза у моей бедной жены, как целебны для нее и дороги ей ваши приходы. А

когда у меня в налаженном больничном быту появляется немного свободного времени, вы «гуляете» меня по родному городу: показываете Новую Голландию, ведете во дворец Юсупова, на какую-то выставку. Тогда я как-то особенно начинаю сознавать, что для вас этот город, какие бесчисленные сокровенно-любовные нити вас с ним связывают, понимать, какую роль сыграли и продолжают играть в вашей духовно-душевной жизни его пространство, природа, архитектура и история, как глубоко они определили ваши мироощущение и мировоззрение. И в ваших рассказах об улицах, зданиях, набережных и мостах уже слышу не только нерастраченный интерес и молодую влюбленность, но и глубокую сыновнюю заботу о судьбе Петербурга. Несколько лет спустя всё это воплотится в вашей замечательной, дважды изданной, книге «Град Петров в истории русской культуры». Книге не только метких наблюдений и глубоких мыслей, тонких типологических обобщений, но и больших, высоких чувств. Мне кажется, ни в одной другой вашей книге, даже в работах по искусству, ваш метод – метод ученого и философа-рационалиста – не был в столь органическом единстве с вашим ценностным отношением к своему «объекту», столь откровенно не исходил из него.

Через месяца полтора моей жене разрешили, при условии сохранения неподвижности, отправиться долечиваться домой. Пришлось повозиться, чтобы это всё устроить. Как вы волновались, беспокоились о «доставке» больной к поезду. На вокзале кружили около санитаров с носилками, повторяли «осторожно!» и всё порывались подхватить носилки. Придирчиво осмотрели купе, проверили, как Нусе лежит на полке, и немного успокоились. Потом много раз звонили, справляясь о выздоравливающей... Разве такое забудешь?

Знаете, о чем, Моисей Самойлович, мне уже давно хочется вам сказать? Не догадаетесь! О вашем удивительном, выдающемся организме! Не сомневаюсь, что за свою большую жизнь вы не раз благодарили его. Говорить об этом как-то не принято. Да, его замечательные свойства и ресурсы от вас не зависят. Но зато в вашей жизни и судьбе они так много определили. Они позволяют считать вас феноменом не только культуры, но и природы. И я даже думаю, что ваша культурная феноменальность во многом оказалась предопределена феноменальными качествами вашего организма, за что надо благодарить ваших родителей, светлая им память (я, кстати, успел быть представленным вами вашей матушке, женщине уже тогда весьма преклонных лет).

Природа, несомненно, задумала вас для долгой и плодотворной жизни, что, к счастью, и случилось (а судьба помогла природе, уберегла вас от трагических случайностей, в том числе от очень вероятной гибели на войне). Она дала вам жизнь сразу вместе с завидным здоровьем. Я не помню у вас, например, таких частых для большинства обычных людей



заболеваний, как простуды, катары и гриппы: никогда, мне кажется, не видел вас кашляющим, сипящим или вытирающим себе нос. На головную боль, сколько помнится, вы за тридцать пять лет нашего знакомства тоже практически не жаловались (будто это о вас сказал мой мудрый дедушка: хорошая голова никогда не болит). Организм ваш обладал завидной выносливостью. Порой вам хватало прилечь на часок, а то и 15–20 минут – и вы снова были готовы трудиться (и вообще спали немного). Что и говорить, вы, как мало кто еще, эффективно использовали этот свой природный ресурс. Вы, безусловно, редчайший пример по-настоящему разумного отношения культуры к природе, максимально полезного практического использования последней, и было бы правильно на вашем примере учить такому отношению «массы». Говоря о ваших бесчисленных выдающихся достоинствах, было бы неверно не сказать и об этом: вы, дорогой Моисей Самойлович, – великий труженик. Но не только в смысле объема, количества совершенных трудовых усилий. Ваши выдающиеся достижения в науке, университетской и научной педагогике, просветительской и общественной деятельности стали возможны потому, что вы любили и умели *работать правильно*: рационально организовать свой труд, эффективно управлять ограниченным, как у всех людей, бюджетом времени. Ваши друзья, коллеги и ученики с восхищением и завистью рассказывали друг другу о вашем всегда, что бы ни случилось накануне, раннем утреннем подъеме (называли 7, 6 и чуть ли не 5 утра) – чтобы несколько часов, до ухода в университет, писать. (Многие ли из них последовали вашему примеру?) И, кажется, не было случая, чтобы вы не представили текст к установленному сроку или куда-то опоздали. Вы одним из первых (раньше многих своих молодых коллег) освоили компьютер, и тут выиграв время. Догадываюсь, что были и другие «секреты» вашей организационно-деловой культуры, без которых на сделанное вами не хватило бы и несколько жизней (работа с библиографией, умение читать «по диагонали», быстро схватывая суть информации, и т. п.).

Вас, я считаю, нельзя назвать трудоголиком, что для меня лично отнюдь не высокая оценка. По-моему, это слово обозначает «наркозависимость» от самого трудового процесса. К такой зависимости нередко склонны люди ограниченного внутреннего мира, узкого ценностного кругозора, бессознательно спасающиеся в бесконечной работе от духовного вакуума в себе, от неспособности к содержательным отношениям с миром. Для вас работа как таковая была не самоцелью, но средством, прежде всего, для познания и выражения истины. С другой стороны, вы знали и другие радости и формы самореализации. О вашей склонности к дружескому общению я уже сказал, но вы также любили путешествовать, созерцать природу, слушать музыку, воспринимать другие искусства, ухаживать за женщинами, возиться с детьми, заниматься общественной

деятельностью и многое другое. И никогда, ни слова вслух о личных трудозатратах (мол, много работал, очень устал и т. п.) – только об уже «случившихся», уже в прошедшем времени, результатах: написал книжку, выступил с докладом, прооппонировал диссертацию, подготовил коллективную монографию.

Еще одна сильная сторона вашего организма – отсутствие вредных привычек и дурных склонностей. В одночасье вы бросили курить. Вы не страдали обжорством, в частности, были равнодушны к сладкому (моя жена гордится тем, что, тем не менее, вы с удовольствием ели ее ореховый штрудель). Но «за компанию», да с хорошей выпивкой, могли очень даже плотно поесть. И при этом всегда оставались стройным, подтянутым, изящным. Вам не была известна лень, естественное свойство-склонность весьма многих человеческих организмов. А то, к чему вас «тянул» ваш организм, было ему, как правило, по силам. К тому же оставалось подконтрольно вам, вашему ratio. У вас, похоже, с вашим телом был договор о дружбе и сотрудничестве: вы уважали специфику и притязания друг друга, и потому оно, как правило, было вашим союзником на жизненных путях. В этом, конечно, ваша заслуга. Но и его тоже: природный ресурс вашего организма, согласитесь, вам многое позволял.

В качестве примера решаюсь вспомнить ваш последний приезд в Екатеринбург в июне 2001 года. Вы только что отметили свое восьмидесятилетие в окружении родственников, друзей, коллег, учеников, приехавших из многих городов. На юбилейных мероприятиях были в отличной форме, великолепно выглядели (явно не на свои годы), интересно выступили на посвященной вам научной конференции, были остры и убедительны в возникавших дискуссиях, а на уютном фуршете – элегантно в темном костюме и артистичной малиновой бабочке. Сдержанно выслушивали многочисленные поздравления, но ваша улыбка выдавала удовлетворенность происходящим. В общем, как всегда, были прекрасны. Мы с Наташей Кирсановой надели на вас зеленую мантию почетного профессора Гуманитарного университета Екатеринбурга и «конфедератку». А утром следующего дня вы повели приезжих коллег на экскурсию в Михайловский замок и вместе с ними с легкостью взобрались по длинной, почти отвесной лестнице на его крышу, словно опровергая узаконенную вчерашними торжествами немалую дату.

И в Екатеринбург вы приехали легким, стремительным, расположенным к общению. Поводом была конференция в УПИ, организованная Галиной Кирилловной Чернявской, но на самом деле вам просто хотелось после долгого уже перерыва повидаться с городом и многочисленными друзьями. На сей раз мы с Галиной Кирилловной решили объединить усилия, чтобы не отдать вас никому, ведь вы приехали только на пару дней. И вот эти два насыщенных событиями и встречами, весьма



нагрузочных для всех нас дня показали мне вашу экстраординарную, просто фантастическую витальность, беспримерный запас сил и аппетита к жизни у вас, восьмидесятилетнего «молодого человека». Тут мне не обойти тему места спиртных напитков в вашей жизни. Тему применительно к вам ничуть не «скользкую», а, на мой взгляд, наоборот, очень яркую, мажорную и жизнеутверждающую. Те, кто вас знает, это с удовольствием подтвердят. Слово «удовольствие» тут вообще крайне уместно. Вы ведь всё в жизни делаете с удовольствием. Вы, Моисей Самойлович, – творческий гедонист-универсал. «В работе, в поисках пути, в сердечной смуте», говоря словами Пастернака. И, конечно, в дружеском общении, в праздничном застолье, в том числе и в питии весьма ценимых вами спиртных напитков, прежде всего водки (хотя и хороший коньяк вам тоже по душе). Никогда ни у кого из тысяч известных мне россиян – жителей страны, где популярней водки напитка нет, я не встречал такого уважительно-утонченного, любовно-гурманского, гастрономически-эстетически-гедонистического отношения к ней. Питание-вкушение водки стало для вас значимым ритуалом и важным проявлением полноты и красоты жизни. Не утратив психофизиологической своей стороны, оно, бесспорно, стало для вас частью духовной жизни и культуры. Разве пьяницам такое отношение доступно?! А ведь вы-то, я знаю, по-настоящему опьяневшим бывали крайне редко. Вот где сказалось единство вашего великого, восплаемого мной, организма и вашего столь же великого духа, умело управляющего всеми жизненными процессами и жестко контролирующего немалые ресурсы первого. Много лет назад, году так в 1974-м на Проблемном совете по эстетике в Суздале, когда все мы собрались завтракать за большим общим столом, я с удивлением увидел, что вам к завтраку (обычному советскому: каша, яичница, кусочек колбаски) подали небольшой графинчик водки. Потом вы рассказали, почему водку лучше до завтрака. Это объяснение – восхитительное подтверждение вашего выше сформулированного к ней отношения. Вы сказали: водку надо пить, *пока рот не опоганен пищей* (!).

Так вот, Екатеринбург, июнь 2001 года. Вас поселили в небольшой гостинице УПИ, где давно вас знающая Галина Кирилловна подготовилась к вашему завтраку: всё было, как положено. Потом вы пошли на конференцию, выступили, как всегда, замечательно (я был занят и отсутствовал, но люди вас хвалили). Затем наступило время обеда, естественно, вас хорошо угостили, после чего вы еще какое-то время работали на конференции. А потом мы встретились с вами, Чернявской и профессором Владимиром Самойловичем Цукерманом, на тот момент завкафедрой культурологии в Челябинском институте культуры и искусства. Мы поехали на могилу Льва Наумовича Когана, которого вы так любили и об уходе которого не переставали скорбеть. Стоять у надгробного памятни-

ка одного из самых жизнерадостных людей и главного хохмача Свердловска–Екатеринбурга было весьма дискомфортно. Однако верная традиция Галина Кирилловна извлекла из сумки бутылку водки, и она смягчила наши горестные чувства. Но все равно наши души нуждались в мажоре, уюте. Тут наступила моя очередь. Я повез своих спутников к себе домой, а там уже был накрыт большой стол, за которым сидели жаждущие встречи с вами преподаватели моей кафедры этики, эстетики, теории и истории культуры УрГУ, а также коллеги из УПИ. Мы разделили с вами функции тамады. Всё встало на свои места: вы, ваша аура и магия, ваши спичи и байки, такие любимые и такие долгожданные, вернули гармонию существования. И все мы опять любили друг друга... Мы много смеялись в этот вечер и обсуждали вещи вполне серьезные, вспоминали отсутствующих и ушедших навсегда, немножко попели. Ну, и выпили, конечно, немало, хорошо при этом закусывая. Я к концу вечера все чаще пропускал тосты: мне было явно достаточно. Ваши же тонус и активность, тематическое разнообразие и яркая «ветвистость» ваших тостов зримо возрастали, к изумленному восхищению присутствующих. Часов в двенадцать вас с Цукерманом повезли в гостиницу, и там, по вашей инициативе, вы с ним продолжили застолье и общение. Когда вы легли спать, я не знаю, но к семи утра мы подъехали к вашей гостинице: намечалась поездка в далекий старинный город Верхотурье. Вы – собранный, свежий, с деловым выражением на лице – прогуливались по двору. О, великий организм! Для сравнения: Владимир Самойлович, по его словам, с трудом проснулся с тяжелой головой и долго не мог понять, где, собственно говоря, находится. Но мы тронулись в путь. Июнь был холодный, мы все были довольно тепло одеты, но по обеим сторонам дороги бушевала зелень, всюю щебетали птички, и жизнь явно радовала. Чернявская сказала, что у нее с собой еда и чтобы мы дали знать, когда проголодаемся. Я после «вчерашнего» – желания есть явно не испытывал. Но примерно через полчаса вы сказали, что пора сделать привал и перекусить. На том и порешили, причем к завтраку по вашему настоянию была выдана и порция водочки. После чего общее настроение еще улучшилось и путешествие продолжилось. В дороге все немножко поспали, потом попели. Через четыре часа, на подъезде к Верхотурью, в лесу сделали еще один привал, и всё повторилось, как в первый раз. В городе на центральной площади зашли в продуктовый магазин, и вы были удивлены выбором спиртных напитков в этом захолустном уральском городке, мало чем отличавшимся от петербургского. Потом смотрели Кремль, его восстановленные недавно храмы, в одном из которых у вас вызвал восхищение прелестно-наивный по декоративному оформлению фаянсовый алтарь, сделанный современными мастерами по старым эскизам. А я восторгался вашей свежестью и бодростью, и как такое возможно, хоть убейте, не понимал.



Давным-давно жившее во мне сознание вашей исключительности умножалось с каждой минутой. Вы же, как ни в чем не бывало, продолжали осмотр, может, только став чуть более молчаливым, чем обычно. Потом мы пообедали в местном кафе, естественно, выпив водочки за город Верхотурье, и поехали назад в Екатеринбург. А ночью вы улетели в Питер. Больше в Екатеринбурге вы не были.

Но я сейчас не о печальном, а о великом, поражающем воображение и ценностное сознание. Близком к идеалу и потому кажущемся чудом. Чудом! А разве нет? Ведь вы – в своем совершенстве, в осуществленной вами полноте бытия – явление редкое, *редчайшее* – и *необъяснимое*. Я думаю об этом дорогом для меня чуде и о невероятной удаче всей жизни: знать его. Знать Вас!

Вам, дорогой Моисей Самойлович, скоро девяносто. Какая во всех отношениях большая и красивая прожитая жизнь! Какая большая и хорошая, качественная работа сделана и, что замечательно, продолжает делаться. Она ведь стала *культурой*. Культурным пространством, где можно «жить, думать, чувствовать, любить, свершать открытия». Культурной созидательной силой, творящей подобных себе творцов и их творчество во всех сферах жизни. Культурным началом, порядком, образцом, законом, прокладывающим пути и заставляющим идти по ним. Вы стали культурой, а культура бессмертна. Не каждому такое удается.

Я думаю о вас и вашей жизни. Мне это нужно. Для меня в этом не только незаменимая экзистенциальная радость, о которой я писал в начале, но и огромный мировоззренческий смысл. Когда я думаю о вас и вашей жизни, находятся ответы на вечные и, кажется, неразрешимые вопросы: зачем (для чего) жить и как жить? Ваши ответы – ответы вашей жизни – убедительны, завораживающе притягательны и прекрасны. Спасибо вам, что вы были, есть и будете. Мы с вами не расстанемся, Моисей Самойлович Каган, человек на все времена.

ИСТИННЫЙ ПЕТЕРБУРЖЕЦ

А. С. Запесоцкий*

О таких людях, как Моисей Самойлович Каган, трудно говорить в прошедшем времени. Слишком он был ярок: постоянно в движении, общении, в дискуссиях и спорах, в беседах и обсуждениях, блестящий полемист, редкий оратор, истово и интеллигентно отстаивавший свои прочно сложившиеся мировоззренческие позиции. Не подверженный конъюнктуре, чуждый суетной подгонке своих взглядов под дух времени или моду. Как был последователем подлинного Маркса, так и остался. Как был приверженцем научности, так тому и следовал долгие десятилетия. Как не принимал всю жизнь религиозного мирозерцания, так и не согласился с ним до самого конца своего жизненного пути, ушел атеистом. И в то же время был открыт полемике с другими идеями, чуток к восприятию всего нового, свежего, по-настоящему современного.

На пути научного становления мне посчастливилось встретить Моисея Самойловича в качестве оппонента при защите докторской диссертации. Позже профессор М.С. Каган принял мое предложение и пришел работать в СПбГУП на созданную нами кафедру культурологии. С тех пор и до самой кончины его научная деятельность была связана с Гуманитарным университетом профсоюзов, профессором которого он был около десяти лет.

Моисей Самойлович Каган — выдающийся ученый с мировым именем, во многом определивший развитие отечественной гуманитарной мысли последних десятилетий XX — начала XXI века. Тематика его научных интересов поистине безгранична. Искусство как особый способ постижения бытия и общеэстетические закономерности освоения реальности, мир общения и ценностные измерения человеческого существования, природа культуры и морфология художественного творчества, проблемы педагогики и антропологии, феномен интеллигенции и этапы развития мировой цивилизации, культура Петербурга и гуманитарное познание — вот только некоторые сюжеты его богатейшего наследия. В 1970–1990-е годы под его руководством были созданы выдающиеся кол-

* Запесоцкий Александр Сергеевич — доктор культурологии, профессор, ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, заведующий кафедрой философии и культурологии. Член Российской академии образования и ряда международных академий. Заслуженный деятель науки РФ.



лективные труды по истории эстетической мысли, мировой художественной культуры, философии культуры.

Велик вклад М.С. Кагана в теорию и историю культуры, в российскую культурологию. Замечательный ученый был приверженцем системного подхода в гуманитарных науках, позволяющего рассматривать процессы и явления в их целостности, с точки зрения универсальных закономерностей, в контексте взаимосвязей и опосредований. При этом он прекрасно понимал возникающие здесь возражения и предубеждения. В книге «Философия культуры» он писал: «Автор хорошо знает, сколь различно отношение его коллег, работающих в сфере обществознания и гуманитарных наук, к самому системному подходу как методу исследования человека, общества, культуры — от живого интереса и признания больших эвристических возможностей данного метода познания до отрицания какой-либо его продуктивности при рассмотрении духовных явлений, поскольку человеческий дух, как полагают, не может быть описан в качестве системы — он целостно неделим, не расчленен внутри себя, спонтанен и беззаконен»¹. Учитывая все это, ученый убедительно отстаивает свои позиции, глубоко веря в высокую продуктивность, теоретическую перспективность органической взаимосвязи методов гуманитарных наук с принципами естественно-научного знания.

Особая заслуга М.С.Кагана — создание методологии целостного рассмотрения культуры города, которую он разрабатывал на основе изучения истории Петербурга. Его теория познания города как феномена цивилизации развивает идеи М.Вебера, Л.Мамфорда, Л.Уайта, Ф.Броделя, осуществляя на деле выработанную во второй половине XX века синергетическую методологию изучения процессов развития сложных и сверхсложных систем. М.С. Каган много сделал для того, чтобы эта концепция, родившаяся в сфере физического знания, распространилась и на изучение культуры города, и на постижение культуры в целом, более того, стала бы общей парадигмой научного мышления в гуманитарной области. Культуру города ученый рассматривал как сложное, многоаспектное и в то же время целостное образование, включающее и материальную, и духовную, и художественную сферы жизни в их единстве и органической взаимосвязи.

Как профессор кафедры культурологии СПбГУП М.С. Каган внес вклад в разработку целого ряда учебных дисциплин культурологического цикла: «Введение в историю мировой культуры», «Теория культуры», «Культурология», но особенно велика его роль в разработке курса «История культуры Петербурга». Им были написаны учебная программа

¹ Каган М. С. Философия культуры. СПб., 1996. С. 6.

дисциплины и учебник, который вышел в издательстве СПбГУП в 2003 году и пользовался огромной популярностью у студентов и преподавателей нашего Университета и других вузов города. Здесь, вероятно, сказалось то обстоятельство, что автор учебника был не только высокопрофессиональным ученым, но и подлинным петербуржцем, воспитанным в интеллектуальной среде города. Он — истинное достояние Петербурга.

Моисей Самойлович не мыслил себя вне Петербурга, Ленинграда, его традиций, культуры и уникальной ауры. Петербург был для него критерием красоты и величия, он категорически отказывался от многочисленных предложений переехать в Москву, в европейские или американские города — жизнь и работа вне Петербурга лишалась для него всякого смысла.

Осуществляя подготовку второго издания учебного пособия «История культуры Петербурга»¹, профессор М.С. Каган совершил научный подвиг, служащий примером для молодых исследователей. Будучи тяжело больным, он нашел в себе силы вновь осмыслить пройденный городом драматический путь, переписать отдельные разделы учебника, более подробно осветить историю культуры советского периода. За неделю до ухода из жизни Моисей Самойлович держал в руках только что отпечатанное, пахнущее типографской краской второе издание своего учебника, радовался хорошему оформлению, высокому качеству полиграфии, выполненному обязательству перед Университетом.

Петербургская интеллигенция — одна из главных тем размышлений ученого. Всем памятны бурные дискуссии о месте и роли интеллигенции в современном российском обществе, организованные нашим Университетом во дворце Белосельских-Белозерских, блестящие выступления М.С. Кагана, важные идеи, высказанные им².

Вспоминая минувшее, не могу не отметить, что эти встречи проходили в обстановке исключительного демократизма и взаимного уважения. К тому моменту большинство участников пользовалось заслуженной репутацией интеллектуальных светил общероссийского масштаба, а Моисей Самойлович Каган был одним из самых ярких участников тех дискуссий.

Интеллигенция для ученого — прежде всего носитель ценностного сознания, ее характеризует живая приобщенность к нравственным, гражданским, эстетическим, экзистенциальным ценностям. И усваиваются

¹ Каган М.С. История культуры Петербурга. Учебное пособие. 2-е изд., доп. СПб., 2006.

² Каган М.С. Образованные люди с большой совестью // Судьба российской интеллигенции: материалы научной дискуссии. 23 мая 1996 г., СПбГУП; сост. и отв. ред. В. Е. Триодин. СПб., 1996. С. 57–60.



они человеческой личностью посредством живого переживания, а не абстрактного «знания». В ходе нашего общения М.С. Каган давал точное и емкое определение интеллигентов: «образованные люди с большой совестью».

По мысли М.С. Кагана, совпадавшей со взглядами другого блестящего участника дискуссии – Д.С. Лихачева, интеллигенция закономерно сформировалась на российской почве. Возникновение подобного слоя – высочайшее гуманитарное достижение России, своего рода торжество человеческого духа, лежащее в русле европейской культурной традиции. Безусловно, не случайно этот особый и в ряде отношений высший продукт европейской, да и всей мировой культуры, получил ярчайшее выражение именно в Петербурге.

Ученый рассматривал интеллигенцию как специфически российское явление, особый социально-психологический тип, никак не сводящийся к западному понятию интеллектуала и явившийся порождением петровских реформ, расколовших нацию на европейски образованную элиту и традиционалистски настроенную народную массу. Отсюда, уже начиная с Радищева, и характерная для отечественного интеллигента черта – чувство вины перед народом, не отданного ему долга, искренние сопереживания его страданиям. Интеллектуальный потенциал органически слился с нравственным сознанием. Отсюда и особая, подчеркивавшаяся М.С. Каганом, нравственная позиция интеллигенции, ее чувство социальной и гражданской ответственности, способность мучительно переживать протекающие в обществе процессы, не замыкаться равнодушно в узких границах собственного бытия. Отсюда же и представление о ней как о совести нации. Спрашивать, зачем России интеллигенция, – то же самое, что спрашивать, нужна ли ей совесть.

Великим символом российской интеллигенции М.С. Каган считал А.С. Пушкина. При этом он особо выделял у гениального поэта высочайшего уровня нравственную позицию – отношение к другому человеку как к равному, без высокомерия и пренебрежения к тем, кто ниже в социальной иерархии, без подбострастного угодничества тем, кто выше. Важнейшей чертой российской интеллигенции М.С. Каган считал подлинный демократизм, одинаково далеко отстоявший как от массового обезличивания и тоталитарного подавления человека, так и от индивидуалистического обособления, что делало отношения интеллигента с жизнью, выражаясь языком М.М. Бахтина, диалогическими, обоюдно равноправными. В любом случае позиция интеллигента – результат мучительных размышлений, разъедающей рефлексии, беспощадного внутреннего самоанализа – всего того, что идеологи большевизма называли «достоевщиной», противопоставляя ей цельность и прямоту простого

человека. Наличие чувства вины, постоянная потребность в рефлексии во многом объясняют психологию интеллигента, его сомнения, колебания, часто нерешительность.

Интеллигент, по М.С.Кагану, это — высокоразвитая личность, самостоятельно выстрадавшая систему ценностей, право личного выбора, внутренней свободы. А значит, и право самостоятельно судить. Но отсюда же, подчеркивал ученый, отсутствие идейного и тем более политического единства, мировоззренческая пестрота интеллигенции. «Ее представителей мы встречаем и в рядах террористов-народников, эсеров, большевиков, и в стане сторонников самодержавия и православия; интеллигенция казнилась, считая себя ответственной за трагический ход развития национальной жизни, и уходила от какой-либо практической социальной деятельности, замыкаясь в критическом созерцании происходящего; она металась от одной позиции к другой, из одного лагеря в другой»¹. А драматические судьбы ее, особенно в XX веке, известны: революции, войны, трагедия ГУЛАГа...

Интеллигенция — это не класс, не партия, не профессиональное объединение, у нее никогда не было писаного устава, иерархии, формальной организации. Однако российская интеллигенция всегда имела собственные символы веры, внутреннюю дисциплину, традиции. Это — независимое, неформальное движение, одно из проявлений способности россиян действовать без подчинения какому-либо лицу, издающему декреты и налагающему на всех свою волю. Ведущий принцип интеллигенции — служение народу. Это не следует понимать буквально, как прислуживание, поскольку у нее всегда присутствует собственный взгляд на общественное благо. Принципиально важно, что интеллигенция всегда была готова пожертвовать личным благом ради блага народного, при этом единственной ее наградой было осознание исполненного долга. Я уже писал об этом в связи с другим выдающимся ученым XX века, Д.С. Лихачевым². То же самое необходимо отметить, характеризуя взгляды на интеллигенцию М.С. Кагана.

Считая важной чертой интеллигенции критическое отношение к существующему порядку вещей, М.С. Каган, тем не менее, не был согласен с позицией, что интеллигент по определению — оппозиционер власти. Его подход был диалектическим: ответ на этот вопрос зависит от того,

¹ Каган М.С. Воспроизводство российской интеллигенции как педагогическая проблема //Формирование российского интеллигента в университете / СПбГУП; сост. и отв. ред. В. Е. Триудин. СПб. 2000. С. 134–135.

² См.: Запесоцкий А.С. Дмитрий Лихачев и русская интеллигенция // Запесоцкий А.С. Культурология Дмитрия Лихачева. СПб., 2007. Ч. 3, разд. 3.1. С. 198.



какова власть, в какой исторической ситуации проходит взаимодействие. Выдающийся ученый был также радикальным противником «пресловутой» (как он выражался) «русской идеи». Подобные идеи он называл стремлением двигаться вперед с повернутой назад головой.

30 июня 2005 года в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете прошла межвузовская научно-практическая конференция «История культуры Петербурга и современность». Центральным на пленарном заседании стало выступление М.С. Кагана. Его доклад назывался: «Перспективы развития культуры Петербурга в XXI веке». Это было последнее выступление профессора М.С. Кагана перед научной общественностью страны. Запомнились слова, которыми он завершил свою речь: «Перспективы развития Петербурга не в возвращении полных или частичных столичных функций и не в превращении Петербурга в туристический центр. Будущее Санкт-Петербурга зависит от того, сумеет ли он восстановить интеллигенцию как некий культурный слой россиян, которые не рождаются таковыми, а выращиваются в семьях, школах, вузах. Будущее Петербурга связано с приобретением им возможности осуществлять „расширенное воспроизводство петербургской интеллигенции“, ибо только тогда Петербург вернет себе ту роль в отечественной культуре, ради которой создал его Петр Великий»¹. Эти слова, обращенные к нам, живущим сегодня, работающим со студентами, продолжающим его дело, стали своеобразным завещанием.

И как человек Моисей Самойлович Каган был уникален. Он любил жизнь во всех ее проявлениях, излучал неиссякаемую энергию, щедро делился с окружающими своим органическим оптимизмом, заряжал каждой жить и работать. Был блестящим рассказчиком, собеседником, общение с которым доставляло истинную радость, обладал тонким чувством юмора. Выдающийся ученый, удивительный человек — таким мы его помним.

Из сборника: Инновационные аспекты культурной политики в России.
Памяти М. С. Кагана. СПб., 2008. С. 8–12.

¹ Каган М. С. Перспективы развития культуры Петербурга в XXI веке // История культуры Петербурга и современность: материалы межвуз. научно-практической конференции 30 июня 2005 г. / Под общ. ред. А.С. Запесоцкого. СПб., 2006. С. 10.

ЭНЕРГИЯ ТВОРЧЕСТВА И ОБАЯНИЕ ЛИЧНОСТИ

С. Н. Иконникова*

Первая встреча с М.С. Каганом была «уличной» и совершенно случайной, но запомнилась на всю жизнь. Именно с тех далеких моих студенческих лет я веду счет знакомства, затем сотрудничества, преданной дружбы и постоянного восхищения. Воспоминания всегда мозаичны, отрывочны, содержат множество мелких подробностей и, казалось бы, не способны дать целостного представления о человеке.

Но их прелесть состоит совсем в ином. Они восстанавливают контуры эмоционального отношения к человеку, симпатии и магнетической притягательности личного облика, возникновения чувства доверия и надежности.

Именно поэтому так интересно первое впечатление, которое было столь пронзительным. В те годы, да и теперь, мы – соседи, в центре Петербурга я и увидела М.С. на остановке автобуса по пути в Университет. Я ничего не знала о нем, не была знакома, но запомнила его удивительную деликатность, предельную вежливость, мужскую красоту, достоинство и приветливость. Кроме того, он был одет с большим вкусом: костюм, галстук, рубашка – все соответствовало моде и не было случайным. Это внимание к своей внешности он сохранял всегда.

Мой взгляд вырвал его из толпы на остановке, и таким он остался в памяти. Кстати, я им оказалась незамеченной, это воспоминание только мое. После этого прошло много лет, в течение которых судьба ни разу не повторила случайной встречи.

В Университете М.С. Каган был известен, лекции пользовались успехом, я же в те годы не была их слушателем и не соотносила его имя с той далекой встречей.

В 1959 году я поступила в аспирантуру на кафедру этики и эстетики, впервые созданную на философском факультете. Заведовал кафедрой В.Г. Иванов, и он сообщил нам, что М.С. Каган дал согласие стать преподавателем и читать курс эстетики. Через некоторое время состоя-

* Иконникова Светлана Николаевна – доктор философских наук, профессор. С 1959 аспирантка, затем доцент кафедры этики и эстетики философского факультета ЛГУ. С 1972 возглавляет кафедру теории и истории культуры в Государственном университете культуры и искусств. Президент Санкт-Петербургского культурологического общества. Академик РАЕН. Заслуженный деятель науки РФ.



лось представление, и я вспомнила о той далекой встрече – оказалось, это именно он.

М.С. был строг и требователен к научным статьям и диссертациям, нетерпим к халтуре и беспринципности, лени и необязательности. Его немного боялись, потому что планка оценки всегда была достаточно высокой. Так он относился к себе, этого он требовал от других. Свои замечания М.С. высказывал достаточно категорично, но никогда не обидно. К молодым аспиранткам и преподавателям-женщинам относился с особым почтением и, приветствуя, всегда целовал руку. Этот обычай был весьма редким и неизменно вызывал смущение. Я до сих пор помню наши впечатления от неумения правильно подать ему руку при встрече. Но надо признаться, что такой его жест был необычайно приятен, ибо давал почувствовать себя не только товарищем или коллегой, а привлекательной женщиной. Эти чувства сохраняются и сейчас. Тогда я узнала, что М.С. – фронтовик, ушел в ополчение, будучи студентом Университета.

Любимым спортивным занятием М.С. были лыжи, особенно спуск с гор. Я помню чувство восхищения от его стремительного полета с вершины крутого склона на Щучьем озере, мимо сосен и далеко вдаль снежного леса.

Коллектив новой кафедры был не только молодым, но отличался творческим накалом, дружеской доброжелательностью, профессиональной требовательностью и сплоченностью. Эрудиция, открытость отношений заложили основы авторитета и популярности кафедры, ее известности в стране и за рубежом. Мы любили вместе отдыхать, праздновать защиты докторских и кандидатских диссертаций, отмечать публикацию научных трудов, выезжать на научные конференции в другие города, принимать аспирантов. Кафедра была крепким монолитом, связанным научными интересами и нежным отношением друг к другу.

Я уверена в том, что атмосфера на кафедре является фундаментом творческих успехов. В 2000 году отмечалось 40 лет создания кафедры и выпуска первого совместного труда «Этическое и эстетическое».

К этой дате был опубликован новый сборник с тем же названием, в нем приняли участие многие доктора и кандидаты наук, в прошлом аспиранты и преподаватели кафедры, что еще раз подчеркивает важность «связи времен», энергии сотрудничества и добрых отношений. Такой душевный климат благотворен для любого коллектива, но особенно ценен в науке и искусстве.

Однако он не складывается стихийно, «сам собой», просто от соединения вместе хороших людей. Дружеские отношения создаются, требуют взаимной поддержки, сохранения интереса и инициативы, затрат личного времени. М.С. Каган всегда выступал инициатором и активным

участником подобных встреч. Всем известен он как лучший тамада, всегда шутливо мечтавший об открытии кафедры «научного тамадизма». Равного ему нет до сих пор, его лидерство остается недосыгаемым. В этом тоже проявились необычайная энергия общения, магнетическое притяжение и личное обаяние. М.С. обладает тонким чувством юмора, удивительным умением рассказывать анекдоты. Мы вместе участвовали в Самаре в научной конференции, и, поскольку там было много наших бывших аспирантов и коллег, нас гостеприимно принимали во многих домах, где за столом М.С. был не только тамадой, но и победителем конкурса анекдотов, при этом ни разу не повторился.

М.С. Каган уже вскоре стал для нас совсем близким человеком, и мы стали называть его «Микой», и таким он остается и сейчас. Это не фамильярность, а особый «титул», возможность называть его так дается только друзьям и особам приближенным, заслужившим право такого обращения.

Поколение «шестидесятников» отличалось относительной свободой, преодолением догм, инициативой творческого подхода к реальности. Именно в эти годы пользовались огромной популярностью лекции по эстетике, которые читал М.С. Каган на философском факультете, в Центральном лектории и в других местах. Впоследствии они неоднократно издавались в Университете и за рубежом и стали первым научным обоснованием эстетики.

На его лекции и доклады сбегался буквально «весь город». Его голос обладал удивительной силой духовного воздействия и убеждения. Логическая стройность и четкость, рациональная аргументация, чистота русской речи, выразительность интонаций, научная и художественная эрудиция вызывали в слушателях состояние интеллектуального восхищения.

В этих выступлениях проявилась еще одна особенность его личности.

М.С. Каган был понятен, но неповторим. Его лекции всегда конспектировали, тщательно записывали, но прочитать их перед аудиторией с тем же успехом оказывалось невозможным. В этом состояла тайна его популярности.

Теперь, спустя годы и годы, когда издано много томов его научных трудов, я вижу основу той легкости, которая привлекала на лекциях и публичных выступлениях. Она заключается в его огромном интеллектуальном напряжении, стремлении к постоянному обновлению, необычайной эрудиции и работоспособности. Именно в этом состоит «секрет» творческого долголетия, источник вдохновения и страстности.

М.С. невозможно назвать «кабинетным» ученым, хотя у него прекрасный кабинет, великолепная библиотека и любимый компьютер. Но и дома он открыт для всех. Его фондом пользуются многочисленные ас-



пиранты, докторанты, стажеры. Многие друзья-коллеги из других городов и стран находят в этом гостеприимном доме приют, возможность продлить прелесть неформального общения, обсудить новые планы и проблемы.

Такому общению всегда содействует и покровительствует его жена – Юлия Освальдовна, искусствовед, ведущий научный сотрудник Эрмитажа, хранитель уникальной коллекции камней, автор многих книг об искусстве миниатюрной резьбы по камню.

В течение года он успевает редактировать книги и коллективные труды, выпускать монографии, читать новые курсы лекций, рецензировать, оппонировать, выезжать в заграничные командировки, организовывать конференции, привлекать для участия в них известных российских и зарубежных ученых, планировать организацию научных Конгрессов и Форумов. Всего просто не перечислить, и за ним при всем желании невозможно успеть. Его энергия обладает огромной силой творческого созидания, которая проявляется во всех сферах жизнедеятельности. К этому следует добавить энергию человеческих отношений, внимание и отзывчивость, доброту и сердечность, притягивающие к нему друзей и знакомых, учеников и последователей.

Особенно продуктивными в творчестве оказались 90-е годы. Именно в этот период М.С. Каган обосновал ряд новых концепций, заложил основы культурологии как науки, определил методологию исследования истории мировой культуры. Этому предшествовал ряд научных трудов прежних лет, но концептуальный замысел наиболее полно реализовался в те годы.

Интерес к теории и истории культуры возник давно. Монографии «Человеческая деятельность» (1974), а затем «Мир общения» (1988) постепенно подводили к главному труду «Философия культуры» (1997), который вошел в Золотой фонд культурологических исследований. К ним следует добавить коллективный труд «Философия культуры. Становление и развитие» (1998) под редакцией М.С. Кагана и с его участием.

И вот уже в XXI веке, в январе 2001 года, я с радостью читала новый труд «Введение в историю мировой культуры. Часть первая». В ней М.С. возвращается к изложению поистине гигантского исторического материала в форме 14 лекций. Большой опыт лектора и педагогическое мастерство, очевидно, определили выбор этой формы диалога с читателем.

Но главное отличие от многих книг по истории культуры состоит в обосновании научной методологии исследования на основе синергетики.

Рассматривая культуру как сложную и даже сверхсложную динамичную систему, он применил основные положения синергетики для понимания процессов самоорганизации в функционировании культур,

выяснения значения хаоса и порядка, случайности и закономерности, свободы и творческого потенциала личности. Многие проблемы истории мировой культуры получают новое прочтение – ведь на рабочем столе профессора М.С. Кагана уже лежит рукопись Второй части, в которой рассматриваются противоречия и перспективы развития культуры в XXI веке. Энергия творчества постоянно бросает ему Вызов, он с достоинством отвечает и, как говорят теннисисты, «отлично держит удар». М.С. удивительно разнообразен, его мысль имеет широкий диапазон, сопровождается новыми увлечениями и поисками.

Совершенно новый исторический материал им освоен в книге «Град Петров в истории русской культуры» (1996). На ее основе был прочитан студентам курс и написано учебное пособие. Вообще, следует признать, что студенческая аудитория для М.С. всегда служит камертоном проверки и уточнения позиций. Этот постоянный контакт с молодежью способствует его душевной молодости.

Впереди еще много планов, замыслов, идей. Энергия творчества и обаяние, несомненно, будут способствовать их исполнению. М.С., при необозримом круге общения, сохраняет верную преданность друзьям. На одной из его книг есть автограф: «Светочка, дорогая, сколько лет уже нашему общению, а я тебя все больше люблю». И я тебя, Мика...



О МОИСЕЕ САМОЙЛОВИЧЕ КАГАНЕ

Н. Н. Калитина*

Несколько страниц воспоминаний, которые я посвящаю Моисею Самойловичу Кагану, не дадут представления о нем как об ученом с мировым именем, авторе многих книг и статей по эстетике, теории искусства, истории культуры, художественной критике. Об этом, безусловно, напишут его коллеги и ученики. Я не принадлежу к их числу, хотя, должна признаться, отношение к Моисею Самойловичу как к учителю сохранилось у меня до сих пор, ибо я была одной из первых слушательниц его университетского курса по марксистско-ленинской эстетике. Я, если можно так сказать, «чистый» искусствовед, к тому же искусствовед, посвятивший свою научную деятельность изучению искусства одной страны – Франции. И все же многое в этой жизни нас объединяло.

Во-первых, интерес к французскому искусству и – шире – культуре. Оба мы, придя в университет (Моисей Самойлович еще до войны на филологический факультет, а я – уже после войны – на факультет исторический), свободно владели французским языком и, подчас, во время наших редких «пересечений» для практики говорили на французском, щеголяя друг перед другом французскими «словечками» и редкими словесными оборотами. Кандидатская диссертация, над которой Моисей Самойлович работал после возвращения с фронта, также была посвящена Франции. В ней шла речь о развитии реалистического направления в литературе и искусстве Франции XVII столетия. Чуть дальше я еще вернусь к этой работе.

Во-вторых, довольно продолжительное время мы с М.С. Каганом работали на одной кафедре – кафедре истории искусств исторического факультета нашего университета. Поначалу статус у нас был разным. Как я уже отметила, Моисей Самойлович начал читать для студентов этой кафедры лекции по теории искусств и эстетике, а я была в числе его слушательниц. Потом пошли годы аспирантуры, но с 1951 года мы с Моисеем Самойловичем стали коллегами. Что сохранила память об этих годах? Помню, как озадачили меня на первых порах и содержание, и стиль пода-

* Калитина Нина Николаевна – доктор искусствоведения, профессор. С 1951 работает на кафедре истории искусств исторического факультета СПбГУ, которой заведовала с 1972 по 1996. Автор 10 монографий и учебника по искусству Франции. Заслуженный деятель науки РФ.

чи материала нашего педагога. Мне было трудно его воспринимать. То ли я не доросла до серьезного разговора о сложных вещах, то ли наш начинающий лектор подавал материал в усложненной форме? Думаю сейчас, что имело место и то, и другое. В студенческие годы я занималась в семинаре научного руководителя Моисея Самойловича (по аспирантуре) – профессора И.И. Иоффе – и хорошо помню, что не без трудностей воспринимала его теорию «синтетизма». Только-только я успевала что-то зафиксировать в памяти, как профессор уже строил свои выводы, основываясь на новом материале. Думаю, что Мика (так за глаза мы называли Моисея Самойловича) в чем-то следовал его примеру. В дальнейшем я много раз слушала и лекции, и доклады Моисея Самойловича и могу утверждать, что ощущение усложненности у меня никогда больше не возникало.

Когда я начала свою преподавательскую деятельность, то я уже не посещала учебные занятия (лекции и семинары) Моисея Самойловича, но могу засвидетельствовать, что они пользовались в студенческой среде все возрастающим успехом. М.С. Каган был постоянно окружен «стайкой» любопытствующих студентов, не считаясь со временем, он консультировал, отвечал на вопросы, а то и просто беседовал с молодежью о всяких учебных и не только учебных делах. Они могли «на ходу» обсуждать новую выставку, прочитанную книгу, концерт в филармонии. Иногда вместе проводили свободное время. Что касается меня, то ярче всего мне запомнился Моисей Самойлович как участник кафедральных заседаний, обсуждений, дискуссий и... лыжных походов. Не делая для этого никаких специальных усилий, Мика стал вскоре одним из самых активных, деятельных членов нашего коллектива. К его мнению прислушивался зав. кафедрой профессор М.К. Каргер. Интереснейшие дискуссии происходили во время заседаний и обсуждений с Т.П. Знамеровской. Она много раз говорила мне, что очень ценит мнение М.С. Кагана, даже в тех случаях, когда его взгляды не совпадают с ее суждениями. Очень теплые отношения установились у Моисея Самойловича с Г.Е. Лебедевым, читавшим у нас курс русского искусства. Обо мне нечего и говорить – кафедральная жизнь, царившая там атмосфера научного поиска были моим «вторым университетом», и М.С. Каган играл в этом «университете» одну из главных ролей. Хочу добавить, что именно в 1950 годы я увидела в Моисее Самойловиче не только талантливого ученого, педагога, но и хорошего товарища, открытого, простого в общении. Как ни странно это здесь прозвучит, «обычного», а не ученого Мику, я лучше всего воспринимала во время лыжных походов, которыми мы тогда увлекались.

Ехали на электричке до Комарова или Зеленогорска, а затем, оставив пальто на вокзале в раздевалке или на веранде специально снятого



дома, отправлялись к озерам: Щучьему, Красавице, – те кто не умел или не хотел становиться на лыжи, шел пешком по дороге, а затем мы встречались в условленном месте. На «лыжном фронте» Моисей Самойлович лидировал. Никто из нашей компании не решался спуститься с крутой горы под фамильярным названием «Лоб», Мика же лихо мчался вниз, лавируя между соснами.

Не следует представлять себе, однако, наше кафедральное существование в ту пору только в радужном свете. Университет, факультет и кафедра проходили в конце 1940-х и 1950-е годы трудную, подчас трагическую полосу своей истории. Нет необходимости воскрешать царившую на факультете атмосферу, да и я, будучи в это время студенткой, аспиранткой и начинающим преподавателем, к тому же еще молодой мамой, далеко не во всем могла разобраться. Но об одном эпизоде, связанном с Моисеем Самойловичем, я хочу вспомнить. В то время, о котором идет речь, известность М.С. Кагана в масштабах не только университета, но и Ленинграда, а также Москвы, Тбилиси, постоянно возрастала. Он выступал на ученых дискуссиях, был связан с творческими союзами, мастерскими живописцев, одним словом, вышел на авансцену культурной жизни страны. Одной из проблем, вокруг которой в ту пору велись ожесточенные споры, была проблема реализма. Точка зрения Моисея Самойловича по этому поводу оспаривалась рядом авторитетных ученых, но вокруг проблемы, как это нередко бывает, копошилось немало «активных людей». Однажды ко мне в коридоре истфака подошел некто (я не хочу его называть; говорившего со мной человека давно нет в живых), предложил выступить на собрании от имени студентов с критикой взглядов Моисея Самойловича и протянул мне бумажку с написанным текстом. Я опешила. Не помню сейчас, что конкретно я сказала, просто «нет» или что не привыкла говорить с чужого голоса. Во всяком случае, меня оставили в покое. Мне казалось, что трудная полоса пройдена и страсти улеглись. Поэтому полной неожиданностью для меня стало известие о том, что Моисей Самойлович уходит с исторического факультета и будет работать на кафедре этики и эстетики факультета философского. Как говорили в ту пору, «Мика поднялся выше» (истфак находится на втором этаже, философский факультет на третьем).

Понимая логику, а может быть, и необходимость, этого шага со стороны Моисея Самойловича, я все же долгое время не могла успокоиться. Я утешала себя тем, что научные и учебные контакты не прервутся, ибо Моисей Самойлович в ответ на мою просьбу разрешить присылать к нему на консультацию своих студентов ответил согласием. Мои надежды, казалось, подкреплялись такими событиями, как женитьба Моисея Самойловича на выпускнице нашей кафедры Юлии Эбин, переход «на третий

этаж» нашего выпускника Вадима Прозерского. Но время шло, контакты ослабевали. Бывало, мы не виделись годами... Тем не менее, столкнувшись в коридоре или в дверях истфака, мы сообщали друг другу новости, радовались выходу в свет его новых книг. Некоторые из них Моисей Самойлович мне вскоре после этих встреч дарил. Однажды такая случайная встреча «на бегу» переросла в серьезный разговор. Речь зашла о моей докторской диссертации, над которой в то время я усиленно работала. Диссертация была посвящена эпохе реализма во французской живописи XIX века, причем речь шла в ней не только о живописи, но и о связанной с ней художественной критике. Тема была близка Моисею Самойловичу. Как я уже упоминала, в начале своего творческого пути он занимался сходными проблемами, но применительно к XVII веку. Мы завели разговор о специфике каждой эпохи, о «диалоге» литературы и искусства в XVII и XIX веках, о лидерах среди живописцев, причисленных к реализму: братьях Ленегах и Курбе и т. д., и т. п. Мы настолько увлеклись беседой, что не заметили, как прошли линию Менделеева, Дворцовый мост, набережную чуть ли не до Литейного. Моисей Самойлович интересовался деталями, давал советы, спорил, одним словом, проявлял самый живой интерес к моему труду. Поэтому я всегда мысленно причисляла моего «старого друга» (так назвал меня М.С. Каган, подарив мне одну из своих книг) к числу участников кафедрального обсуждения диссертации.

Запомнилось мне и неожиданное появление М.С. Кагана «со товарищи» на заседании Ученого совета истфака, на котором меня поздравляли с 50-летием. С третьего этажа спустилась троица: М.С. Каган, В.Г. Иванов и В.В. Селиванов, – и очень душевно поздравила меня. Откуда они узнали о юбилее, не ведаю, но подозреваю, что их информировала секретарь кафедры А.Н. Свешникова. Мелочь, но такой приятный знак внимания, инициатором которого был, конечно, Мика.

Эти несколько написанных мною страниц относятся к прошлому – увы! –уже далекому прошлому. Последние наши встречи с Моисеем Самойловичем происходили в новом, XXI веке. Одна из них опять-таки была связана с Францией, ее культурой. При университете функционировало «Общество Жанны д'Арк – Шарля Пеги» (существует оно и сейчас), которое раз в год проводило научные конференции. Я участвовала в них чуть ли не с самого начала деятельности общества. Моисей Самойлович присоединился к нам значительно позднее, но, как и в годы нашей молодости, оказался в центре внимания. Ему после его доклада задавались серьезные вопросы, в кулуарах его «ловили», чтобы выяснить его мнение и просто пообщаться. Как всегда, он был доступен, открыт, доброжелателен.



И, наконец, последнее. Я попросила Моисея Самойловича написать предисловие к книге моих мемуаров «Странички воспоминаний», на что он охотно согласился. Я зашла за отзывом к нему домой на улицу Чайковского и, вернувшись к себе, взахлеб прочитала текст. Он был написан просто, спокойно, без всякого пафоса и превосходных эпитетов. В нем жило понимание и дружеское расположение, умение увидеть за какой-то незначительной деталью нечто большее – дыхание времени. Вышедшую в 2005 году книгу я решила сразу передать Мике и Юле, я снова прошла через Таврический сад на улицу Чайковского, но Моисея Самойловича уже не увидела: он тяжело болел. Не знаю, успел ли он полистать книгу...

ОН БЫЛ ИСТОЧНИКОМ ОПТИМИЗМА

И. С. Кон*

Моисей Самойлович Каган был удивительно цельным и творческим человеком. Вся его жизнь была связана с Ленинградским университетом. Он поступил туда в 1938 г. семнадцатилетним юношей, оттуда ушел на фронт, туда же вернулся после тяжелого ранения и до последнего дня оставался его почетным профессором. Свое последнее интервью «Альтернатива сего дня: духовное самоуничтожение нашего общества или развитие интеллигентности» умирающий ученый дал корреспонденту журнала «Санкт-Петербургский университет» в январе 2006 г.

Рассказывать о жизни и работе Кагана можно долго. Выдающийся философ, искусствовед и культуролог лучше всего это сделал сам в книге «О времени, о людях, о себе» (2005). Его научные интересы были исключительно широки, включая эстетику, историю и теорию искусства, проблемы человека и личности в самом широком смысле этих слов. В профессиональной среде его труды хорошо известны, а широкому читателю я бы в первую очередь порекомендовал книгу «Град Петров в истории русской культуры» (2004) и уникальную по замыслу и материалу монографию «Се человек... Жизнь, смерть и бессмертие в „волшебном зеркале“ изобразительного искусства» (2003). На мой взгляд, эти книги интересны каждому.

Мы познакомились и подружились с Микой, как его многие называли в годы совместной работы на философском факультете, и эти отношения сохранились навсегда. У нас было много общих научных интересов, в частности, теория личности и общения (наши книги на эти темы печатались в одной и той же политиздатовской серии «Над чем работают, о чем спорят философы»), общие друзья, а отчасти и общие враги. Поглощенность собственной работой не мешала ему живо откликаться на чужие идеи. Я горжусь тем, что едва ли не последней прижизненной публикацией Кагана стала рецензия на мою книгу «Мужское тело в истории культуры» в журнале «Человек». Он написал ее тяжело больным, зная, что дни его сочтены.

* Кон Игорь Семенович (1928–2011) – социолог, философ, антрополог. Доктор наук, профессор, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН, Москва. Член Российской академии образования и ряда международных академий.



Каган всегда был и считал себя марксистом, даже тогда, когда это стало немодно. Но его марксизм был не догматическим, а творческим, поэтому почти все его книги в советское время подвергались нападкам и идеологическим проработкам.

Этому способствовали жуткие нравы, царившие в советской эстетике. В ней было больше свободы мысли, чем в других отраслях философии, там работали такие талантливые люди, как Л.Н. Столович, Ю.Н. Давыдов, Ю.Б. Борев, зато и борьба была более жесткой и часто велась без правил. Несколько раз Каган буквально чудом избегал увольнения с работы, тем не менее, никогда не шел на идейные компромиссы, смело отстаивал свои взгляды и не жаловался на жизнь. Эти качества ему удалось передать и некоторым своим ученикам, которых у него было значительно больше, чем у всех остальных моих знакомых...

Мика был очень жизнелюбивым и веселым человеком. О его остроумии рассказывали легенды. Он бывал тамадой даже за грузинским столом, о наших застольях и говорить нечего. Когда праздновали защиту кандидатской диссертации Светланы Иконниковой, он сказал: «Ну, чего вы, дураки, радуетесь? Плакать надо! Кем Света была вчера? Аспиранткой. Какой при этом слове возникает образ? Очаровательной молодой девушки, что вполне соответствует реальности. А кем она станет завтра? Кандидатом философских наук, КФН. Какой это вызывает образ? Старой недоброжелательной гримзы, от которой лучше держаться подальше. Тут надо не поздравлять, а сочувствовать!»

Когда в 1986 г. Кагана хотели уволить, вывести на пенсию по старости, он предложил секретарю парткома ЛГУ, который был вдвое его моложе, соревнование по четырем позициям: кто лучше прочтет лекцию студентам, быстрее пробежит дистанцию на лыжах, выпьет больше водки и лучше проведет ночь с женщиной. Партсекретарь от соревнования отказался, а Кагану разрешили еще раз участвовать в конкурсе. В самые трудные времена он был для других источником оптимизма.

До последних дней жизни Мика оставался творцом. Незадолго до смерти он рассказывал мне об интереснейшем проекте – книге о началах философии для маленьких детей. Это не была утопия. Дети, а затем подростки очень часто философствуют, главное – дать их мысли плодотворное направление, в том числе средствами искусства. К сожалению, реализовать эту идею он не успел.

Не могу не рассказать связанную с Каганом смешную историю. В конце 1980-х годов, будучи в командировке в Париже, я случайно встретил там его с женой, Юлией Освальдовной, искусствоведом, специалистом по резным камням в Эрмитаже. При советской власти Кагана за границу почти не выпускали, а теперь они получили частное приглашение

от швейцарского кузена и заодно решили съездить на неделю в Париж. Моисей Самойлович свободно владел французским, однако внимательно прочитав, что написано в его визе, не удосужился. Мы все тогда думали, что единственная трудность – выехать из СССР, а на Западе – свободный мир и безусловный здравый смысл, какие там могут быть проблемы?! Между тем бюрократия имеет свои выраженные национальные особенности (первым их исследовал еще в 1960-х годах французский социолог Мишель Крозье), порою абсолютно абсурдные. Это касалось и визовых документов. Немцы задавали понятные и разумные вопросы: где и на какие деньги ты будешь жить, нет ли у тебя опасных болезней и т. п. Для французов же и итальянцев главным почему-то было место пересечения границы, причем «место встречи» изменить было нельзя.

В паспортах Каганов значился Парижский аэропорт, а они решили проехаться из Берна поездом. Все шло отлично, проходили контроли, никто ничего не говорил, а в полутора часах езды до Парижа появились вооруженные полицейские, сняли Мику и Юлю с поезда, составили акт о нарушении ими государственной границы, посадили, как в детективных фильмах, в машину с вооруженной охраной и вывезли обратно в Швейцарию. Для 99,9% советских людей путешествие на этом бы закончилось, но Каганам очень хотелось все-таки побывать в Париже. Поэтому, не долго раздумывая, купили билет на самолет и прибыли, куда положено (это было еще до компьютерной эры, так что отметок о совершенном ими серьезном правонарушении нигде не было, и в Париж их впустили беспрепятственно).

Зато теперь началась вторая серия фильма. Мы все знали, что визы имеют определенную длительность, но разницы между одно- и многоразовыми визами не знали. Кагановская швейцарская виза была, естественно, одноразовой. Когда им сказали, что с этим могут возникнуть проблемы, они пошли в швейцарское консульство, где им любезно объяснили, что их виза истекла, вернуться в Швейцарию они не могут, поезжайте обратно в Ленинград и оформляйте новую визу. В крайнем случае, сказал консул, я могу оформить вам однодневную полицейскую визу, но для этого вы должны предъявить мне ваши обратные билеты Берн–Ленинград. А они остались в чемодане в Берне... Каган попытался, пока суд да дело, продлить французскую визу, но в этом ему тоже отказали.

В итоге двое пожилых интеллигентных людей, не причастных ни к какой преступной активности, оказались в положении Фернанделя из знаменитого фильма «Закон есть закон»: они не могут ни вернуться в Берн, ни остаться в Париже, ни вернуться в Ленинград.

В тот вечер Дом наук о человеке организовал для меня обед с помощником французского министра иностранных дел. Я думал, что, когда



я расскажу эту историю, все посмеются, и вопрос будет решен. Но дипломат даже не улыбнулся. Конечно, – сказал он, – это выглядит нелепо, но таков закон. Швейцарский консул не может дать им новую визу самостоятельно, без документов. – Ну, а продлить французскую визу вы не можете? – Вообще-то это не по моей части, но вот мой приватный телефон, если вопрос не разрешится иначе, я постараюсь это уладить.

Вопрос решился иначе. Микин швейцарский кузен был адвокатом и знал порядки. Он позвонил в свой МИД, там подняли документы и по телефону разрешили своему парижскому консулу выдать Каганам новую визу. Но какая нервотрепка! С тех пор я очень внимательно читаю все визовые документы. И правильно делаю – однажды во французском консульстве в Москве мне поставили подряд 4 (!) неправильные визы.

Помимо многих других человеческих достоинств, Мика был замечательным семьянином. Для своих детей он был не только опорой и защитой, но в буквальном смысле другом и наставником. Такое сочетание требовательной заботы и терпимости встречается крайне редко. Если бы не дружба и интеллектуальное общение с Моисеем Самойловичем, хотя их взгляды не всегда совпадали, его пасынок Александр Эткинд вряд ли стал бы тем знаменитым культурологом, которого все знают.

Хлопот с детьми, особенно с мальчишками, родителям хватало. То Сашке грозит исключение с биофака. То 18-летнего Мишку с такой же юной невестой рижская милиция задерживает вместе со съехавшимися на праздник Лиго хиппи, сидевшими на парашюте газона у Домского собора. Бывали и более серьезные вещи – оба юноши безвинно становились жертвами государственного антисемитизма. Трагикомическая история поступления Михаила Кагана на истфак ЛГУ заслуживает отдельной новеллы, но боюсь, что ей никто не поверит. Отец все это воспринимал стоически.

Моисей Самойлович умирал трудно. Рак легких обнаружили на той стадии, когда уже ничего нельзя было сделать, кроме как снимать боль. Каково болеть, лечиться и умирать в российских условиях, все знают. Юлия Освальдовна совершила подвиг, на который способна только любящая женщина. Находить нужных врачей и недоступные лекарства, поддерживать моральный дух слабеющего, но все еще сильного, с ясным умом, человека, было невероятно трудно. И все это нужно было делать, невзирая на собственный возраст, болезни и серьезную научную работу. Достоинно проявили себя и дети. Последние месяцы жизни Моисея Самойловича – урок мужества и нравственного служения, примером которого была вся их семья.

Из книги: Игорь Кон. 80 лет одиночества. М., 2008. С. 62–67.

О СОХРАНЕНИИ МЫСЛИ

В. А. Конев*

В сентябре 2010 года по каналу «Культура» прошел фильм А. Архангельского «Отдел» о философах-шестидесятниках. Фильм хороший, интересный, но в нем постоянно звучит интонация: вот, смотрите, в «абсолютном вакууме», в «безвоздушном пространстве послевоенного времени, в отсутствие почвы» эти люди, философы 60-х, смогли пустить живые ростки (из интервью А. Архангельского).

Но это не так. Конечно, время 40–50-х годов прошлого, XX века, было непростым во всех отношениях – и материальном, и политическом, и идеологическом. Для понимания интеллектуальной атмосферы того времени достаточно вспомнить Постановление августа 1946 года ЦК ВКП(б) по журналам «Звезда» и «Ленинград» и августовскую сессию ВАСХНИЛ 1948 года, которые открыли годы идеологического террора, но это не были годы «абсолютного интеллектуального вакуума» и «безвоздушного пространства» для ума. Свист самих этих идеологических кнутов свидетельствовал о том, что есть люди, есть головы, из которых «надо выбивать» нормальные мысли, действительное искусство, действительную науку. Но «рукописи не горят»! Идеи остаются жить, даже если режим уничтожает их авторов! Они живут, если есть хотя бы несколько человек, которые их разделяют, которые держат их своими усилиями. А людей, сохранявших и продолжавших традиции русской культуры, людей, несмотря на всё двурушничество официальной морали, державших планку нравственных требований и не только говоривших о чести и достоинстве, но своими действиями утверждавших честь и достоинство человека, – таких людей было немало. Именно они определяли нравственную и научную атмосферу в обществе. Без них не было бы тех философов, о которых говорил фильм А. Архангельского, того театра, который тогда был и который мы имеем, тех математики и физики, той школы, которая была, того интереса к знаниям, к книге, которая охватывала если не всех, то многих и многих.

К таким людям относился Моисей Самойлович Каган, Мика, как его звали в кругу друзей.

* Конев Владимир Александрович – доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии гуманитарных факультетов Самарского государственного университета. Заслуженный деятель науки РФ.



Моисей Самойлович относился к первому советскому поколению, чье формирование выпало на 30-годы, поколению, как он сам писал, очарованному и захваченному романтикой революционных изменений. Для этого первого поколения советской интеллигенции революционная романтика стала романтикой научного поиска, романтикой открытий. Это и проявилось в творчестве Моисея Самойловича. Он был первым, кто создал фундаментальный курс эстетики в нашей стране, он был одним из тех, кто стоял у истоков отечественной философии культуры, благодаря которой появилось целое новое научное направление – культурология. Книги, статьи, выступления на конференциях и семинарах Моисея Самойловича всегда оказывались вехами в развитии философской и культурологической отечественной мысли. Эти книги и статьи доступны всем, и еще долгие годы они будут открывать дорогу в эстетику и культурологию новым поколениям студентов и аспирантов.

Но для меня Моисей Самойлович значим не только как исследователь.

В жизни каждого человека есть люди, встречи, события, которые укореняют его в жизни, вносят в нее какой-то новый опыт, становятся неотъемлемой частью его самого.

М.С. Каган был для меня таким человеком. Через него и благодаря ему для меня оживилась та атмосфера, то настроение, то состояние души и мысли, которое до этого жило в книгах и классических учебниках, читанных в студенческие и аспирантские годы.

Мое первое знакомство с М.С. было заочным. Я знал его книги, первое издание «Эстетики» в трех книжках в мягком переплете, потом однотомное издание, потом знаменитую «Морфологию искусства», но лично мы не встречались. В далеком 1978 году я защищал докторскую диссертацию. Опубликовав автореферат диссертации, я отправил его Моисею Самойловичу на адрес Ленинградского университета, и он прислал положительный отзыв. На защите, которая проходила на философском факультете МГУ, когда перечисляли отзывы и назвали имя М.С. Кагана, кто-то из членов совета сказал: «От Кагана? Ну, тогда диссертация добротная!»

Тот факт – что известный ученый откликается на работу неизвестного ему молодого (тогда) соискателя, свидетельствует о живом человеческом участии М.С. в судьбах других людей. И такие случаи не единичны. Я помню, уже много-много лет спустя, во время защиты моего докторанта С.А. Лишаева, в совет пришел отзыв М.С. на автореферат и книгу соискателя, на полстранички, написан от руки, и это был обычный не «дежурный» отзыв, а просто восторженная оценка понравившейся ему книжки и призыв – «Голосуйте, не ошибётесь!» Я не говорю о том, что

М.С. воспитал десятки аспирантов и докторантов, неизменно внимательно работая с ними, знаю это, так как видел его замечания на полях рукописи диссертации моей дочери, когда она была аспирантом Кагана.

Поскольку Самара, где я живу и работаю, все-таки далеко от Питера, мы встречались не так часто, как хотелось бы. В советское время эти встречи происходили на заседаниях Проблемного совета по эстетике, на конференциях, потом, когда стал систематически работать наш семинар по «Философии культуры» в Самарском университете, М.С. приезжал на заседания семинара, выступал с докладами. Здесь он впервые для нас изложил свою концепцию развития мировой культуры, основанную на синергетическом осмыслении.

И, конечно, забываем М.С. в роли тамады. Мне повезло, что в 1997 году на моем 60-летии он вел стол, поражая всех остроумием, импровизацией, эрудицией, блеском слова. Тогда же я получил от него «урок провозглашения тоста»: «Начиная тост, не должен знать, что будешь говорить».

Для меня, для моих коллег и учеников, которые встречались с Моисеем Самойловичем, когда он бывал на наших конференциях и семинарах, М.С. был живым посредником между нами и тем поколением питерских и ленинградских ученых, представителей традиции русской гуманитарной науки, у которых учился Каган, – И.И. Иоффе, И.И. Мещанинов, А.С. Орлов, В.М. Жирмунский и др., чьи книги мы читали, а их живое слово не слышали.

В М.С. Кагане эта традиция продолжала жить, традиция российского интеллигента. В науке – это внимание к самым значимым для человека и общества событиям и тщательное обоснование своих выводов, в жизни – это нравственное достоинство, честность и честь. Культура и ее ценности передаются только из рук в руки, здесь рукоположение так же важно, как в передаче сана священнослужителя. Если прерывается живой контакт в культуре, то культура умирает. Лично я обязан Моисею Самойловичу (как и еще двум-трем людям) своим приобщением к живой мысли и интеллигентности.

И, повторю еще раз, в непростые годы выхолащивания из общественной жизни мысли, интеллекта, интеллигентности, эти самые мысль, интеллект, интеллигентность сохранялись в нашей культуре такими людьми, как Моисей Самойлович Каган.



СЕМИНАР ПО ЭСТЕТИКЕ НА ИСТФАКЕ ЛГУ.

Начало 1950-х

И. З. Лаврова-Яшина*

6 мая 1953 года, отмечая первую годовщину защиты наших дипломов, на которую пришли и все члены семинара по эстетике, Инесса Липович спросила: «Скажите, Моисей Самойлович, ведь чисто по-человечески, правда, мы самые лучшие из всех ваших семинаров?» М.С. ответил: «Да». Наверное, так оно и было на самом деле. Ведь не случайно именно наш семинар упомянут им в его автобиографической книге, а то что Он, наш руководитель, – самое ясное, красивое, светлое во всей нашей университетской жизни, подтвердил бы, несмотря на, возможно, излишний пафос сказанного, каждый из членов семинара 1950–1953 годов.

Впервые на семинар 4-го курса по эстетике мы, несколько студентов-второкурсников искусствоведческой группы истфака, попали, привлеченные, по-видимому, темой «Анализ картины» и желанием посмотреть на «того самого Кагана». На фоне преподавателей истфака тех лет М.С. уже чисто внешне не мог не обратить на себя внимания: самый молодой на кафедре, с каким-то особым изяществом словно отточенных движений, всегда подчеркнуто элегантен (как это ему удавалось, сказать трудно, – на протяжении всех пяти лет нашего пребывания в университете у него было всего 2 костюма – коричневый и серый). Однако, впечатление от семинара оказалось еще необычнее. Большая аудитория была набита битком. На этот семинар, как выяснилось потом, пришли и студенты философского факультета. На экране картина Мясоедова «Земство обедает». Каждый из присутствующих по очереди должен был сформулировать свое начало анализа. «Было очень интересно, – писала я вечером домой. – Настоящие споры, свои мнения... Мне в первый раз довелось увидеть, как вдохновение преображает человека. Пришел Каган усталый, вялый, но когда закончил, то, правда, был просто прекрасен! Если его не съедят, то он будет читать у нас на третьем курсе...» Для нас – будущих членов семинара – вопрос о желанном руководителе был скорее всего уже тогда сразу решен, по крайней мере, мы больше не упустили

* Лаврова-Яшина Инна Захаровна – искусствовед, эстетик. В 1953 г. закончила исторический факультет ЛГУ, кандидат философских наук. С 1976 по 1990 гг. – доцент кафедры философии Ленинградского кораблестроительного института, где читала курс эстетики.

ни одной возможности оказаться там, где его можно было послушать, будь то лекция на старшем курсе или кружок, семинар, публичное выступление. Блистательная речь, строгая логика суждений, умение, говоря о самых отвлеченных понятиях, дать почувствовать интригу, в рамках которой истина пробивается к признанию (позже он пытался научить этому и нас), а также, конечно, новизна для нас самого предмета делали его лекции в наших глазах явлением чрезвычайным. А это возникшее уже при первом знакомстве опасение, что «съедят», рождало особенную эмоциональность нашего к нему отношения.

Почву для этих опасений мы находили тогда не в сути теоретических дискуссий, понятно, что именно позиция М.С. представлялась нам в них истинно марксистской, полностью соответствующей тому, что называлось тогда «линия партии в области искусства», ведь в противном случае нам пришлось бы признать, что в Датском королевстве не все благополучно.

Почву для тревоги мы находили в постоянных свидетельствах того, как сокрушительная логика Кагана, вызывая горячий отклик студенческой аудитории, оставляет мало шансов его оппонентам. Если дипломанты философского факультета наряду с благодарностью своему руководителю отдельно благодарили Кагана, утверждая, что его курс истории эстетики дал им в области именно философии больше, чем весь курс философии в целом, а в ходе какого-либо обсуждения в ЛОСХе или Консерватории гудящий зал мгновенно затихал при предоставлении Кагану слова, и выступавшие после него либо повторяли его, либо соглашались с ним, то такое, как правило, не прощают. Не прощают даже при всей обычной деликатности высказываний М.С., неизменно находившего и отмечавшего положительные моменты в концепции оппонента. Увы, как показало время, опасения наши не были напрасны.

Записаться на спецсеминар к Кагану в самом начале третьего курса нам четверым (Ковтун, Липович, Гинзберг, Яшина), еще не прослушавшим курса эстетики, помогло только его личное согласие. Много позже, когда мы уже были на пятом курсе, беседуя с мамой Инессы Липович, М.С. вспоминал, что вначале плохо представлял себе работу с нами: в состав предыдущих эстетических семинаров входили прошедшие фронт зрелые люди с теоретическим багажом университетской программы. В нашем же лице он впервые получал недавних школьников. Недалеко от нас ушли и пятеро четверокурсников, записавшихся тогда же в его семинар. Спустя два года, когда после блестящей защиты наших старших в семинар пришло пополнение, М.С. уже четко сформулировал три закона, которые должен признавать каждый желающий участвовать в нем: первое – много и регулярно работать; второе – дружить со всеми членами семинара, поскольку «у нас не просто группа занимающихся вместе –



сказал он – но сплоченный научный коллектив, и дружба стала прекрасной его традицией. Те члены, которые уже вышли, дружбы все-равно не прерывают»; третье – принимать участие в спортивных вылазках семинара. Эти непреложные законы сложились именно в годы нашей учебы.

Много работать

«У вас есть свободное время?» – задал мне вопрос М.С. после того, как я прочла на семинаре свой первый доклад (в нем, по его словам, было много ошибок, недоработок и просто вздора). «Вы можете, чтобы этого времени не было?» (и потом почему-то: «Вы, конечно, у мамы одна?»). В той или иной форме вопрос о желании превратить жизнь в работу получил каждый из членов семинара вместе с конкретным указанием того, с чего такую жизнь следует начинать. Наш энтузиазм в то время был настолько велик, что мы едва ли могли себе представить нечто, что оказалось бы выше наших сил. Между тем, задания каждому были непростыми. Нам с Женей Ковтуном было рекомендовано поступить параллельно на философский факультет. К счастью, совмещать учебу на двух факультетах к тому времени было запрещено, ведь иначе мы, несомненно, пытались бы там сдать на первом курсе основы высшей математики. Впрочем, разрешения слушать и сдавать полный курс философии на философском факультете мы добились. Позже М.С. неукоснительно следил за нашими успехами в этом направлении. Тогда в начале курса нам вдруг стало не хватать лекций М.С., как и занятий в рамках нашего семинара. Мы слушали его лекции вместе с нашими четверокурсниками. Втроем (Лишович, Гинзберг, Яшина) мы пытались слушать и записывать и лекции М.С. по истории эстетики на пятом курсе философского факультета. Причем, поскольку по расписанию те часы совпадали с политекономией на истфаке, мы стали ходить на философский по очереди, пропуская каждая по одному часу своих занятий. Случайно узнав об этом, М.С. очень смеялся.

Этот общий для нас всех незабываемый подъем духа был вызван, конечно, воздействием самой личности М.С. Нечто подобное упоминает в своей книге о детстве Е.Н. Водовозова, когда у девиц, готовивших себя к светской жизни и удачному замужеству, после появления в Смольном институте К.Д. Ушинского вдруг возникла острая потребность в огарках свечей. Они хотели заниматься и ночью. Наверное, интуитивно возникавшее в общении с М.С. ощущение своей несоизмеримости с масштабом его личности делало знак одобрения с его стороны непременным условием самоуважения. Это вызывало у одних огромное желание реализовать все свои возможности, у других – наоборот, стремление по возможности избежать оценки с его стороны. Экзамен у Кагана для всех был

самым трудным. Бывало и так, что предвидя неизбежность делать доклад на кружке, где в числе прочих должен был присутствовать и Каган, студентка упрашивала лаборантку вызвать его из аудитории на время ее выступления. М.С. знал и недоумевал, «почему его бояться студенты», ведь сам-то он был по отношению к ним вполне либерален, но его снисходительность ранила еще больней.

Занятия нашего семинара, особенно первое время, были крайне мучительны для самолюбия. Прослушав очередной доклад по малознакомому материалу (это могла быть эстетика Аристотеля или роль художника в кино, особенности наскальной живописи или традиции и новаторство советской живописи), каждый должен был вынести свое суждение. М.С. подводил итог последним. Вспоминая затем свой лепет, даже произнесенный уверенным тоном, почти каждый оставался недоволен собой, зато какая же была радость, когда оказывалось, что в этот раз самому удалось отметить главное. Мы жалели наших однокурсников, для которых занятия в их спецсеминарах, работа над курсовой была обыденным делом, в то время как для нас каждый семинар долго оставался волнующим событием, к которому готовишься и которого ждешь всю неделю. Готовишься... Для этого нам понадобилось организовать без ведома М.С. свои дополнительные занятия по эстетике. Выбрали старосту, находили пустую аудиторию, и тут уж в полном составе почти до конца семестра свободно рассуждали и дискутировали от души. Наверное, все-таки нас тогда сковывало присутствие М.С., который строго контролировал своевременное выполнение его заданий. И если, отпуская нас на первые зимние каникулы, он только советовал не упустить возможность позаниматься («Вы сразу почувствуете себя взрослыми. Вот можно не заниматься, а я занимаюсь»), то в дальнейшем на каникулы мы получали конкретные задания.

Дружба

В основе дружеских чувств, за короткое время связавших в рамках семинара дотоле незнакомых и очень разных людей, в первую очередь, безусловно, лежало отношение к М.С. – различное в зависимости от темперамента каждого и его эмоциональности, но совершенно одинаковое по существу. Мы – это были мы – семинар Кагана. Так нас и воспринимали. Сама наука для нас просто отождествлялась с ним. Мы торжествовали, когда на конференции по теме «О базисе и надстройке в свете новых работ тов. Сталина» после доклада и сокрушительной, как всегда, победы в ходе обсуждения М.С. поздравляли ведущие профессора не только истфака, но и философского и политэкономического факультетов. Этот триумф не был исключением: вспомнить хотя бы открытое



партийное собрание факультета по сталинским «Вопросам языкознания». И мы очень боялись потерять своего руководителя. На нашей кафедре тогда работали замечательные профессионалы, достойные люди, но диктуемая временем необходимость принимать активное участие в «идеологической борьбе», в качестве которой рассматривалась любая научная дискуссия, превращала Кагана в постоянно (потенциально) возможного носителя крамолы. Давая этой «крамоле» отпор, «вразумляя» на заседании кафедры «неразумного» коллегу, они, по существу, защищали М.С. от вероятных более серьезных санкций.

Мы каким-то образом всегда узнавали о заседании кафедры с докладом М.С. и каждый раз волновались. Вспоминается, как одно из таких заседаний 9 марта 1951 года совпало по времени с нашим курсовым комсомольским собранием. Было уже очень поздно, собрание проходило в лектории, но что-то нас с Инессой Липович толкнуло во время перерыва подняться к двери кафедры на второй этаж. Услышав громкие, на повышенных тонах, голоса наших дам, мы тут же о своем собрании забыли. Однако, когда мы подошли поближе, кто-то раздраженно прихлопнул дверь изнутри. Мы ничего не могли сделать, но надо же было хотя бы узнать масштабы возможной беды. Коридор был пуст. Мы выключили свет в этой его части, сняли туфли (они скрипели) и, чуть-чуть расширив дверную щель, так и стояли с туфлями в руках, пока не выяснили, что доклад М.С. в основных положениях признан неверным. Хорошо хоть Каргер сказал: «Мы не утверждаем, что М.С. – теоретик формализма». Сам М.С. с прекращением дискуссии не согласился. По его словам, «все, что было не ясно, таковым и осталось» (я, конечно, в тот же вечер написала о случившемся домой).

Наверное, в качестве оргвыводов, уже на следующий семестр спецсеминар по эстетике на четвертом курсе был из нагрузки Кагана исключен. Вместо него М.С. было поручено подготовить и прочесть курс по истории советского изобразительного искусства. Это сочли полезным для молодого ученого, слишком отрывавшего, по мнению искусствоведов, свои теоретические построения от живой плоти искусства. Таким образом, мы, четверокурсники, официально лишались своего руководителя на второй семестр. Первый семестр мы могли заниматься с нашими пятикурсниками.

Но и во втором семестре ни один семинар у нас не пропал. М.С. работал с нами сверх нагрузки, без предоставления аудитории и прочего. И, конечно, у нас было за что почитать своего Учителя, к тому же относившегося к нам с большим вниманием и теплотой. Только он мог, узнав о несчастном случае, произошедшем с одной из студенток по пути в университет, сам несколько раз звонить в больницу, говорить с ее родными.

Или, например, каким-то образом заметив подавленное состояние другого члена семинара и получив на вопрос о причине невразумительный ответ, в тот же день, прощаясь, подойти к нему и мягко сказать: «В себя надо верить. Будьте на высоте!» И хотя причиной переживаний был тогда не семинар, не наука вообще, а сложно протекавший роман, окончившийся вскоре замужеством длиной в 58 лет, эти слова и благодарность за них живут в памяти по сей день. Наверное, временами мы все же докучали ему и по-настоящему смутили, когда в конце года наш староста вручил от нас букетик живых цветов, доставленных в Ленинград утренним поездом из Таллинна. Он даже как бы растерялся, но, взглянув на наши сияющие физиономии (мы очень гордились добытыми цветами), улыбнулся и сказал: «Я же еще ничему не успел научить вас. Это что, задаток?» Потом мы пошли фотографироваться. Слегка посмеиваясь над нами («Это – девичье», – как-то в беседе о нас выразился он), М.С., по-видимому, решил обратить это почитание нам же на пользу, как бы послужить действенным примером. Поэтому в дальнейшем, заслушав наши отчеты о работе во время каникул, стал каждый раз сам как бы отчитываться о проделанном за это время им самим.

Общие интересы, постоянная потребность посоветоваться, обсудить, поделиться мыслями и впечатлениями, ведь и старшие и младшие помимо эстетики получали в это время огромный материал для размышления на курсах по истории искусства, – все это очень быстро сплотило членов семинара. Мы даже праздники стали отмечать вместе вплоть до получения нами дипломов. М.С. туда не приглашался, дистанция учитель–ученик выдерживалась у нас неукоснительно.

Тесная дружба «эстетиков» не могла остаться незамеченной: в результате студенты седьмой группы Е.Ковтун, И.Липович и И.Яшина получили вызов на бюро комсомола, где были обвинены в отрыве от группы, «групповщине» и манкировании общественной работой. В качестве кары бюро ограничилось тогда «постановкой на вид». Более серьезное обвинение получил позже М.С. на заседании кафедры при обсуждении рекомендации в аспирантуру Е.Ковтуна. У одного из преподавателей кафедры был на это единственное место свой кандидат, однако только курсовая Е.Ковтуна была рекомендована на конкурс студенческих работ. Бурное заседание кафедры по обсуждению этой работы и самого Е.Ковтуна продолжалось три с половиной часа. В рекомендации соискателю тогда было отказано по причине безыдейности и отсутствия гражданской активности, а М.С. был единогласно осужден за то, что «выращивает таких вот людей».

Горячо увлеченные учебой, мы действительно все как один общественной работой тяготились. Но если девочки старались хотя бы соблю-



дать приличия, принимая на себя какие-то нагрузки, то Женя Ковтун все пять лет этим полностью пренебрегал (что, впрочем, не помешало ему получить в конце концов рекомендацию, поступить в аспирантуру и защитить диссертацию первым из нас). Но обвинять М.С. в нашей пассивности было крайне несправедливо. Не он ли постоянно порицал нас в случае отсутствия на демонстрации или приходил в негодование, обнаружив, что на каникулах мы не читали газет, в которых было опубликовано по вопросам искусства несколько статей, в том числе редакционных. Как настойчиво старался он дать нам тогда понять, насколько это важно именно для нас, будущих искусствоведов, обреченных сутью профессии на отстаивание научной точки зрения: в неизбежности победы последней он был уверен.

На следующий день после заседания кафедры у нас состоялся памятный тяжелый «исповедальный» семинар. Каждый должен был откровенно сформулировать суть своей жизненной позиции в настоящем, как и представление о будущем. Наши ответы не порадовали тогда М.С., хотя некоторым из нас он сказал: «Вы клеветеете на себя». Да. Мы все хотели заниматься научно-исследовательской работой, пропагандировать духовные ценности искусства, но всех нас в той или иной мере, как это видится сейчас, действительно отличала замеченная им глухота к запросам времени. Такие понятия, как «искусство принадлежит народу» или «политика партии в области искусства», вроде бы не касались нас лично, оказываясь лишь внешним антуражем здания, в котором мы собирались жить и делать свое дело. Главное – чтоб никто не мешал. Выслушав нас, М.С. в тот день впервые рассказал нам о себе. О том, как стал таким, «каков есть теперь». Юношей, понимая, что грядет война, учился стрелять из ружья и пулемета, даже стал снайпером. Когда она началась, в рядах студенческого ополчения ушел на фронт. Жаль концепции, возникшей в сознании в перерыве между боями и исчезнувшей из памяти, – ведь негде и нечем было ее записать. Но после тяжелого ранения и получения инвалидности возвращение к учебе и поступление в аспирантуру были отложены на немалый срок во имя продолжения полезной работы, к которой был привлечен в госпитале. И так во всем. Мы тогда воочию увидели Гражданина, на деле воплощавшего идею служения своему народу. После «исповедального» семинара осталось острое ощущение невозможности по всему складу натуры, физической слабости хоть сколько-нибудь соответствовать этому безмерно высокому эталону.

Между тем, построение работы в рамках нашего семинара на протяжении всех двух с половиной лет указывало на желание его руководителя, во-первых, получить единомышленников, причем не заучивших какие-то истины, а самостоятельно, всей логикой работы над своей те-

мой пришедших к научному пониманию предмета исследования. Методика, методика и еще раз методика, исследование научного ли труда, доклада или рецензии, наконец, смысла и средств воплощения идейного содержания картины. Последнему в разное время было посвящено несколько специальных занятий. Во-вторых, результаты анализа должны были быть доведены до читателя или слушателя. М.С. скрупулезно рецензировал наши доклады, требуя точности формулировок и того, чтобы доклад или рецензию «интересно было читать». Для написания рецензии на выставку мы получили точные указания, как и о чем следует писать в зависимости от характера издания.

Умению говорить тоже посвящались специальные занятия. Были семинары с требованием не читать, а говорить доклад (как правило, уже переработанный после первого чтения). То же требовалось и при анализе картины в музее. При этом одни получали указания читать вслух «старую классику», добиваясь выразительности речи, другие – напротив, не увлекаться выразительностью дабы не грешить литературщиной. Специальный семинар был посвящен особенностям чтения лекций. Поочередно получая замечания, мы читали на нем политический текст.

В-третьих, свою позицию надо было уметь защищать. Это мы должны были осваивать в том числе на обязательных для членов семинара обсуждениях выставок в ЛОСХе и Русском музее, когда там отбирались произведения ленинградских художников на всесоюзную выставку в Москве. Нескромность критики произведений признанных мастеров вчерашними школьниками, еще даже не искусствоведами, М.С. не смущала. «А вы спорьте, аргументируйте», – требовал он, правда, обычно предварительно пробегаая с нами по выставочным залам. Иногда у нас получалось, несмотря на жесткую конкуренцию искусствоведов из Академии художеств. Наши оценки вызывали обсуждение, но в целом мы М.С. разочаровали. «Не умеете вы защищаться!» – сказал он после защиты наших дипломов (два из четырех были рекомендованы для опубликования).

Дружба членов семинара продолжалась долгие годы. И он продолжал учить нас, как и многих своих последующих учеников, бесконечно щедро отдавая этому свои силы и время. А время, при всей своей удивительной работоспособности, он ценил высоко. Постоянным напоминанием о его ценности должны были служить крошечные игрушечные чашки с выбитой на них датой защиты наших дипломов, которые мы получили от него в подарок на самом последнем семинаре. Женя Ковтун получил деревянного олененка в память о своей «Наскальной живописи».

Щедрость М.С. была велика. Ну что, казалось бы, тратить время на консультации человеку, который после аспирантуры пытается писать диссертацию в Заполярье, где даже в библиотеке самого Мурманска нет



аппарата для чтения микрофильмов! А он помог! Позволив тем самым далеко не лучшей ученице удостоиться чести быть в числе соавторов его «Истории эстетических учений». Так при нашей жизни из сборника разрозненных высказываний типа «Маркс и Энгельс об искусстве» трудами М.С. вместе с его сподвижниками и руководимыми им учениками была создана современная эстетика, возникновение которой во всем мире связано, в первую очередь, с его именем.

Не столь наглядным, но не менее значимым оказалось влияние деятельности М.С. на пропаганду эстетических знаний. В 60–80-е годы в качестве обязательного предмета эстетика включалась в программы ВУЗов, в том числе и технических, а в качестве желанного и престижного факультатива – в программы высших военных училищ и многочисленных ПТУ. Педсоветам школ также рекомендовалось вводить в школьные программы дополнительные развивающие курсы, в том числе «эстетику» и «художественную культуру». Тысячи лекторов Всесоюзного общества «Знание» несли эстетическую проблематику в самые отдаленные уголки страны.

Ставшей кандидатом искусствоведения и референтом по культуре Ленинградского отделения общества «Знание» И.Н. Липович очень повезло: секцией эстетики у нее руководил М.С. Каган! Членами секции, конечно же, оказывались его уже получившие степень и известность ученики, а те, кому не довелось учиться у него непосредственно, тут же становились таковыми. В секции эстетики, как прежде в нашем семинаре, царила атмосфера большого дружелюбия и взаимного интереса. На заседаниях широко обсуждались доклады, главы из книг как его членов, так и приглашенных гостей, разрабатывались и обсуждались темы методических пособий «В помощь лектору», издаваемых обществом «Знание», составлялись циклы лекций, предлагаемых иногородним отделам общества. И здесь мы тоже обсуждали методику прочтения лекций для большой, может быть, огромной аудитории. Ведь впереди нашему руководителю виделись – он говорил об этом – возможно, и стадионы! И каждый раз, сколько бы ни продолжалось заседание, по его окончании каждый мог подойти, задать вопрос, обсудить возникшую проблему. И подходили! А он иногда буквально двумя словами задавал мысли нужное направление, независимо от того, кто был перед ним – студент или коллега, опытный лектор. Он никогда не отказывал никому, а был нужен так многим! Даже узнав о его тяжелой болезни, ему по-прежнему звонили, просили о встрече. Ведь надо было успеть увидеть его, выслушать оценку, получить совет...

Когда-то, терзаемая юношеским максимализмом, я вынуждена была признать, что этот мир чего-то стоит, раз есть в нем такие люди. Теперь я знаю: встретить такого человека – редчайший, бесценный подарок судьбы. Мы, его ученики, этот подарок получили!

НАВСЕГДА В СЕРДЦЕ

Н. А. Ланина*

Многих людей я любила, многих уважала, многими восхищалась. Однако Моисей Самойлович среди всех остальных занимает особое место. Говорят, идеальных людей не бывает. Но не бывает и правила без исключений. Для меня Моисей Самойлович – такое исключение. Он цельно и гармонично сочетал в себе все достоинства, которые могут быть присущи человеку. Красив, элегантен? – да. Умён и талантлив? – да. Честен и порядочен? – да. Остроумен и очарователен в светском кругу? – да. Смел, отважен и принципиален? – да. Благороден с женщинами и врагами, верен в дружбе, всегда готов помочь в трудную минуту. Самокритичен и требователен к себе. Проницателен, прозорлив и добр. Граждански ответствен и политически активен. Перечень лучших человеческих качеств можно продолжать, и на все из них в отношении этого человека я отвечу «да». Он любил молодёжь, любил жизнь, ценил в ней самые лучшие проявления и стремился способствовать их произрастанию и развитию, как будто это был его человеческий долг перед жизнью, которую сам он прожил достойно и красиво. Если бы я родилась мальчиком, то, наверное, стремилась бы стать таким мужчиной, как он.

Впервые я увидела Кагана где-то в середине шестидесятых.

– Сегодня в университете состоится лекция искусствоведа Кагана, – сказал мне Август, мой муж-художник, который давно его знал. – Давай сходим послушаем. Это большой умница.

О чём говорил тогда Каган, я не помню, но впечатление моё было сильным и ярким – как от серьёзного и глубокого анализа состояния современного искусства, так и от личности самого лектора – блестящего, артистичного, остроумного и темпераментного. Актёрский зал ЛГУ был полон, а по окончании лекции публика наградила его долгими, дружными аплодисментами. Тогда же Август нас и познакомил. Несколько лет мы не встречались, но когда Август стал работать над «цветомузыкальными» проектами, он неоднократно приглашал Моисея Самойловича в мастерскую, делился с ним своими замыслами; написав же диссертацию, попросил Кагана стать его оппонентом.

* Ланина Наталия Арсеньевна – филолог, преподаватель литературы в школе. Много лет работала в Художественном фонде при Ленинградском отделении союза художников.



Из всех искусствоведов, с которыми общался Август, а их было немало, Каган оказался единственным исследователем искусства, в полной мере сумевшим понять его замыслы, детально разобраться в них и проникнуть в сущность тех новых возможностей с использованием электроники (и не только её, но и других технических достижений, в частности, голографии), какие открывались перед искусством. Свой мощный интеллект, широчайшую эрудицию, открытую восприимчивость и глубокий интерес ко всему новому и значительному, увлечённость, сопереживание и удивительно доброжелательное, безотказное участие – эти качества Моисей Самойлович дарил людям щедро и бескорыстно, порой в ущерб самому себе, если был убеждён, что они этого заслуживают. Его авторитет, как искусствоведа и человека, в Союзе художников был чрезвычайно высок.

Увидев картины Августа, он заволновался и слово в слово повторил мои слова о них: «Ну, Август, ты не перестаешь удивлять!»

Потом он долго и вдумчиво их разглядывал, а затем вынес вердикт:

– Это ново, индивидуально ярко и очень интересно. И если это реализм, то совершенно особого свойства. Я бы назвал его метареализмом... Выставить необходимо, но сделать это будет очень трудно, хотя сегодня и не безнадежно.

Его искренний порыв оказался наивно-рискованным и в чём-то мальчишеским, и мы все трое это сразу поняли. Но именно за такой, по-человечески очень чуткий порыв я навсегда отдала Кагану своё сердце.

Из книги: Наталия Ланина. Автопортрет на фоне СССР.
СПб., 2010. С. 306–309.

ДРУГ ТРЕХ ПОКОЛЕНИЙ ОДНОЙ СЕМЬИ

Н. Ф. Морозов*

Моисея Самойловича Кагана (для друзей – Мику) я знаю с самого своего рождения. Дело в том, что моя мать Морозова Вера Николаевна преподавала русский язык и литературу в школе, где учился Мика. Когда я родился в 1932 году, мама часто гуляла со мной в Летнем саду (мы жили недалеко – набережная Кутузова, 4) и туда же приходили ее воспитанники, и Мика в том числе. Маме было всего 24 года, и у нее сложились дружеские отношения с ее учениками (сохранившиеся по сути до последних десятилетий века). Все были молоды и полны жизненных планов.

Однако счастливые времена прервались. Террор ужесточался. Мой отец – начальник отдела завода «Двигатель» – был арестован и сгинул в сталинских застенках. Ну, а дальше все по устоявшейся схеме: квартиру отняли, в нее вселился работник правоохранительных органов, мать уволили с работы, а потом арестовали и отправили на 8 лет на Колыму, а меня взяли бабушка и дедушка. В общем, история довольно обычная для того времени. Причем очень часто об арестованных забывали, а их оставшиеся на свободе родные становились изгоями. И остерегавшихся можно было понять: люди Ежова и Берии арестовывали родственников осужденных, их соседей, знакомых, попутчиков и т. д. и т. п.

Однако этот страх и ужас не остановил двух молодых людей, школьников, учеников мамы Мишу Флекеля и Мику Кагана: они, подвергая опасности себя и своих родных, прислали ей в тюрьму очень теплое, родное письмо, которое безусловно, добавило маме жизненных сил. Этот эпизод вся наша семья помнила и будет помнить, пока мы живы.

Ну, а дальнейшая жизнь М.С. Кагана лишь подтверждает, что тот его порыв не случайность: он поступил в Университет, добровольцем ушел с университетским ополчением на фронт, воевал, был ранен, вернулся в Университет, стал выдающимся ученым. Мама освободилась из лагерей, была тепло встречена учениками, стала снова преподавать, появились новые любимые ученики, но Мика был и оставался самым любимым. С уходом мамы в 1996 г. дружба с ним самым естественным образом продолжилась в жизни не только моей и моей жены Надежды, но и

* Морозов Никита Федорович – доктор физико-математических наук, профессор математико-механического факультета СПбГУ. Академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, лауреат Государственной премии.



наших детей. Встречи с Микой и Юлией у нас дома всегда радостно ожидалась всей семьей. А для дочки Маши, после университетской аспирантуры англисту, специалисту по истории английской литературы, Мика к тому же стал высшим научным авторитетом и консультантом, готовым в любой момент ответить на возникший вопрос и дать необходимый совет.

ПУТЬ КУБИНЦА В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ М. С. КАГАНА

Г. Пита Сеспедес*

I

В июне–июле 2006 года, когда подходил к концу мой первый год магистратуры в Эль-колехио де Мехико по специальности „японология”, я ежедневно испытывал необъяснимое, но всепоглощающее желание прочесть любой обнаруженный в интернете текст, вышедший из-под пера Моисея Кагана.

После нескольких лет в Гаване, в течение которых единственным видом транспорта для меня, вне зависимости от расстояния, был велосипед, неудобные, но дешёвые песерос¹ мексикенсес² позволили мне вернуться к старой, приобретённой в Ленинграде привычке использовать проводимое в общественном транспорте время для чтения того, что интересовало меня лично. Это были приятные промежутки между часами обязательного чтения, предусмотренного учебными планами. Так что в те дни, сидя в песерос, я смог с удовольствием и интересом прочесть такие тексты, как: *«Воспроизводство российской интеллигенции как педагогическая проблема»*, *«Воображение как онтологическая категория»*, *«Эстетика и синергетика»*, *«Синергетика и культурология»*, *«Общее представление о культуре»*, *«Анекдот как феномен культуры»* и многие другие произведения Моисея Самойловича.

Я был настолько увлечён, что после нескольких месяцев отсутствия связи с учителем, как-то в июньский вечер решил отправить ему электронное письмо, где наряду с прочим писал: «Очень мне понравилась ваша статья о воспроизводстве российской интеллигенции, ваши сооб-

* Пита Сеспедес Густаво – кубинский философ, исследователь японской самурайской культуры. В 1978–1983 учился в ЛГУ. По возвращении на Кубу работал в Институте философии АН и Высшем институте искусств. В 1985 и 1988 был переводчиком лекций М.С. Кагана, в 1991 – В.В. Иванова, в 1992 – Ю.М. Лотмана. Ныне докторант Независимого университета Барселоны в Испании.

¹ Маленькие автобусы общественного транспорта в городе Мехико. Жители Мехико их так называют, поскольку вначале стоимость билета была один мексиканский песо.

² Принадлежащие к Штату Мехико Федерации Мексиканских Штатов.



ражения о её судьбах и о необходимости формировать в новых условиях новый тип интеллигентного человека, который не боялся бы занимать ответственную позицию в политической борьбе и управлении страной. Несмотря на то, что я кубинец, мне посчастливилось встретиться с вами и воспитываться у вас, впитать в себя, насколько я смог, ваш опыт жизни и практики настоящего русского интеллигента. Я скучаю по вам и по вашему справедливому и верному учению. Не имея пока возможности лично встретиться с вами, я думаю каждый день, – и вот парадокс – что единственное доступное мне, человеку нерелигиозному, издаюла молиться, не зная кому и перед кем, о вашем здоровье и успехах, благополучии вашей семьи, и это будет для нас, ваших учеников, гарантией счастья и творчества».

К счастью для меня, связь между нами восстановилась, и мы обменивались короткими посланиями, в одном из которых Моисей Самойлович впервые за всё время нашего знакомства упомянул вскользь, что не совсем здоров, но надеется скоро поправиться. 2 августа я получил от него следующее сообщение:

«Дорогой друг, должен тебе сообщить малоприятную новость – внезапно выяснилось, что я очень болен, и медицина тут бессильна. Сколько еще протяну, никто не знает, был бы Бог, он бы знал, но всё равно не сказал бы. Мне обещают издательства ускорить выход моих новых книг, в том числе первых томов Собрания сочинений. Кстати, в ноябре будет празднование юбилея нашего факультета, приехал бы, приглашение можем прислать, и новых книжек получил бы, в последний раз обнялись бы... Обнимаю тебя пока в воображении, твой Санчо».

То, что до открытия почты жило во мне как смягчённая надеждой ностальгия, мгновенно превратилось в чувство ностальгической безнадежности, поскольку было ясно, что моей студенческой стипендии не хватит на поездку в Россию; и тем не менее, даже глубокая печаль не помешала мне почувствовать (не столько в тексте, сколько в духе послания) представшее передо мной как на ладони, уже очищенное от дополнительных деталей истинное пространство Кагана, стоящего там на краю, перед последней чертой, предельно точно и чётко очерченное в своих основных границах: ближе к жизни, чем к смерти, ближе к творчеству, чем к разрушению, ближе к радости, чем к горю, ближе к Человеку, чем к Богу...

Не лишённая юмора естественность, с какой Каган принимал реальную возможность своего физического исчезновения, заставила меня вспомнить эпизоды из его жизни, свидетелем которых я оказался в Гаване за много лет до того, как отношения между известным профессором и одним из многочисленных студентов философского факультета Ленинградского университета превратились в нерушимую дружбу между са-

мозванным русским Санчо Панса и тем, кого он шутливо называл своим кубинским Дон Кихотом.

Этот случай произошёл в 1985 году в Старой Гаване среди испещрённых автографами знаменитостей стен креольского рестораника «Эль Медьо». Делегация Союза писателей и художников СССР, в состав которой наряду с другими входили Моисей Самойлович и литовский скульптор Константин Богданас, была приглашена там пообедать председателем УНЕАК и национальным поэтом Кубы Николасом Гильеном. Кубинскую сторону представляла большая группа интеллигенции, выделялся в ней директор Института литературы и лингвистики кубинской Академии наук д-р Хосе Антонио Портуондо. Николас Гильен, которому к тому времени исполнилось 82 года, пришёл в сопровождении писателя и журналиста Хоакина Г. Сантаны и сел, улыбаясь, во главе длинного стола. Зазвучали в исполнении трио гитаристов песни на слова Гильена, заглушая разговоры многочисленных, несмотря на ранний час, посетителей. Как только Гильен занял своё место, Моисей Самойлович подошёл к нему поздороваться и попросил меня перевести следующее: «Как я рад видеть гения кубинской поэзии в столь добром здравии и хорошем настроении!» Выслушав его и не переставая улыбаться, Гильен сказал несколько слов о своих недомоганиях. «Да, но вы знаете, – заметил Каган – у нас говорят, что если после шестидесяти лет ты проснулся и вдруг заметил, что у тебя ничего не болит, значит, ты умер». Гильен ещё смеялся шутке, когда Каган любезно протянул ему экземпляр своей только что опубликованной книги о творчестве грузинского художника Ладо Гудиашвили. Поэт с явным удовольствием рассматривал некоторое время обложку с изображением льва, кротко ожидающего приказа прекрасной полуобнажённой дамы с поднятой рукой¹.

«Это картина кажется мне весьма уместной, – поспешил объяснить Каган. – Разве вы сами, Николас, не лев в услужении у другой красавицы: лев кубинской поэзии?»

Хотя, как он сам писал мне в марте 2005 года: 84 – это всё-таки не 48, Моисей Самойлович в свои 84 года, казалось, нисколько не утратил чувства юмора, с которым говорил Гильену о быстром течении времени и его неизбежных последствиях сорок лет назад, а сейчас вновь демонстрировал его, говоря о собственном возрасте и болезни, о близкой кончине. Точно так же и моё глубокое уважение к нему и восхищение им не только не угасало со временем, но постоянно росло. В противном случае, учитывая мой характер и другие обстоятельства, я не взял бы на себя ответственность быть его переводчиком в течение всего его первого визита на Кубу.

¹ Лицом к лицу. 1951 г.



В свои 26 лет я еще не сумел преодолеть множество личных барьеров, к тому же в последние три года занятий в советском университете моё внимание, как студента кафедры диамата (диалектического материализма), было сосредоточено в основном на философских проблемах естественных наук. Иными словами, эстетика в то время была для меня не более чем один из множества предметов, которые я должен был изучить и сдать. В связи с этим стоит, пожалуй, слегка коснуться причин, по которым я довольно быстро согласился, когда мой преждевременно ушедший из жизни друг, Рауль Фидель Капоте Кастро, действительно защитивший в Москве диплом по эстетике, сообщил мне, что зам. председателя УНЕСКО Луис Павон ищет, кто бы мог переводить Кагана во время его ожидавшегося вскоре визита на Кубу, и он сразу же выдвинул мою кандидатуру, мотивируя своё предложение тем, что в Ленинграде я был его учеником.

II

Мои первые записи лекций по эстетике, прочитанных Каганом в сентябре 1981 года в стенах вместительного лектория Исторического факультета ЛГУ, так живо напоминавшего мне своей архитектурой классический греческий амфитеатр, позднее я перевел на испанский из тетрадки, до сих пор хранящейся в моей гаванской квартире. И сейчас они, уже в электронном формате, повсюду сопровождают меня.

Не было случая, чтобы Моисей Самойлович не пришёл на занятия. Он всегда появлялся в аудитории со скрупулёзной точностью и, даже не глядя на часы, заканчивал лекцию ровно через полтора часа после начала. Выглядел здоровым и подтянутым, одевался просто, но элегантно, входил и выходил из аудитории твёрдой быстрой походкой. Его изложение материала отличалось содержательностью и строгой последовательностью, прекрасным преподавательским стилем. Когда он начинал говорить, было просто невозможно не слушать. Время протекало незаметно, и одновременно создавалось впечатление, что каждая секунда жизни использована на что-то очень важное. Чтобы не терять нити его рассуждений, я с первого дня стал садиться поближе к кафедре в первом ряду справа. Возможно, благодаря обычно серьёзному выражению его лица, несмотря на живость и красоту речи и то, что я сидел очень близко, он производил с высоты своей кафедры впечатление недоступного светила. При этом, в ответственности и безупречности, с какими он относился к своей работе, сквозило уважение к студентам, а любовь к своему предмету и удовольствие, с какими он его излагал слушателям, были настолько заразительны, что мы сами невольно начинали испытывать интерес к этой дисциплине и искреннюю симпатию к преподавателю – до такой степе-

ни, что казалось просто невысказанным плохо сдать ему экзамен, утратив тем самым единственную возможность выразить своим прилежанием глубокую признательность за его труды.

Судя по всему, благодаря Кагану, учебный 1981/82 год пробежал, как и его лекции, с неудержимой скоростью, с какой проходит мимо нас и убегает удача. Занятия подходили к концу, и летом состоялся наконец долгожданный и одновременно пугающий экзамен по эстетике. В назначенный день в 9 часов утра аудитория, расположенная недалеко от лестничной клетки возле места, где вывешивалось расписание, была переполнена студентами. Моисей Самойлович уже сидел у доски за столом, где были разложены билеты с вопросами. Хотя экзамен был устным, он требовал, чтобы прежде, чем отвечать, студенты ясно и чётко излагали свои ответы на бумаге. Когда подошла моя очередь, я сел перед ним за стол и начал отвечать. Но он вдруг прервал меня и попросил показать ему мои записи. Он молча и очень внимательно их прочитал и заметил, к моему удивлению: «Судя по всему, это самый лучший ответ на экзамене по эстетике». «Но ведь сессия ещё не закончена», – возразил я. «Неважно, я уверен, что это так». Взяв мою зачётную книжку, он поставил отметку и свою подпись. Радость переполняла меня, я поблагодарил его и уже собирался уходить, когда вспомнил, что забыл на столе листок со своими ответами. Вернувшись, я спросил, могу ли я забрать его. «Разумеется. Если хотите, я подпишу его вам». «Конечно, большое спасибо!»

Спустя почти тридцать лет поведение Моисея Самойловича и сегодня, когда мне уже 52, впечатляет меня много больше, чем пятёрка, которую он мне поставил. И если я сейчас рассказываю об этом, то не только, чтобы отметить любопытную черту Кагана, которого я знал, описать его в роли экзаменатора, но и потому, что примерно через год, посетив его в гостинице «Ривьера», я воспользовался этим листком с его подписью, чтобы напомнить, кто я такой, и предложить свои услуги в качестве переводчика с единственным желанием продолжать учиться у этого несравненного учителя, который меньше чем за год занятий у него навсегда завоевал моё восхищение и любовь.

Уже первый визит Кагана на Кубу в составе советской делегации не прошел незамеченным. Благодаря Орландо Суаресу Тахонере, читавшему по-русски труды Кагана по искусству и эстетике, его идеи уже пользовались известностью на Кубе, и как только стало известно о его визите в нашу страну, ряд кубинских культурных учреждений обратился к нему с просьбой прочесть у них лекции и провести беседы со специалистами.

Если я не ошибаюсь, первое выступление Моисея Самойловича состоялось на втором этаже здания Вароны Гаванского университета. Он



находился под большим впечатлением от кубинской столицы и, попав на площадь Каденаса на университетском холме, архитектурный ансамбль которой является настоящим памятником латинской культуре, воскликнул: «Никак не думал, что Гавана настолько европеизирована!» За день до этого я слышал, как он, разговаривая с другими членами делегации, с удивлением заметил, что, слушая при посещении Музея изящных искусств объяснение экскурсовода, в одном из залов увидел затерявшуюся среди других картину, очень напоминающую Джотто...

Как и следовало ожидать, лекция, прочитанная Каганом на университетском холме, вызвала огромный интерес, и начиная с этого момента весть о его пребывании на Кубе разнеслась по столице и по всей стране.

Во время своего первого посещения Кубы Моисей Самойлович как член делегации и специалист по эстетике с мировым именем был всё время очень занят: кроме лекции в университете, он выступил также перед сотрудниками Института литературы и лингвистики Академии наук Кубы и принял участие в беседах с критиками и искусствоведами в УНЕАК и в Министерстве культуры. С другой стороны, поскольку его *«Лекции по марксистско-ленинской эстетике»* были только что переведены на испанский язык Натальей Лобзовской для кубинского издательства «Литература и искусство», ему пришлось участвовать в совещаниях, связанных с их публикацией.

Лекция, прочитанная в Высшем институте искусств, оказала большое влияние на развитие его дальнейших отношений с нашей страной и заслуживает в этой связи особого внимания.

В ИСА, кубинский университет искусств, расположенный на западной окраине Гаваны в районе Кубанакан, Каган приехал вечером того же дня, в какой незадолго до этого обедал с Николасом Гильеном. Его встретила Нурия Нуири, ректор ИСА, и проводила в спроектированное в 1960-х годах Рикардо Порро Идальго здание факультета изобразительных искусств, подобного древнему храму, посвященному мистериям женственности. Когда Каган, явно пораженный весьма необычной архитектурой, предположил, что, наверно, очень интересно учить и учиться искусству в подобной академии, один из преподавателей заметил, что к сожалению, несмотря на оригинальность формы, помещения малофункциональны и что студентам иногда кажется, будто они работают не в мастерской или аудитории, а внутри своеобразной скульптуры.

Сопровождавшие гостя архитектор Рауль Наварро Падрон и преподаватель эстетики Хуан Мартинес Монтальво в качестве гидов провели его, наконец, по выюющимся спиралью коридорам к главному входу, где под широкой центральной аркой, напоминающей рот гигантской морской улитки, его уже ожидали многочисленные слушатели. Представил

Кагана окончивший университет в Германии Хуан Мартинес Монтальво, хорошо знакомый с его теориями и читавший его *«Лекции»* на немецком языке, на котором он мог теперь общаться с Моисеем Самойловичем. Лекция имела большой успех. На слушателей произвели большое впечатление ясность идей, блестящее их изложение, подробные ответы на вопросы.

Я впервые попал в институт и был очень напряжен ответственностью синхронного перевода, поэтому мало подробностей осталось в памяти, но до сих пор сохранились полустертые временем фотографии, запечатлевшие ту незабываемую встречу. Снимки были сделаны студентом актерского факультета Владимиром Пересом, позднее получившим известность своим исполнением роли кубинского художника Карлоса Энрикеса. Некоторое время спустя Владимир любезно передал мне эти фотографии, когда я начал жаловаться на отсутствие какого-либо наглядного свидетельства тех дней.

Я был в то время младшим научным сотрудником Института философии кубинской Академии наук и следил больше за кубинскими разработками в области философии, чем за перипетиями художественной жизни страны, поэтому моя оценка тех событий и характеристика слушателей, безусловно, носят отпечаток моего пятилетнего пребывания за границей, моей молодости и моей специальности. Несомненно одно: те еще никому не известные студенты, составлявшие большинство слушателей первой лекции, прочитанной Моисеем Самойловичем в ИСЕ, были призваны позднее стать представителями нового поколения известных кубинских художников, которым выпала судьба отразить в своем творчестве историческую эпоху, начавшуюся советской перестройкой и распадом социалистического лагеря, эпоху, в корне отличающуюся от той, в какой Куба, да и весь мир жили до тех пор. Помню среди других известных мне лиц будущую актрису Анабель Леаль, кубинского эстетика Орландо Суареса Тахонеру, а также преподавателя и специалиста по эстетике Магали Эспиноса Дельгадо, которая, прослушав лекцию Кагана, сказала мне, что убеждена в необходимости пригласить его приехать к нам снова и прочесть курс лекций в нашей стране. Много позднее я узнал, что среди многочисленной аудитории, внимательно слушавшей тогда учителя, находился и молодой студент актерского факультета Леонардо Армас Фигеро.

Разумеется, во время первого пребывания Моисея Самойловича в Гаване у него были и другие возможности непосредственного общения с представителями кубинского искусства. Так, например, мне довелось быть свидетелем его встречи с международно известным и многогранным кубинским художником Мануэлем Альфредо Соса Браво, который



любезно предоставил свою студию и материалы в распоряжение литовского художника Константина Богдана, пожелавшего вылепить в глине с оригинала голову Николаса Гильена.

Проезжая в промежутке между двумя мероприятиями по 23-й улице, Моисей Самойлович обратил внимание на статую, созданную кубинским скульптором Серхио Мартинесом и известную как Американский Дон Кихот. Каган попросил шофера остановиться и обошел статую, внимательно разглядывая её со всех сторон. Было видно, что казавшаяся сделанной из скрученной проволоки фигура произвела на него самое приятное впечатление. Всё же он не удержался и громко пожаловался на одиночество хитроумного идальго, лишённого воображением скульптора, по крайней мере на тот момент, общества верного Санчо, хотя и оставившего ему не менее знаменитую клячу. Создавалось впечатление, что эти три персонажа были особенно любимы Моисеем Самойловичем, который, как и его поколение, с детства подпал под обаяние юмора Сервантеса. Он часто упоминал их в ходе занятий, и Росинант ни в коей мере не являлся исключением. В 1982 году на одной из лекций он рассказал студентам о «высокой эрудиции» одной из своих бывших учениц, которая несколькими годами раньше на экзамене на вопрос о том, знает ли она о Ренессансе, ответила с уверенностью: «Да, конечно! Это лошадь Дон Кихота»...

III

На память приходит фраза из письма, которое он прислал мне в Гавану после распада Советского Союза в 1991 году: «Надо работать и надеяться на лучшее будущее». Каган был современным философом, хорошо осознавшим и объяснившим природу таких явлений, как вера и надежда, возможно потому, что всю свою жизнь пользовался ими и мог почувствовать их истинную ценность. «Вера необходима человеку как способ *компенсации дефицита знаний* во всех областях его жизни и деятельности – в быту, в труде, в научном исследовании, в политической активности»... Поскольку «для активной и целенаправленной деятельности, руководимой не врождённым инстинктом, а культурной мотивацией, нужна определённая психологическая опора, и возникает необходимость в вере». С другой стороны, надежда «является модификацией веры, специально приспособленной к представлению возможного и желанного будущего». Моисей Самойлович был не только теоретиком «культурной мотивации человеческой деятельности», он умел пробудить эту мотивацию – корень любой веры и надежды, в каждом, кто читал его книги или беседовал с ним. Судя по всему, это было причиной, а также и следствием его заразительной радости жизни, которая тёплой волной

исходила от его присутствия, как и сейчас продолжает исходить от его книг. Я неосознанно чувствовал это, ещё когда был его студентом в Ленинграде, а позднее уже совершенно сознательно убедился в этом во время его второго визита на Кубу с декабря 1987 года по февраль 1988.

На этот раз он был приглашен по настоянию Магали Эспиноса Дельгадо и Орландо Суареса Тахонеры Высшим институтом искусств. В то время Куба переживала период интенсивного развития культуры и искусства, но в то же время испытывала «кризис роста», вызванный неизбежными конфликтами между поколением, осуществившим революцию 1959 года, и поколением, родившимся и выросшим в ходе революционного процесса, давшим ему возможность получить хорошее образование как на Кубе, так и в странах социалистического лагеря.

В произведениях молодых кубинских художников проявлялось в более или менее выраженной форме их крайне чувствительное, если не откровенно критическое отношение к ряду проблем и противоречий социалистических преобразований, продолжавшихся в стране уже около тридцати лет. В этой обстановке известной напряженности и полемики между официальной точкой зрения и мнением наиболее молодых представителей искусства Министр культуры Армандо Харт Давалос и ректор ИСА Мигель Анхель Санчес выступали в роли искусных посредников. Оба, каждый в своей области, явно предпочитали диалог грубому навязыванию точек зрения, и министр Харт, часто посещавший институт, время от времени встречался и беседовал с преподавателями философии и эстетики. В подобной обстановке визит Кагана пришелся как нельзя более кстати, и его идеи, ценные сами по себе, встретили особый прием. В течение всего своего продолжительного пребывания в Гаване Моисей Самойлович работал напряженно, самоотверженно и с увлечением. По утрам вел курс теории культуры, а после обеда читал цикл лекций, посвященных актуальным вопросам эстетики.

Магали Эспиноса попросила меня помочь с переводом его лекций и я был рад возможности опять увидеться и работать с учителем. Мы встретились вновь прохладным, но солнечным утром конца декабря в одном из коридоров того же факультета изобразительных искусств, где два года назад он прочел одну из своих лекций. Когда я подошел, Каган оживленно беседовал с небольшой группой преподавателей. Заметив меня, он сразу выпрямился и широко раскрыл объятия, выразительно меряя взглядом расстояние от руки до руки, как бы давая понять широтой разведённых для объятия рук силу его симпатии ко мне. И столько искреннего чувства было в его жесте, что в сумраке длинного коридора его силуэт на минуту показался мне рождественским предзнаменованием. При этой встрече я с радостью убедился, что после двух лет разлуки



он выглядел таким же оживленным и жизнерадостным, как и всегда, и, возможно, благодаря строгой ясности, свойственной «вторым первым впечатлениям», я вновь отметил рыцарскую утонченность его манер и элегантную правильность его устного русского языка.

К концу декабря Моисей Самойлович уже прочитал свои первые лекции обоих курсов, причём и утром, и в послеобеденное время аудитория бывала переполнена. Находясь лицом к слушателям во время перевода, я мог видеть глубокий интерес, с каким его лекции воспринимались. Кроме студентов и преподавателей ИСА, присутствовали также специалисты других учебных заведений и просто люди, привлечённые сообщением о лекциях, помещенном в газетах. Среди слушателей, не пропускавших ни одной лекции, были такие широко известные личности как историк Мануэль Морено Фрагинальс, композиторы Карлос Фариньяс и Роберто Валера, певец Рамон Кальсадиля. В частности, Морено был так поражен основательностью теоретического мышления Кагана, что на новогоднем ужине, организованном в преподавательском салоне, выдвинул идею проведения в ближайшем будущем в ИСА теоретического обмена мнениями по вопросам культуры и искусства между Моисеем Самойловичем и своим другом, итальянским семиотиком Умберто Эко.

В первые же дни Каган отлично акклиматизировался на Кубе и прекрасно чувствовал себя среди кубинских коллег, хотя тропический распорядок его преподавательской деятельности был далеко не таким точным, к какому он привык. На новогоднем обеде со студентами, организованном в «столовой-школе», одном из немногих остатков того, чем был в своё время Кантри Клуб, Моисей Самойлович получил возможность ещё раз блеснуть свойственным ему чувством юмора. Он сидел вместе с преподавателями за большим, находящимся в центре столом, когда ректор Института Мигель Анхель Санчес попросил его, как почётного гостя, произнести первый тост. Каган встал и, многозначительно устремив взгляд на украшавшие стену салона часы, торжественно произнес, высоко поднимая бокал: «В эти дни особенно обратила на себя моё внимание та свобода, с какой обращаются со временем, указанным в расписании, мои кубинские коллеги, что особенно контрастирует с количеством часов на стенах в зданиях ИСА. Я даже спрашивал себя, нуждаются ли на самом деле кубинцы в этих приборах. Должен признаться, что до посещения Кубы я думал, что человеку удалось победить время только в искусстве... Так вот, я провозглашаю этот тост за кубинцев, сумевших победить время и в действительности». Тост привел всех присутствующих в восторг, особенно студентов. После обеда один из них, с лукавой физиономией, подошел ко мне и, широко улыбаясь, выразил своё восхищение Каганом и то удовольствие, которое он получал не только от

его лекций, но и от каждого его жеста, казалось, принадлежащего талантливому актеру. Это был Леонардо де Армас из проходившей свой последний год обучения юмористической группы Саламанка на факультете сценического искусства, со студентами и преподавателями которого Моисей Самойлович провёл и полезную беседу, посвященную этой профессии.

В заключение я хочу поделиться с читателем тем, что мне самому удалось понять при написании этих мемуаров. Легко писать о человеке, жившем полной, настоящей жизнью. Напротив, намного болезненней со всех точек зрения было бы не рассказать о такой жизни, препятствуя её естественному разливу за собственные берега в поисках нового русла. Мы испытываем естественное желание поделиться своими личными впечатлениями, как мы делимся впечатлением, полученным от истинного произведения искусства, внутренне ощущая, что оно слишком велико для одного человека и что только когда мы делимся им с другими, это впечатление окончательно превращается в подлинный художественный и эстетический опыт. И таковой представляется мне сегодня жизнь Моисея Самойловича: несравненным художественным произведением.

Перевод с испанского А. А. Рудневой



С БЛАГОДАРНОСТЬЮ И ЛЮБОВЬЮ

Г. А. Праздников*

Наше заочное знакомство с Моисеем Самойловичем состоялось в середине 60-х. Я послал ему из Саратова, где тогда работал в педагогическом институте, свою статью, опубликованную в кафедральном сборнике. Отправил «на деревню дедушке» – в Ленинградский университет (даже названия кафедры не знал). Инициировал меня на этот жест мой заведующий кафедрой профессор Яков Фомич Аскин. Сам он занимался вопросами естествознания, был одним из крупнейших специалистов в области философской темпорологии, а его книга «Проблема времени» была переведена на несколько языков. Широко образованный гуманитарий, хорошо знавший искусство, ценивший и почитавший поэзию, Яков Фомич довольно прохладно относился к эстетике. Неверно. Не к эстетике, а к людям, представлявшим эту дисциплину в тогдашней философии, но выделял одно имя – Каган. Естественно, многих просто не знал, да и Моисея Самойловича слышал на одной-двух конференциях. Я тоже слышал его единожды, это был доклад «Диалектика искусства» в Ленинградском университете. Поразили ясность мысли, доказательность и логическая красота изложения, простой язык, свободный и от бытовизма, и от наукообразия. И нельзя было не обратить внимания на элегантную внешность докладчика.

К 1966 г. завершилось издание трехчастных «Лекций» Кагана. Без преувеличения можно сказать, что это было событие в нашей культурной жизни, а для меня просто откровение. Отправляя бандероль в Ленинград М.С. Кагану, чувствовал себя так, как если бы направлял ее И.Канту в Кёнигсберг. Правда, надеялся, что до адресата послание не дойдет.

Через месяц я получил письмо от Моисея Самойловича. Он доброжелательно оценил мою статью и, судя по письму, прочитал довольно большой текст внимательно и с карандашом. Я так растерялся, что не поблагодарил за отклик – мне казалось, что вторым письмом я бы навязывал себя в корреспонденты. Письмо Моисея Самойловича было для меня

* Праздников Георгий Александрович – заведующий кафедрой философии и истории Государственной академии театрального искусства, профессор кафедры философии и культурологии Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Почетный работник Высшего профессионального образования Российской Федерации.

серьезнейшим нравственным уроком. В той конкретной ситуации (письмо незнакомого человека, невесть как к нему попавшее, не содержащее даже намек на ожидаемый отзыв) его отклик был не формой этикетного поведения (которым он владел блестяще), а поступком хорошо воспитанного, благородного человека.

В.О. Ключевский определил доброго человека как человека не столько делающего добро, сколько не делающего зла. Небезосновательное суждение. И, тем не менее, есть люди добрые именно потому, что делают добро. Думаю, что десятки людей подтвердят, что Моисей Самойлович принадлежал к их числу. Если кто-то в этом усомнится – их право. Я пишу о «моём» Кагане.

Его отношение ко мне было удивительным, тем более, что не имело никаких мотивов обязательности. 1972 год. Я на стажировке в Институте повышения квалификации, руководитель спецсеминара М.С. Каган. Тогда мы познакомились. Думаю, излишне добавлять «очно» – вряд ли Моисей Самойлович помнил фамилию некоего Праздникова, 6 лет назад приславшего ему статью из Саратова, – сколько за эти годы поступило к нему таких текстов! С огромным вниманием слушал его лекции, участвовал в работе семинара. И сейчас, через 40 лет, вспоминаю эти полгода как захватывающе интересное время. Я слушал лекции крупных философов, известных мне только по фамилиям, участвовал в профессиональных дискуссиях. К тому же переживал роман с приехавшей из Горького Ольгой Гусковой. Этот роман завершился нашей свадьбой. Состоялась она 18 мая. Оказалось, это число совпадает с днем рождения Моисея Самойловича. Он не смог поехать отмечать это событие, у него дома собрались друзья и родственники. Зато потом, почти все последующие годы, в этот день мы были вместе или в его, или в нашем доме.

Однако свадьбы могло не быть. По окончании стажировки Ольга должна была возвращаться в Горький, а я жил в общежитии Ленинградской Высшей профсоюзной школы, где в то время работал. Мы были взрослыми людьми, впереди было лето, которое можно было провести вместе, но негде было жить. А Моисей Самойлович...

А Моисей Самойлович был просто руководителем семинара. Честное слово, я не знаю, откуда ему стала известна наша ситуация. Даже если бы и была известна – какое она имеет к нему отношение? ...Моисей Самойлович договаривается с дочерью Ингой, уезжающей на лето из квартиры, и мы поселяемся там. К нам в гости приезжает наш благодетель, а мы приходим в его дом, знакомимся с его женой – очаровательной Юлией Освальдовной, по сей день остающейся в кругу самых близких друзей.

И вот еще один поворот судьбы. С сентября 1973 г. я перешел на работу в Институт театра, музыки и кинематографии (ныне Академия



театрального искусства). Вся моя последующая жизнь – не только педагогическая, в значительной степени была определена этим событием. Люди, ставшие родными и близкими, художественная жизнь города, где я участник, а не только наблюдатель, прекрасная товарищеская атмосфера в вузе, который я не променяю ни на какой другой. Мои дорогие студенты, многие из которых стали известными режиссерами и артистами, а многие – теперь мои коллеги по Академии, где они уже давно профессора, заведуют кафедрами, возглавляют факультеты.

И к этому повороту моей жизни Моисей Самойлович не просто причастен, но был его инициатором и организатором. Наша свадьба вызвала новые проблемы, требующие радикального решения. Я жил в общежитии, а право на работу давала мне ежегодно продлеваемая временная прописка. Ее можно было продолжать и дальше, но она не давала возможности получить жилье и даже вступить в кооператив. Оставался вариант – Горький, город, где жене в ее Политехе обещали в том же году квартиру. Никакой бы катастрофы не было – замечательный город, бесконечно близкие мне братья и сестры Ольги, но то была бы другая история.

А ленинградская история развивалась так. В конце августа из ректората Профсоюзной школы мне сообщили, что меня разыскивает первый секретарь Дзержинского райкома КПСС Лариса Ивановна Новожилова, сообщили ее телефон. Звоню, мне назначают встречу. Ничего не понимаю и не у кого спросить. Ситуацию проясняет Лариса Ивановна: ее попросил Моисей Самойлович оказать содействие в решении моих проблем. Она объяснила, почему это почти невозможно: «У вас нет прописки, вы даже не кандидат наук и работаете в другом районе. Единственное, в чем могу подействовать, – получить работу в нашем районе, скажем, в ЛГИТМиК». Я опускаю все перипетии перехода и последующих событий. Главный итог – с сентября 1973 г. четыре десятилетия я работаю в замечательной педагогической, научной и художественной среде.

Моисей Самойлович же продолжал вести меня по жизни, сначала как старший товарищ, потом – как друг. Через год он был моим оппонентом на защите диссертации, ввел в состав Проблемного совета по эстетике, я активно включился в работу общества «Знание», где Моисей Самойлович возглавлял эстетическую группу, стал членом Методического совета, а позднее Редакционного совета общества. У меня и прежде была довольно активная жизнь, помимо вузовской педагогической работы. Так было и в Саратове, и в Ленинграде – лекции в театрах, на всех ленинградских киностудиях, в филармонии. Тем не менее, постоянное «подключение» меня к участию в конференциях, сборниках, коллективных монографиях, просьбы об оппонировании, редактировании, написании отзыва я долго понимал и переживал как кредит доверия, который я должен оправдать.

Наверное, не всегда оправдывал. Главное в другом, Моисей Самойлович не то, чтобы не давал повода почувствовать свое участие во мне как некое покровительство, убежден – ему и мысль не приходила в голову о каком-то патронаже. Равенство со всеми – близкими и далекими, старшими и младшими, профессорами и студентами, выше- и нижестоящими – его естественное органичное состояние, неременная форма поведения. Видел не раз, как изумлялись пришедшие в его дом молодые парни – студенты или аспиранты, когда он подавал им пальто. Зная, что день в их доме начинается рано, я старался с утра поздравить с праздниками. Не понимаю, как так получалось, но почти всегда он опережал меня. Когда я приступил к работе после операции на сердце, он предложил свою помощь – вызвался подменить меня на первых лекциях. И это при том, что его мучили непроходящие боли. Господи, да, если бы и не боли, – ему было 83 года!

Богом, родителями, так сложившейся жизнью он был награжден удивительным даром дружбы. Круг его близких друзей был не очень широк, но десятки людей переживали отношения с ним как дружеские. Когда, возможно, не без смущения, его приглашали в гости люди, с которыми он не был даже в приятельских отношениях, а он почти всегда эти приглашения принимал, уверен, никто никогда не видел в нем «свадебного генерала». А что уж говорить о друзьях! Даже не с сердечной расположенностью, а с родственным чувством относились к нему близкие ему люди. Нико Чавчавадзе называл его старшим братом, а что испытал я, когда младшим братом он назвал меня! Наверное, в нынешней атмосфере, пронизанной прагматическими, инструментальными отношениями, мои восклицательные знаки вызовут иронические улыбки. Могу только посочувствовать. С каждым годом я переживаю мужскую дружбу как важнейшую жизненную ценность. Мы дарили друг другу друзей, и я радовался, когда с моими близкими у него устанавливались свои, отдельные от меня отношения – перезванивались, приходили в гости, переходили на «ты» – легче и непосредственней, чем это далось мне. Много лет мы пили на брудершафт, давно стали на «ты» с Юлией Освальдовной (уже много-много лет просто Юлей), а с Моисеем Самойловичем не получалось, хотя он неоднократно выражал мне свою обиду. Как замечательно, что когда-то это произошло, и давно он стал для меня Микой. Это же совсем другое – «Мика»! И никакого комплекса амикошонства я не переживал. Может быть, еще острее почувствовал свою привязанность к нему.

Сколько замечательных людей вместе с Микой вошли в мою жизнь! Прежде всего, его семья – дети, их жены, внуки. Наша дружба с Юлей не прерывается, и мы все знаем друг о друге – наука, работа, дети, здоровье, лекарства, ремонт. И ничего в этих отношениях никогда не изменится. Мика ввел меня в круг московских, ленинградских, екатеринбургских,



самарских, рижских, таллиннских, бакинских, ереванских, польских, немецких, венгерских друзей. Надо остановиться – перечисленные города и страны не исчерпывают список. Речь идет не просто о знакомстве, но об устойчивых отношениях, некоторые из которых становились дружескими. Особая тема – Грузия. Дорогое для меня место, близкое со студенческих лет – друзья, любимая поэзия, живопись, театр, кино, музыка. Мне очень хотелось открыть эту прекрасную землю жене, друзьям. Я успел: двухнедельная поездка в Грузию с женой и близкими друзьями – одно из самых дорогих моих сегодняшних воспоминаний. А в какой-то момент Грузия оказалась неотделимой от Мики, влюбленного в этот прекрасный мир природы, искусства и людей. Задолго до того, как мы оказались здесь вместе с ним (это было дважды). Он «свел» меня со своими коллегами и друзьями. С какой-то пустяковой просьбой обратился через меня к своему другу Николаю Зурабовичу Чавчавадзе – директору института философии Грузинской академии наук, и мой визит оказался началом нашей дружбы с Нико. Имя «Каган» в Тбилиси воспринималось как пароль. Когда я приезжал по своим делам в Тбилисский театральный институт, тут же появлялись друзья Мики – мои коллеги, но до какой-то поры знакомые мне только по работам. Мы ходили на кафедры, в рестораны, в гости к родственникам и ученикам. Казалось, что меня принимают за кого-то другого. Понимал: это навсегда «оставшийся» здесь Мика, его научный авторитет, остроумие, обаяние, открытость и щедрость в дружбе. Его здесь любили. Надеюсь, что я не был его тенью, но огромное значение имело то, что я приехал «от него».

Мои давние саратовские друзья, Сережа и Таня Штерны, много лет проживающие в Стокгольме, сделали тридцатиминутный видеофильм «Разговоры с Микой: вечер, утро и опять вечер». В середине августа 2002 г. Юля и Мика приехали к нам на дачу. Мы заранее договорились, что они проживут у нас 2–3 дня, и, возможно, неторопливость нашего общения определила какую-то особую атмосферу покоя, комфортности и предвкушаемой радости длительного общения. В просторном холле красиво накрыли стол, было прохладно, и мы затопили камин, горели свечи. Было очень хорошо. Одновременно – умиротворенно и весело. Мы сидели долго, не хотелось расходиться, но на завтра были свои планы – дальний поход на озеро, обед, а к вечеру ожидался приезд Сережи и Тани, направлявшихся на машине из Швеции в Саратов. А они приехали на день раньше, их машина остановилась возле дома, как только мы встали из-за стола. Мои друзья знали про Микку, и он не раз слышал о них, но когда мы снова сели за стол, теперь уже три пары, не было даже нескольких минут «притирки» – как будто все знали и любили друг друга всю жизнь. Я ликовал – какие у меня замечательные друзья и как хорошо, что теперь мы все вместе.

На днях снова смотрел эти кадры. Смотрел со слезами, не потому, что грустно: Мики нет, а ведь вот он на экране такой радушный и веселый. Слезы от живого ощущения радости тех двух дней. И не надо стыдиться этих слез. Мужчина никогда не должен плакать от боли, а от радости – нормально.

Помню неожиданное продолжение вечера, когда однажды Юля и Мика вернулись к нам на той же машине, которая увезла их домой. Они попали на разведенные мосты и не могли выехать с Васильевского острова. Всю ночь мы читали стихи, радовались, обнаруживая общность пристрастий. Передавая из рук в руки книгу, вспоминали моего любимого Давида Самойлова. И Пушкина. Я тогда впервые услышал от Мики, что в студенческие годы «Евгений Онегин» был предметом его специального исследования. И вот за столом он читал наизусть любимого им Пушкина.

А разве можно забыть его забавный и трогательный сюрприз. Както в 10 минут первого ночи у нас раздался звонок в дверь. На пороге стояли Юля и Мика: «Мы пришли поздравлять тебя с днем рождения». – «Но у меня день рождения завтра». – «Извини, уже сегодня». Это – Мика. Такой Мика был в моей жизни и таким остался навсегда.

Страшная болезнь обнаружена была как-то нелепо. С 19 июля они должны были с Юлей отдыхать в санатории. Он позвонил мне в середине этого дня. «Вы уже в санатории?» – «Нет. Знаешь, на флюорографии при оформлении санаторной карты обнаружилось какое-то пятно. Послали на обследование». С середины лета он и все мы знали – рак легких в той стадии, когда невозможны ни химиотерапия, ни хирургическое вмешательство. Но боли его мучили давно, десяток хороших врачей в разных клиниках искали причины и способы их снять. В последние месяцы это достигалось сильнодействующими уколами. Он очень страдал. Бессонница. Редкий тревожный сон в кресле. Никогда не слышал от него нытья, но и героя из себя не разыгрывал. В этот тяжелейший период жизни он оставался естественным, интеллигентным человеком. Не олимпийцем. Мне всегда это было дорого в нем. Ему были ведомы глубины и высоты бытия, но он проживал жизнь во всех измерениях. Любил женщин и высоко ценил мужскую дружбу, радовался застолию и понимал толк в еде и напитках, замечательно плавал и ходил на лыжах, не гнушался домашних обязанностей (рынок, магазин, прачечная, химчистка), любил собирать грибы, великолепно чувствовал юмор и сам был остроумным человеком. В любых ситуациях был элегантен. Никогда не видел его одетым небрежно – ни дома, ни в гостинице, ни в поезде, ни на природе.

Мы виделись последний раз приблизительно за неделю до смерти. Он позвонил мне, пригласил заехать, просто повидаться. Как всегда был приветлив, заботлив, внимателен. И красив: чисто выбрит, отглаженная



рубашка, уютный домашний халат. Говорили о разном, шутили, рассказал мне новые анекдоты. Интересовался моими делами и здоровьем. Показал первые два тома издаваемого «Петрополисом» семитомного собрания сочинений. Мне бросились в глаза какие-то небрежности и неточности в алфавитном указателе, я сказал об этом Мике. Он позвонил редактору и договорился с ним о встрече на следующий день (встреча состоялась, и они работали над этими указателями). Потом пришла Юля, стала готовить нам ужин, но как-то внезапно силы оставили его. «Прости, мне надо уснуть». Мы попрощались.

Объективные показатели не давали повода для оптимизма, но я уехал от него уверенный, что за кризисом наступит улучшение. Чуда не произошло.

Из жизни ушел человек с абсолютно ясным умом, полный творческой энергии. И может быть, судьба проявила милость, дав этому человеку возможность до последнего срока не расставаться с его главной жизненной радостью – мыслить, исследовать, постигать.

Разные предметные сферы в научной деятельности М.С. Кагана составляли смысловое единство: их нельзя суммировать и вычитать – они соотносятся друг с другом, взаимопроникая, объясняя, углубляя единый по сути предмет – человек в бытии. Дать такой системно-целостный анализ культуры, как в ее целом, так и в составляющих компонентах, мог только один мыслитель, а не кафедра, сектор, институт или академия. Теория деятельности, теория общения, теория ценностей, философия культуры или, скажем, системное понимание педагогики, разработанные М.С. Каганом, могут находить своих продолжателей или противников в разных сферах знания, но родиться и сформироваться в таком виде они могли только в голове одного человека. Признаем: таких людей немного. Каган был таким человеком.

Вот сейчас завершится издание его трудов, собранных в отдельных томах-блоках: «Проблемы методологии», «Проблемы философии», «Теория культуры», «Теория искусства и эстетики», «История искусства и художественная критика», а в будущем появятся «кагановедческие» исследования: «Теория культуры М.С. Кагана», «М.С. Каган и проблемы педагогики», «Эстетика М.С. Кагана». Такого рода работы, конечно, возможны и необходимы, но кто-то должен осмыслить разные предметные сферы как органические части единого целого.

Последняя книга, подписанная к печати за две недели до его ухода, – «Метаморфозы бытия и небытия». Он очень хотел ее увидеть. Не успел, держал в руках только верстку. «Метаморфозы» – его завещание. Он говорил, что после этой работы написал бы другую эстетику и философию культуры, но уже никогда не сможет этого сделать.

Несколько лет назад на одной из конференций была высказана мысль, что М.С. Каган, по сути, закрыл эстетику, исчерпал ее возможности. Не совсем так. Вернее, совсем не так. После философских и культурологических исследований Моисея Самойловича эстетика обретает новую жизнь (в том числе и как человековедческая дисциплина). В тот период, когда ученый, казалось, отошел от эстетики, искусство не только не осталось за пределами его интересов, не «провалилось» в «ячейки» более широких систем, но помогло многое объяснить в самом человеке и в человеческом бытии. Равно как его теории деятельности, общения, ценностей, философии культуры открывали возможности более глубокого понимания искусства.

Для Моисея Самойловича искусство было не только объектом философско-культурологического осмысления, но и предметом искусствоведческого и критического анализа, наконец, любимой, тонко переживаемой сферой его повседневной частной жизни. Один известный историк театра (классик!) говорил: «Тут уж надо выбирать: либо писать о театре, либо ходить в театр». Каган не выбирал. И хотя с годами физические возможности сузили круг живого общения с искусством, он ходил на выставки, концерты, фильмы, спектакли. Был членом трех творческих союзов (театральных деятелей, кинематографистов, художников). В последнем союзе всю жизнь вел большую организационную работу, участвуя в съездах, дискуссиях, обсуждениях выставок. Он теоретически осмысливал изобразительное искусство, театр, кино, телевидение, радиотеатр, слово в культуре, архитектуру, музыку, дизайн, искусствознание и критику. Когда мой друг ректор Тбилисского театрального института Этери Гугушвили привела нас с женой и друзьями в дом великого художника Ладо Гудиашвили, его вдова – замечательная Нино, спросила меня, не знаю ли я в Ленинграде Мику Кагана (назвала его именно так) – она с нетерпением ждет его книгу о Ладо. Моисей Самойлович тогда только работал над текстом. Эту книгу он причислял к лучшему из сделанного им. А еще он писал о Борисе Заборове, Рудольфе Хачатряне, Петре Зальцмане. И еще одну монографию, которую очень ждали в Грузии, – работу о творчестве Мераба Бердзенишвили, одного из крупнейших современных скульпторов. По разным обстоятельствам путь давно готовой рукописи к книге был трудный. Наконец, книга была издана, но ее тоже не суждено было увидеть автору.

Много лет Моисей Самойлович был членом советов по защите искусствоведческих диссертаций в институтах на Моховой и Исаакиевской, много оппонировал, интересно и остроумно выступал. Здесь его тоже много лет знали и любили.



Как-то пришлось услышать такую ироничную формулу: гуманитарии – это те, кто не знает физику и математику. Каган знал и даже преподавал математику и смело соединял эстетико-искусствоведческие подходы с синергетическими и семиотическими. Стиль его мышления концептуальный, структурно-системный, математически логичный, а потому – неизбежно схематичный. Любое теоретическое исследование, при всей корректности и диалектичности положений, с необходимостью предполагает жесткость определений. Английский физик Г.Бонди утверждал: «Теория, не достаточно жесткая для того, чтобы быть опровергнутой, представляет собой жалкую игру в слова». Эта мысль верна по существу – не только для естествознания.

Как-то, выступая на обсуждении книги Кагана «Град Петров», я сказал, что по общей схеме петербургского стиля музыка Шнитке должна была быть написана в Петербурге, а музыка Гаврилина – в Москве. Но они жили там, где жили, и музыку писали по месту жительства. А на рассуждения о графичности петербургского искусства можно было бы возразить яркими примерами колористической живописи. Но эти факты ничего не меняют в объективной логике предмета и его анализе.

Эта книга о Петербурге – такая, как есть, – могла быть написана не просто умным и образованным человеком, но ленинградцем, петербуржцем, любящим и чувствующим город, воспитанным в его интеллектуальной атмосфере. Сама эта книга, выявляющая некие потаенные смыслы города, войдет в его культуру на равных правах с литературой, театром, музыкой. И ее автор Моисей Самойлович Каган – достояние нашего города, значимая часть его культурной, научной и гражданской истории.

«Жизнь как творчество» – так названа вступительная статья к собранию сочинений М.С. Кагана, любовно и талантливо написанная Ю.Н. Солониным. Осознавая некую претенциозность словесной игры, хотел бы продолжить формулу ее зеркальным обращением – «творчество как жизнь». Думаю, со мной согласятся все знавшие Моисея Самойловича не только по книгам, хотя и в его текстах, далеких от эссеизма и журнализма, я слышу его голос, живую интонацию. Дружба и любовь, долг и совесть были для него энергетическим нравственным зарядом деятельности и ценностными критериями. Мыслящий структурно и рационально, систематизатор и системосозидатель, саму научную деятельность он переживал экзистенциально-романтически.

Я не был ни студентом, ни аспирантом Моисея Самойловича, не удалось мне унаследовать и способ его мышления. Мог только завидовать систематическому и строгому движению его мысли, понимая, что у меня голова работает по-другому – хожу кругами, о том, о сем... Много лет назад после защиты диссертации Саши Пирадова мы собрались от-

метить это событие дома у Моисея Самойловича (тоже замечательный факт!). Первым оппонентом был приехавший из Москвы с сыном Максимом С.Х. Раппопорт. Максим только что отметил свой день рождения, а происходило это 18 мая – в день рождения Мики и в наш с Олей день свадьбы. Моисей Самойлович открыл застолье, совершенно феерически. Все события (защита, дни рождения, день свадьбы) и сидящих за столом (мама, Юля, дети, гости) он невероятным образом соединил в цепочку взаимосвязанных и взаимонеобходимых элементов. Завершилась эта тирада единственным тостом – за здоровье мамы Минны Захаровны. Восторг! Все заплодировали.

А вот пример реорганизации в стиле его мышления чужого текста. Как-то в издательстве «Знание» обсуждали рукопись моей брошюры «Искусство и спорт» (как оказалось впоследствии – самая цитируемая моя работа, на которую многократно ссылались и вносили в рекомендательные списки литературы отечественные и зарубежные авторы). Моисей Самойлович разнес текст в пух и прах. Он полагал, что я напишу что-то сходное с его «Морфологией искусства», а меня интересовало другое – не эстетический потенциал двух форм культурной деятельности, не переходные зоны между балетом и фигурным катанием, а личностная выразительность, сходство искусства и спорта на уровне бокса или бега и принципиальное различие на уровне художественной гимнастики и фигурного катания. Возможно, в первом варианте все это изложено было недостаточно внятно, но, конечно, меня огорчило его выступление – у нас уже давно были близкие дружеские отношения. И вдруг он звонит в 12 ночи: «Слушай, я все понял. Здорово! Я сделал такую грандиозную схему, приезжай – дарю». Утром я у него. Моисей Самойлович вручает мне большой лист, где все виды спорта (о некоторых я впервые узнал) квалифицированы и классифицированы: действие одиночное – парное – коллективное; на воде – на земле – в воздухе; с предметом – без предмета; общение контактное – бесконтактное...

Мне очень хотелось эту схему использовать. Думал, найду слова, объясняющие чужое авторство. Не смог, слов не нашел – настолько это было другое. Но эта ситуация еще раз обнаружила важные характеристики Моисея Самойловича. Что-то задело его, заставило разобраться в моем подходе, да еще и в теме, несколько часов назад не имевшей к нему никакого отношения. От поиска истины он испытывал радость, получал настоящий кайф. И еще. Хотя выражение его размышлений, как правило, получало строго формализованный характер, сама мысль никогда не была формальной – он был поглощен смыслом, сущностью (если бы это умели понять некоторые его противники!). Возвращаясь к своим предшествующим теоретическим сюжетам, он постоянно уточнял понятия, углуб-



лял концепцию, порой опровергая собственные теоретические положения. Изданные за рубежом книги никогда не были просто переводами: немецкие, испанские, китайские, грузинские читатели (в Германии учебник по эстетике называли «Der Kagan») знакомились уже с другими текстами, нежели мы по отечественным изданиям.

И второй момент. Он почувствовал, что обидел, расстроил меня, к тому же не очень справедливо. Захотел снять напряженность, возникшую по недоразумению. Моисей Самойлович был замечательно воспитанным человеком. Даже в самых доверительных разговорах я не слышал, чтобы он о ком-то говорил плохо (разве что осуждая крайне неприличное поведение). И это при том, что всегда отстаивал свои позиции в высшей степени принципиально. В теоретических дискуссиях был великолепным бойцом, не переходя границы этической нормы даже в самых тяжелых случаях, когда обвинения противников становились идеологически опасными. Старшее поколение помнит, какой грозный характер имело обсуждение «Морфологии искусства» в Академии художеств. А.Ф. Лосев поведение Моисея Самойловича оценил кратко и ёмко: «Кagan держался с достоинством» (Бибихин В.В. Алексей Федорович Лосев. Сергей Сергеевич Аверинцев. М., 2004. С. 216).

Обязательно надо отметить поражающую легкость, ненатужность его бытия (именно это слово: быт + работа – явное упрощение). Чтобы столько написать, прочитать (читал невероятно много, значительно больше, чем цитировал и выносил в сноски: знать предшествующих исследователей предмета было для него безусловным нравственным условием), надо регулярно много работать. Он работал постоянно – на карауле в армии, на отдыхе, в гостинице, в транспорте, дома, в библиотеках. Значит, надо постоянно во многом себе и другим отказывать, держать себя в рамках. Разве не так? При этом за тридцать с лишним лет не могу вспомнить (как выяснилось, и другие не помнят), чтобы он уклонился от застолья или дружеской встречи, сославшись на спешную работу. Или, скажем, прервал затянувшийся телефонный разговор.

Жизнь подарила мне радость общения с этим замечательным человеком. Радость – не нахожу другого слова. В памяти живы не только его блестящие лекции, полемические выступления, споры, книги, но и лесные прогулки, купание в озере, стихи ночью, почти ежедневные телефонные разговоры. Конечно, застолья – широкие, где он царил, и втроем-вчетвером, но с какими собеседниками – Нико Чавчавадзе, Мераб Мамардашвили, Семен Раппопорт, Володя Конев... А как хорошо мы сидели вдвоем!

Вчера вечером несколько раз по телефону разговаривали с Юлей – о Мике, об этой книге, о детях, внуках, о здоровье и работе. Хорошо.

Бесконечная благодарность тебе, Мика, за то, что был в моей жизни.

М. С. КАГАН НА ФИЛОСОФСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 60-х ГОДОВ (из студенческих воспоминаний)

В. В. Прозерский*

М.С. Каган пришел на философский факультет уже сложившимся ученым, много лет проработавшим на кафедре истории искусства исторического факультета Ленинградского (теперь Санкт-Петербургского) университета. Он имел научное имя, был автором серьезных трудов по истории искусства и эстетике, но полностью раскрыться его таланты сумели именно здесь, в 60-е годы, на кафедре этики и эстетики философского факультета.

Надо вспомнить, что представляли собой 60-е годы в сознании их современников. Время с конца 50-х и, по крайней мере, до середины 60-х годов в политической и идеологической жизни страны получило неофициальное название «оттепели». Это крылатое выражение И.Эренбурга обобщило проходившие тогда процессы «оттаивания» мировоззрения людей от холодов идеологического давления на культуру, характерного для прежних десятилетий. Многие тогда верили, что это не временная оттепель, а настоящая весна, когда философская мысль и творчество, прежде скованные догматизмом, теперь, после XX и XXII съездов КПСС, заявивших об освобождении от культа личности Сталина и его последствий, смогут развиваться свободно и плодотворно.

О многих переменах, происходивших тогда, говорит и сам факт создания в московском и ленинградском университетах в 1960 году кафедр этики и эстетики, что можно было понимать как призыв обратиться к проблемам личности человека, к изучению его внутреннего мира, ценностей и смысла жизни, эмоциональной сферы – нравственных и эстетических чувств, творческого процесса, вкуса, т. е. всего того, что выделяет человека из безличной массы (о чем в прежние годы страшно было даже подумать). Таким образом основание кафедр этики и эстетики означало не только признание философского статуса этих дисциплин, но повлекло за собой открытие новых разделов в других философских науках: социология (а вслед за ней социальная психология) появились только в

* Прозерский Вадим Викторович – доктор философских наук, профессор кафедры эстетики и философии культуры Санкт-Петербургского государственного университета. Написал под руководством М.С. Кагана кандидатскую диссертацию по эстетике позитивизма. Возглавляет отдельное направление среди философских исследований в СПбГУ – Научная школа «Философия культуры» им. М.С. Кагана.



это время; после бурных дебатов было признано право на существование марксистской теории ценностей – аксиологии; с еще большими трудностями утверждалась теория знаков – семиотика; начала разрабатываться методология структурного, а затем системного анализа.

В самой эстетике появились новые разделы: психология искусства, социология искусства, структурно-семиотический анализ, техническая эстетика, позже переименованная в теорию дизайна. Характеристикой нового этапа философской жизни стало открывшееся широкое поле исследований, требовавших углубления точности, строгости, научности методологии. Все это отвечало складу ума и направленности натуры М.С. Кагана, всегда стремившегося мыслить в широком кругозоре, но при этом соблюдать точность и строгость суждений. Этому он учил и нас – студентов 60-х годов на своих лекциях, семинарах, кружковых занятиях и в неформальном общении за «сеткой» академической структуры.

К этому времени были изданы первые учебники по эстетике, но представляли они собой мало связанные между собой очерки по тем или иным проблемам, да и сама научная трактовка этих проблем оставляла желать лучшего: над ними все еще тяготел догматизм сталинско-ждановских постановлений об искусстве 40-х годов и мифология социалистического реализма.

Эстетика сможет стать наукой только тогда, когда обретет систему, – такова была позиция М.С. Кагана в этом вопросе, и за создание такой системы он взялся самостоятельно. Вначале им был найден принцип системной организации эстетических категорий, затем разработан системный подход к искусству, но на этом эстетика не заканчивалась: она становилась стартовой площадкой для дальнейших системных исследований в области художественной культуры, затем – поля человеческой деятельности и, наконец, культуры в синхронном и диахронном аспектах.

Как оратор М.С. Каган всегда обращался к аудитории, мыслил «на людях». Это отразилось в его книгах, и сейчас, когда читаешь их, слышишь его интонации, ощущаешь, что это обращено к тебе, вызывает на диалог, на обсуждение проблемы. Поэтому так часто в названии его работ встречается слово «лекции», а не просто «учебник» или «научная монография». И действительно, на его лекциях мы были свидетелями того, как складывается здание новой философской дисциплины: этаж за этажом поднимались мы по его лестнице вместе с нашим шефом, а он объяснял существо каждого уровня и принципов скреплений между ними, все было четко продумано, строго и корректно выведено из базовых постулатов.

Системное построение требует четкости мышления, поэтому М.С. Каган не терпел интеллектуального произвола, расхлябанности

мысли. Необходимо поступательное движение от одного обоснованного положения к следующему без отступлений в стороны и перепрыгивания через доказательства – этому учил нас наш «новый Декарт» (так любовно называли его в кулуарах), критически оценивая наши выступления на семинарах, курсовые и дипломные работы. Его «прививка» оказалась настолько долго действующей, что и теперь, в начале нового столетия и тысячелетия, откуда 60-е годы с их рационализмом, сциентизмом, упрямой верой в необходимость и возможность все познать, все системно организовать и правильно выстроить – прежде всего общество и человека – кажутся такими далекими, чем-то вроде эпохи Просвещения в противоположность нынешнему усложнившемуся миру с «разбегающимся» космосом философии, и сегодня я могу повторить, что эта «прививка» и эти уроки мастера не забываются и лежат в основе всего того, что наслоилось на первозданный фундамент знаний позже.

Кроме академических занятий у нас были совместные выходы в музеи, театры, поездки за город – обо всем не расскажешь. Мне хочется остановиться только еще на двух формах наших занятий в стенах факультета: студенческом научном кружке при кафедре и аспирантском семинаре, которые вел Моисей Самойлович в 60-е годы. Казалось бы, обычный студенческий научный кружок, но он получил не только кафедральный, не только факультетский, но и общеуниверситетский и даже общегородской масштаб. Он перерос в настоящий клуб, где ставились не только академические проблемы, но где появлялись интересные люди из города: ученые, артисты, художники, художественные критики. Университетской же публики набивалось столько, что философы терялись в толпе филологов, физиков (их было больше всех), историков, биологов и представителей других факультетов. Надо вспомнить, что в 60-е годы в моду вошли молодежные диспуты, но большинство из них носило формальный и заорганизованный характер. Этого не скажешь о дискуссиях в нашем эстетическом клубе, которые носили всегда живой и откровенный характер. Мы торопились обсуждать театральные премьеры и новые фильмы, новые стихи и прозу, выступления бардов (хорошо помню вечер Е.Клячкина, проходивший на нашем факультете). В это время появились первые переводы зарубежной философской и художественной литературы, слова «модернизм», «авангардизм» переставали быть абстракциями, но многое оставалось еще не переведенным, и надо было знать иностранные языки, чтобы быть в курсе движения философской и художественной мысли.

Моисей Самойлович строго следил за тем, чтобы эстетики не замыкались в своей профессиональной ограниченности, а были открыты на встречу всем веяниям современной художественной жизни. Часто он



устраивал нам «экзамены» такого рода: соберемся мы на аспирантский семинар слушать назначенный по определенной теме доклад, а Моисей Самойлович вдруг объявляет: «Сейчас каждый из вас расскажет о наиболее сильном художественном впечатлении, которое он получил за последний месяц, а потом, если останется время, будем слушать доклад». И вот тут ты попался, если за этот месяц нигде не был, ничего не видел, не слушал или не прочитал, о чем мог бы рассказать. Отмалчиваться на семинарах не полагалось – пришлось бы встать и с со стыдом признаться: «Я ни о чем не могу рассказать».

Иногда такой же «экзамен» устраивался в виде отчета о прочитанной философской литературе. Сам М.С. Каган успевал читать удивительно много, следить за всей нашей философской литературой (не только по эстетике, но и по психологии, педагогике, системным исследованиям, и сам выступал в печати по проблемам этих наук), а также за публикациями в художественных журналах. Поэтому предлагаемые им темы для обсуждения на аспирантском семинаре всегда были актуальны. Помню, как бурно прошло у нас обсуждение привлечших к себе внимание повестей В. Катаева «Трава забвения» и «Святой колодец», вызвавших напряженную полемику в критической литературе. Наш наставник учил нас проникать в суть дела, скрытую за литературными хитросплетениями, разбираться в том, кто из критиков говорит правду о произведении, а кто лукавит и следует политической моде.

Неоднократно на заседаниях научного кружка происходили популярные тогда дискуссии между «физиками» и «лириками» о сравнительной ценности научно-технической и гуманитарной культур. Наш учитель всегда приходил нам на помощь, когда у нас не хватало аргументов в отстаивании значимости гуманитарного знания. Но нельзя сказать, что все студенты физического факультета, присутствовавшие на наших встречах, были сугубыми «технарями». Многие из них любили искусство и хорошо его знали. Знали они и философию, причем читали такую литературу, до которой мы сами не могли добраться, например, сочинения русских философов-идеалистов, бывшие тогда под строжайшим запретом, или религиозную литературу, за чтение которой можно было поплатиться студенческим билетом. Не раз шокировали нас физики на заседаниях кружка такого рода заявлениями: «Я идеалист» или «Я верю в Бога». Никто из студентов-философов не мог бы отважиться сказать нечто подобное вслух.

И всё же было заметно, что серьезное отношение к философским мировоззренческим проблемам часто соседствовало у наших гостей с юношеским задором и пылом, стремлением к эпатажу. Никогда не обрывая их, но и не пуская процесс на самотек, М.С. Каган умело прокладывал

свой курс среди этих штормов и бурь. Он убедительно показывал, где находит свое выражение серьезность, а где просто юношеская горячность, желание пооригинальничать, блеснуть новизной мысли, не имея для этого основательной базы. Надо признаться, что и у нас, тогда еще не зрелых представителей философской науки, тоже порой случался этот «грех». М.С. Каган, доброжелательно критикуя новомодные построения юных мыслителей, убеждал, что, не имея серьезной теоретической и методологической базы, ничего, кроме воздушных замков, не построишь.



МОИСЕЙ СОВЕТСКОЙ ЭСТЕТИКИ

Л. Н. Столович*

Слова, вынесенные в заголовок этого очерка, принадлежат грузинскому скульптору Морису Талаквадзе. Так лучший в 60-е годы тамада Тбилиси назвал Моисея Самойловича Кагана, приехавшего в октябре 1965 года на первый в СССР симпозиум по проблеме ценности. Это был особый симпозиум. До этого времени понятие «ценность» не имело легального статуса в марксистско-ленинской философии. Философские словари определяли это понятие как «не наше» – буржуазное и идеалистическое. Командующие философским фронтом считали тех, кто смел употреблять это понятие, «неокантианской ревизией марксизма». Даже молодые в то время и, несомненно, талантливые философы, работавшие в Институте философии АН СССР, остроумно третировавшие свое начальство в стенной газете Института, также в основном были противниками «теории ценностей». Московской атаке на теорию ценности «с правого» и «с левого фланга» противостояли организаторы симпозиума – грузины и ленинградцы вместе с «примкнувшими к ним» москвичом А.В. Гульгой и автором этих строк, вынужденным покинуть родной Ленинград во время «дела врачей», не имея никакого отношения к медицине. Моисей Самойлович был в первых рядах борцов за философскую теорию ценности. Его теоретические и бойцовские качества сыграли большую роль в том, что теория ценности получила права гражданства в советской философии, несмотря на сопротивление философских динозавров, которые начали постепенно вымирать.

Такого рода эпизодов в жизни Кагана было множество. Он всегда отстаивал наиболее перспективные воззрения, противостоящие официальной косности. От курса «Теория искусства», который он начал читать в 1946 году, будучи еще аспирантом, на искусствоведческом отделении Ленинградского университета, он перешел к забытой в Советском Союзе эстетике и стал одним из тех, кто возродил эстетику в стране «победившего социализма» (точнее было бы сказать «в стране победившей социализм»: Советский Союз действительно *победил* социализм, полностью дискредитируя этот некогда гуманистический идеал).

* Столович Леонид Наумович – доктор философских наук, почетный профессор Тартуского университета (Эстония), в котором с 1953 преподавал эстетику и философию. Писатель, эссеист, поэт. Член Эстонского союза писателей, Кантовского общества в Бонне и ряда других ассоциаций.

Определение Моисея Кагана как «Моисея советской эстетики» у одного современного журналиста вызвало такую интерпретацию уже с высот постсоветской действительности: «Это что, тот человек, который 40 лет по пустыне водил советскую эстетику?» Этому риторическому вопросу нельзя отказать в остроумии. Но я бы, продолжая этот образ, сказал, что Моисей Каган через пустыню вел все-таки советскую эстетику к Земле Обетованной, на которой она уже могла существовать и развиваться без постоянного эпитета «советская».

Ведь Каган не только возрождал эстетику в стране, в которой с 1937 г. не выходила ни одна книга по эстетике. Он создал и разработал оригинальные эстетические концепции, основанные на тщательно им изученной истории эстетических учений, на богатейшем материале самого искусства, осмысленного в историческом и современном развитии. Свои эстетические воззрения он оттачивал в острых дискуссиях, благо сфера теоретической эстетики с середины 50-х годов не столь жестко регламентировалась господствующей идеологией как область исторического материализма и политической экономии. Книга М.Кагана «Лекции по марксистско-ленинской эстетике», систематически и системно охватывающая все проблемы эстетики, изданная в середине 60-х годов, переизданная в доработанном виде в 1971 г., переведенная на многие языки, в течение двух десятилетий являлась лучшим учебным пособием для изучающих эстетику. Когда вышел немецкий перевод этой книги как в Восточном Берлине, так и в Мюнхене, западногерманская печать писала о том, что появилась марксистская эстетика с человеческим лицом. Книга М.Кагана «Морфология искусства» (1972) без преувеличения – один из классических трудов мировой эстетической мысли. Его книга «Эстетика как философская наука» (1997) – полувековой итог одного из крупнейших эстетиков не только своего отечества.

Но М.С. Каган участвовал в возрождении и других философских дисциплин. Логика философско-научного исследования вывела М.Кагана к проблемам человеческой деятельности и общения, культурологии и теории ценности. Его книги «Человеческая деятельность» (1974), «Мир общения» (1988), «Философия культуры» (1996) – важные вехи в создании на одной шестой земной поверхности философской антропологии и культурологии. Известный петербургский философ и культуролог А.С. Кармин в книге-учебнике «Основы культурологии. Морфология культуры» выделяет пять теорий культурно-исторической процесса: Н. Данилевского, О.Шпенглера, А.Тойнби, П.Сорокина и М.Кагана («Культура как саморазвивающаяся система»).

Нельзя не отметить, что разработка проблем эстетики и искусствознания, культурологии и теории ценности, самой философии осуще-



ствлялась М.Каганом на прочном методологическом фундаменте разработки системного подхода к гуманитарному знанию, а также на применении достижений такой передовой научной парадигмы, как синергетика. Он мужественно противостоял обвинениям в субъективизме и ревизионизме, опасностям лишиться работы в университете в эпоху борьбы с генетикой и кибернетикой, структурализмом и модернизмом, космополитизмом и сионизмом. Он не менял свои убеждения ни в ту эпоху, ни в ее сменившееся время с легкостью флюгера, как это, увы, нередко наблюдается. Но внутреннее саморазвитие его философских, эстетических и культурологических воззрений, его интерес ко всему новому могла прервать только смерть, непрошенным гостем явившаяся 10 февраля 2006 года. В мае ему было бы 85.

Не знавшие его люди могут сказать: «Что ж тут особенного. Возраст за 80 – значительно превышает средний уровень смертности мужчин в Российской Федерации». Но дело не в возрасте. От нас ушел не немощный старец, а человек в полном расцвете творческих сил. Это поразительно, как танец восьмидесятилетней Майи Плисецкой. Творческая активность Кагана и в его молодые его годы была необычайной. Но когда ему было уже за 70, почти каждый год появлялась его новая книга, а порой и не одна: «Философия культуры» (1996), «Град Петров в истории русской культуры» (1996), «Музыка в мире искусств» (1996), «Эстетика как философская наука» (1997), «Философская теория ценности» (1997), «О времени и о себе» (1998), «История культуры Петербурга» (2000), «Се человек... Жизнь, смерть и бессмертие в „волшебном зеркале“ изобразительного искусства» (2003). И всё это не только свидетельства удивительной продуктивности и широты интересов автора, но и интеллектуальной глубины проникновения в сложнейшие многообразные гуманитарные проблемы. Особого внимания достоин двухтомный труд «Введение в историю мировой культуры» (2001; второе издание – 2003), в котором автор впервые отважился представить историю мировой культуры как едино-многообразный процесс.

Вне этого перечисления осталось множество статей в различных академических и неакадемических изданиях, в сборниках, многие из которых собирал и редактировал сам М.Каган. А сколько было участия в конференциях и конгрессах, не говоря уже о том, что в самом петербургском университете чтение лекций прервалось только тяжелой болезнью за полгода до его кончины! Могу свидетельствовать, что даже смертельная болезнь Кагана не нарушила его поразительного «акмэ» – того, что древние греки называли расцветом творческой деятельности. Уже будучи неизлечимо болен, М.С. готовил к выходу свою философскую книгу о бытии и небытии, подготовил свое собрание сочинений в семи томах. Он

успел увидеть сигнальный экземпляр первого тома. Во время нашего предпоследнего телефонного разговора он, заглушая боли, рассказывал мне о содержании каждого из семи томов... Будем надеяться, что это собрание вскоре увидит свет. Оно будет итогом того, что пытливые старшеклассники и студенты, начинающие свою научную работу исследователи и маститые его коллеги, деятели искусства и писатели с неослабевающим интересом читали и изучали в многочисленных статьях и многих книгах, не только расширяя свой кругозор, но включаясь в процесс творческого мышления. Этим были замечательны и его незабываемые лекции.

Как-то я его спросил: «Мика, в чем секрет твоих лекций?» Он улыбнулся и сказал: «Знаешь, во время лекции нужно думать. Глядишь, и слушатель начинает думать вместе с тобой». За всю свою жизнь я не видел и не слушал более блестящего лектора. К тому же он был необычайно элегантен. Когда я впервые слушал его курс эстетики и истории эстетических учений в 1948 году, я, как и все студенты, был в полном восхищении не только от того, что он говорил, но и от него самого. Мне казалось, что он даже как-то «пижонски» держит свою левую руку. Только потом я узнал, что студентом университета в 1941 он пошел на фронт и получил тяжелое ранение. Он умел даже раненую руку держать так красиво! Лекции по эстетике читал действительно эстетически совершенный человек.

Нужно иметь в виду, что в своей философско-творческой и педагогической деятельности М.Кагану приходилось преодолевать сопротивление не только «материала», но и власть имущих в партии, в идеологии, в искусстве. Ох, не любили они его! Спрашивается, за что? Было за что! Ну, во-первых, очень не нравились им и его имя, и его отчество, и его фамилия. Очень уж всё это было демонстративно. Не нравилось то, что русским языком, «великим и могучим», как письменным, так и устным, он владеет несравненно лучше, чем они. Не могло понравиться и то, что Маркса, Энгельса и Ленина он знает основательнее, чем они, да к тому же стремится в духе ихнего талмудизма делать из их высказываний выводы, несовместимые с генеральной линией на данном этапе. Не по душе был им его тонкий и широкий художественный вкус, выходивший за рамки поощряемого партией искусства. Не нравилось, что он вообще что-то много знает, много пишет и издает, несмотря на все препоны, что он читает лекции, на которые, что называется, не протолкнуться. При том, пишет и говорит не то и не так, как бы они хотели. То Каган подвергает критике сакраментальную формулу о «национальной форме и социалистическом содержании советской культуры», то смеет заявлять, что не понимает, зачем нужна в России Академия Художеств: «Зачем Академия Художеств была нужна Екатерине Второй, я понимаю. Зачем она



была нужна Сталину, я тоже понимаю. Но зачем она нужна сейчас, я не понимаю». Вот бы посмотреть его досье в Большом Доме (этот Дом называли самым высоким в Питере, потому что с высоты Исаакиевского собора можно было обозревать панораму города, а из Большого Дома была видна Сибирь)! Сколько, наверно, там записано со слов информаторов действительно ценной информации о том, что писал и говорил М. С.!

И они ему мстили за его талант ученого и лектора. Сколько раз его пытались изгнать из университета, в котором он начал учиться на филологическом факультете до войны, получил «академический отпуск», будучи на фронте, и закончил уже после войны, где он, будучи в искусствоведческой аспирантуре, в 1946 г. начал читать лекции, защитил первую диссертацию и успешно работал долгие годы. Когда я учился на философском факультете с 1947 по 1952 год, эстетику там читать было, собственно говоря, некому. Положенный по программе курс эстетики был синекурой заведующего отделом литературы и искусства Ленинградского Обкома партии П.Л. Иванова, которого ненавидели все талантливые деятели литературы и искусства города на Неве. Лекции его были никакими. И я, уже на первом курсе «заболев» эстетикой, начал аккуратно посещать все лекции Кагана на искусствоведческом отделении исторического факультета. О своем впечатлении от этих лекций уже шла речь выше.

В эти годы вход на философский факультет для Кагана был закрыт наглухо, возможно, к счастью для него. Там запретили читать лекции студентам-философам по физике профессору Г.С. Кватуру за то, что он как-то сказал на лекции, что закон всемирного тяготения действует в Москве так же, как в Лондоне. Кагана пригласили на философский факультет только в 1960, «оттепельном» году. Но показательно, как пригласили. На философских факультетах страны создавались и кафедры этики, и кафедры эстетики. Две отдельных кафедры этих дисциплин были созданы в Московском университете. Но в Ленинграде Министерство Высшего образования организовало одну кафедру – кафедру этики и эстетики, разумеется, с постоянным эпитетом «марксистско-ленинской». К чему бы это? Ларчик открывался просто. Если была бы создана отдельная кафедра эстетики, то ее заведующим нельзя было бы не назначить Кагана, который очевидно был крупнейшим эстетиком Ленинграда (и не только). Однако допустить это для начальства было невозможно. Поэтому оно создало объединенную кафедру этики и эстетики, назначив на место заведующего кафедрой этики *Владимира Георгиевича Иванова*. Правда, когда Каган стал доцентом этой кафедры, его отношения с В.Г. Ивановым (кстати, моим сокурсником) сложились лучшим образом. В 1985 г. кафедра отмечала свое 25-летие, и автор этих строк приветствовал ее такими стихами:

Здесь этика с эстетикою слиты.
 И должен я сказать не без причин:
 Как здесь прекрасны женщин габариты
 И утонченна нравственность мужчин!
 Здесь дух и тело проявляют мощность.
 Грозящую подонкам, как наган.
 И новую сложившуюся общность
 Являют Иванов нам и Каган.

Но вернемся к концу 40-х годов. Моисей Самойлович, заметив «пришельца» на своих лекциях, пригласил меня участвовать в организованном им кружке-семинаре по эстетике, в котором молодой доцент проявил свой незаурядный педагогический талант. Хождения в искусствоведческий народ были для меня в высшей степени благотворны. Там я не только благодаря Кагану постигал азы эстетики, но и подружился со студентами-искусствоведами, среди которых был очень близкий мне и поныне замечательный искусствовед *Борис Моисеевич Бернштейн*, живущий ныне в Калифорнии, израильский искусствовед *Григорий Семенович Островский*, очаровательная *Юля*, ставшая впоследствии не только женой Моисея Самойловича, но заведующей отделом камер Эрмитажа. Кагану я, несомненно, обязан своим первоначальным теоретико-эстетическим развитием. Оно осуществлялось не на одних его лекциях и в процессе умело направляемых им споров в эстетическом кружке-семинаре, но, прежде всего, через то внимание и терпение, с которым он выслушивал вопросы, размышления и даже полемику с ним самонадеянного второкурсника. М.С. не был формально моим преподавателем. В моем матрикule не было его подписей, но я считаю его своим Учителем. Да и он уже тогда, когда мы стали коллегами и друзьями, после четвертой рюмки говаривал: «Лёнька – мой ученик!»

К счастью, М.С. успел написать книгу «О времени, о людях, о себе» (СПб., 2005), в которой читатель найдет откровенный рассказ о духовных поисках и творческом труде ее автора, о его друзьях и недругах. За год до его кончины мы, как оказалось, последний раз встретились у него дома. Мика был невесел. Печалили дела в мире. Что-то побаливало. Да я еще принес грустную весть: в Варшаве скончался наш общий друг *Стефан Моравский* – один из крупнейших современных эстетиков. Тогда мне и была подарена книга «О времени, о людях, о себе», на титульном листе которой автор написал:

*Дорогому другу Лене Столовичу
 в память о многом, пережитом вместе.
 М. Каган. Февраль 2005*



Остановлюсь на том, чему я был непосредственным свидетелем, что было «пережито вместе».

Не могу не сказать о замечательных человеческих качествах М.С., которые сказались на моей жизни и работе. Окончив с отличием университет в 1952 году, я оказался безработным. В родном городе, где похоронен мой прадед и где я пережил самое трудное время блокады, мне места не нашлось. Более чем сотня писем с предложением применить знания, полученные на философском факультете, не привела ни к каким результатам. Кроме одного письма. Ректор Тартуского университета Ф.Д. Клемент предложил мне прочесть курс эстетики группе студентов-искусствоведов. Я ухватился за эту соломинку. Но осторожный ректор просил предоставить ему, помимо официальных данных о моем образовании, частные отзывы знавших меня преподавателей. С просьбой дать их мне я обращался к нескольким знакомым мне людям. С некоторыми из них я был даже в приятельских отношениях. Они мне отказали. И только два человека дали мне такие отзывы. Это известный литературовед *Виктор Андроникович Мануйлов* и *Моисей Самойлович Каган*. В последнем очень мне лестном отзыве была помянута и моя работа в его кружке-семинаре по эстетике, мои доклады и «многочисленные беседы, которые мы вели по проблемам эстетики в эти годы». Эти отзывы до сих пор хранятся в архиве Тартуского университета.

Но этим не закончилось участие М.С. в моей судьбе. Она была не простой. В Тарту три года мне давали читать лекции «на почасовой оплате», решительно отказываясь зачислить меня в штат даже на должность лаборанта. Каган своими письмами поддерживал меня морально. И не только морально. Он заказал мне статью для готовящегося в Ленинграде сборника об эстетических категориях. Я написал большую статью, в которой изложил возникшую у меня еще в студенческие годы концепцию эстетического отношения. Сборник так и не вышел, но Каган мне ответил таким одобрительным письмом, что я, воодушевленный им, за три месяца написал кандидатскую диссертацию «Некоторые вопросы эстетической природы искусства», которую защитил в Ленинградском университете осенью 1955 года. Эта диссертация и написанная на основе изложенной в ней концепции статья в журнале «Вопросы философии» (1956) стали, как позже отмечал М.С., детонатором широкой и многолетней дискуссии о сущности эстетического.

Вместе с тем, самое интересное заключается в том, что когда Каган писал мне судьбоносное для меня письмо, он не был моим единомышленником. И в дискуссии о сущности эстетического он и я представляли разные концепции: он – субъективно-объективную концепцию, по которой эстетическая ценность не объективна, а субъективно-объективна; я

же отстаивал так называемую «общественную» концепцию, по которой эстетическая ценность обладает социокультурной объективностью. Мы полемизировали друг с другом и во время личных встреч, и в печати, но всё больше становились близкими друзьями. Никакая другая полемика не имела такого стимулирующего воздействия на развитие моих взглядов, как критика Кагана. Объединяли нас, помимо личных симпатий, наши противники, для которых и Каган, и Столович – субъективисты, антимарксисты, да к тому же сионисты по рождению.

В заключение я остановлюсь на одном эпизоде, который очень наглядно показал расстановку сил в мире советской эстетики и те условия, в которых жил и работал М.С. В 1972 г. вышла его замечательная книга «Морфология искусства». Но идеологические проработчики действовали в соответствии с принципом: «чем лучше, тем хуже». В 1974 г. М.С. Кагана пригласили на обсуждение его книги в Институт истории и теории искусства Академии художеств СССР. Обсуждение это было организовано по высшему классу. Директор института обзвонил всех видных эстетиков Москвы и сказал им, что обсуждение будет закрытым. Исключение было сделано для меня, специально приехавшего на обсуждение из Эстонии. Меня допустили, но определили для меня особую функцию. Поскольку все роли в предстоящем разгроме порочной книги были распределены, и поношение порочного труда должно быть единодушным, то участие в этом представлении Л.Н. Столовича, который, как известно, поддерживает Кагана, должно создать видимость объективности всей процедуры обсуждения. Но когда уже в первых выступлениях определилась сверхзадача этого спектакля, сидевшие плечом к плечу М.С. и я решили, что я выступать не буду, чтобы не разжигать этот бульон. Моя позиция была четко определена в рецензии, которую я написал на «Морфологию искусства» в журнале «Философские науки». Каган один противостоял накинувшейся на него своре, но его ораторский талант, безупречная логика никакого значения не имели. Задача имела заранее предусмотренное решение. Стенограмму обсуждения услужливо напечатал в двух номерах журнал «Художник» – орган реакционнейшего в политическом и художественном отношении Союза художников РСФСР. Эта стенограмма была направлена партийным органам по месту службы автора порочной книги. В своей автобиографической книге М.С. подробно рассказывает обо всех перипетиях, связанных с намерением недоброжелателей лишить его работы в университете, воспользовавшись обсуждением «Морфологии искусства» в Академии художеств. Нет, не напрасно один поэт придумал великолепную рифму:

*Эпидемия убожеств –
Академия художеств.*



Отношение к кагановской «Морфологии искусства» стало критерием не только профессионализма, но и порядочности. Воспользовавшись известной формулой Маркса, навеянной Гегелем, «Анатомия человека – ключ к анатомии обезьяны», я создал такой «кентавр»: «Морфологии искусства» – «ключ к анатомии обезьяны». В книге «О времени, о людях, о себе» подробно рассказанная история глумления над «Морфологией искусства» завершается моим стихотворным описанием всей этой неприглядной истории в духе лермонтовского «Бородино», хотя без первой строфы. Я позволю себе полностью воспроизвести этот текст, подаренный М.С. в день его 60-летия в 1981 году:

Каган на поле брани

«Скажи-ка, дядя, ведь не даром
Он наделен особым даром!
А речь его, а стан!»
Да, были схватки боевые.
Да, говорят, еще какие!
Там многие сломали выи.
Но только не Каган!
Среди учереждений множеств
Есть Академия художеств.
Художеств и каких!
Там Корр. и Члены – командиры,
Их подчиненные – задиры,
Оберегая честь мундира,
Ждут схваток боевых.
Ведь если не с кем будет драться,
Так можно не у дел остаться.
Ворчали старики:
«Теперь все стало шито-крыто,
А разве все враги побиты?
Не все еще космополиты
Надеты на штыки!
М.С.Каган еще на воле!
Есть разгуляться где на поле
Его порочных книг!
А ну, призвать сюда Кагана –
Эстетика и хулигана!
Пусть он узнает, как погано
Работать за двоих!»

Уж кеменовская прислуга
 Заряд забила в пушку туго.
 Богатыри – не вы!
 Вот затрещали барабаны.
 Затрепетали басурманы,
 И с «Морфологией» Кагана
 Приволокли с Невы.

На семиотику озлившись,
 Пошел в атаку М.А. Лифшиц,
 Как после ряда клизм.
 Он говорил весьма пространно,
 Что слышал он от Талейрана,
 Есть вовсе не марксизм.
 Ну ж был денек! Сквозь дым летучий
 Кагана обложили кучей
 Добротного дерьма.
 Л.Ф. Денисова визжала,
 В. Ванслов выпускает жало,
 Такая кутерьма!

«Он нас ведет от реализма!»
 «Он – проповедник модернизма!»
 «Он – экспресс-сионист!»
 «Он – семиотик, кибернетик!»
 «И аксиолог, и генетик!»
 «Уже давно пора всех этих...»
 Такой поднялся свист.
 А что Каган? Он встал спокойно.
 Он знал и не такие войны!
 Похуже пережил!
 Он не из тех, кто слаб в коленках.
 И вот теперь, припертый к стенке,
 Свою систему-пятичленку
 На всех он положил.
 И всех их уложил.

«Пятичленка» – это трактовка Каганом структуры человеческой деятельности, включающей пять системно связанных между собой элементов: познание, ценностная ориентация, преобразование, общение, синтезируемых в искусстве.



В книге воспоминаний после оптимистической концовки моей «баллады», в которой ее герой «всех их уложил», М.С. писал: «Последние слова выдавали, конечно, желаемое за действительное, ибо „уложить“ никого из эти идеологических бойцов было невозможно – в соответствии со своим воспитанием они умели только говорить, а не слушать, для них не существовало аргументов оппонента, которые следовало опровергать», они «не спорили, а изрекали, и обращались не к оппоненту, а к собственному начальству». Всё это так. Но Каган все-таки «всех их уложил». Тогда это было желаемое, но теперь стало действительным. Кто теперь помянет добрым словом имена этих тогдашних «идеологических бойцов»?

Некоторые имена, правда, памятливы, особенно *Михаил Александрович Лифшиц*. Мне довелось его лично знать и даже очень хорошо. Я восторгался его необычайной образованностью и особенно великолепным остроумием. Когда оно было направлено на невежд и подонков, это очень впечатляло. Но беда была не в том, что Лифшиц был убежденным марксистом. Каган тоже не скрывал своих марксистских убеждений и тогда, когда они уже перестали приносить дивиденды и вышли из моды. Лифшиц, в отличие от Кагана, был *консервативным* марксистом, на дух не терпевшим современное искусство и чуравшимся всего того, что не укладывалось в схему традиционного марксизма, будь то семиотика или аксиология – теория ценности. И его природное остроумие, направленное на модернизм, на людей, не согласных с его воззрениями «обыкновенного марксиста», как он сам себя называл, подпадали под определение Менделя Маранца: «Остроумие – это чихание разума». Я был свидетелем, как Михаил Александрович искренно переживал, когда его взгляды совпадали с официозными компаниями борьбы против абстракционизма и прочего модернизма. Но, увы, эти переживания не помешали ему стать действительным членом Академии художеств, которую он тоже некогда презирал, и участвовать в хоре поношения «антимарксиста» Кагана. В этом гнусном эпизоде и Лифшиц не вошел в историю, а вляпался в нее.

Уже давно нет Лифшица и других носителей Кагана. Теперь ушел и сам Каган. Однако, как написал замечательный поэт Лев Мочалов, «люди перед смертью равны, но не равны после смерти». Смерть увела от нас удивительного человека, но она бессильна перед его творчеством и светлой памятью о нем тех, кто имел счастье его видеть и знать, учиться у него и вместе с ним мыслить.

Впервые опубликовано в издании: «ОКНА» – еженедельное приложение к газете «Вести» (Тель-Авив), 11.04.2006, с. 46–47, 50. С некоторыми дополнениями публикуется по книге: *Леонид Столович. МУДРОСТЬ. ЦЕННОСТЬ. ПАМЯТЬ. Статьи. Эссе. Воспоминания.* 2008. – Tartu – Tallinn, 2009. С. 291–304.

«НЕВЫ ДЕРЖАВНОЕ ТЕЧЕНЬЕ...»

Воспоминания об учителе

М. С. Уваров*

Я никогда не был «официальным» «учеником» профессора Кагана. То есть в моем учебном плане студента, а потом аспиранта не числились обязательные предметы, которые я должен был прослушать у Моисея Самойловича и отчитаться по ним. И, тем не менее, все годы пребывания в ЛГУ/СПбГУ (студент – аспирант – докторант – преподаватель) я был его постоянным учеником. Попав почти случайно на одну из кагановских лекций по эстетике еще студентом, я остался заморожен той мерой таланта, такта и невероятного педагогического мастерства, которые покоряют навсегда. И я сделался постоянным его неофициальным студентом. Отчетливо осознаю, что именно благодаря ученичеству у Моисея Самойловича я сам стал неплохим лектором, если верить опросам моих студентов и аспирантов разных поколений.

Я думаю, случай мой не уникальный. Да и вообще, как это ни парадоксально, научно-педагогический феномен Моисея Самойловича Кагана выражается в том, что, воспитав сотни (если не тысячи) неформальных учеников, прямых своих последователей он почти не оставил. Теория общения, аксиология, теория искусства, онтология, системный подход – все эти, как и многие другие, проблемы затронуты в фундаментальных работах М.С. Кагана¹. Огромное количество гуманитариев пользуется его методологией, но на вопрос, кто же реально продолжает развивать идеи, которые Моисей Самойлович завещал будущим поколениям исследователей, ответить непросто. На мой личный взгляд, эта ситуация чрезвычайно плодотворная. Какие классические или же экзотические

* Уваров Михаил Семенович – доктор философских наук, профессор кафедры философской антропологии Санкт-Петербургского государственного университета.

¹ Наиболее ярко ряд проблем, непосредственно относящихся к философско-культурологической концепции М. С. Кагана, раскрыт в последних фундаментальных публикациях ученого (см.: *Каган М. С. Введение в историю мировой культуры: В 2 т. СПб., 2003; ego же: Метаморфозы бытия и небытия: Онтология в системно-синергетическом осмыслении. СПб., 2006; ego же: Град Петров в истории русской культуры. 2-е изд. СПб., 2006*). Не будем забывать о том, что именно Каган написал одну из первых отечественных монографий по аксиологии (*Каган М. С. Философская теория ценности. СПб., 1997*).



цветы произрастут из тех семян, которые посеял Моисей Самойлович, – известно одной Бесконечности (я бы сказал – одному Богу).

Очень хотелось назвать эти заметки о Моисее Самойловиче «Человек-вихрь». Но нет, не вихревое движение его таланта определяло суть жизненной позиции мэтра. Были другие вихревые потоки. Это когда вереницы молодых и не очень поклонниц и поклонников не давали ему проходу, где бы он ни находился: в коридоре философского факультета, в очередном дворце после блестящего доклада, за границей с неожиданной импровизацией на французском языке или даже в фойе ленинградского Института марксизма-ленинизма, куда многие ходили не за ленинизмом, а за Каганом.

Образ Моисея Самойловича ассоциируется в моем воображении с размеренным и мощным течением Невы – той главной питерской магистрали, вокруг которой разворачиваются важнейшие петербурговедческие сюжеты ученого. С какими преградами справлялись эти мощные волны в разные периоды творческого становления Учителя, он сам поведал в своей автобиографической книге «*О времени, о людях, о себе*»¹.

Хочу привести почти анекдотический факт, связанный с полемикой между Мих. Лифшицем и Моисеем Самойловичем Каганом. Отразилась эта полемика в талантливо написанной, но неприемлемой с точки зрения способа аргументации книге-памфлете Лифшица (*Лифшиц Мих.* В мире эстетики. М., 1985). Одна из частей книги была посвящена суровой критике системного подхода в интерпретации Кагана. Публичной дискуссии тогда не состоялось, так как Мих. Лифшиц ушел из жизни еще до выхода книги в свет. И вот я, молодой аспирант, пытаюсь дойти до сути той дискуссии, последовательно посетил в 1987 г. все крупнейшие библиотеки Ленинграда с целью перечитать запомнившийся когда-то памфлет Мих. Лифшица. Экземпляр в университетской Библиотеке им. А.М. Горького к тому времени был утерян. Библиотека Академии наук, пережившая памятный пожар, похоронила эту книжку под пепелищем (так ее и не нашли). Не оказалось книги ни в Публичной библиотеке (вроде стащили), ни в Маяковке... Вот такая мистика.

Но вернемся к Петербургу. Несомненно, что основным свойством петербурговедческой концепции М.С. Кагана является полная обращенность в общие теоретические установки ее создателя. Если определить основную доминанту этой концепции, то смысл ее раскроется в антитезе

¹ *Каган М.С.* О времени, о людях, о себе. СПб., 2005. В моей коллекции есть уникальная копия этого издания. Моисей Самойлович подарил мне сигнальный экземпляр книги, в котором его рукой сделана последняя авторская правка перед подписанием в печать. Этот автограф я буду хранить всю свою жизнь.

«Души» и «Логоса», причем концепция М.С. Кагана явно склоняется к логосному рассмотрению текста Петербурга¹. Моисей Самойлович всю свою творческую жизнь отстаивал приоритет теоретико-системного подхода к объектам культурологического анализа, что в полной мере сказалось и на его интерпретации истории культуры «града Петрова». Кроме того, даже в теме Петербурга исследователь искал фундаментальные онтологические основания, делая ее главной темой русской культуры. Для М.С. Кагана несомненным всегда оставался факт позитивной реализации европейского проекта Просвещения на русской почве, символом которой, собственно, и является феномен Санкт-Петербурга.

С этой точкой зрения проще всего согласиться. Но для меня как исследователя и в какой-то степени оппонента своего учителя особое значение имели те трансформации, которые так или иначе прослеживались во взглядах Кагана за последние 10–15 лет его жизни – в годы создания фундаментальных работ о Петербурге.

Дело в том, что кажущаяся неизменность концепции на самом деле не была таковой. Несомненна эволюция, проявившаяся в нескольких главных направлениях. Я не случайно говорю об эволюции, трансформации взглядов философа, поскольку в какой-то мере был свидетелем этого процесса, а кроме того, однажды оказался одним из объектов нелицеприятной критики со стороны М.С. Кагана.

Пожалуй, можно начать именно с этого последнего пункта.

Высказываясь в отношении изданного в 1993 г. группой молодых философов альманаха «Метафизика Петербурга»² на страницах первого издания книги «Град Петров в истории русской культуры» М.С. Каган строго порицал некоторых из его авторов, как можно было понять, за полное непонимание «души Петербурга» (впрочем, с удивительно точной анциферовской отсылкой к этой самой «душе» М.С. Каган тоже не был вполне согласен). Справедливости ради надо отметить, что буквально через несколько страниц он отдает должное создателям «Метафизи-

¹ Наиболее ярко ряд проблем, непосредственно относящихся к петербурговедческой концепции М. С. Кагана, раскрыт в последних фундаментальных публикациях ученого (см.: *Каган М. С. Введение в историю мировой культуры: В 2 т.* СПб., 2003; его же: *Метаморфозы бытия и небытия: Онтология в системно-синергетическом осмыслении.* СПб., 2006).

² *Метафизика Петербурга.* СПб., 1993. Эта небольшая книжка, следуя традициям отечественного петербурговедения, заложенным Н.П. Анциферовым, Ю.М. Лотманом, В.Н. Топоровым (одно из последних интервью с Лотманом и небольшая статья Топорова опубликованы в этом сборнике), возобновила во многом утерянную традицию философско-культурологического и метапоэтического чтения Текста Города.



ки Петербурга», написанной, если следовать М.С. Кагану, «во имя воссоздания, казалось бы, безвозвратно утраченного самосознания города». И хотя М.С. Каган не отрицал «глубокого осмысления феномена Петербурга», предпринятого в этом сборнике, много говорил на страницах своей собственной книги о диалогичности и амбивалентности, парадоксальности и трагизме судьбы города и даже о Петербурге как «убийце» Пушкина, неприятие позиции исследователей, имевших другой взгляд на вещи, в конечном итоге дало о себе знать¹. Вот тут и возникла в качестве объекта критики моя скромная персона.

Традиции амбивалентного анализа судьбы Петербурга имеют давнюю историю. Более того, большинство анализов, посвященных истории и культуре великого города, следует именно этой традиции – будь то классические тексты А.С. Пушкина и Ф.М. Достоевского или же современные «ернические» повествования В.Шефнера, А.Володина и М.Веллера. Эти традиции заложены историей культуры Петербурга, воспроизводившей иногда трагические страницы бытия государства Российского. Между тем в книгах М.С. Кагана почти всегда отсутствуют содержательные ссылки на «трагический Петербург», изображенный в приоритетных работах В.Н. Топорова, Ю.М. Лотмана, Б.А. Успенского, С.Волкова – классиков такого подхода в отечественном петербурговедении. Налицо последовательная позиция отстранения, позитивная направленность на развитие собственной концепции.

И действительно, такие ссылки появляются в учебнике М.С. Кагана «История культуры Петербурга»², написанном по мотивам первого издания «Града Петрова...», что, на мой взгляд, стало первым шагом в относительной эволюции взглядов выдающегося мыслителя.

Честно скажу, я несколько раз пытался обсудить эту непростую тему с Моисеем Самойловичем, но каждый раз мэтр мягко прерывал дискуссию, показывая, что спор вряд ли возможен. Впрочем, и я понимал, что разговор с учителем, который принимал в тот момент мою любовь к Петербургу и попытку собственного чтения текста Города весьма своеобразно – как воспламененное воображение. Такой разговор требовал особого настроения. Или же он не был нужен совсем.

Впрочем, именно с этой отправной точки несогласия, как я теперь хорошо понимаю, началась наша дружба с Моисеем Самойловичем.

В данной связи я с особым трепетом открывал второе издание книги Кагана³, пытаясь найти на ее страницах хотя бы какие-то отзвуки не-

¹ См.: Каган М.С. Град Петров в истории русской культуры. 1-е изд. СПб., 1996. С. 376–377, 406–407; а также 7, 20–21, 30–31, 126–130, 167–205, 220–221.

² Каган М.С. История культуры Петербурга: Учебное пособие. СПб., 2000.

³ Каган М.С. Град Петров в истории русской культуры. 2-е изд. СПб., 2006.

состоявшейся дискуссии. Ведь сам Моисей Самойлович особо подчеркивал в своей книге (и в первом, и во втором ее изданиях), что «важной приметой интеллигентности, порожденной всей историей этого уникального города, была *толерантность, терпимость к чужому мнению*, как бы ни отличалось оно от твоего собственного, а значит – *готовность к диалогу*»¹.

И я нашел ответы на некоторые свои вопросы, которые окончательно утвердили меня во мнении, что жизнь подарила мне встречу с уникальным человеком.

Для начала сравним две цитаты. Первая – одна из ключевых идей Н.П. Анциферова. «Не следует задаваться совершенно непосильной задачей, – пишет автор, – дать определение духа Петербурга. Нужно поставить себе более скромное задание: постараться наметить основные пути, на которых можно обрести „чувство“ Петербурга», вступить в проникновенное общение с „гением его местности”»².

По мнению М.С. Кагана (это тоже одна из ключевых идей его петербурговедческой концепции), «если для европейской живописи Нового времени, в которой родился самостоятельный жанр городского пейзажа, город представлял интерес прежде всего как пластическое воплощение определенного образа жизни, то для писателей город оказался прежде всего местом жизни и деятельности населивших его людей, а его архитектурный облик они рассматривали в прямой связи с его деятельным наполнением. Такой взгляд на отношения искусства и культуры, в частности, культуры города, объясняет, почему во всем последующем анализе истории Петербурга будет столь большое внимание уделяться воплощающему его „душу” его художественно-образному самосознанию – не случайно в посвященных этому городу исследованиях так часто характеристика его жизни и культуры могла сводиться к анализу рождавшегося в нем искусства, прежде всего художественной литературы...»³

Уже здесь становится понятным главное. М.С. Каган подходит к феноменологии петербургской культуры и к герменевтике ее истории как культуролог, отстраняясь (сознательно или нет) от философско-метафизического взгляда, но оставаясь на позициях *онтологии культуры*. Большинство же его предшественников первоочередное внимание уделяли метафизико-архитектоническому проекту Петербурга. Последний включает в себя «мистический» опыт постижения Города, который ведет свои истоки от восприятия фигуры Петра Великого (царя–преобразователя–святого–дьявола) и от пушкинского «Медного всадника» с его

¹ Каган М.С. Град Петров... (1-е изд.). С. 304 (*шрифтовые выделения* М.С. Кагана).

² Анциферов Н.П. Душа Петербурга. М., 1990. С. 13.

³ Каган М.С. Град Петров... (2-е изд.). С. 44–45.



антитетическим единением символа бессмертной красоты-как-решетки («твоих оград узор чугуинный...») и фатума, ведущего к безумию и смерти («тяжелозвонкое скаканье по потрясенной мостовой»).

Тема смерти – вот та ключевая проблема, тот водораздел, по которому проходит линия различия между метафизическим (архитектоническим) пониманием судьбы Петербурга и тем системно-культурологическим – уникальным в своем роде – подходом, который развивал М.С. Каган, описывая Петербург в первую очередь как город жизни. Я думаю, что оба взгляда имеют право на существование, тем более что к такой позиции в конце своего творческого пути склонялся и сам М.С. Каган.

Уже после кончины философа в свет вышла удивительная книга. Проф. Е.Г. Соколов проделал уникальную работу, проведя ряд откровенных диалогов с М.С. Каганом по самым важным аспектам его философско-культурологической концепции. Материал этих бесед и составил основу вышедшей книги диалогов между М.С. Каганом и Е.Г. Соколовым. Конечно же, в этих диалогах не могла не прозвучать тема Петербурга¹, и именно это издание для меня стало открытием «нового Петербурга» М.С. Кагана. Конечно, это не радикальное изменение позиции. Это мудрый взгляд исследователя, поставившего своей задачей углубление своей точки зрения, расширение горизонта культуры Петербурга. Как пишет сам М.С. Каган, именно эта позиция стала для него определяющей во втором издании «Града Петрова»².

Изучение петербурговедческой концепции М.С. Кагана еще только начинается. На мой взгляд, обращение к ней сегодня крайне необходимо, поскольку в диалоге с выдающимися современниками, возможно, рождается необходимая мера ответственности за произнесенное и написанное слово.

Я не буду рассказывать о том, каким образом и почему Моисей Самойлович помогал лично мне в непростые моменты моей научной жизни. Мы это с ним знали оба. Я молился за него, когда ему было уже очень тяжело. И он об этом тоже знал.

Спасибо за все, дорогой Учитель.

¹ Каган М.С., Соколов Е.Г.: Диалоги. СПб., 2006. С. 109–139.

² Там же. С. 120–121.

Я ПОМНЮ...

Е. М. Целма*

Часто вижу Мику во сне... Не помню детали снов, но положительная аура остается надолго... Сон связан с памятью, а память — это жизнь моего духа. И Мика остается частью моей души.

Познакомилась я с профессором Каганом в далеком 1967 году в Москве на какой-то научной конференции. Я только что защитила кандидатскую диссертацию и преподавала эстетику в Латвийском университете. Работы М.Кагана, конечно, были мне хорошо известны. И вот я вижу самого Кагана. Интеллигентность — вот что сразу ощущалось в нем. Признаюсь, что я вначале очень его боялась, мне казалось, что я вообще ничего не знаю. Надо сказать, это чувство осталось во мне и позже: я не хотела защищать докторскую диссертацию, т. к. в моих глазах настоящим доктором философии всегда был только он — Моисей КАГАН.

Мика был Человеком. В самые трудные минуты жизни, когда погибла моя дочь, я получила письмо от него и Юли. Не помню слов, но атмосферу сочувствия, понимания ощущаю до сих пор.

Добрый, проникновенный и трогательный в отношениях с друзьями, он становился жестким, если затрагивались его принципы. На одной выставке известной в Латвии художницы он, зная ее авторитет в республике, прямо сказал ей, что это китч. Она была в шоке и довольно грубо ответила ему. Тогда я даже в душе осуждала Мику за резкость, но сейчас уверена, что он был прав. Китч в современных картинах художницы расцвел буйным цветом.

Мика умел слушать другого. Помню, в ответ на мои восторженные речи о независимости Латвии он как-то особенно посмотрел на меня. И я почувствовала его сомнения и печаль. Он не осуждал мой восторженный романтизм, но видел дальше и глубже.

Мне так хотелось чтоб мои студенты-философы послушали лекции профессора Кагана и увидели настоящего интеллигента, человека высочайшей культуры.

Он обещал приехать, но, увы...

Мне очень повезло в жизни. Ведь немногим удастся встретить настоящего человека, чей образ помогает мне и сегодня в любых ситуациях оставаться человеком.

Спасибо тебе, Мика!

* Целма Елена Михайловна — эстетик, доктор философии. В течение многих лет читала курс эстетики на историко-философском факультете Латвийского университета в Риге. В настоящее время — тот же курс в Латвийской Академии культуры.



СЧАСТЬЕ, ЧТО ЭТО БЫЛО!

Н. Чавчавадзе*

Моисей Каган был близким другом моего отца, я с ним познакомилась в 1980 году, когда Моисея Самойловича пригласили в Тбилисский государственный университет на кафедру эстетики. Днём он читал лекции, а вечера проводил у нас в гостях – на Ларской улице. Эта квартира была известна многим почитателям философии, так как Нико Чавчавадзе, мой отец, любил принимать гостей, и часто самые важные научные и общественные вопросы решались именно у нас и именно за столом. Я на всю жизнь запомнила эти яркие и впечатляющие, весёлые и в то же время самые серьёзные вечера отца и его любимого философа из Ленинграда!

Моисей Каган с первых же минут стал равноправным и любимым гостем нашей семьи. Я его таким и запомнила: культурный, интересный, добрый, с тонким чувством юмора... Он был очень похож на отца – тоже умел с большим вниманием слушать каждого, и всем казалось, что для Нико и для Мики, как называл его отец, они – самые-самые близкие и родные. Это так и было! Потому что они умели любить, уважать людей, быть преданными и верными... Общечеловеческие ценности были для них главными.

Моисей Каган – один из тех, кто поддерживал Нико Чавчавадзе в наиболее тяжёлые минуты и в научной деятельности, и в жизни. Эта поддержка из Петербурга очень часто оказывала большое влияние на работу всего Института философии АН Грузии, так как ЦК компартии Грузии, который контролировал институт, считался с мнением российских учёных и, видя поддержку последних, не мешал грузинскому институту в его свободной деятельности. Благодаря этому в те годы, когда Институт философии возглавлял Нико Чавчавадзе, вместо того, чтобы укреплять то, что считалось тогда истинным марксизмом, были развиты три «анти-марксистских» философских направления: аксиология, философская антропология и философия культуры.

Душевную близость и сходство друзей я особенно ощутила после смерти отца: мне два раза посчастливилось встретиться с Моисеем Са-

* Чавчавадзе Нина Николаевна – доктор психологических наук, дочь академика Нико (Николая Зурабовича) Чавчавадзе, в 1967–1997 гг. директора Института философии АН Грузии. Принимала участие в создании фильма и книги об отце. Живет в Тбилиси, работает в Международном центре христианских исследований при Патриархии Грузии.

мойловичем. Один раз в Петербурге, когда он и тоже очень дорогой и почитаемый Георгий Праздников согласились принять участие в фильме о Нико Чавчавадзе «Свет во тьме», в котором рассказали об их совместной деятельности. И второй раз в Тбилиси, когда профессор Каган вновь приехал сюда читать лекции и, по старой традиции, после лекций, вечерами, был нашим гостем... Праздник повторился, правда, печальный, но всё равно – праздник. Все почувствовали: Нико рядом, Моисей Каган был не один...

И потом, когда мы провожали его в Петербург, и он много шутил, и позже, когда стало очень-очень грустно без него, я подумала: какое счастье, что они жили на этой земле, творили, любили, и что нам повезло быть близкими людьми этих благородных рыцарей, которые на всю жизнь остались в наших сердцах... Какое счастье! Спасибо им за всё!..



О М. С. КАГАНЕ. НЕСИСТЕМНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Б. Л. Чухович*

Впервые я увидел Моисея Самойловича летом 1987 года, последний раз – в сентябре 1991-го. Период непродолжительный, и, к сожалению, даже его нельзя назвать временем интенсивного общения. К истории нашего знакомства больше подходит название фильма «Короткие встречи». Как аспирант провинциального НИИ искусствознания из Узбекистана, которому государство оплачивало одну – максимум две в год непродолжительные поездки в Питер, я не был одарен многочисленными возможностями встреч с «самим Каганом», которые имелись у его друзей, коллег по работе и аспирантов, штатно проходивших обучение на кафедре этики и эстетики ЛГУ. И все же отношения выстроились не только как профессиональные. Общение быстро стало доверительным и домашним, даже почти исключительно домашним, т. к., приехав в очередную командировку в Питер, я неизменно получал от Моисея Самойловича аудиенцию на Чайковского, 43, а не на кафедре на Васильевском, и даже пару раз приглашался для продолжения беседы из профессорского рабочего кабинета на кухню – место знаменитых эстетических посиделок. При этом я никогда не состоял в том веселом университетском и дружеском сообществе, для которого Моисей Самойлович был Микой. Знаменитый его ораторский талант приоткрылся мне лишь однажды, когда М.С. пригласил меня сопровождать его по дороге в какое-то научное заведение, где ему предстояло выступать, – в тот мой приезд в Питер иного времени для консультации у вечно занятого Кагана попросту не было, и прослушанная лекция оказалась случайным дополнением к консультации. Учитывая эти обстоятельства, можно лишь поражаться тому, сколь долго, практически до смерти Моисей Самойловича, продолжалась наша переписка и какую роль, невзирая на время и расстояния, он играл в моей жизни. И продолжает ее играть, несмотря на свой уход.

Сама история нашего знакомства была характерной и ярко высвечивает три душевных свойства Моисея Самойловича: демократизм, ин-

* Чухович Борис Лазаревич – искусствовед. Окончил Архитектурный факультет Ташкентского Политехнического института, в 1989–91 гг. аспирант НИИ искусствознания им. Хамзы под научным руководством М.С. Кагана. С 1998 г. живет в Канаде. В 2000 и 2002 был пост-докторантом Дома наук о человеке в Париже и в Квебекском университете Монреаля, где с 2003 г. работает на кафедре эстетики и поэтики. Куратор Центра современного искусства 1700 La Poste в Монреале.

теллектуальный поиск и, если так можно выразиться, «моисеев комплекс», в котором воплощалась потребность вести, опекать, защищать, расширять и духовно развивать свою научную паству. Мне кажется, этот «комплекс» был свойствен Кагану даже в общении со зрелыми и большими учеными. Недаром вокруг него сформировалась многочисленная команда ученых-гуманитариев, которую и петербургской культур-философской школой трудно назвать, так как многие ее члены жили и работали в республиках Прибалтики, на Урале, в Москве или в Закавказье. Что ж говорить об общении с аспирантом, прибывшим «из глубин Азии» и часто невежественным в простых вещах! Здесь духовное наставничество, столь органично ассоциировавшееся с торжественным именем Моисей, было неизбежным и благотворным. Впрочем, никогда оно не перешло в отношении «вождя» к «адепту»: слишком велико было стремление Кагана к силе аргументов, чтобы примерять на себя безапелляционную позу «корифея». Меня, привыкшего в Средней Азии к иным типам «профессорского поведения», эта интеллектуальная и одновременно исключительно простая манера подкупала.

История знакомства вышла такой. В середине 80-х годов, получив архитектурное образование, я искал способ развития своих знаний и приложения своих интересов в области истории и теории искусства. Собственно, когда-то при выборе ВУЗа архитектурный факультет меня привлек прежде всего тем, что в его программе фигурировали курсы истории искусства и архитектуры, – ведь доступ в «элитный» ташкентский Театрально-художественный институт на специальность «искусствоведение» жестко блокировался для «несвоих» насквозь коррумпированным ректоратом. Получив основы искусствоведческих знаний на архитектурном факультете, я стремился к их развитию всеми доступными для меня способами – в самостоятельном чтении, общении с художниками и преподавателями, в зарождавшихся в то время кураторских практиках. Постепенно интенции начали реализовываться в текстах, и я по-неофитски стал набрасываться на глобальные проблемы, перескакивая с критики соцреализма на конструирование универсальных циклических моделей, согласно которым якобы развивается мировое искусство. При этом становилось все яснее, что без серьезной научной работы эти наскоки останутся беспочвенными фантазиями. Нужно было искать конвенциональный способ продолжения образования, каковым могла быть только аспирантура.

Во время советской власти в Ташкенте, крупнейшем городе Средней Азии, было создано немало учреждений художественной культуры и, в частности, научных институтов, изучавших искусство. Однако разнообразие научных кафедр, отделов или лабораторий вовсе не означало



широты подходов и интересов ученых. Провинциальность – часто столь благотворная для собственно художественных явлений – своеобразно отражалась на состоянии научной среды. Наиболее продвинутыми здесь оказывались научные сообщества, сосредоточенные на локальной истории и археологии; что же касается теории искусства и общезначимых культурологических проблем, их изучение по привычке делегировалось «центру», а результаты столичных штудий принимались как руководство к действию, или точнее – как материал для цитирования во введениях и заключениях узко дисциплинарных текстов. Поэтому, обойдя все возможные кабинеты в родном городе, я задумался об аспирантуре в Москве или Ленинграде. Знакомых в той среде у меня не было, потому я решил найти человека, чьи томики по истории эстетики, а также «Морфология искусства» давно лежали на моем книжном столе, и работать под его руководством.

Сегодня, в эпоху электронных коммуникаций, когда найти информацию о любом авторе и связаться с ним через континенты и океаны – зачастую двадцатиминутное дело, мое путешествие из Ташкента в Ленинград выглядит, наверно, комичным. У меня не было ни телефона, ни адреса, ни даже точного понимания того, где работает Моисей Самойлович. В Ташкенте на тот момент жил лишь один член «кагановской команды», но когда я, объяснив цель задумывавшейся поездки, попросил его дать координаты Моисея Самойловича, мне было в том категорически отказано. Да – для кого-то интеллектуальный клуб, созданный Каганом, был обществом альтернативного, неофициального, незаорганизованного научного общения, но были и другие, кто тщательно оберегал доступы к заветным дверям, видимо, служившим для них символом избранности и рычагом тайной власти. Пришлось лететь наобум, за четыре тысячи километров, идти на философский факультет, знакомиться с расписанием лекций, производить разведывательные действия на кафедре, чтобы, наконец, вычислить час и место ближайшей лекции профессора. К счастью, Каган находился в городе, а не в очередной командировке. Звонит звонок, студенты высыпают из аудитории, затем из нее выходит статный усач. Подхожу, вкратце объясняю ситуацию, говорю о желании стать аспирантом, и даю на прочтение реферат, в котором я на сорока страницах оперативно изложил свои представления о циклическом развитии искусства, от Ромула до наших дней, со схемами и рисунками. Каган торопился в деканат и был немногословен: «Я посмотрю ваш текст. Сколько времени еще в Питере? Хорошо, позвоните через неделю». Так в первый раз кто-то – и кто! – согласился прочесть то, что я пишу! Набирать номер через неделю было страшно. «Алло, здравствуйте, Моисей Самойлович... Это Борис, я вам оставлял реферат неделю назад». «Боренька, ты

можешь ко мне приехать?! Нужно поговорить!» Записываю адрес и лечу на Чайковского...

Смысл «контракта», который мне предложил во время первой встречи Моисей Самойлович, был следующим: я должен сам найти себе аспирантское или соискательское место в Ташкенте, Москве или любом другом городе, а он соглашался быть моим научным руководителем. Казалось бы, подобная договоренность мало что меняла в моей туманной ситуации. Однако в стране дули перестроечные ветры, иногда поддувало даже в Узбекистане. В 1988 году один из моих текстов оказался в числе отмеченных главными призами Всесоюзного конкурса архитектурной критики. Для Ташкента это было что-то вроде легитимирующего акта: даже и в разваливающейся тоталитарной стране признание «Москвы» много значило для «периферии». Некогда неприступные ворота ташкентского НИИ искусствознания закрипели, и я был принят в аспирантуру, в отдел социологии. Так передо мной открылась уникальная возможность три года вести исследование под руководством Кагана.

Через несколько лет я мог позволить себе вопрос: «Моисей Самойлович, почему вы меня тогда взяли под свое крыло? Моя циклическая модель была более чем наивной, а принцип, на котором она основывалась, разделяли ваши главные недруги...¹». «Текст, который ты мне принес, – ответил М.С., – напомнил мне схемы, которые я сам пытался набросать на линии фронта, когда, едва став 20-летним, оказался в ленинградском ополчении. Я увидел, что ты хочешь разобраться в том, что меня самого тогда интересовало»².

Сегодня мне кажется, что существовали еще один мотив, усиливавший интерес Кагана к воспитанникам из далеких регионов. Моисей Самойлович был не только кабинетным ученым-теоретиком, но также и стратегом, прекрасно понимавшим значение институциональной базы, на которой могла развиваться наука. Несколько раз его карьера оказывалась на волоске из-за козней недоброжелателей разного калибра, мечтавших перекрыть ему доступ к издательствам и, главное, выбить из-под него кресло профессора Ленинградского университета. Бывший ополченец, защищавший подступы к Ленинграду, он был готов к борьбе и в мир-

¹ В духе одного из текстов Г.Недошвина начала 50-х годов, я представлял историю искусства в виде закрученной спирали противостояния «реализма» и «антиреализма», в рамках которой на разных этапах развития художественной культуры возникали и вновь возвращались формы классицизма, натурализма, экспрессионизма, импрессионизма и т. д.

² Намного позже, в воспоминаниях «О времени и о себе» Моисей Самойлович дал краткое описание этих схем, в рамках которых сталинский социализм оказывался феноменом, родственным феодализму или древним деспотиям.



ной жизни, причем не только на интеллектуальном поле, выходить на которое его оппоненты решались нечасто, но и на поле институциональном. Поскольку главные противники располагались в партийных кабинетах и в аудиториях Академии художеств, Каган – об этом красноречиво свидетельствуют его мемуары – стремился расширить дружественный ему круг, нащупывая связи и воспитывая своих соратников в университетской среде, творческих союзах и учреждениях культуры огромной страны, от Таллинна до Урала. Особенно активные нити с 50-х годов связывали его с Закавказьем. Множество его учеников и последователей работали в Прибалтике. Что до Средней Азии, там влияние идей Моисея Самойловича почти не ощущалось. Как следствие, все художественные ВУЗы и научные институты были запрограммированы на официальный реализмоцентризм вансловско-лифшицевского толка. Подготовка ученых, способных на дальних подступах противостоять догмам 30-х годов, была для него частью некоего общего дела, частью его профессиональной миссии.

Когда в середине 90-х нашу бывшую страну разделили границы и общение с Моисеем Самойловичем перешло в виртуальный формат, я мог еще раз оценить согласие Кагана на сотрудничество, увидев в этом еще и профессиональную солидарность в отношении человека, не находящего понимания в своей среде. Произошло следующее... В отделе культурологии НИИ искусствознания готовилась к защите кандидатская диссертация молодой узбекской исследовательницы-театроведа, посвященная изучению масок и тех разнообразных ролей, которые они сыграли в истории мировой культуры. Масштаб работы и ее качество было таким, что впору было присудить автору докторскую степень. Именно эта необычайная яркость работы разворошила улей старых, именитых, но, скажем откровенно, бездарных и реакционных узбекских театроведов и «философов» (не могу не поставить этих кавычек, вспоминая, как один из них, доктор философии и главный редактор единственного художественного журнала на узбекском языке, в порыве откровения признался мне, что за последние 20 лет был настолько занят ритуальными организационными мероприятиями, что не смог прочесть ни одной книги!). Сначала под одним, затем под другим надуманным предлогом против работы была развернута критическая кампания, перешедшая почти в неприкрытую травлю юной исследовательницы. Спасти диссертацию и будущее ее автора мог только некий непререкаемый авторитет извне – все возможные пророки внутри отечества оказались неэффективными. В этой ситуации я позвонил Моисею Самойловичу и попросил дать отзыв на текст. Его реакция была незамедлительной и действенной. За неделю он прочел работу и дал ей такую оценку – нет, не просто хвалебную,

Каган не мог позволить себе просто позитивную «отписку научного авторитета» – но именно аналитическую, в которой показал место исследования в кругу многочисленных работ на данную тему и доказал его выдающуюся роль в истории нашей науки. После зачитания отзыва заседание ученого совета превратилось в формальность – не одобрить работу никто позволить себе просто не мог. Вспоминая об этом, понимаешь, насколько у Моисея Самойлович был развит инстинкт сострадания. Речь не о милости к падшим, но об участии в жизни тех, кого судьба загнала в угол, кто был несправедливо подвергнут остракизму и оказался таким образом в безвыходной ситуации. Это благородство, достоинство – человеческое и мужское – ощущалось в М.С. сразу. Приходит на память восклицание Ютты Шеррер, парижской исследовательницы и, к слову сказать, сурового критика культурологии, которой постсоветская гуманитарная наука спешно заменяла ортодоксально марксистские обществоведческие дисциплины. Узнав о том, что Моисей Самойлович был руководителем моей диссертации, она – минуту назад пускавшая шпильки в адрес наших культурологов – улыбнулась и почти мечтательно произнесла: «Да, Моисей Самойлович – человек с большой буквы!»

Одно из первых сочинений Кагана было посвящено иронии и проявлениям иронического в *Евгении Онегине*. Наверно, это был тот случай, когда в объекте исследования неуловимо высвечивался и автор – ирония самого Кагана как в полемических текстах, так и в устных спичах была многообразной и всегда естественной. Вспоминаю одну помпезную конференцию в Москве в начале 90-х. После длинного доклада почетного гостя из Франции, искусно блуждавшего в трех соснах специально изобретенных им по случаю концептов-метафор, объявили перерыв. Моисей Самойлович, проходя мимо меня, полушепотом бросает: «Ну что, поуменел?!» Сразу становится ясным его отношение к докладчику, к потерянному времени и ко мне, который его терял вместе с остальными. Как аспиранту мне кагановская ирония тоже полагалась нередко, однако я не помню случая ее «нецелевого использования». Скажем, затянувшийся период освоения диссертационной библиографии Моисей Самойлович прервал одной как бы вскользь брошенной фразой: «Знаешь, дорогой, в твои годы уже нужно не столько читать, сколько писать». Воспоминание об этом замечании часто и поныне возвращает меня с небесных высей чужого текста на грешную землю, к рабочему столу.

Замечательно теплой выходила у Моисея Самойловича ирония по отношению к своим домашним. Вспоминаю лето 1991 года, когда случайно по времени совпали наши поездки в Париж. Уже через неделю после прибытия я с ужасом понял, что число посещенных Каганами музеев, выставок и прочих культурных мероприятий превышает мое в разы (при



том, что я был в два с половиной раза моложе!). Спрашиваю Моисея Самойловича и его супругу, Юлию Освальдовну, как им это удастся... «На отдыхе я программу не выбираю, но, как старый солдат, поступаю в распоряжение своей жены, – ответил с молодцовской выправкой Каган. – А что? Жена у меня – искусствовед, в плохое место не поведет!» Действительно, энергия и профессиональное любопытство Юлии Освальдовны тоже били через край, и когда Моисей Самойлович не мог прибыть с ней в намеченный загодя пункт, я стал выполнять роль «сопровождающего солдата» – так мы побывали во дворце Фонтенбло, где Юлия Освальдовна, ведущий сотрудник Эрмитажа, непринужденно провела для меня обзорную экскурсию. Кстати, ироническая интонация Кагана нередко проскальзывала и в ее речах. Запомнилось, как она парировала мою реплику о тяжеловесности архитектуры Фонтенбло в сравнении с дворцово-парковыми ансамблями Петербурга: «Варить труднее, чем переваривать».

Закончилось то путешествие чудным концертом: в Соборе Парижской богородицы исполняли *Реквием* Верди. Сценография была адаптирована к пространству и полна символизма. Медные духовые размещались на втором ярусе хоров и, начиная со второй части, *Dies irae*, зазвучали как «фанфары предвечного», резонируя со всем колоссальным каменным массивом семи нефов великого Собора. Мы вышли, оглушенные впечатлениями, и долго не могли расстаться, как бы добирая впечатлений в «застывшей музыке» набережной Сены и многоязычной парижской толпе. На следующий день Моисею Самойловичу нужно было уезжать в Питер, и я в последний раз услышал его прочувствованное «в Европе хорошо, а дома лучше».

Оставаясь философом-марксистом, Моисей Самойлович все же верил в какое-то специфическое существование судьбы: не знаю, выразилось ли это представление в его поздних текстах, которые мне, к сожалению, не все известны, но зато оно было неоднократно озвучено в нашей переписке.

И действительно, судьба неоднократно оставляла свои метки в его жизни. Среди них – возобновляющееся, даже и посмертно, противостояние с его научным и, как видится, человеческим антиподом Михаилом Лифшицем. У меня не было случая встретиться с последним – однако яркие и субъективно окрашенные тексты автора «Кризиса безобразия» в полной мере несут в себе печать его личности. В них предстает образ человека заносчивого, критичного ко всему, что не исходит от превозносимых им кумиров, и одновременно необычайно довольного собой и своими жизненными принципами. Трудно представить себе «кающегося Лифшица», Лифшица, которого мучили бы угрызения совести. Каган, напротив, остро переживал те жизненные эпизоды, в которых он не смог

остаться на высоте предъявляемых к себе самому нравственных требований. Вспоминаю полусутопливую пикировку о рае и аде между ним и Германом Филипповичем Сунягиным. Беседа была спонтанной и велась по дороге на очередную конференцию, речь зашла о том, кто где оказался бы после смерти, если пользоваться шкалой религиозных ценностей. Дружелюбную реплику Германа Филипповича «уж ваших-то добродетелей, Моисей Самойлович, хватит на троих!» Каган парировал: «А грехов – на шестерых!» Неудивительно, что его воспоминания содержат столько горьких страниц, где он, не оправдывая себя, выстраивает перед читателем те далекие контексты, которые стояли за тем или иным его словом или поступком.

Конец 80-х, казалось, знаменовал собой долгожданную победу эстетической концепции Кагана над «большим реализмом» Лифшица-Лукача. Соцреализм умер собственной смертью; страна, открывшая культурные шлюзы, быстро переоценивала свой и зарубежный модернизм и становилась все более открытой для постмодернистских волн и поветрий. Однако система Кагана, демонстрировавшая относительность и историчность любой эстетической парадигмы, не стала философской основой для анализа и становления новых художественных явлений: слишком универсальными казались ее категории и классификации, слишком утопичным выглядел замысел выстроить единую логичную модель строения и истории культуры и общества. И напротив – взгляды Михаила Лифшица парадоксальным образом оказались затребованными в рамках левой антибуржуазной волны новейшего русского искусства. Художники, формы самовыражения и само существование которых были бы невозможны во времена всемогущества лифшицианской версии «марксистско-ленинской эстетики», сделали из Михаила Александровича кумира и отца «левого дела». Мне не довелось говорить об этом парадоксальном явлении с Каганом, но, как кажется, он должен был в полной мере ощущать и переживать драматизм нового поворота этой истории. Однако его последние тексты говорят о том, что он сохранял философский оптимизм и верил в то, что эвристический потенциал «иног марксизма» вообще и системного анализа, в частности, еще проявит себя в какие-то новые исторические эпохи, очертания которых уже неясно вырисовываются на сегодняшнем научном горизонте.



СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ В ПАРАДИГМЕ ЛИБЕРАЛИЗМА

(О человеке, петербуржце до кончиков ногтей, оказавшем огромное влияние на многих сибиряков, Моисее Самойловиче Кагане)

Л. Я. Шамес*

Один из парадоксов российской истории заключается в том, что у нас никогда не было либерализма как глубоко укорененного в жизни, массового политического движения и идейного течения, но зато всегда были либералы – люди, для которых понятия «индивид» и «свобода» занимали приоритетные позиции на шкале ценностей и нередко определяли течение их личной жизни.

Моисей Самойлович Каган – из этой плеяды. Он был типичным русским либералом второй половины XX в. Либералом по складу характера и ума, по политическим и идейно-теоретическим ориентациям, по манере поведения и отношению к людям. Он обладал драгоценным свойством генерировать вокруг себя пространство свободы или, лучше сказать, «силовое поле» свободы. Все, кто в это поле попадал, заражались, пусть только на время, вирусом вольнодумства, испытывали жажду свободного творческого парения. Быть может, это хотя бы отчасти объясняет, почему Моисей Самойлович был столь удачлив в создании ярких, заряженных на свободный творческий поиск научных коллективов, скорее сообществ, о которых принадлежавшие к ним вспоминают уже многие годы.

Теперь нередко можно услышать, что постсталинский либерализм, отчетливо проявившийся в «шестидесятничестве», оказался, мол, по строгому счету, бесплодным. Более того, утверждают, что многие из ошибок и провалов, наблюдаемых в нашей нынешней политической и общественной жизни, уходят корнями в шестидесятые годы, когда под спудом официальной идеологии вызревала утопия свободы.

Думается, это несправедливые обвинения. «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется» через десять, двадцать, пятьдесят лет. И судить о социологе, политологе, философе, о писателе или поэте надобно не по дальнему, нередко искаженному, эху его слов и дел, не по *изменяю-*

* Шамес Людмила Яковлевна – культуролог, профессор Иркутской государственной сельскохозяйственной академии. 1976–1977 гг. – в годичной аспирантуре на кафедре этики и эстетики философского факультета ЛГУ. С 1995 по 2005 гг. – зав. кафедрой эстетики и культурологии Иркутского Института повышения квалификации работников образования.

щимся последствиям результатов его непосредственной деятельности, как это часто делается, но по самим *результатам*, взятым в конкретном историческом контексте. Говоря проще, о прошлом надо судить по самому этому прошлому.

И тогда мы поймем, что если в России происходят либерально-демократические преобразования, если создаются предпосылки для формирования «открытого общества», то в этом немалая заслуга российских либералов шестидесятых–восьмидесятых годов, к которым по праву принадлежал Моисей Самойлович Каган. Автор более 700 работ, среди них около 20 монографий.

Интеллектуальная жизнь в те годы нашла для себя особую нишу свободного общения и дискуссий вне официального идеологического контроля. О таком феномене известно – это кухня, небольшая группа близких людей. Обыденные бытовые темы, хотя и вкрапливались в беседы, сами по себе были неинтересны и чаще всего переходили в разговоры об искусстве, науке, философии, истории. Из подобных общений выросал еще один, по нынешним временам удивительный, феномен 60–70-х годов – домашние научные и философские семинары, где заслушивались и обсуждались доклады и рефераты, и где возникали новые идеи и новые решения. Конечно, к власти отношение у нас было амбивалентное, таким же было ее отношение к нам. Не скажу, что большинство шестидесятников хотели быть в открытой оппозиции, но то, что власть их не любила, – это точно, ибо чувствовала: здесь творится что-то не то, вроде бы слова произносятся правильные, но есть какая-то живая мысль, которая выходит за официальные рамки. Думается, что заслуга таких людей, как Моисей Самойлович Каган, состоит в том, что они развивали эту живую мысль, сохраняли традиции интеллигенции.

Моисей Самойлович Каган действительно интеллигент. Для автора этих строк в начале 70-х годов он был образцом доброжелательности к людям, открытости, общительности. Все это создавало вокруг него особое поле мысли и человеческих коммуникаций.

Время, в которое работало поколение шестидесятников, часто требовало компромиссов. Новые идеи в философии и общественных науках подчас приходилось маскировать, излагая их в обрамлении официальной марксистской лексики. Тот, кто не вникает в существо дела, часто видит в этом служение господствующей идеологии. Но в истории мысли, особенно в преддверии переломных эпох, да и в начальной фазе этих эпох, новое обычно не вступает в открытую конфронтацию с традиционно доминировавшими идеями, а подспудно размывает их.

Шестидесятники работали в условиях контроля над мыслью. Но именно это поколение возрождало идеалы свободной мысли и духа, хотя



часто и в форме пушкинской «тайной свободы». Оно напряженно искало новые пути и внесло свой вклад в развитие российской культуры.

Подлинно хороший человек – это не просто человек хороший сам по себе, но тот, который помогает лучше делаться другим людям, прежде всего тем, с кем он постоянно общается, своей малой группе, своему коллективу. Обычно он становится лидером, чаще всего неформальным. Таким – на протяжении 30 лет нашего общения – я знала Моисея Самойловича Кагана. Он был одним из моих учителей, одним из тех, кто ввел меня в философию искусства. Отношения учителя и ученика переросли в отношения товарищеские, а потом и дружеские. Период моей аспирантуры, научным руководителем которой был Моисей Самойлович Каган, пал на реакционные 70-е. Именно тогда его постоянно «чистили».

Многие годы его жизнь была связана с кафедрой этики и эстетики Ленинградского университета. Интеллигентность, приторчайшая эрудиция, доброжелательность, обаяние неизменно притягивали к нему людей.

Человеку либеральных взглядов тяжело было творить в условиях жесткой цензуры советского времени. Но он умел ходить по лезвию бритвы, балансировать на грани возможного, с изяществом обходя цензурные препоны. Его предавали ученики (были и такие), его гнобили одни идеологические чиновники, но помогали другие, некоторые из них были его учениками. Он творил новые книги, блестяще читал лекции, которые часто посещали студенты и аспиранты других факультетов. Проводил симпозиумы и Проблемные Советы по эстетике, ездил по городам и весям огромного Советского Союза и за границу. Словом, жил! Активно, ярко, красиво.

Естественно, что его талант расцвел в годы перестройки и, особенно, в постперестроечный период. Прекрасные книги последних лет – великолепное тому подтверждение.

Когда писался этот текст, Моисей Самойлович был уже очень болен. Он не прочел этих строк, но услышал их по телефону. Попрощался и сказал, что прожил хорошую жизнь и что ею доволен.

Мэтр скончался в день смерти А.С. Пушкина. Похороны были в день святого Валентина. Две весьма символические даты. Моисей Самойлович очень любил и часто цитировал Пушкина. Он любил людей, и люди любили его. Актный зал СПбГУ был полон. Попрощаться с ним пришли и приехали из разных городов России и СНГ многие и многие – те, кто учился у Моисея Самойловича, кто работал с ним и кто гордился тем, что жил во времена Кагана, – *Homo estheticus*.

ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО ПРИРОДА НАДЕЛИЛА ТАЛАНТОМ АНАЛИТИКА И ПОЭТА

В. А. Ядов*

Мы с моей женой Люкой «усмотрели» Мику Кагана в окно ее квартиры на четвертом этаже. Напротив, через улицу Чайковского, была автобусная остановка, где собиралась небольшая очередь. В ней выделялся элегантный мужчина в усиках и с портфелем. Заметила его, конечно, Люка, что я запомнил как невысказанный намек на собственный облик. Позже, бывая в гостях у Мики и Юли, мы не могли понять, почему он не шел к ближайшей от своего дома остановке. Дом-то на той же улице, ближняя остановка в 100 метрах, а та, что напротив нас, – метров за 500. Теперь у меня есть догадка: хотя остановка называлась «Литейный проспект», пассажиры обычно спрашивали впереди стоящих: у Большого дома выходите? В Питере так именовали ленинградскую Лубянку. Вероятно, Мика с его живым воображением, чувствуя себя неуютно, не шел налево из своей парадной и избегал проходить мимо громоздкого подъезда здания КГБ, возле которого парковались черные «Волги» с приметными номерами. Его талант симметрично располагался в обоих полушариях мозга: в левом, аналитическом, и правом, ответственном за образное, красочно наполненное запахами и звуками восприятие мира.

Мика Каган был одним из наиболее «знаковых» профессоров философского факультета, лидером своей научной школы, особенность которой – системное целостное представление предмета изучения, будь то целая область знания, как теория искусства или эстетика, или системная теория личности. Он постоянно выискивал недостатки, пробелы в своих сочинениях, многократно обсуждал с коллегами наброски текстов. Это и отличает подлинного ученого, преданного делу жизни. Он один создал в науке больше, чем сотни других.

Все мы знаем, как Мика любил жизнь во всех ее проявлениях, как нежно относился к Юле, его ангелу-хранителю, как ценил дружбу. Пока мы еще здесь, он остается с нами.

* Ядов Владимир Александрович – социолог, доктор философских наук, профессор. Основатель ленинградской социологической школы. Переехав в Москву, возглавил Институт социологии РАН. Ныне декан факультета социологии Московского государственного гуманитарного университета.



*Р*АЗДЕЛ II.

ОСМЫСЛЯЯ НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ

ЗАВЕТЫ МОИСЕЯ

Е. Г. Яковлев*

Юноша бледный со взором горящим,
Ныне даю я тебе три завета:
Первый завет – не живи преходящим,
Только в **общении** счастье найдешь ты.
Помни второй – **субъекта** возвысив,
Двигайся дальше – к **морфенам** искусства,
Делай всё это проворно и дельно!
Третий храни: поклоняйся **культуре!**
Только лишь ей, безраздельно, бесцельно.
Юноша бледный со взором смущённым,
Если ты примешь мои три завета,
Буду я счастлив во всём – восхищённый,
Мир осветивши **системой** при этом.

18 мая 1991 г.

Из ротапринтного сборника «В мире Кагана» (1991). С. 102.

* Яковлев Евгений Георгиевич (1927–2003) – эстетик, искусствовед, религиовед, доктор философских наук, профессор. С 1961 работал, а затем и возглавил кафедру эстетики философского факультета МГУ.



М. С. КАГАН: СТУПЕНИ НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА

Л. М. Мосолова*

Размышляя о том ценном, что создала советская и постсоветская философская мысль, мы можем, мне думается, среди наиболее выдающихся авторов капитальных трудов назвать петербургского философа Моисея Самойловича Кагана. Он создал несколько фундаментальных работающих концепций. Его основной вклад в отечественную и европейскую науку связан с разработкой методологических проблем гуманитарного знания. М.С. Каган предложил собственный вариант системного и деятельностного подходов, взятых в целостности, и на базе этой методологии создал онтологическую концепцию, которая подтвердила свою продуктивность в социальных, гуманитарных, культурологических исследованиях, в науках об искусстве, в осмыслении ряда существенных общепhilosophических проблем.

Начало научной деятельности М.С. Кагана относится к середине XX века. Сферой его научных интересов тогда была теория пространственных искусств, художественная критика, русская и французская эстетическая мысль, проблемы национального своеобразия искусства. Тогда вышли в свет его первые монографии – «Эстетическое учение Н.Г. Чернышевского», «О прикладном искусстве. Некоторые вопросы теории», а также целый ряд проблемных статей в главных журналах страны («Вопросы философии», «Вопросы литературы», «Творчество», «Художник» и др.). К концу 50-х годов М.С. Каган стал признанным авторитетом в области теории искусств и популярным ученым не только в столицах, но и во многих национальных республиках. Он тонко понимал своеобразие художественного творчества, не сводил искусство к способу познания, имел широкий контекстный подход к изучению художественных явлений, процессов, национальных школ искусства, безукоризненный вкус, независимость и смелость суждений, творческое отношение к марксизму как к социальной теории и идеологии и собственные эстетические идеалы, которые неустанно отстаивал.

* Мосолова Любовь Михайловна – доктор искусствоведения, профессор, заведующая кафедрой теории и истории культуры в Российском государственном педагогическом университете им. А.И. Герцена, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации.

Недавно изданный сборник его избранных сочинений¹ вообрал в себя несколько работ тех лет. Они, несомненно, несут на себе печать времени, однако их основное содержание нисколько не устарело и продолжает служить всем тем, кто пытается постичь своеобразие и смыслы художественной деятельности человечества.

В 60-е годы М.С. Каган стремительно вышел на место лидера отечественной эстетики и крупного организатора этой сферы научной деятельности в стране. Вместе со своими единомышленниками и учениками он объединил значительное число философов, эстетиков, искусствоведов, литераторов, художников, работников культуры и вместе с ними систематически проводил научные семинары, конференции, симпозиумы, встречи на выставках и творческих союзах. Его организаторская активность и постоянное расширение обсуждаемой проблематики и исследовательского поля в 60–70-е годы были исключительными. В то время он создал, прочитал студентам и издал в трех томах ставший в последствии знаменитым курс лекций по марксистско-ленинской эстетике, который был затем переиздан отдельным томом. Этот курс лекций разошелся по всей стране и определил высокую компетентность преподавателей эстетики, истории искусства, многих художников, как в СССР, так и в ряде зарубежных стран. «Курс лекций...» можно было встретить в библиотеках теоретиков, известных и неизвестных художников, учителей и студентов в Эстонии и Азербайджане, Киргизии или Грузии, Латвии и Армении, Свердловске и Хабаровске, Пекине или Берлине, не говоря уже о Москве и Ленинграде.

Вместе с тем эстетическая концепция М.С. Кагана подверглась критике официальных теоретиков искусства и ряда руководителей культуры. Речь шла о трактовке роли субъективного фактора в эстетическом отношении человека к действительности и в ее художественном освоении. В отличие от эстетических концепций «природников» и «общественников» и официально пропагандируемой ленинской теории познания, где целью познания считалось получение «объективной истины», М.С. Каган показал, что специфика эстетического отношения состоит в качественно иной роли в нем субъективного фактора. Он полагал, что оно является объективно субъективным, то есть ценностным, а не познавательным.

Далее в серии его статей, докладов, лекций 70-х годов им было показано различие между «истиной» и «добром» и единство последнего с «красотой», а также их отличие от «пользы». Если категория «истина» является гносеологической, а «польза» праксеологической, то категории

¹ Каган М.С. Искусствознание и художественная критика. Избранные статьи. СПб., 2001.



«этического» и «эстетического» относятся к сфере ценностного отношения человека к явлениям реальности. Вместе с тем понятие «эстетическое» отличается сущностно от понятия «художественного», которое означает качества искусства, не сводящиеся к эстетическим ценностям. Им была также предложена и обоснована идея динамического соотношения этического и эстетического, зависящего от содержания и ориентации определенного типа культуры. М.С. Каган шел от филологии и искусствознания к эстетике и философии, теории систем, постоянно уточняя найденные методологические позиции, позволившие обнаружить глубинные законы искусства и культуры в целом. Системный подход в изучении мира искусства был им осуществлен в книге «Морфология искусства»¹. Она стала теоретической основой для многих последующих научных изысканий по проблемам взаимодействия и интермедальности различных видов художественного творчества, постижения особой роли и разной миссии разных видов искусства в исторически меняющихся типах культуры, в творческих биографиях художников. В последующем труде «Человеческая деятельность» и во втором издании «Курса лекций...» тоже был применен системный подход. Руководствуясь принципом необходимости и достаточности и выступая против суммативной эклектики в осмыслении человеческой деятельности, ученый представил деятельность как систему ее основных видов. Он установил, что она реализуется в четырех основных формах: в познании реальности, в ее ценностном осмыслении, в ее преобразовании (материально-практическом и проектно-идеальном) и в общении людей в процессе их совместной жизни. Особый синкретический характер имеет художественная деятельность, в которой сливаются воедино, взаимно отождествляясь, все четыре исходные вида деятельности; формой этого слияния является художественный образ. В зависимости от того, какая сторона в структуре художественной деятельности становится определяющей, формируется тот или иной творческий метод, доминируют разные виды искусства, способные адекватно выразить содержание конкретного исторического типа культуры. В осмыслении категориальной структуры человеческой деятельности «пятичленка» М.С. Кагана явилась серьезным движением вперед; исключительно важным было включение в нее ценностно-ориентирующей деятельности, раскрытие «тайны» строения художественной деятельности и особенности ее «развертывания» в истории культуры.

В 80-е годы под научной редакцией Моисея Самойловича вышли два тома коллективной монографии, посвященной истории художествен-

¹ М.С. Каган. Морфология искусства: историко-теоретическое исследование внутреннего строения мира искусства. Л., 1972.

ной культуры в общечеловеческом масштабе. Культурологическое осмысление всей искусствосферы как целостности, ее особой позиции в культуре – как самосознания культуры – имело не только широкий научный резонанс, но и послужило теоретической основой для введения во всей стране инновационного вузовского и школьного курса «Мировая художественная культура». Этот курс стал способом интегративного постижения панорамы художественного движения человечества и развития целостного историко-культурного мышления учащихся¹.

Мне уже приходилось писать о том, что появление коллективной монографии под редакцией М.С. Кагана или любой его книги, будь то «Мир общения» или «Музыка в системе культуры», – всегда было Событием. Это связано с тем, что ученый обладал ответственностью в профессиональной деятельности и сознании; в каждой из своих книг он ставил и творчески рассматривал насущные вопросы философии, культурологии, эстетики, искусствоведения, аксиологии. Его работы порождали острые дискуссии, отмечали новый этап в осмыслении классических и современных идей, побуждали к научным поискам, оказывали продуктивное воздействие на развитие академической науки и культурной жизни.

В конце 80–90-х годов чрезвычайно актуализировалась идея культуры и выявилась значимость культурных стратегий общества. Стал бурно развиваться культурологический дискурс, нужны были глубокие книги по исследованию феномена культуры, учебники по культурологии и истории культуры. И как ответ на вызов времени во второй половине 90-х годов появился философский триптих М.С. Кагана: «Философия культуры (1996), «Эстетика как философская наука» (1997) и «Философская теория ценностей» (1997). Отмечу, что это был концептуальный итог его сорокалетних размышлений, теоретических штудий и исторических исследований Мира человека. Он был замечателен и весьма поучителен тем, что его автор, в былые 70-е получивший ярлык «антимарксиста», не остался в дни резких социальных перемен ни с теми, кто не хотел или не мог расстаться со старой квазимарксистской идеологией, ни с теми, кто конъюнктуры ради легко отбросил прежние философские взгляды. Он остался верным самому себе, храня сознание нравственного долга и достоинство ученого, который продолжает делать свое дело без расчета на награду и признание от любых властей или на благодарную память потомков.

Все три части философского триптиха объединял новаторский стиль мышления. Впервые в мировой науке в основу изучения культуры

¹ Художественная культура в докапиталистических формациях / Научный ред. М.С. Каган, ЛГУ, 1994; Художественная культура в капиталистических обществах / Научный ред. М.С. Каган, ЛГУ, 1987.



была положена системно-синергетическая программа, соответствующая современной парадигме научного познания. М.С. Каган убежден, что в тех случаях, когда гуманитарное знание ставит перед собой чисто теоретические задачи изучения законов строения, функционирования и развития социальных, культурных, в том числе художественных явлений, оно должно применять те же методологические процедуры, которые были выработаны в ходе изучения природных явлений и процессов, но развивая и обогащая эту методологию в соответствии с более высоким уровнем сложности социокультурных систем¹.

Строго следуя избранной методологии, учитывая междисциплинарные и трансдисциплинарные исследования, интегрируя данные различных наук, М.С. Каган смог преодолеть их былую разобщенность и охватить единым взором сложнейший мир культуры, своеобразие человеческих ценностей вообще и эстетических в особенности. Он создал целостную, единственную в своем роде философскую теорию культуры, а философия культуры стала той «общей почвой», на которой «произросли» эстетическая и аксиологическая теории. С другой стороны, стало очевидным, что многолетние изыскания автора по эстетике, теории человеческой деятельности, системологии и аксиологии способствовали «кристаллизации» его философской концепции культуры.

Все три книги мировоззренчески едины, «спаяны» методологически; по проблематике содержания они подобны сообщающимся сосудам, ибо теоретически охватывают сложную целостность мира культуры и вместе с тем «высвечивают» разные его грани. Поскольку каждая из трех книг есть итог размышлений автора по конкретному предмету и наряду с этим определенный итог развития культурологии, эстетики и аксиологии как наук, постольку все они обладают редким качеством энциклопедичности, что придает им особую научную ценность.

В первой книге «Философия культуры» рассматривается онтологический статус культуры. Автор впервые в науке выявляет наряду с природным, социальным и связывающим их деятельностным бытием человека четвертую форму бытия – культуру. Она является способом бытия и инобытия человека, то есть все, что есть в человеке как в человеке, предстает в виде культуры, и она оказывается столь же разносторонне-богатой и противоречиво-дополнительной, как сам человек – творец культуры и ее главное творение.

Вторая книга «Эстетика как философская наука» – новое, радикально переработанное издание того университетского курса, который в 60–70-е годы принес автору широкую известность. При сохранении вы-

¹ М.С. Каган. Философия культуры. СПб., 1996. С. 10–34.

работанной прежде и уточняющейся от издания к изданию концепции, ее изложение обогатилось целым рядом новых, развивающих эту концепцию идей. Замечательно ясно написано логико-методологическое введение, помогающее читателю понять логику выведения эстетической концепции из ее теоретического фундамента. Книга обрела новое завершение, которого не было в прежних лекциях-очерках истории мировой художественной культуры. Ее изложение основано на применении системно-синергетической методологии изучения эволюции художественной культуры в целостном социокультурном контексте и в непосредственной связи с развитием эстетического сознания человечества.

Третья книга «Философская теория ценностей» – тоже написана по университетскому курсу, прочитанному в Петербургском университете и вызвавшему дискуссию. В этой работе показана судьба теории ценностей в истории европейской и отечественной философии. В отличие от существовавших социальной и натуралистической трактовок, Моисей Самойлович предложил оригинальную аксиологическую концепцию, согласно которой ценность есть специфически человеческое культурное явление, возникающее «как способ обнаружения субъектом значения объекта для своего субъективного бытия, иными словами – как придание ценности всему, что создается самой культурой в виде „второй“ природы, и в виде различных форм внеприродного и нематериального, иллюзорного, творимого фантазией инобытия»¹.

Эти три книги содержат целостное философское учение о культуре и ее ценностном мире и, на мой взгляд, являются значительным достижением отечественной философии XX века. Благодаря созданию именно учения о культуре и ценностях М.С. Каган стал «живым классиком». В трудах ученого особенно заслуживают внимания его методы рациональной работы с материалом исследования, его логика и эвристика, его способность анализировать и упорядочивать материал. В этих трудах выявляется плодотворность рационалистической методологии исследования культуры и общества.

Научное творчество М.С. Кагана подобно самой истории культуры развивается по экспоненте: чем далее, тем чаще и все больше появляется монографических исследований. Река творческой мысли принесла монументальный «Град Петров в истории русской культуры», удостоенный Анциферовской премии в 1998 году. В этом «Логическом соборе» впервые в исторической литературе было дано трехвековое развитие Петербурга–Петрограда–Ленинграда–Петербурга как одного из двух культурных центров страны, основанного Петром Великим в ходе преобразова-

¹ М.С. Каган. Философская теория ценностей. СПб., 1997. С. 53.



ния России. Здесь полифонически была представлена культурная жизнь Петербурга в его диалоге с Москвой, выявлена особенная ментальность петербургской интеллигенции и выражена глубокая любовь автора к своему городу. В сущности это была первая и единственная книга XX века о культурном бытии Великого города, получившем целостное и адекватное философско-культурологическое и историко-культурологическое истолкование. Затем на основе «Града» М.С. Каган издал для тех, кто тоже любит этот город, учебное пособие «История культуры Петербурга», которое долго ждали от петербургских ученых поколения гимназистов и студентов. Почти 10 лет спустя после выхода в свет «Града Петрова» он вновь вернулся к этой теме, многое переработав и значительно дополнив культурологическое сказание о последнем веке бытия северной столицы как на метафизическом, так и на конкретно-историческом уровнях.

В новой двухтомной работе, появившейся уже в начале XXI века, – «Введении в историю мировой культуры» М.С. Каган критически осмыслил многообразие имеющихся в распоряжении науки основных идей мировой истории и культуры, отличая развитие социальных общностей от развития создаваемых ими культурных систем. Показав неудовлетворительность трех главных подходов к конструированию теоретических моделей истории общества и культуры («линейно-прогрессистской», «эмпирико-хронологической» и «локально-цивилизационной»), он предложил собственное, отличающееся от них понимание закономерностей историко-культурного процесса¹.

Это понимание основано на применении давно им разработанных принципов синергетического изучения сложных антропосоциокультурных систем. История культуры рассматривается как закономерный процесс ее самодвижения, что дает возможность увидеть источники ее динамики, смены ее хроноструктур в ней самой в условиях меняющейся среды, природной и социальной. При этом принципы периодизации культуры (традиционный или канонический и инновационный или лично-креативный) базируются на ее собственных, а не внешних основаниях. Эта работа может послужить фундаментальной, обновленной методологической базой для более конкретного рассмотрения общих и специфических закономерностей многолинейного движения общества и культуры.

В наше время издаются талантливые книги о разных явлениях и проблемах искусства, однако уже давно не было монументальных работ, подобных книгам А.Бенуа, М.Алпатова, Н.Дмитриевой и других, где сочеталось бы видение конкретного со способностью к синтезирующему

¹ М.С. Каган. Введение в историю мировой культуры. СПб., 2000–2001.

мышлению об искусстве. В трактатах по истории разных национальных и региональных искусств есть скрупулезное описание направлений, стилей, художественной фактологии, но, как заметил исследователь традиционных культур Ж. Малори, нет человека, хотя искусство, по выражению Ч. Айтматова, есть вечный сказ человека о человеке, который всегда будет интересен человеку. И вот появилась новая монументальная книга М. С. Кагана с необычным названием «Се человек... Жизнь, смерть и бессмертие в „волшебном зеркале“ изобразительного искусства»¹. Это философско-антропологическое сочинение особого рода, посвященное выявлению глубинного философского смысла отражения бытия человека в изобразительном искусстве... Оно предназначено для понимающего «возможного и желанного» читателя и принадлежит к числу редких трансдисциплинарных исследований. Автор разворачивает поразительную многотысячелетнюю панораму «работы» изобразительного искусства как самосознания культуры, художественно-образного человекознания. Здесь демиург культуры представлен в свете «вечных тем» его бытия и необыкновенной многогранности их историко- и индивидуально-конкретных воплощений. Это энциклопедия по изоантропологии.

Еще не все заинтересованные читатели успели прочитать эту книгу, как на столе рецензентов появилась очередная философская рукопись. Теперь уже по онтологии... Ученый поражал нас неиссякаемой творческой энергией, неизменно строгой логикой и нравственным пафосом книг и выступлений, неизменным уважением к единомышленникам и оппонентам, добросовестностью и внимательностью к коллегам, аспирантам и студентам. К этому следует добавить, что М. С. Каган содействовал развитию философии и культурологии в разных вузах Петербурга, прежде всего на философском факультете Санкт-Петербургского государственного университета.

В течение последних пятнадцати лет он являлся также профессором кафедры художественной культуры Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, оказывая глубокое интеллектуальное и духовное воздействие на тех, кто реформирует систему высшего педагогического и среднего образования. По его мнению, исходный пункт реформы – понимание того, что учитель становится учителем, когда его деятельность уподобляется художественному творчеству, отличаясь тем, что Учитель создает, лепит, конструирует реального человека, а не образ человека, но его творение воплощает живущий в его воображении идеал человека, совмещенный с пониманием своеоб-

¹ М. С. Каган. Се человек... Жизнь, смерть и бессмертие в „волшебном зеркале“ изобразительного искусства. СПб., 2003.



разия своих учеников, и ему необходимо иметь особый творческий дар Учителя-воспитателя. По его мнению, сегодня нужно изменить целевую установку всей педагогической деятельности – с образования специалиста на воспитание интеллигентов и совместными усилиями всех причастных к этому лиц разрабатывать еще не известные педагогике конкретные способы, приемы, процедуры, методы формирования российской интеллигенции. Незадолго до смерти он посетовал на то, что не успел и теперь уже не успеет дописать книгу «Философия для детей»...

В заключение отмечу, что данная статья о научном творчестве М.С. Кагана не содержит анализа той критики, которой неоднократно подвергались концепции философа, не потому, что она панегирически ориентирована, а потому, что совершенно необходимо, чтобы в век очередной моды на агностицизм, антисциентизм, мистицизм, технологический дискурс и т. п. сохранялись достижения рационалистической философии XX века и не переставал бить кастальский ключ наук о человеке, обществе, культуре и искусстве.

ИСКУССТВО В СИСТЕМЕ КУЛЬТУРЫ: КОНЦЕПЦИЯ М. С. КАГАНА В ТРАДИЦИИ ФИЛОСОФСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Т.А.Акиндинова*

Насколько мы знаем творческий путь Моисея Самойловича Кагана, в том числе из его автобиографии «О времени, о людях, о себе», уже его филологические изыскания студенческих лет, затем его первые годы преподавательской и исследовательской работы в области изобразительного искусства подразумевали осмысление вопросов о сущности искусства как особой формы сознания и деятельности, о его функциях и соотношении с различными формами культуры. Этот теоретический интерес обусловил обращение ученого к изучению эстетической проблематики. Обоснование им концепции искусства в системе культуры, представленное впоследствии в его учебниках по эстетике и монографиях «Человеческая деятельность. Опыт системного анализа», «Морфология искусства», «Философия культуры», явилось поэтому закономерным итогом философского обобщения богатейшего материала по искусствоведению, истории и теории эстетики. Можно без преувеличения сказать, что названная проблема находилась в точке пересечения главных направлений научного поиска М.С. Кагана – эстетики и философии культуры.

С момента опубликования этой концепции, однако, именно в силу высокого уровня обобщения, автор ее неоднократно подвергался упрекам в схематизме мысли, абстрактности понятий, отрыве от конкретной истории искусства, от истории эстетики. Чтобы оценить теоретический потенциал данной концепции, попытаемся рассмотреть ее место в истории эстетической мысли. Сразу оговорю при этом, что воспроизводя логику построения модели культуры М.С. Каганом, я полагаю возможным вносить некоторые частные изменения в ее трактовку, которые расположены тем не менее в рамках коллегиального обсуждения проблемы. Известно, как Моисей Самойлович ценил диалог с коллегами, и каждая его новая книга, как правило, становилась предметом важной и для него на-

* Акиндинова Татьяна Анатольевна – доктор философских наук, профессор кафедры эстетики и философии культуры философского факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Под научным руководством М.С. Кагана защитила кандидатскую диссертацию по эстетике немецкого неокантианства.



учной дискуссии. Речь здесь пойдет, таким образом, об интерпретации концепции М.С. Кагана в историко-философском контексте.

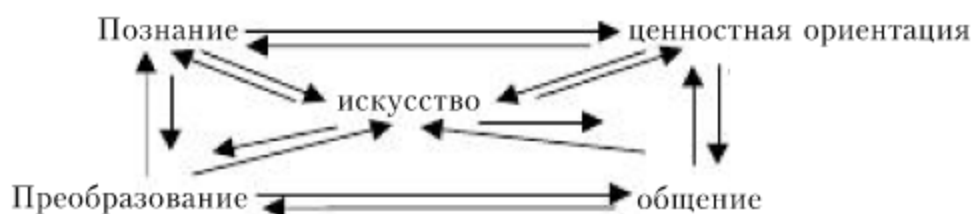
Инновационность культурфилософской методологии ученого заключалась уже в том, что культура была представлена как система качественно своеобразных видов человеческой деятельности (и, соответственно, ее результатов – различных областей культуры), связанных друг с другом на основании необходимости и достаточности.

Осуществление каждого из них предполагает поэтому опосредованность другими, и название каждого означает лишь определение его существа в отличии от других.

Поскольку М.С. Каган на протяжении всей своей жизни оставался верен основополагающим принципам марксизма, первым из фундаментальных видов деятельности была названа им деятельность преобразовательная, результатом которой явилось прежде всего историческое освоение природной среды и развитие сферы материальной культуры от простого ремесла и земледелия до современной индустрии и электронного оборудования производства. Важно, однако, что понятие преобразования трактуется здесь шире, чем понятие материального труда, поскольку включает в себя также формы активности сознания, идеальное. Преобразовательная деятельность является поэтому одновременно основой для возникновения двух фундаментальных для культуры видов духовной деятельности – познания и ценностной ориентации. Принципиальная схема их отношений предстает у М.С. Кагана следующим образом:



Согласно Марксу также, деятельность преобразования, развивавшаяся на основе общественной практики, рассматривалась в связи с одновременным становлением взаимодействия между людьми, в опосредованности общением, формы которого исторически изменялись и разрастались, имея в своем истоке все же отношения в процессе труда. Поэтому общение трактуется как единая опосредующая деятельность равно и в преобразовании, и в познании и ценностной ориентации. Искусство же было обстоятельно обосновано Моисеем Самойловичем как синтез четырех названных видов деятельности. Схема взаимосвязи пяти качественно своеобразных видов человеческой деятельности соответственно приобрела заверченный вид:



Хотя сам М.С. Каган последовательно разрабатывал свою философию культуры с позиций марксизма, она все же существует в более широком философском контексте, и экспликация некоторых основных его направлений в отношении к нашей теме может способствовать, с одной стороны, отказу от части лишь на поверхностный взгляд допустимых, критических замечаний, с другой – дополнительной аргументации в доказательстве ее теоретической состоятельности.

Так представляется, что определение М.С. Каганом системы видов человеческой деятельности совпадает в понимании духовной активности человека с трактовкой системной связи трансцендентальных способностей субъекта, берущей начало от Канта и фундаментально разработанной в неокантианстве. Именно Кант впервые в истории философской мысли поставил проблему системной целостности философского знания в обусловленности системной связью способностей сознания человека. Познание природы, осуществляемое чистым (теоретическим) разумом, и нравственное законодательство практического разума, входящее, говоря в понятиях XX века, в область ценностной ориентации, предстало в результате кантовской «критики» в противостоянии, устранить которое была призвана способность суждения, и прежде всего – эстетическое суждение. Сфера вкуса и гения – искусство – явилось, таким образом, уже у Канта, сферой соотнесения познания и нравственных ценностей: красота как символ нравственности. Этот подход к трактовке духовных форм культуры получил дальнейшее развитие во Фрайбургской школе неокантианства, где впервые начала детально разрабатываться теория ценностей, и область деятельности практического разума была обоснована В. Виндельбантом не только как сфера нравственности, но совокупности различных классов ценностей, ядром которой остается все же мораль.

Фундаментальное исследование творческой активности сознания продолжил глава Марбургской школы неокантианства Г. Коген. Вслед за Кантом мыслитель трактовал философию как систему взаимосвязанных звеньев, поскольку предметом ее исследования является система трансцендентальных способностей субъекта. Однако, в отличие от Канта, Коген наряду с «чистым разумом» (теоретическим мышлением) дает каче-



ственное определение «практическому разуму» – деятельность доброй воли, а также называет качественно своеобразной формой активности сознания субъекта и эстетическое чувство. Соответственно по аналогии с кантовской системой у Когена философия предстает в виде «Логики чистого познания», «Этики чистой воли» и «Эстетики чистого чувства» (Hermann Cohen. «Aesthetik des reinen Gefuehhs». Berlin, 1912. Bd. 1, 2).

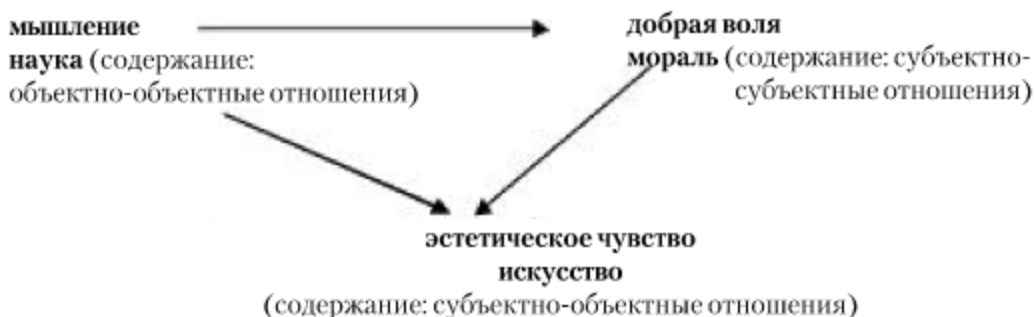
Метод исследования поэтому «трансцендирует» у марбургского философа от «фактов культуры» – которые представляет наука, мораль и искусство и в которых воплощается деятельность сознания, к «изначальному происхождению» предметного содержания культурных форм в сознании субъекта. Сознание в целом Коген отличает от изначального бессодержательного состояния психики (сознательности). Наука формируется в особый вид деятельности и культуры по мере того, как познание ориентируется на установление объектно-объектных отношений, мораль становится особой формой культуры постольку, поскольку делает своим содержанием субъектно-субъектные отношения. Эстетическое чувство вырастает из бессодержательного состояния чувствования, которое может сопровождать различные виды активности сознания (удовольствие). Поэтому Коген критикует теорию «вчувствования», полагающую независимым характер переживания от особенностей его предмета, в то время как он имеет собственное содержание – связь объектно-объектных и субъектно-субъектных отношений. Более того, Коген указывает на непоследовательность Канта в трактовке активности субъекта: если теоретический и практический разум анализируются им как творческая деятельность, то эстетическая способность суждения – только рефлексия о некотором познавательно-нравственном содержании (эстетической идее), и потому и суждение вкуса, и творчество гения предполагает продуктивность лишь познающего и нравственного, но не эстетического субъекта. Специфику («чистоту») чувства как творчества Коген видит в том, что оно синтезирует в себе содержание познания и нравственности, создавая предметное содержание искусства, не сводимое ни к науке, ни к морали. Эстетика поэтому оказывается у Когена завершающим звеном философской системы, без которого и предшествующие звенья не имеют необходимого целостного контекста и могут получить методологически несостоятельную теоретическую ориентацию.

Искусство находится, таким образом, в двойственном отношении – связи и различия – к другим формам культуры: имеет их своими предпосылками, но преобразует их в чувство любви к неповторимой индивидуальности человека в единстве его духовно-телесной природы. Эстетический субъект, по Когену, в отличие от гносеологического и этического – индивидуальность, искусство – творчество любви как самочувствие

человечества в человеке. Идеи, близкие этим выводам Когена, обосновывал в своей концепции художественной деятельности и М.С. Каган¹.

Рассматривая язык как инструмент формирования сознания, Коген раскрывает своеобразие речи, опосредующее художественное творчество: если наука говорит на языке понятий, мораль выражает себя в императивах доброй воли, то речевой синтез в искусстве осуществляется с помощью их соотнесения – в метафоре. Метафорическая речь поэтому – собственный язык чувства, а поэзия – предпосылка становления всех видов искусства. Любовь превращает изобразительную деятельность в живопись, ритм и интонацию звукового ряда в музыку.

Схема системного единства форм духовной культуры, создаваемой человеком как субъектом мысли, воли и чувства, в традиции трансцендентального идеализма может быть, таким образом, конкретизирована следующим образом:



На рубеже XIX–XX веков, когда в философии нарастает стремление выйти за пределы исследования сознания «назад к вещам», трактовка системной целостности культуры была заново осмыслена и дополнена с позиций «новой онтологии».

Николай Гартман, исходя из тезисов Когена о познании и нравственности как материале художественного творчества, преобразуемом в предметность чувства любви к человеку в его индивидуальности, развивая вывод о представлении в искусстве ценности индивидуального не только в культуре, но и в природе, с позиций феноменологии по-новому подошел к решению кантовской проблемы автономии и статуса эстетической сферы. Его мысль, неудовлетворенная «субъективизмом» трансцендентального идеализма, направлена на введение этой проблемы в границы онтологии.

Автономия эстетических ценностей и в искусстве, и в действительности от ценностей истины и добра, поскольку последние формулируются

¹ Каган М.С. Человеческая деятельность. Опыт системного анализа. М., 1974. С. 120–130.



ются в абстрактно-научных или в абстрактно-моральных категориях, заключается в том, что они представляют индивидуальность и сами являются всякий раз абсолютно уникальным феноменом. В этом смысле эстетическая сфера, не исчерпываясь ни законами сущего, ни законами должного, выходит за пределы реальности. Однако Гартман не допускает истолкования этого вывода в духе эстетизма. Эстетические ценности «удаления от действительности» покоятся, по Гартману, на свободе особого рода, в которой снято равновесие возможности и действительности, существующее в реальном мире, но снято не в пользу необходимости, как это имеет место с долженствованием, а в пользу возможности: «Здесь есть бытие возможного без бытия необходимого, потому что оно не зависит от замкнутых условий реального мира»¹. Непревзойденную силу искусства Гартман видит поэтому в его свободе от узости опыта и способности духовного прозрения в сферу возможного, оставаясь на почве действительной жизни.

Если индивидуальность (как предмет искусства) не противоречит, таким образом, законам сущего (определяемых научным познанием) и не претупает законов должного (формулируемых моралью), но не имеет тем не менее характера необходимости и не выдвигает требования долженствования, то сфера ее собственного пребывания – возможное. Главное при этом, Гартман в дискуссии с трансцендентальным идеализмом подчеркивает, что возможность, так же как необходимость и долженствование, являются не только модальностями актов сознания, но представляют особые модусы («слои») самого бытия, которые первичны по отношению к соответствующим акциям сознания. Переосмысляя марбургскую концепцию культуры в свете определения объективных основ предметности «чистого мышления», «чистой воли» и «чистого чувства», Гартман рассматривает культурные формы в соответствии не с особенностями порождающего их вида деятельности сознания, а в обусловленности своеобразием модальности различных слоев бытия, представленных в культуре. Так, наука ориентирована на познание сущего, мораль открывает мир должного, искусство прозревает возможное. Схематически изобразить эту целостность культуры можно так:



¹ Гартман Н. Эстетика. М., 1958. С. 524.

Понимание искусства как открытие возможного бытия не случайно оказалось в эпицентре философского осмысления и в другом варианте «новой онтологии» – в экзистенциализме. Для Хайдеггера вопрос об осмыслении бытия – это прежде всего вопрос о сути искусства. С этой позиции он вводит свое основное определение назначения искусства: «произведение открывает мир и устанавливает землю»¹. Мир, открываемый искусством и данный только человеку, *беспредметен*, поскольку это – целокупность жизненно значимых отношений в совместном бытии (со-бытии) человека с другими людьми, которой живет и действует народ в ту или иную историческую эпоху. «Мир» высвечивает одновременно то, «на чем и в чем человек основывает свое жилье» и что без этого освещения остается совершенно скрытым для человека. Он называет это *землей* – существование вещей в их сокрытости, из которой они могут выйти в поле зрения человека только благодаря «отблескам, бросаемых на них миром».

Тем самым Хайдеггер заново интерпретирует кантовское понимание эстетической сферы. Как и у Канта, произведение искусства (эстетическая идея) соотносит в себе свободу и природу. Первая – область свободных нравственных решений, являющихся ориентирами культуросоцидания, – практический разум, понятиям которого не может быть дано наглядного представления («мира», «беспредметного», но «открывающего», по Хайдеггеру). Вторая – природа, предметно-понятийное знание о которой – теоретический разум никогда не достигает раскрытия ее собственной сущности («земли» как «сокрытого» по Хайдеггеру). Именно поэтому Кант не признавал каких-либо познавательных возможностей искусства. Согласно кантовской традиции, и Хайдеггер отрицает постижение «вещи самой по себе» через представления, принадлежащие миру феноменов, но для него, в отличие от Канта и подобно Шопенгауэру, и в научном познании бытие остается «сокрытым». Наука, имеющая своим содержанием предметно-понятийное знание, неспособна проникнуть в существующее. Напротив, искусство, «мир» которого беспредметен, содержит в себе, по Хайдеггеру, истину как несокрытость существующего. Исходя из этимологии греческого слова «*алетейя*», он вступает в полное противоречие с буквой кантовской эстетики и утверждает: *красота есть способ, каким существует истина как несокрытость*.

Однако этот вывод Хайдеггера отнюдь не противоречил существу эстетики Канта, поскольку под истиной понимается здесь не соответствие художественной картины мира объективной действительности. Истина в художественном произведении есть «порождение такого су-

¹ Heidegger M. Der Ursprung des Kunstwerkes. Stuttgart, 1967. S. 43.



ществового, которого до этого не было и никогда не будет» – творение небывалого. *Искусство*, согласно Хайдеггеру, поэтому *принадлежит самому бытию, а художественное творчество есть созидание новых форм бытия* как отдельного человека, так и исторического народа.

Произведение искусства выполняет поэтому свое предназначение только тогда, когда оно выходит за пределы обычного – сферы стандартных ситуаций и безличных отношений («там») и открывает перспективу возможного бытия человека, в котором он обретает истину собственно человеческого существования, подлинность Я. Художественное произведение, по Хайдеггеру, выдвигает, таким образом, проект будущего развития культуры, и осуществляться он может изначально лишь при посредстве языка. Вслед за Г.Когеном Хайдеггер подчеркивает творческую функцию языка в формировании сознания и в процессе коммуникации. Однако он акцентирует внимание на роли языка в установлении связи с бытием – на *онтологической функции языка*.

Толкование стихотворений Гельдерлина позволяет мыслителю конкретизировать собственную трактовку искусства. Только через язык приоткрывается бытие, и потому «язык и осуществление события, которое располагает высшими возможностями человеческого бытия». Величие самого Гельдерлина – «поэта поэтов», по убеждению Хайдеггера, заключается в том, что в «скудное время» выхолащивания онтологического и антропологического смысла искусства он заново учреждает сущность поэзии и определяет контуры обновленного проекта человеческого бытия, возрождения европейской культуры.

Трактовка культуры в феноменологии и экзистенциализме, таким образом, существенно отличалась от классической кантианской традиции смещением фокуса исследования с форм деятельности сознания человека на его бытие в мире. В этой тенденции философия культуры сближалась с марксистским подходом к проблеме человека. Не случайно Г.Зиммель, для которого философия жизни становится синонимом философии культуры, ценил марксистскую концепцию исторической сменности материальных и духовных форм жизни общества и считал ее общей формулой истории культуры. Задачей культурологического исследования Зиммель считает поэтому сохранение «объяснительной ценности хозяйственной жизни путем включения ее в основания духовной культуры»¹. Человеческая деятельность получает у него расширенное толкование: она включает в себя не только духовные виды, но и материально-практические, прежде всего – коллективный труд. Преобразование и

¹ Simmel G. Philosophie des Geldes. Leipzig, 1922. S. 522.

общение оказываются в концепции Зиммеля видами деятельности, создающими материальную культуру и взаимосвязанными с формами духовной культуры. В отличие от Маркса, однако, координированное развитие всех культурных форм в определенную историческую эпоху Зиммель объясняет их возникновением из общей «метафизической» точки, где смыкаются представления о бытии и долженствовании.

Убеждение в наличии у истоков конкретно-исторического типа культуры единого синкретического начала укрепилось, вероятно, у Зиммеля также под влиянием кропотливого изучения «пра-феномена» Гете, жизнь которого, как сознательное развитие личности из некоего внутреннего центра, делает поэта для культуролога примером «культивированности». Характер же культуры личности, ее становление, по Зиммелю, соответствуют структуре культуры общества и ее эволюции.

Личность Гете, его жизнь и деятельность стали в XX веке предметом самого пристального внимания также и культурологов, поскольку многие из его идей, высказанных мимоходом, иногда на первый взгляд не связанных друг с другом, могут быть оценены по достоинству уже как ответ на вызовы сегодняшнего дня. Отметим главное для нашей темы соотношения видов деятельности и культурных форм.

Определение Кантом предназначения эстетической рефлексии отвечало стремлению Гете создавать средствами искусства целостный жизненный мир человека – явить в художественном феномене единство природного и духовного бытия. Но, размышляя над этой проблемой, Гете обнаружил лауну в эстетической мысли Канта. Ведь философ детально анализировал суждение вкуса об эстетической идее, как она явлена в произведении искусства, или – по аналогии с ним – в природе, то есть исследовал позицию восприятия. Гете же интересовало то, что этому восприятию предшествует, – соиздание гением эстетических идей, которое, по существу, осталось за пределами кантовской аналитики.

Размышления над проблемами творчества привели поэта к выводу, не предусмотренному кантовской эстетикой: эстетическая идея не просто соотносит содержание теоретического и практического разума, не имея собственного объекта, наряду с законами природы и свободы, она претворяет его в новый объект – конкретную индивидуальность, содержание которой не вмещается в общие понятия ни науки, ни морали и потому для них, действительно, не представляет «интереса». По мысли Гете, художника делает художником именно способность схватить и выразить «общий смысл» в единичном случае.

Осмысление Гете кантовской эстетики путем дополнения проблематики трансцендентального идеализма онтологическими проблемами «Монадологии» Лейбница предвосхищало, по сути, движение философ-



ской мысли XX века к «новой онтологии» и содержало значительный теоретический потенциал. Важно поэтому также, что только искусству, по Гете, доступно постижение индивидуального бытия человека в единстве его духовной (нравственной) и телесной природы.

Вывод Гете о том, что наука и искусство необходимо дополняют друг друга в познании и осмыслении бытия как обобщение индивидуального и индивидуализация общего, что они вместе определяют становление целостного гуманистически осмысленного жизненного мира человека, являлся, таким образом, развитием кантовской эстетики в анализе гения.

Гете ценил Канта больше всех «новейших философов», включая Гегеля, однако изучение гегелевской систематики побудило его к рассмотрению соотношения культурных форм в их историческом становлении, что также не входило в поле зрения Канта. Размышление над этой проблематикой нашло отражение, в частности, в романе «Годы странствий Вильгельма Майстера». Его анализ обнаруживает, как трансформировалась у писателя кантовская трактовка соотношения знания, нравственности, искусства с религией.

Нравственный закон, полагающий отношения равенства человека с человеком, в котором Кант видит основание для восхождения к идее Бога, у Гете оказывается самым поздним результатом в истории человеческого рода – возникновения философского сознания, свободного от культа Высшего и от христианской догматики и потому автономного от религии в собственном смысле слова. Началом же культуры является религия, провозгласившая благоговение перед Высшим, то есть форма сознания, положившая основание всему монотеизму и отвечающая существу религии. Религия как форма сознания и культуры понимается Гете, таким образом, как единый корень всех культурных форм, исторически обретающих своеобразие и самостоятельность по отношению к своему истоку, но сохраняющих и в светском своем существовании интенцию первоначала – веры и рожденный в ней этос.

Интенцию веры поэтому несет в себе и искусство, если восприятие его предметного содержания предполагает движение эстетической рефлексии к некоторой нравственной (сверхчувственной) идее. Убеждение Гете в историческом изменении культурной роли религии отлилось в его знаменитый афоризм:

Кто владеет наукой и искусством,
У того есть религия.
Кто не обладает этими обоими,
У того пусть будет религия.

Гете конкретизирует, таким образом, кантовскую точку зрения с позиций историзма: способность трансцендентального субъекта восходить при созерцании явлений природы к идее Бога в рефлектирующем суждении задана принадлежностью к культурной традиции, начатой религией.

Для обоих мыслителей, однако, эстетическая рефлексия о прекрасном и возвышенном являет собой пример суждения о мире, в котором движение мысли инициировано нравственным мотивом (в этом смысле именно оно наглядно демонстрирует примат практического разума), и предметно-понятийное содержание сознания несет в себе интенцию веры. Однако, получив направление своей деятельности в эстетическом акте, разум действует в границах собственной автономии, и собственно знание оценивается лишь по критериям самой науки. Равным образом произведение искусства является предметом лишь суждения вкуса, но не науки, морали и религии.

Следует отметить далее, что Гете обнаружил в кантовской философии еще один существенный пробел. Художник, который стремился понять жизнь человека в полноте его духовно-телесной природы, директор Веймарского театра, министр, решавший разнообразные практические вопросы, от технических до уголовных, он уделял самое пристальное внимание повседневному человеческому бытию. Поэтому он переосмысляет одно из основополагающих кантовских понятий – «продуктивность», относя его не только к активности сознания, но рассматривая как универсальный критерий любой деятельности, включая материально-преобразовательную. Признание Гете культурной значимости последней обнаруживает уже тот факт, что строительство города, овладение природной стихией были уготованы поэтом для Фауста как сфера деятельности, где его герой обретает конечный смысл жизни. Понимание же субъекта деятельности не только как автономного носителя трансцендентальных способностей, но как человека, сознание которого формируется в процессе взаимодействия с другими людьми на протяжении всей жизни – как «коллективного существа», означает, что общение тоже было необходимо включено для Гете в круг человеческой жизнедеятельности. Это выразилось, в частности, в характеристике собственной личности: «Что такое я сам? ...Мои произведения вскормлены тысячами различных индивидов, невеждами и мудрецами, умными и глупыми...; я часто снимал жатву, посеянную другими, мой труд – труд коллективного существа, и носит он имя Гете»¹. Иначе говоря, не только наука, искусство и нравственность, но также преобразование и общение исторически раз-

¹ И.-В. Гете. Избранные философские произведения. М., 1964. С. 377.



виваются из синкретического единства на почве религиозного сознания и постепенно обретают автономность по отношению к нему. Светская культура может рассматриваться в своей самодостаточности. Эти идеи также были очень близки культурфилософской мысли М.С.Кагана, на протяжении всей жизни изучавшего творчество Гете.

Если теперь попытаться суммировать приведенные исторические подходы к трактовке системной целостности культуры, создаваемой человеческой деятельностью, то принципиальная схема приобретет такой вид:



Наука как форма культуры рассматривается здесь как специализированный вид познания, устанавливающего объектно-объектные отношения и взаимосвязанного прежде всего с потребностями преобразовательной деятельности (включая материальную практику). Ценностная ориентация как особая сфера духовной культуры понимается во взаимобусловленности по преимуществу характером общения (в том числе – отношениями в процессе труда), и ее смыслообразующим центром остается мораль, ценностное содержание которой имеет субъектно-субъектную природу. Разнородность познания и ценностной ориентации и была проанализирована Кантом в его «критике» чистого и практического ра-

зума. Эстетические ценности трактуются потому как область экстраполяции нравственных ценностей на картину мира, создаваемую познанием, и оттого их существо – субъектно-объектные отношения, а фокусом эстетической сферы является искусство – приоритетный носитель и источник эстетических ценностей. Эстетический субъект придает индивидуальность и эмоциональную окрашенность всем формам культуры, искусство является фактором эстетизации и гуманизации системы культуры в целом. Религия же предстает синкретическим началом культурных форм, по отношению к которому они исторически обретают автономию. Однако религия сохраняет свою культурную значимость и в контексте светских форм, поскольку ее интенция – трансцендентное, и она задает некий общий вектор в эволюции культуры, с которым в большей или меньшей степени соотносят себя другие формы культуры.

Таким образом, можно утверждать, что концепция М.С. Кагана очерчивает контуры перспективного теоретического синтеза, продолжая мировые традиции философского исследования культуры. Религия в своей синкретичности предстает здесь как прообраз искусства, или искусство может рассматриваться в качестве светского аналога религии – как полномочный представитель культурной целостности. Сегодня, если исследование различных форм культуры в контексте культуры в целом ведется не в русле богословия, а с позиций философии, то в фокусе внимания оказывается анализ отношений науки и производства, общения и ценностной ориентации со сферой художественной деятельности: дизайн, эстетические стратегии коммуникации, эстетические аспекты менеджмента и бизнеса и т. д. Пожалуй, можно констатировать своеобразную диффузию художественной субкультуры на все культурные формы и, соответственно, эстетического исследования на другие области философского знания. Плодотворность такого рода исследования немислима, разумеется, вне традиций фундаментальной эстетики, и это делает исключительно актуальным теоретическое наследие М.С. Кагана.



МИР И ЛИЧНОСТЬ М. С. КАГАНА:

ПУТЬ К СИСТЕМНО-СИНЕРГЕТИЧЕСКОМУ ПОНИМАНИЮ КУЛЬТУРЫ

О. Н. Астафьева*

«Кагановские университеты»

Моисей Самойлович Каган вошел в мою жизнь не по какому-то особому сценарию, и мои «три шага» навстречу ему растянулись на три десятилетия. Как и для большинства тех, кто жил вдали от нашей «северной столицы», Кагана открывали в студенческие годы через его статьи и книги. По мере погружения в мир концептуальных идей Кагана, изложенных ясно и упорядоченно, четко структурированных в систему представлений об искусстве, его работы приобрели для меня особый смысл и стали моими настольными книгами. Только после окончания аспирантуры я впервые услышала выступление М.С. Кагана, и тогда его Имя дополнилось впечатлениями от его яркой педагогической риторики. Это значительно усиливало сложившиеся оценки содержания его опубликованных текстов, но и формировало восторженное отношение к его лекциям и докладам. Притягательная сила личности Кагана была такова, что те, кто хотя бы раз получил возможность пообщаться с обладающим энциклопедическими знаниями и наделенным особым даром воздействия на собеседника Моисеем Самойловичем вне строгой аудиторной атмосферы, непременно подпадал под его обаяние на всю жизнь.

Наконец, в 90-е годы наступил третий период моего «открытия» Моисея Самойловича – самый интересный и плодотворный десятилетний период нашего личного общения, когда его гармоничный образ заиграл всем спектром его достоинств как известного ученого и блестящего педагога, как честного гражданина и гуманиста, прекрасного человека... Тогда я в полной мере осознала уникальность его Личности – высочайшей пробы интеллигента, «петербургского профессора» (так он сам говорил о себе), всегда сохраняющего за собой право высказывать свои идеи, дорожающего своим нравственным достоинством и честью, составляющими его внутреннюю глубинную сущность. Вообще, как мне кажется

* Астафьева Ольга Николаевна – философ, разрабатывает синергетический подход в культурологии, доктор наук, профессор, заместитель заведующего кафедрой культурологии и деловых коммуникаций Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, заведующая сектором Российского института культурологии в Москве.

ся, М.С. Каган был, не выпячивая это напоказ, очень независимым человеком. Он ценил не только свою интеллектуальную свободу, но и уважал свободу других, в каких бы мыслях – несовпадающих с его позицией или, напротив, близких ей, – она ни выражалась. Естественно, что все это вызывало у окружающих искреннее желание общаться с Каганом, слушать его, учиться у него. Он дал мне такую возможность, став для меня Учителем и надежным другом.

Вряд ли можно было бы позволить себе смелость подобного заявления, если бы не слова дарственной надписи Моисея Самойловича в книге «Град Петров в истории русской культуры», которую он передал мне у себя дома 29 декабря 2005 года: *«Моему глубокоуважаемому коллеге, ставшему дорогим другом...»*.

Этот день навсегда остался в моей памяти. Мы проговорили с ним более четырех часов, прерываясь то на чай, то на прием лекарств (Юлия Освальдовна строго отслеживала время каждой процедуры); просто сидели несколько минут молча, когда он слегка дремал; перемещались то на кухню, то в кабинет, – до тех пор, пока мне не подошло время уйти на защиту диссертации его последней аспирантки, за Моисеем Самойловичем же пришли друзья, чтобы хоть часок погулять с ним на свежем воздухе.... Такой была наша последняя встреча, фактически встреча-прощание.

До его ухода из жизни оставалось немногим более месяца...

О научной школе и научном стиле М. С. Кагана

Примерно четыре-пять поколений отечественных ученых могут начинать рассказ о своих учителях словами: «Впервые я познакомился с Каганом...» Это уже само по себе является примечательным фактом. Вряд ли кто-то может точно сказать, сколько человек считают его своим учителем. С каждым из поколений своих учеников у Моисея Самойловича выстраивались особые отношения, они стали своего рода маркером больших отрезков его шестидесятилетнего научного и педагогического пути. На каждом из них Каган открывал что-то новое, и то, *как он видел это новое*, было не всегда объяснимо в рамках существующей парадигмы. Эрудированность и энциклопедичность мышления, феноменальная память способствовали тому, что Моисей Самойлович интуитивно ухватывал нечто, только смутно начинавшее формироваться в научной среде. И, как сжатая пружина, «выстреливал» уже оформленной идеей, которая была пропущена через его мыслительный процесс. Решение конкретной исследовательской задачи было для него творческим, но все-таки внутренне организованным процессом, ибо действовал он целенаправленно, согласно годами выработанной собственной стратегии. Во всяком случае, я имела возможность наблюдать за тем, как он разрабатывал



синергетический подход – новый для него, – и он поставил перед собою цель расширить сферу применения этого методологического инструментария. Возможно, для тех, кто не вникал в его творческий процесс, такой подход выглядел слишком рационализированным, но это был особый *кагановский алгоритм* продвижения к цели – продумывать, проговаривать в разных аудиториях и, наконец, четко оформлять свою идею, чтобы сделать ее доступной для других. У А.М. Пятигорского есть фрагмент, где он рассказывает о своем алгоритме действий в похожей ситуации: «Ты должен вводить в свое мышление и в свой язык какие-то вещи, которых просто во времени нет. Употреблять какие-то странные обходные методы, которые действуют, потому что тот, кто их использует, их сам до конца не может понять. Ибо если бы он смог их понять, то у него бы ничего не вышло»¹. Да, Каган тоже обладал этим «чутьем» на новизну, и его тоже понимали не все и не сразу. Но он пытался объяснить и четко изложить свои идеи одновременно и коллегам, и в студенческой и аспирантской среде. Отсюда такая стройность и логика изложения в его лекциях и докладах, которых прочесть за свою жизнь он успел, думаю, не одну тысячу. Вне всяких сомнений, филологическое образование Кагана очень помогло ему раскрывать идеи, выстраивать стройные концепции, сформировало его особый стиль философствования.

Себя я отношу к предпоследнему поколению в научной школе Кагана, которая, несомненно, сложилась по принципу самоорганизации, поскольку Моисей Самойлович не задавался конкретной целью «затянуть» в свой класс или навязать интересную тему молодому исследователю. Свобода выбора темы и подхода всегда оставалась за его учениками. Об этом можно судить по многообразию их научных интересов, что, впрочем, вполне созвучно безбрежной широте проблематики в трудах самого Моисея Самойловича – несомненно, увлекающегося, внимательно отслеживающего выход новой литературы по самому широкому кругу проблем, откликающегося на любую, мало-мальски заслуживающую внимания со стороны мэтра, идею.

Наука и педагогика в его жизни всегда шли рядом. Вообще очень часто академическая научная деятельность и педагогическая работа противопоставляются, более того, ставится под сомнение сама возможность успешного их сочетания. Мы обсуждали с Моисеем Самойловичем Каганом эту проблему. Он сказал очень просто: педагог должен пройти «тест Симонова»² и честно ответить, готов ли он работать для других. Если –

¹ Пятигорский А.М. Индивид и культура / Беседу вел Ю.П. Сенокосов // Вопросы философии. – 1990. – № 5. С. 98–104.

² Академик П.В. Симонов (1926–2002) – российский психофизиолог, биофизик и психолог; являлся директором института Высшей нервной деятельности РАН.

нет, то из него не получится хорошего педагога. М.С. Каган считал, что в университетах, да и в большинстве педагогических коллективов, может формироваться серьезная научная среда. Он был тем стрелецким, кто эту среду поддерживал и в эту среду привносил креативные идеи. В работах последних десятилетий появились глубочайшие размышления о личности, о ее формировании в образовательной среде. Конечно, эта проблематика проходит через всю его жизнь, однако понятие личности сквозь призму синергетического мировидения раскрыло для него личность как суперсверхсложную систему, становление целостности которой продолжается всю жизнь. Значение педагогики и роль учителя в этом процессе виделись ему «как *духовное содействие своим ученикам в их самоопределении как личностей*, т. е. в свободном выборе каждым такой иерархии ценностей, которая отвечала бы потребностям человечества в нынешней остро критической фазе развития. А для этого учитель должен отчетливо понимать сам и суметь донести до своих учеников, что выработка системы ценностей – это не линейно однонаправленный, как в освоении наук, а *нелинейный синергетический процесс свободного выбора определенных идеалов, смысложизненных установок, «моделей потребного будущего», предметов, как некогда говорили, «веры, надежды, любви»* и что достижение этой цели нуждается в иной «технологии» педагогической деятельности, чем преподавание основ наук»¹.

Мне кажется, что среди главных принципов, составляющих основу его педагогической практики, могут быть названы те, которые направлены на инициирование творческой активности ученика и построены на живом общении учителя и ученика: не разрушать доминанты саморазвития личности; вступать со своими учениками в межсубъектный диалог. По мере расширения научных коммуникаций взаимодействие между поколениями в научной школе Кагана стало осуществляться по принципу полилога: старшие коллеги помогали идущим за ними, а мы – его самым юным ученикам; все вместе решали общие междисциплинарные проблемы, сохраняя за собой свою нишу в гуманитарном или социальном знании. Это позволяет говорить о научном сообществе, развивающем идеи Кагана, поддерживающем память о нашем учителе. Так сформировалась особая философско-культурологическая среда, где рождение новых идей – это своего рода результат *взаимодействия* людей, включенных в творческий процесс осмысления сложнейших задач. На мой взгляд, именно «междисциплинарный вызов» М.С. Кагана и был рожден в результате

¹ Каган М.С. Формирование личности как синергетический процесс // Синергетическая парадигма: Человек и общество в условиях нестабильности / Отв. ред. О.Н. Астафьева. – М., 2003. С. 224.



присущей ему потребности в творческом обмене, в желании преодолеть «разрывы» между все большей специализацией («углублением» дисциплинарных поисков) и сложностью современных проблем, решение которых без «самосознательной коммуникации» и «принятия роли другого» подчас просто невозможно. Несомненно, что Каган верил в возможность достижения серьезных результатов не только одной личностью, но и посредством «коллективного интеллекта», иначе, «коллективного сетевого разума, формируемого в процессе межличностной синергичной коммуникации»¹, когда происходит соединение способностей и качеств индивидов в динамичной и неустойчивой – творческой – среде.

Заинтересованно обсуждая перспективы организации Международной междисциплинарной ассоциации, которая бы стимулировала активность исследователей, берущихся за решение актуальных проблем, стоящих перед обществом, М.С. Каган и Ю.М. Резник подчеркивали не только сложность решения социальных аспектов этой проблемы (организационно-институциональных, финансовых и пр.), но и актуальность создания междисциплинарной сетевой структуры, обращая внимание на огромное парадигмальное значение междисциплинарных исследований во всех областях знания и потребность в их методологическом обосновании, существующие в современной науке².

Не будем исключать и того, что разворачивающаяся в пространстве междисциплинарности «трансдискурсивная коммуникация» состоялась в научной школе Кагана на основе определенных правил, сложившихся с участием самого Кагана, обладающего лидерскими качествами, понимающего специфику задач и проблем, ради решения которых и происходило объединение разных личностей, формировались условия для творческого взаимодействия и успешной коммуникации. Его роль неформального лидера в организации дискуссий по эстетике, по методологии системного подхода, по развитию идей диалога культур, возможностей синергетики в социально-гуманитарном знании, несомненно, велика. Ведь междисциплинарность в горизонте культуры – это сложнейшая многоуровневая система не только пересечения методологических линий, но прежде всего взаимоотношения личностей, опирающихся в своей творческой деятельности на различные принципы и нормы исследования, использующих разные методологические подходы и являющихся носителями разных ценностей и смыслов.

¹ Аршинов В.И., Буданов В.Г. Синергетика как методология коммуникативного конструктивизма // Конструктивистский подход в эпистемологии и науках о человеке / Отв. ред. В.А. Лекторский. – М., 2009. С. 242.

² Каган М.С. Моя жизнь в философии (интервью с профессором М.С. Каганом) / Резник Ю.М. // Личность. Культура. Общество. 2005. Том V. Вып. 3–4. С. 359.

По Кагану принцип научного и межличностного общения всегда был диалогичен. Но этот принцип распространялся им и на все пространство культуры, на весь мир артефактов. Не случайно тема «диалога в культуре Петербурга» стала одной из сквозных, пронизывающих многие его размышления. Он все время показывал нам, пока мы прогуливались по городу, как взаимодействуют в нем разные стили, как вступают в диалог эпохи. В своей книге «Град Петров...», описывая особенности строя мышления, рассуждений и переживаний, стиль поведения героев Достоевского, Каган специально подчеркивал особенный художественный тип мышления петербургского интеллигента, относя диалогизм к бытийному и художественному принципу, имеющему не столько личностное происхождение, сколько глубинно социокультурное – петербургское. Сфера его проявления – несравненно более широкая, чем творчество одного писателя¹. Диалогизм был сущностным свойством его личности. И сейчас, бывая в Петербурге, я сохранила тот «угол зрения», который был задан Каганом.

Возвращаясь к разговору о свойственной Моисею Самойловичу увлеченности новыми темами, отмечу прежде всего то, что переключение научного интереса никогда не приводило его к поверхностным суждениям, а, напротив, активизировало широкий поиск литературы и материалов. Он, с жадностью осваивая новый, с трудом пока поддающийся всеобщему пониманию материал, в результате приходил к неординарному решению очередной проблемы. Между тем, строгий научный стиль изложения выдвигаемой идеи, серьезное ее обоснование, базирующееся, как это видно из его текстов, на огромном количестве изученной литературы и уважительных отсылках к работам известных и только начинающих исследователей, лишь пунктиром обозначивших тему, – все свидетельствует о научной порядочности и «педантичности» в самом хорошем смысле, составляющих основу его научного этоса, чего зачастую не хватает не только молодым исследователям, но и некоторым общепризнанным научным авторитетам. Оставалось лишь удивляться огромному по-энциклопедически многонаправленному охвату проблематики, вытекающему из желания вникнуть в суть нового, поскольку, будучи неформальным лидером (не нуждающимся ни в каких дополнительных статусных «подпорках»), Каган ощущал высокую степень ответственности, понимая, что и ход его мысли, и его работа находятся в центре внимания. И без показателей индекса цитирования все было ясно: «за» или «против», но высказаться относительно текстов и идей М.С. Кагана старались очень многие, поскольку это было своего рода признаком профессиональной компетентности.

¹ Каган М.С. Град Петров в истории русской культуры. 2-е издание, перераб. и доп. – СПб., 2006. С. 187.



Вообще, он очень гордился успехами своих учеников, рассказывая о них при каждом удобном случае. Думаю, что многие из них хотели бы иметь возможность собираться на ежегодные Кагановские чтения в Санкт-Петербурге, не только поддерживая память об учителе, но и продолжая заложенные им философско-культурологические традиции. Сегодня они живут в разных городах и регионах России. Я безмерно благодарна Моисею Самойловичу за каждого переданного мне от него «как бы по наследству» ученика–коллегу–друга, даже если кто-то из них и не разделял его точку зрения, потому что плохих друзей у него не было и быть не могло.

Наши встречи в Санкт-Петербурге и в Москве были очень разными, хотя в равной степени всегда интересными и незабываемыми. Так сложилось, что в Москве к началу 90-х гг. у Моисея Самойловича осталось не так много друзей. Но укреплению нашей дружбы, думаю, во многом способствовал тот факт, что некоторое время я работала в Московской государственной консерватории вместе с Семеном Хаскевичем Раппопортом – известным эстетиком, преподававшим в ней более 40 лет. Во время приездов Кагана в Москву я бывала свидетелем их встреч. Они были очень близкими друзьями, обращались друг к другу не иначе как Сеня и Мика. Дружба их была удивительной – им всегда было о чем говорить, что вспомнить, и, главное, о чем поспорить, особенно на их любимую тему – о сущности эстетики и о будущем марксизма.

Да, они расходились в своих научных взглядах на методологию гуманитарного знания (что признавали оба), но это ничуть не мешало им долгие годы дружить, а бывшее участие обоих в Великой Отечественной войне придавало их общению теплоту и взаимное уважение. Их, так сильно различающихся и внешне, и по характеру, связывали также воспоминания об общих друзьях и о памятных поездках по городам России, в Эстонию, Литву, Армению, Грузию и другие республики Советского Союза, где проходили знаменитые конференции по эстетике и философии культуры¹. М.С. Каган вспоминал: «Мы считали себя духовными братья-

¹ С.Х. Раппопорт скоропостижно скончался в результате нелепого случая – споткнулся о ступеньку у знаменитого памятника П.И. Чайковскому перед консерваторией, фактически погиб на своем рабочем месте. Через месяц его не стало. Он не дождал своего 90-летнего юбилея, к которому мы уже начали готовиться, всего несколько месяцев. Для Моисея Самойловича это была очень горькая утрата. Он написал некролог и попросил меня зачитать текст от его имени в день похорон, сказав только одну фразу: «Я не смогу присутствовать, мне очень трудно. Передай мои соболезнования всем его родным». Потом этот текст я передала в редакцию журнала «Вопросы культурологии», где он и был вскоре опубликован. См.: Каган М.С. Памяти Семена Раппопорта // Вопросы культурологии. – 2005. – № 10. С. 46.

ми – старшим был он, младшим Нико Чавчавадзе, средним я; нас сближала не только теоретическая мысль, но и социальные позиции, и восприятие искусства, и способность ценить мужскую дружбу, и любовь к ритуалу грузинского застолья...»

Среди московских друзей и коллег Кагана, с которыми он встречался, были Владислав Жанович Келле¹ и Владимир Николаевич Шевченко, а также супруги Бурбулисы, которые в последние месяцы жизни Моисея Самойловича очень помогали Юлии Освальдовне в решении трудных вопросов по организации лечения Моисея Самойловича. В день рождения Моисея Самойловича, 18 мая, я встречала Геннадия Бурбулиса и у могилы Кагана, где стоит памятник, к установке которого он также имел непосредственное отношение.

М. С. Каган: суть и перспективы синергетического подхода

Итак, серьезным научным интересом в последние годы жизни стала для М.С. Кагана синергетика. Если проанализировать выступления и статьи двух последних десятилетий его жизни, то отчетливо видно, что синергетическая проблематика заняла в них центральное место. Чтобы понять современный мир, нужно посмотреть на него современным взглядом, подчеркивал ученый, и синергетика оказалась для него «магическим ключом» к выявлению и решению проблем, которые начиная с XVIII века будоражили философскую и культурологическую мысль.

Серьезной проблемной зоной Моисей Самойлович называл *трактовку* развития мировой культуры в линейной парадигме. Синергетика, считал он, позволяет преодолеть узкие рамки сложившихся в истории культуры концепций и ограниченность каждой из них. В разных его работах подчеркивается важность идеи полилинейного (многовекторного) подхода, что позволяет говорить об особом типе целостности бытия и развитии культуры, показать различия в принципах ее развертывания. Не случайно другой активно разрабатываемой идеей стала предложенная им типология антропо-социо-культурных систем². Тем самым Каган поднял вопрос о необходимости усложнения системного подхода синер-

¹ В августе 2010 года ушел из жизни замечательный человек и выдающийся философ В.Ж. Келле, который также не дожил всего нескольких месяцев до своего 90-летия. О дружбе М.С. Кагана и В.Ж. Келле см.: Астафьева О.Н. Интеллектуальные и духовные императивы В.Ж. Келле // *Личность. Культура. Общество*. 2010. Том XII. Вып. 3 (57–58). С. 390–395.

² О типологии систем см.: Каган М.С. Формирование личности как синергетический процесс // *Синергетическая парадигма: Человек и общество в условиях нестабильности* / Отв. ред. О.Н. Астафьева. – М., 2003. С. 218–219.



гетическим, так как происходящие процессы самоорганизации в разных системах – простых (механических), сложных (биологических, химических и пр.), сверхсложных (культура, общество и пр.) и суперсверхсложных (личность, художественное творчество), имеют свои особенности. Развитие в антропо-социо-культурных системах осуществляется на принципах самоорганизации, а благодаря роли совокупного социального субъекта поддерживается их целостность. «*Самоорганизация* становится здесь процессом, в котором объективные закономерности оказываются связанными с действиями людей, осуществляющих *самоуправление* таким движением <...> развитие данного класса систем есть бесконечный процесс, не знающий гомеостатического состояния»¹. То есть системно-синергетический подход помогает разобраться в том, как народы, нации, профессиональные группы, поколения созидают культуру, то есть приблизиться к решению центральной задачи культурологии и тем самым приблизиться к раскрытию этой тайны.

Кстати, на усложнение системного подхода в гуманитарном знании неоднократно указывал Ю.М. Лотман, подчеркивающий, что «вторжение внесистемного в системное составляет один из важнейших источников превращения статической модели в динамическую. Система, не подразумевающая внешнего наблюдателя и полностью замкнутая в собственной структуре, не имеет специфики»².

Каган исходил из нелинейности и нестабильности, открытости культуры к изменениям и трансформациям. А сам процесс поиска синергетических принципов, становления собственного синергетического мышления был сродни постепенному произрастанию в креативной среде новых идей. Не преувеличивая, можно сказать, что для него такое преодоление определенных установок потребовало усилий в разные периоды его жизни и было прежде всего победой над самим собой. Он вспоминал начало работы над синергетической парадигмой как новый этап, в который он включился быстро и очень остро, я бы сказала, дискуссионно. И опять встав на ту самую позицию лидера в отечественной гуманитарной мысли, какую он уже занимал, внедряя системный подход, Каган четко разводил время появления у него мысли о написании истории мировой культуры (в военные годы) и периода обращения к синергетике.

«Я в принципе начал этим заниматься еще тогда, когда была война. Вот тогда, когда я стоял в окопах и четыре часа бомбы не взрывались, – а

¹ Каган М.С. *Метаморфозы бытия и небытия: онтология в системно-синергетическом осмыслении*. – СПб., 2006. С. 78.

² Лотман Ю.М. *Непредсказуемые механизмы культуры / Подготовка текста и примечания Т.Д. Кузовкиной при участии О.И. Утгофа*. – Таллинн, 2010. С. 41.

был и такой период, – и в это время я прокручивал фрагменты истории и думал: почему история вырисовывается у нас в таком однолинейном процессе, когда совершенно явно, что были три типа культуры, и каждый из этих типов культуры шел своим путем, когда-то они пересекались, но чаще всего ни один из них не был обязательным именно в той последовательности, которая рисуется в учебниках». Может быть, эти идеи и остались бы лишь идеями, если бы не синергетика. Она, по его словам, дала ему ключ к описанию нелинейного развития истории культуры, которую М.С. Каган изложил в двух томах книги «Введение в историю мировой культуры»¹ как концепцию закономерностей развития мировой культуры, основанную на их синергетическом осмыслении. И это был достаточно смелый шаг, ибо однозначной оценки синергетический подход в гуманитарных науках, действительно, еще не получил, хотя сегодня в культурологии следование этому методу связывается с определенными именами и авторами интересных исследований по культуре и искусству². М.С. Каган вновь взял на себя груз первопроходца – ведь утверждение синергетического подхода в культурологии повторяет путь, который в свое время проделала системная методология: от ее полного неприятия до понимания того, что без системного подхода нет гуманитарной науки, а есть лишь гуманитарное знание. Системный подход был первым шагом навстречу новому пониманию целостности культуры, постижение которой продолжается и в синергетике – теории самоорганизации сложных систем, находящихся вдали от равновесия.

В этой связи мне хотелось бы обратить внимание, что М.С. Каган, как и многие из современных исследователей, признавая существование высокой степени структурного взаимодействия в самоорганизующихся системах, осознавал опасность механического переноса закономерностей самоорганизации с физических, химических, биологических систем на системы социальные. Однако по мере развития синергетических идей, по мнению Г.Хакена, вопрос о существовании «общих принципов, управляющих самоорганизацией, независимо от природы отдельных частей системы», стал решаться позитивно, причем в последнее двадцатилетие это уже касается широких классов систем. Тем не менее, замечает он, это не снимает ограничений, ибо «за общность применимости

¹ Каган М.С. Введение в историю мировой культуры. В 2 кн. СПб., 2000–2001 гг. 2 изд. СПб. 2003.

² Подробно об основных направлениях развития синергетического подхода в социально-гуманитарном знании мы написали в работе, см: Астафьева О.Н., Добронравова И.С. Социокультурная синергетика в России и Украине: предметная область, история и перспективы // Постнеклассика: философия, наука, культура: коллективная монография / Отв. ред. Л.П. Киященко, В.С. Степин. – СПб. 2009., С. 634–670.



этих принципов мы должны чем-то расплачиваться»¹. На мой взгляд, речь скорее идет не столько об «ограничениях», сколько об усложнении методологии исследования социальных систем, о которых ученый говорит в первую очередь и которые, согласно типологии М.С. Кагана, являются сверхсложными антропо-социо-культурными системами. И здесь речь уже идет не только о междисциплинарных исследованиях, но и о трансдисциплинарности, поскольку эвристический потенциал синергетики в полной мере может быть проявленным лишь при сопряжении с философской рефлексией, ценностно-смысловыми установками в понимании культуры, с целевыми ориентирами, в совокупности отображающими ее созидательное и ценностно-смысловое начало. Соответственно, только в таком сложном взаимодействии разных типов знания – естественно-научного, социального и гуманитарного, дополненном философско-культурологической рефлексией, выстраивается постнеклассическое понятийно-смысловое пространство анализа. Тем самым закладываются основания для появления новой теоретической парадигмы в исследовании культуры. Такое обоснование возможностей синергетического подхода, на мой взгляд, последовательно проводится М.С. Каганом, начиная с работ 1990-х гг., и особенно отчетливо представлено в книгах и статьях начала XXI века.

Современным ученым требуется выйти за пределы традиционной идеологии науки, полагал И.Пригожин. Это оправдывает поиск источников обновления и креативности и выражается в переходе «от конфликтующих определенностей, были ли они связаны с наукой, этикой или социальными системами», к вопрошанию, неопределенности как проявлению нового типа рациональности, соответствующего нашему времени. Отсюда и понимание того, что «неопределенность лежит в самой сердцевине человеческой креативности», а поскольку «время становится „конструкцией“», то «креативность выступает способом нашего участия в этой конструкции»².

Таким образом, если в случае с Г.Хакеном речь идет о применении синергетического подхода к исследованию социальных систем как определенной методологии, эвристичность которой не вызывает сомнения, но требует определенной корректировки и предполагает ограничения, то в случае с И. Пригожиным – о новой мировоззренческой парадигме,

¹ Хакен Г. Синергетика как мост между естественными и социальными науками // Синергетическая парадигма: Человек и общество в условиях нестабильности / Отв. ред. О.Н. Астафьева. – М., 2003. С. 107.

² Пригожин И. Креативность в науках и гуманитарном знании: Исследование отношений между двумя культурами // Синергетическая парадигма: Человек и общество в условиях нестабильности / Отв. ред. О.Н. Астафьева. – М., 2003. С. 105.

позволяющей кардинальным образом изменить представления о нестабильности и непредсказуемости, детерминизме и индетерминизме, о ходе эволюции и т. д., по-существу, изменяя и науку, и понимание объекта, предмета и процессов, в них происходящих.

Оба концептуальных положения в той или иной степени созвучны основным идеям, содержащимся в статьях не только М.С. Кагана, но и других отечественных исследователей, более того, они неоднократно обсуждались и ранее. Ведь очень многими авторами осознается существование определенной «границы», которую они пытаются преодолеть в теоретическом познании, ибо практика раскрывает перед ними массу примеров проявления механизма самоорганизации в условиях нестабильности в антропо-социо-культурных системах. Поэтому усилия гуманитариев направлены не только на описание процессов и состояний, скорее – на приближение к уровню теоретических обобщений.

В настоящее время сложились основные типы исследовательских стратегий, в которых синергетика выступает в качестве ведущего инструмента познания социокультурных процессов:

- *коммуникативная (диалоговая)* – стратегия, основанная на принципе взаимодействия разных наук, теорий и подходов, порождающая синергический эффект – открытие нового, ранее неизвестного;
- *теоретическое моделирование*, связанное с переносом схем и моделей синергетики, их адаптацией к иному материалу;
- *трансдисциплинарная* – стратегия как стратегия полилога, полифонического контрапункта, текста, открытого для сложного синтеза.

В методологии социального и гуманитарного знания формируется еще одно направление – синергический дискурс как *особый тип дискурса*, продуцирующийся авторами, принимающими понятия и принципы синергетики за базовые в объяснении социокультурных явлений и процессов. Но синергический дискурс выступает и *особым способом постановки и обсуждения проблем*. Наконец, синергетика как сложная когнитивная система задает и *особый тип синергического дискурса* – это мир трудно сопоставимых логик и метафорических отсылок, с выходом на трансдисциплинарный уровень, приводящий к результату, который только и может возникнуть на пересечении разных когнитивных стратегий и языковых презентаций. Обращение к стратегии синергического дискурса позволяет исследователю, не прибегая к жестким определениям и понятиям, используя разного рода метафоры, осмыслить в терминах синергетики реальность происходящих социокультурных изменений.

В своих работах М.С. Каган обращается к разным стратегиям и, в зависимости от предмета исследования, эволюционирует в направлении трансдисциплинарности.



**«Перенастройка» на Москву:
дискуссия по системно-синергетической концепции М. С. Кагана**

Осуществить идею открытого широкого обсуждения синергетической концепции культурно-исторического процесса М.С. Кагана удалось ровно через год после питерского «эскизного» обсуждения, которое проходило 31 января 2003 года на философском факультете СПбГУ с участием питерских ученых, разделяющих синергетический подход, – В.П. Бранского, А.С. Кармина, С.Д. Пожарского, Р.Г. Баранцева, В.В. Васильковой и др. После выхода второго издания книги «Введение в историю мировой культуры», 22 января 2004 года в рамках семинара «Культура и культурная политика» состоялась научная конференция по обсуждению системно-синергетической концепции культурно-исторического процесса М.С. Кагана, изложенная в его «Введении в историю...». Об этом, по словам самого Моисея Самойловича, удивительном событии, которое он представить себе не мог и во сне, мне хотелось бы рассказать немного подробнее¹.

Конференция проходила в зале Ученого совета Российской академии государственной службы при Президенте РФ. В ней приняло участие около 80 известных ученых, серьезно занимающихся синергетическими исследованиями, философы и культурологи, рассматривающие представленный на обсуждение труд с иных позиций, начинающие молодые исследователи. Это были не только москвичи. Я позвонила многим ученым в разные регионы страны, поэтому послушать М.Кагана приехали коллеги из Санкт-Петербурга, Белгорода, Твери и, конечно, Киева.

Конференция проходила по сценарию, который предложил сам Моисей Самойлович: после вступительной речи бывшего тогда Президент-ректором академии В.К. Егорова Каган сделал большой доклад, раскрывающий основное содержание и смысл концепции, затем шло ее пятнадцатичасовое обсуждение – доклады, выступления, ответы на вопросы и заключительное выступление Кагана по результатам дискуссии.

Каган подробнейшим образом изложил суть своей синергетической концепции, конкретно показав, как она помогает по-новому переосмыслить историю мировой культуры. Синергетика, подчеркнул он, это теория процессов самоорганизации, и главное в ней – постижение закономерностей данных процессов. При этом принципиально важно различать самоорганизацию и саморазвитие, ведь в термодинамических про-

¹ См. также: Егоров В.К., Астафьева О.Н. Научно-методологический семинар «Культура и культурная политика»: синтез теории и практики // Культура и культурная политика. Материалы научно-методологического семинара. Выпуск 1. Синергетическая концепция культурно-исторического процесса М.С. Кагана / Под общ. ред. В.К. Егорова. – М., 2005. С. 6–11.

цессах есть самоорганизация, нет саморазвития. История человечества является саморазвитием, в которое включены моменты самоорганизации, поэтому повышение уровня сложности, меняющей ее качество, выражается в повышении степени разнообразия системы. Особо он подчеркнул, что сегодня перед российской культурой стоит «главная проблема – обеспечив каждому члену общества возможность становиться духовно богатой уникальной личностью, преодолеть порождаемый этим модернистский хаос и найти способ *диалектической связи персоналистского и традиционного потенциалов культуры*. Либо наша страна, как и человечество в целом, не случайно ищущее пути сопряжения персоналистского Запада и традиционалистского Востока, найдет способы решения этой труднейшей задачи, либо человечество в этом хаосе потонет»¹.

Дискуссия развернулась нешуточная. Как ведущая и участник конференции, подчеркну: выступления были не только профессиональными, содержательными, но и эмоционально насыщенными, предельно откровенными. Зная полемичность стиля Н.А. Хренова, я предоставила первое слово ему, и он, оставшись верным самому себе, «возбудил» участников семинара постановкой вопроса о кагановской трактовке глобализации и о его позиции относительно западной и восточной культур. В дискуссию включились В.Ж. Келле, В.М. Межуев, Ю.У. Фохт-Бабушкин, Н.И. Киященко, К.Э. Разлогов. Среди докладчиков и выступающих были Э.В. Баркова, Э.А. Орлова, В.Н. Шевченко, О.К. Румянцев, О.В. Долженко, В.Л. Романов, Ю.М. Резник, К.Х. Делокаров, Т.М. Сурина, В.Э. Войцехович, Е.А. Сайко, Е.И. Ярославцева, А.Б. Ройфе. Конференция не превратилась в «бенефис» М.С. Кагана, чего мы все очень опасались, а стала значимым научным событием. В сборнике материалов конференции были также опубликованы статьи А.С. Кармина, Ю.Н. Солонина, М.С. Уварова, В.П. Веряскиной, Л.М. Мосоловой, А.А. Пелипенко, Л.К. Кругловой, М.А. Коськова, С.Н. Полторака². В целом сборник М.С. Кагану понравился, поскольку дал полное представление о понимании синергетической

¹ Каган М.С. Синергетика как методология исследования истории культуры: перспективы. Выступление второе // Культура и культурная политика. Материалы научно-методологического семинара. Выпуск 1. Синергетическая концепция культурно-исторического процесса М.С. Кагана / Под общ. ред. В.К. Егорова. – М., 2005. С. 168–169.

² Некоторые из присутствующих и принимавших непосредственное участие в общей дискуссии – Р.Г. Баранцев, А.Ю. Шеманов, Е.Г. Захарченко, А.А. Оганов, Э.В. Сайко, О.А. Митрошенков, А.П. Назаретян, Н.В. Поддубный, В.И. Казаренков и многие другие, не успели к сроку предоставить тексты для публикации, о чем я сожалею, но высказанные мнения относительно предложенной системно-синергетической концепции культурно-исторического процесса, предложенной Каганом, были очень интересными.



концепции в гуманитарной среде и о том, как было ею воспринято «Введение в историю мировой культуры...»¹. На таком фоне появление этого обобщающего труда, последовательно складывавшегося в работах **его** автора на протяжении долгого времени, стало приметой возрождения лучших традиций отечественной философско-культурологической мысли.

Итак, возвращаясь к сути изложенной М.С. Каганом системно-синергетической концепции, отметим, что проблему первичности для исследований по культуре описания смены ее конкретных состояний или понимания действительной типологической хроноструктуры культурно-исторического процесса он решает в пользу необходимости выявления логики их смены². Обращая внимание на концептуальную и методологическую неопределенность появившихся в последнее время философско-культурологических исследований, ученые дают весьма жесткую оценку преобладающим эмпирико-хронологическим описаниям истории культуры. Проблема заключается не столько в абсолютизации значения хронологии, сколько в утрате понимания необходимости теоретического упорядочения научной и учебной литературы в период беспредельного «культурно-мировоззренческого» плюрализма, создания многочисленных авторских курсов и программ.

Я полностью разделяю идею М.С. Кагана о том, что именно через глубокое познание конкретных состояний культуры в разные исторические периоды можно понять логику ее общего развития, не подгоняя историко-культурный процесс под существующие схемы, и на этой основе достичь уровня убедительного обобщения. Думается, что обращение к изучению динамики культуры через исторический срез – это бесконечный процесс постижения закономерностей развития человечества.

В силу того, что исследование М.С. Кагана определено как «Введение в историю...», многое из ослепительного каскада идей остается в нем лишь обозначенным. В этом нам видится открытость капитального труда ученого для диалога, порождающего желание и потребность в их дальнейшей разработке. На мой взгляд, многие претензии в адрес этого исследования связаны именно с данным обстоятельством.

Идеи синергетического подхода к анализу культуры получили здесь серьезное научное обоснование. Выделим три момента, которые вводятся в контекст этого исследования и имеют важное методологическое значение:

¹ Формальное завершение конференции переросло в продолжение дискуссии за дружеским круглым столом, где Моисей Самойлович был по-настоящему героем дня и великолепным тамадой.

² См.: Каган М.С. Введение в историю мировой культуры. Книга первая. СПб., 2003. С. 30–31.

1. Разработанную классификацию систем.
2. «Легитимизацию» концепта «переходность» в качестве базовой культурологической категории.
3. Расширение смыслового понимания концептов «нестабильность» и «неустойчивость» в антропо-социо-культурных системах.

Относительно *первого положения* следует особо подчеркнуть, что культура отечественных исследователей, работающих в синергетической парадигме, желание избежать «физикализма» проявляются в обращении с синергетическими принципами, особенно при анализе систем разного уровня сложности. Этому способствует предложенная М.С. Каганом концепция онтологического различия четырех классов систем и, соответственно, процессов их самоорганизации, которая разрабатывалась им еще в более ранних работах¹, получила свое развитие во «Введение...» и приняла завершённый вид в его последних трудах.

Согласно ей, существуют: простые или механические системы (системы неорганической природы, технические системы); сложные или органические системы (биологические – растительного и животного происхождения); сверхсложные или антропо-социо-культурные (синтезирующие в себе свойства природы, общества и воплощенной в культуре человеческой деятельности); супер-сверхсложные системы (человек как личность и воссоздающие динамическую структуру личности художественные образы). Как правило, именно последние два класса систем являются объектом рассмотрения в культурологических исследованиях².

Идей, близких по трактовке динамических процессов в культуре, в работах М.С. Кагана и Ю.М. Лотмана не так мало, как это можно было бы представить. Сопоставление и специальный анализ помогли бы раскрыть интереснейшее направление в изучении культуры учеными XX века. Так, у Ю.М. Лотмана динамические процессы делятся на «совершающиеся в пределах логики», т. е. предсказуемые, не создающие принципиально нового, и «неправильные», выходящие за пределы строгой логики. Последние – асимметричные («неравновесные») процессы – генерируют все принципиально новое. Он приходит к этому заключению, опираясь на идеи самоорганизации И.Пригожина³.

¹ См.: Каган М.С. Синергетика и культурология // Синергетика и методы науки. – СПб., 1998; Каган М.С. Синергетическая парадигма – диалектика общего и особенного в методологии познания разных сфер бытия // Синергетическая парадигма: Нелинейное мышление в науке и искусстве. – М., 2002.

² Каган М.С. Формирование личности как синергетический процесс // Синергетическая парадигма: Человек и общество в условиях нестабильности / Отв. ред. О.Н.Астафьева. – М., 2003. С. 218–219.

³ Лотман Ю.М. Непредсказуемые механизмы культуры / Подготовка текста и примечания Т.Д. Кузовкиной при участии О.И. Утгофа. – Таллинн, 2010. С. 143.



Размышления М.С. Кагана также сложились под влиянием идей о нестабильности, занимающих одно из центральных мест в концепции И.Пригожина. Вообще, активное обращение к концепту «*переходности*» в социально-гуманитарных исследованиях в последние десятилетия направлено на раскрытие принципов эволюции как постепенного преобразования старого в новое, поскольку старое по мере развития сохраняет в новом бытии некоторые рудиментарные формы, но как целостная система «рано или поздно» уходит в небытие. «На рубеже исчезающего и возникающего образуется *переходное состояние*, длящееся иногда десятилетия, иногда столетия, а иногда и тысячелетия (преимущественно на Востоке)», – замечает М.С. Каган¹ и резюмирует: «становление – это ветвь процесса развития» и «если эволюционный путь развития является процессом изменений в пределах определенного бытия, а революционный – одновременным растворением бытия в небытии и превращением небытия в другую форму бытия, то переходное состояние есть противоречивое сцепление разрушающейся и нарождающейся форм бытия»². Предлагаемый М. Каганом синергетический подход имеет важное методологическое значение для анализа современных процессов, происходящих в России, которая находится в переходной стадии своего развития, и эта «системная переходность» пронизывает буквально все сферы жизнедеятельности людей, проявляясь на разных уровнях культуры, создавая в обществе ситуацию неопределенности и неустойчивости. Такие состояния соответствуют периодам интенсивных изменений, когда процессы, связанные с реформированием социально-экономической и политической системы, развиваются параллельно обновлению социокультурной парадигмы (становление гражданского общества, закрепление принципов демократии и культурного плюрализма, формирование нового типа культуры – информационной культуры и т. д.).

Осознание переходности социокультурного развития, бесспорно обладающей потенциальными возможностями, но допустимой до определенных пределов, является важнейшим механизмом самоорганизации, стимулирующим активность общества в направлении достижения нового порядка. На невозможность нарушения «предельных» условий человеческого существования, разрушения границ «человеческого удела» и «защитного слоя» культуры указывают многие социологи и культурологи, подчеркивая, что любые изменения не должны затронуть «ядра» ант-

¹ Каган М.С. *Метаморфозы бытия и небытия: онтология в системно-синергетическом осмыслении*. – СПб., 2006. С. 274.

² Каган М.С. *Метаморфозы бытия и небытия: онтология в системно-синергетическом осмыслении*. – СПб., 2006. С. 275.

ропо-социо-культурной системы, позволяющего удерживать «хрупкое» динамическое равновесие в обществе. Для дальнейшего разворачивания процесса самоорганизации социокультурной реальности эта сохранность является одним из базовых условий. Но она должна обязательно дополняться активной деятельностью целеполагающего субъекта, который порождает онтологическую определенность социального мира. Конечно, человечество всегда открыто перед лицом неопределенности, но в системе представлений о мире и о месте человека в нем, в своем видении этого мира люди выстраивают картину социокультурной реальности, пытаются понять закономерности ее формирования и прогнозировать, какова она может стать в будущем, чтобы суметь позитивно повлиять на процесс социокультурного развития.

Становление любой культуры связано не только с рождением нового, но и немисливо без отбора культурного наследия, часть которого, трансформируясь, обретает иные смыслы, включается в новый социальный контекст и образует новые ценностные поля. Переход инноваций в традиции занимает, как правило, длительное время, ибо отбор выступает сложным процессом «провоцирования неустойчивостей», характерным для периодов поиска динамического равновесия между устойчивостью и неустойчивостью, стабильностью и нестабильностью культуры как системы. Продвижение новых форм и инновационных факторов в культуре требует преодоления «сопротивления» человеческого сознания, и должно пройти определенное время (иногда такой период адаптации к новому занимает жизнь целого поколения или даже более того), прежде чем инновационное либо отомрет, либо будет принято и адаптировано к социокультурным условиям и перейдет в традиционный пласт, выполняющий функции сохранения преемственности в культуре. Противоречивость и конфликтность этих периодов, получивших определение «переходных», связаны с радикальностью изменений во всех подсистемах культуры. Их динамика и ритмы на разных уровнях не совпадают (особенно индивидуализированы процессы самоорганизации на микроуровне) – взаимодействия, охватывающие лишь какую-то определенную часть социокультурной реальности, имеют разные пространственные и временные координаты, в то время как в общей динамике смены типа культуры (как целостности пространственно-временного континуума) могут быть выявлены определенные закономерности. Собственно, вокруг «переходности» культуры как основной характеристики фазового перехода и концентрируется исследовательский интерес. Соотношение свободы и детерминизма, изменчивости и устойчивости – вот темы, образующие самостоятельный проблемный блок, анализ которого позволяет с большей или меньшей степенью достоверности про-



гнозировать пути развития культуры, преодолевающей «переходность» как особую характеристику всего субъектно-объектного мира в периоды фазовых взаимопереходов от хаоса к порядку.

Поэтому проблема переходности в культуре находится в центре внимания исследователей разных направлений социально-гуманитарного знания. В частности, в отечественной культурологии наметилось несколько линий ее интерпретации, предполагающих опору на парадигмальные установки системно-синергетического подхода, положения циклическо-волновой теории, методы теоретической истории и исторической антропологии, концепцию Универсальной истории и др. Даже в идеях граница открыта нам только пониманием «целостности» и «связности» социокультурного процесса, фазы которого не разделены жесткими границами, помеченными историками как конкретные даты тех или иных событий, а «накрываются» фазовыми переходами, поглощающими эти даты. Такая трактовка фазовых переходов позволяет нам оценивать возможность и необходимость постановки цели, но затрудняет понимание того, где и когда будут достигнуты пределы желаемого. Граница подобного рода в культуре «эти пределы таит, открываясь нам как линия горизонта: пройти по/вдоль которой невозможно. И как линия горизонта – делает возможным в принципе безграничное движение туда, к тому, что этот горизонт скрывает»¹. Именно поэтому наше представление о будущем социокультурном развитии в большей степени опирается на сложившиеся в синергетическом дискурсе «фрактальные» образы реальности, которые позволяют судить о возрастающей сложности окружающего нас мира.

Обращение к принципам фрактальной оптики (от латинского «фрактус» – дробный, нецелый) позволяет признать интенсивность происходящих в социокультурном пространстве изменений и оценивать их с позиций избранного ракурса и масштаба. Дело в том, что «контуры, предметы, поверхности и объемы окружающих нас предметов не так ровны, гладки и совершенны, как принято думать. В действительности они неровны, шершавы, изъязвлены множеством отверстий самой причудливой формы, пронизаны трещинами и порами, покрыты сетью морщин, царапин и кракелюр»², – передает Ю.А. Данилов смысл открытий Б. Мандельброта. Количественная мера неидеальности объектов – «фрактальная размерность» обладает способностью принимать не обязательно це-

¹ См.: Кудря А.П. Культура как граница // В перспективе культурологии: повседневность, язык, общество. – М. 2005. С. 33.

² Данилов Ю.А. Фрактальность // Данилов Ю.А. Прекрасный мир науки. Сборник. – М. 2008. С. 180.

лые значения. Это позволяет считать фрактал объектом с фрактальной размерностью, а фрактальность – свойством объекта быть фракталом или размерности быть фрактальной»¹.

Насколько принципы случайности и размерности, свойство «самоподобия» (самые сложные фракталы родственны прямой линии, а любая фигура подобна своему фракталу) могут быть использованы при объяснении картины будущего, прогнозировании социокультурных трендов, т. е. для понимания того, какой может стать культура в том или ином типе общества, поскольку обладает свойством «самоподобия»? Очевидно, что когда задается иной масштаб культурно-исторического процесса, тогда «переходные периоды» по своему значению вырастают в порождающие особый тип культуры периоды.

М.С. Каган, применив синергетический подход к изучению истории, с которым объяснение будущего становится возможным в иных масштабах и зависит от разрешающей способности наблюдателя, предложил методологический инструментарий, позволяющий увидеть сложность мира становящейся культуры.

Следует обратить внимание, что при всех декларируемых (или объективно имеющих место) принципиальных расхождениях в рамках указанных когнитивных стратегий их современная трактовка культуры значительно отличается от собственных же «классических» образцов, ибо современное социально-гуманитарное знание уже не может не учитывать основных положений синергетики. Их полное отрицание, как правило, строится на гипертрофии определенных положений теории самоорганизации. Достаточно часто синергетика обвиняется в абсолютизации хаоса, при этом игнорируются принципиально важные уточнения относительно понимания нестабильности и неустойчивости как его базовых характеристик. Подобные приемы усиливают аргументацию лишь собственных позиций исследователей, которая может быть названа «закрытой» для коммуникаций с другими теориями и подходами. Например, признавая эвристичность многих положений методологии циклически-волновых теорий, нельзя согласиться с некоторыми принципами объяснения смены циклов через процессы отрицания, инверсии в культурно-историческом процессе как обязательных. Перенесение данной схемы на объяснение закономерностей развития культуры, особенно применительно к ценностно-смысловым ее аспектам, национально-культурному менталитету и др., на наш взгляд, приводит к той же механистичности, в какой упрекают и сторонников социокультурных приложений си-

¹ Данилов Ю.А. Фрактальность // Данилов Ю.А. Прекрасный мир науки. Сборник. – М., 2008. С. 181.



нергетики. Собственно говоря, некорректность применения любой методологии может привести к подобным результатам.

Близкую трактовку учета существующих ограничений циклического подхода находим у Ю.М. Лотмана: «Существование человеческого мира, полностью организованного по циклическим моделям, представляет собой философскую абстракцию, обращенную против исторической реальности»¹. Конфликтная соотнесенность линейной модели движения и циклических процессов всегда была динамическим фактором развития культуры, однако «в антитезе линейному развитию циклическое воспринимается как неподвижное. Но и внутри линейных процессов различаются линейные постепенные и линейные взрывные. С точки зрения взрывных изменений, линейное движение тоже выглядит как неподвижность, псевдодвижение. Возникновение подлинно нового всегда включает в себя момент непредсказуемости»². Это утверждение по сути предполагает невозможность циклических повторов, в силу чего более удачным основанием для характеристики переходности в культуре, по признанию самих сторонников циклически-волновых концепций, является ее соотнесенность не столько с циклами, сколько с составляющими цикл фазами³. С этого и начинается обращение к синергетической методологии «фазового перехода». В свою очередь, указанное уточнение может послужить мостиком, если не сближающим (что достаточно сложно представить в силу имеющихся принципиальных расхождений в методологии), то хотя бы способствующим расширению коммуникаций в научном сообществе ради получения достоверных результатов и прогнозов.

Глубокое познание конкретных состояний культуры в разные исторические периоды (в том числе и в периоды «фазовых переходов») связано с необходимостью понять и смену, не подгоняя историко-культурный процесс под существующие схемы, и на этой основе достичь уровня убедительного обобщения⁴. Безусловно, что в эти схемы сложнее всего «укладываются» процессы *нестабильности* – как одна из форм проявления сложных состояний спонтанных (неупорядоченных) изменений в обществе с трудно определяемыми закономерностями, характеризую-

¹ Лотман Ю.М. Непредсказуемые механизмы культуры / Подготовка текста и примечания Т.Д. Кузовкиной при участии О.И. Утгофа. – Таллинн, 2010. С. 145.

² Лотман Ю.М. Непредсказуемые механизмы культуры / Подготовка текста и примечания Т.Д. Кузовкиной при участии О.И. Утгофа. – Таллинн, 2010. С. 152.

³ См.: Хренов Н.А. Опыт культурологической интерпретации переходных процессов // Искусство в ситуации смены циклов: Междисциплинарные аспекты исследования художественной культуры в переходных процессах. – М., 2002.

⁴ См.: Каган М.С. Введение в историю мировой культуры. Книга первая. – СПб., 2003. С. 30–31.

щими переходные периоды. На наш взгляд, концепт «нестабильность» наделен негативными коннотациями и зачастую отождествляется с периодами хаоса или кризисами. Однако «нестабильность» имеет собственный общенаучный и философско-методологический статус, что следует из ее содержания.

О нестабильности можно говорить и как о внутреннем свойстве культуры (нестабильность, проявляющаяся во всех фазах развития системы – способность системы к саморазвитию и самоорганизации), и как об определенном состоянии культуры в трансформирующихся обществах (нестабильность в фазе хаоса, характеризующая обострение и неустойчивость). Таким образом, нестабильность – это состояние фазового перехода от хаоса к порядку в культуре (или обратно), характерной особенностью которого является определенное стягивание к аттрактору. Заметим, что такое определение нестабильности, данное нами в ряде последних работ, в общих чертах совпадает с определением М.С.Каганом «переходности» как особого состояния системы, когда процессы развития еще не укладываются в качественно-определенные формы социокультурного бытия. Это и есть процессы переходов от доминанты «порядка» к доминанте «хаоса»¹. Подобная трактовка позволяет в рамках синергетической концепции культуры использовать понятия «переходность» и «нестабильность» как тождественные.

Фазы нестабильности в процессе развития культуры по аналогии с другими системами можно обозначить как «режимы с обострением», в которых основные изменения проявляются на всех уровнях системы. Так, описывая период перехода от традиционной культуры к культуре персоналистской, М.С. Каган указывает на одновременное присутствие четырех различных форм существования культуры: сохранение первобытного и традиционного типов культуры, формирование «скрещенного» типа и переход к «синтетическому» (европейскому). Этот период обозначен ученым как переходный и по своим пространственно-временным параметрам огромен². Четыреста с лишним лет поиска нового социального порядка и движения к новому типу культуры в Европе и Америке, действительно, подтверждают синергетические идеи становления, прохождения нестабильности через ряд важных стадий. Однако по отношению к данному периоду, на наш взгляд, более точным было бы определение «нелинейное развертывание». Формирующийся аттрактор был

¹ См.: Каган М.С. Введение в историю мировой культуры. Книга первая. – СПб., 2003. С. 19–20.

² См.: Каган М.С. Введение в историю мировой культуры. Книга первая. – СПб., 2003. С. 7.



подобен, пользуясь метафорическим языком, многоциклическому «торнадо»: то усиливающиеся процессы притяжения, то демонстративный отказ от активности лишь придавали ему силы и увеличивали мощность разрастания. Промежуточные состояния нестабильности – Гуманизм, Реформация – это то самое развертывание траекторий и стягивание их к одному аттрактору: от культуры феодального общества к культуре персоналистского типа. Именно сохранение на протяжении длительного времени и проявление в разных пространственных вариантах нестабильности и неустойчивости («вызревание аттрактора») в конечном счете «прорвало» мощный пласт традиций, создало предпосылки для системы взаимодействий и привело к очередному состоянию «порядка».

Итак, основываясь на синергетическом подходе к познанию закономерностей общего развития культуры, М.С. Каган выделяет *особую функцию* переходных этапов – становление нового типа культуры. Эвристичность синергетической трактовки проявляется в том, что, принимая *категорию нестабильности*, удается передать состояние *фазового перехода* от хаоса к порядку в культуре или его инверсионный вариант, а также подтверждает наши предположения о существовании в переходных периодах *самостоятельного типа культуры*, играющего важную роль в логике культурно-исторического процесса. Подобно другим типам культуры, он характеризуется качественно иной целостностью – целостностью, основанной на *многообразии качественно-определенных и еще становящихся форм социокультурного бытия*. Расширенное толкование «переходности» (от *состояния* культуры до *типа* культуры) делает возможным выявление основных стадий и закономерностей его формирования в обществе.

Осмысление всей совокупности изменений, сопутствующих переходному периоду, – это сложная междисциплинарная задача, выполнение которой невозможно без участия специалистов разных научных направлений. Когнитивные и коммуникативные стратегии синергетики позволяют использовать ее в качестве методологической платформы для междисциплинарного взаимодействия.

Таким образом, применение системно-синергетического подхода (а именно так называет его М.С. Каган) открывает перед культурологией простор для появления новых научно-теоретических разработок, а также может служить серьезной методологической базой для создания учебников и учебных пособий, способствуя повышению их уровня.

Думаю, что не только мне Моисей Самойлович говорил такие слова: «Я выполнил свой долг, я сделал все, что мог». Да, это так. М.С. Каган создал огромное количество великолепных текстов, так много написал о разных сферах человеческого бытия... Но у нас не хватает слов, чтобы

рассказать о нашем великом современнике, который безгранично любил жизнь, безмерно дорожил родными и близкими, умел разглядеть в каждом человеке красивое и правственное, ценил свое призвание, верил в возможности науки, в справедливость Бытия... Все это, несомненно, отражалось в его облике, в его манере говорить и общаться с людьми...

Да, М.С. Каган вошел в мою жизнь «тремя шагами» – сначала своим Именем, потом своим Образом, наконец, Личностью, оставшись в памяти навсегда. Как Учитель, ученый, коллега, друг и человек большой души.



УЧИТЕЛЬ – ЭТО ЗВУЧИТ... ВЕЧНО!

Е. И. Балакина*

В своих лекциях, так или иначе выходящих на проблему системного строения культуры в целом или отдельных её элементов, М.С. Каган обязательно подчёркивал важнейшую особенность системы – сверхсуммативность: система больше составляющих её элементов. Сродни данному явлению и человек: уж он точно всегда больше всех наших представлений о нём. Вот и из этого тома воспоминаний в логике сверхсуммативности у каждого читателя тоже родится свой отклик, свой душевный резонанс с Моисеем Самойловичем, что-то вспомнится своё через ту или иную черту его характера, подмеченную кем-то деталь, чьё-то тонкое наблюдение. О близком человеке писать трудно. Всё кажется, что чего-то недосказал, что он – реальный, живой – гораздо шире и ёмче этих фраз, слов, предложений... Поэтому мне показалось логичным выписать некоторые сюжеты, проявляющие разные грани этого удивительного человека, педагога, учёного – и даже не столько конкретные черты, сколько поле ассоциаций, раздумий, чувствований, пробуждаемых магнетизмом личности Моисея Самойловича Кагана.

Другое прозрение в теоретических построениях М.С. Кагана – о взаимной связи онтогенеза и филогенеза, выражающейся в том, что каждый человек в своём развитии реализует в какой-то форме логику развития культуры человечества в целом. Личность Моисея Самойловича не является в этом смысле исключением. Когда пытаешься осмыслить, соотносить человека и время, в которое он жил, рождаются традиционные вопросы: был ли он человеком своего времени, или вышел из прошлой эпохи, или опередил своё время? В случае с М. Каганом приходится на все три вопроса ответить утвердительно.

Безусловно, это был один из «последних могижан»: и высочайший уровень образованности в целом, и владение несколькими иностранными языками, и врождённое (или воспитанное?) чувство собственного достоинства, и глубочайшее уважение к человеку, и ещё многое такое, что трудно перекладывается на логический язык понятий, но что сразу

* Балакина Елена Ивановна – доцент кафедры философии и культурологии Алтайской государственной педагогической академии в Барнауле, возглавляет Алтайский филиал Российского культурологического общества. Сфера научных интересов – диалог культур, синергетика, философия искусства, культура Сибири.

ощущаешь в общении, – всё это явно свидетельствует, что подобные Моисею Самойловичу люди жили в России, скорее всего, в эпоху «золотого века», когда были сильны лучшие традиции воспитания, выразившиеся в предельной требовательности, в первую очередь, к самому себе.

Был ли Моисей Самойлович человеком своего времени? Конечно, был! Безусловно! Он обладал обострённым чувством сущности момента, способностью видеть многое и выделять главное, улавливать невидимые связи между, казалось бы, совершенно разрозненными явлениями и фактами, умением мягко и убедительно подвести к насущной проблеме и непременно предложить один из вариантов её решения. Он всегда был в гуще событий. В современной ему науке он сразу занял лидирующую позицию – смелостью мышления, широтой интересов, глубиной понимания сущности проблем и, конечно, неизбывным личным обаянием! Среди современных ему учёных мало кто мог сравниться с ним по научной активности и человеческой общительности. Идеи его порой оказывались и в центре идеологических скандалов – как результат выражения собственной убеждённости учёного по спорным вопросам мировоззренческого и этического характера.

Научная честность, принципиальность и смелость стали основой его ведущего положения и в современной ему культуре в целом. Теоретические выступления перед ответственнейшими аудиториями, научное и личностное общение с высшими кругами культурной элиты советского времени открывали дорогу его идеям к сознанию и сердцу тех людей, от которых напрямую зависели судьбоносные решения в масштабах огромной страны. И пусть далеко не всегда они находили понимание и поддержку, бесследно они не проходили никогда: в этом тоже состояло особое искусство Моисея Самойловича как лектора – умение обратиться к каждому человеку лично, независимо от их количества в аудитории.

Был ли Моисей Самойлович человеком будущего? Конечно! Его идеи настолько устремлены вперед и имеют столь мощный эвристический заряд, что ни большинство из них по отдельности, ни всё его научное наследие в целом ещё не оценено по достоинству. И гуманитарный характер исследований явлений культуры, и применение системного подхода в гуманитарной сфере, и синергетические идеи в исследовании человека и культуры, и способность широчайшего охвата большого круга проблем одновременно, в рамках одной статьи, одной научной идеи, и специфическая направленность на «сущностное» раскрытие изучаемых явлений и процессов, и непостижимая для гуманитарного знания логичность, лапидарность, а порой даже и схематичность изложения, предельная точность научного аппарата и неподкупная строгость в работе с ним – это далеко не полный перечень специфики его исследований, кото-



рые только сейчас начинают частично разрабатываться, а до широкого внедрения их в практику науки, культуры и образования ещё очень далеко.

Пример тому – не теряющее своей актуальности и научной ценности структурно-типологическое исследование «Художественная культура в докапиталистических формациях» и «Художественная культура в капиталистическом обществе». Это уникальная коллективная научная работа, выполненная под руководством М.С. Кагана, системно и целостно представляющая логику онтогенеза культуры в мировом масштабе посредством типологических характеристик каждого из её периодов. В ней все черты научного подхода М.С. Кагана как учёного выразились наиболее полно. Это целостный труд, соединяющий в себе теоретические основания гуманитарных исследований культуры, основы методологии и базовый комплекс материала по истории культуры от её зарождения до XX века. Пометка «структурно-типологическое исследование» соответствует характеру научных поисков учёного на период написания исследований. С такой же достоверностью можно было бы назвать эту работу «системно-синергетическое исследование», так как здесь налицо и строгая системность в подходе к построению материала, к изучению столь разнообразных и разновременных культур, и мудрое выявление взаимосвязи типического и индивидуального – в каждой культуре и в сопоставлении культурных типов, и не названное пока соответствующими синергетическими терминами сочетание порядка и хаоса в процессе развития культуры.

Именно поэтому и некоторые грани личности Моисея Самойловича Кагана будет логично представить на основании научных метафор данного исследования, пройдя путём его личности все ступени изученного им онтогенеза.

* * *

«При анализе культуры доклассового общества мы исходили из начальной синкретической целостности общественного бытия и общественного сознания. Эта синкретичность проявляется на всех уровнях общественного бытия и общественного сознания».

(Художественная культура в докапиталистических формациях)

Синкретичность, выделяемая авторами данного издания как типологическое качество культуры доклассового общества, является в такой же мере сущностным качеством цельной, гармонично развитой личности, в терминологии психологов – «конгруэнтного человека», в жизни которого мысль, слово и дело соответствуют друг другу. Именно к такому редчайшему типу людей принадлежит и Моисей Самойлович Каган.

Синкретизм его личности проявляется на разных уровнях.

В научных исследованиях М.С. Кагана невозможно отделить строгого логика от глубокого гуманитария. Как это сочетание оказывается столь гармоничным – загадка и индивидуальная специфика почерка учёного, его стиля мышления и личностного дарования. При жёсткой логичности и научной сухости текста его теории пропитаны эмоциональной заразительностью и силой ярчайшей личной убеждённости. При достаточно ощутимой авторитарности научной авторской позиции – внутренняя диалогичность мышления и исследовательского подхода к проблеме, умение дипломатично, на уровне «научной аристократии», вести нравственно достойную дискуссию по самым спорным проблемам.

Однажды в 1996 г. мне довелось присутствовать на одной из презентаций недавно вышедшей работы Моисея Самойловича Кагана «Философия культуры». Происходило это в небольшой аудитории, где собрались в основном молодые учёные и педагоги. При всей полемичности многих положений исследования, участники презентации вели себя, на мой взгляд, слишком уж бестактно: вопросы носили явно агрессивный характер, перемежаясь нелюдскими выпадами в адрес автора. Я в ужасе смотрела не всё это «действие», на внешнее спокойствие своего педагога, и недоумевала, как ему удаётся сохранять равновесие в такой ситуации. После того, как бурные выступления иссякли, автор попросил ответного слова. Его речь привела меня в изумление и потрясла силой внутреннего достоинства человека и учёного: ни тени упрёка, ни одной личной эмоции в адрес грубо нападающей публики! Речь шла только о научной аргументированности спорных положений. Презентация, естественно, закончилась под всеобщие аплодисменты.

Даже в этом эпизоде видно, что в личности М.С. Кагана учёный, учитель, человек тоже синкретически слиты и представляют такую нерасторжимую целостность нравственной, мировоззренческой и научной позиции, которая обогащает и развивает каждую из них. Для меня, как для аспирантки, это был важнейший профессиональный, моральный и жизненный опыт. В ходе обсуждения диссертационного исследования, в ходе рождения «бредовых идей» Моисей Самойлович как учитель был неотделим от Человека со своими жизненными принципами, высказывал сомнения в жизненности и справедливости некоторых идей в индифферентно-деликатной форме. Но и такая предельно щадящая позиция где-то на подсознательном уровне воздействовала навсегда, постоянно требуя тщательно взвешивать и обдумывать идеи, подходя к ним с разных точек зрения и находя максимально верный вариант для их выражения. Кстати, именно Моисей Самойлович приучил меня ещё в аспирантские годы выступать без текстов докладов, приводя частенько в шутку



слова из Указа Петра Первого с требованием выступать без бумажки, «дабы дурь каждого видна была...»

* * *

«В повествовании о важнейших событиях историзированной греческой мифологии деяния героев – мифологических прародителей и благодетелей – обосновывали избранничество и божественную сущность греков, воедино сливая божественное и земное».

(Художественная культура в докапиталистических формациях)

М.С. Каган, подобно героям греческой мифологии, обладал необъяснимым внутренним магнетизмом, сплавляющим воедино реальные факты и личные эмоциональные реакции людей, так или иначе причастных его биографии. В сборнике статей, изданном к 80-летию Моисея Самойловича, собраны воспоминания его коллег и друзей, давно и достаточно близко знавших учёного. В ряде статей с очевидностью высказывается мысль, что уже в молодости в его облике и манере держаться было что-то, неизменно выделявшее его в любой обстановке, где бы он ни находился: в лекционной аудитории, среди коллег-учёных или просто на остановке городского транспорта. Я же смогла судить об этом лишь с 1991 года, когда посчастливилось лично познакомиться с этим феноменальным учёным и редчайшим человеком.

Опосредованно в советское время учениками М.С. Кагана себя могли считать многие: весь Советский Союз изучал эстетику по его Лекциям. И я впервые познакомилась с ними на теоретико-композиторском факультете Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки в начале 1980-х гг. Тогда это не осознавалось как особое событие. Был учебник, автор которого, как, собственно, и авторы других учебников, воспринимался на столь заметном удалении от столицы личностью легендарной, почти мифологической.

В 1991 г. я неожиданно для себя стала слушательницей курсов по мировой художественной культуре для преподавателей вузов в РГПУ им. А.И. Герцена, которые тогда проводила кафедра теории и истории культуры (рук. – проф. Л.М. Мосолова) и кафедра этики и эстетики (рук. – проф. А.П. Валицкая). На этих курсах уже буквально с первых дней занятий по аудитории то и дело пробегали реплики: «Вот подождите, скоро лекции будет читать Каган!»

Как оказалось, это тот самый легендарный М.С. Каган, автор учебника по эстетике. И вот – первое занятие. Входит элегантный, подтянутый, энергичный мужчина с лучистыми глазами и обаятельной улыбкой.

Несколькими яркими, меткими фразами устанавливает контакт с аудиторией и, задав несколько уточняющих вопросов, начинает занятие.

Записывать лекцию за М.С. Каганом предельно сложно, как и конспектировать его труды. Так называемой «воды» в них нет совсем, нужно писать только дословно. Лекции потрясали степенью концентрации мысли, точностью и определённой каждого слова, строжайшей логикой развития основной идеи от начала размышления к концу. Поражало и другое: феноменальное чувство времени и память. Каждая лекция обязательно заканчивалась весомым выводом, итожившим наше полутора-часовое размышление над проблемой, причём вывод подавался таким образом, что тут же направлял мысль в новое русло, к следующей научной проблеме, которой мы должны были заняться в следующий раз и которая логично, с непреложной научной необходимостью, вытекала из всего предыдущего, совместного с лектором, размышления. При этом каждый раз, взглянув на часы, мы убеждались, что лекция закончилась в строго обозначенное время, минута в минуту.

Это чрезвычайно редко встречающийся талант педагога, «высший пилотаж» лекторского искусства: подать материал аудитории таким образом, чтобы она постоянно находилась в состоянии напряжённого обдумывания сложных теоретических положений, ощущала их жизненность и актуальность, получала ожидаемое прояснение сложных теоретических проблем, и не злоупотребить её вниманием, проявляя высочайшую дисциплинированность мысли и удивляющее окружающих чувство времени. Вот уж, поистине, точность – вежливость королей! В этом видится и свойственное Моисею Самойловичу умение сказать просто о сложных вещах, соотнести типическое в явлении с индивидуальным и неповторимым, увидеть ясно и чётко закономерности и структурный каркас даже в самых многообразных и многовариантных процессах, и внутренне присущее учёному чувство меры, и непостижимое для большинства его аудиторий умение гармонично встроить необходимый для конкретного занятия фрагмент научной концепции и в хронотоп реальности, и в поле ожиданий аудитории. Ещё удивительнее было другое. Когда Моисей Самойлович приходил к нам спустя несколько дней на очередную лекцию, он начинал её словами: «В прошлый раз мы обсуждали с вами такую-то проблему и пришли к выводу, что...» Далее следовало дословно предложение, которым мы закончили прошлую лекцию. Новая начиналась, как веночек сонетов, с последней фразы предыдущей, и снова из этого ментального зерна вырастала стройная, логичная, увлекательно изложенная концепция.

А потом была рекомендация в аспирантуру и вступительные экзамены, в ходе подготовки к которым и произошла поистине мифологи-



ческая, судьбоносная встреча с Моисеем Самойловичем, навсегда оставшаяся в памяти как чудо и благословение Учителя.

Спустя год после курсов, сдав кандидатские экзамены по философии и иностранному языку, мы вместе с моей коллегой из Барнаула Ириной Жерносенко поступали в аспирантуру РГПУ им. А.И. Герцена, где Диссертационный совет возглавляла Л.М. Мосолова, в его состав входил и М.С. Каган. У нас был резерв времени, чтобы как следует подготовиться к самому ответственному экзамену – по специальности «теория и история культуры». Придя в состояние лёгкого ужаса от объёма необходимого для изучения материала, мы с открытия до закрытия просиживали в красивейшем Зале литературы и искусства в Публичной библиотеке им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. В один из дней почти перед самым экзаменом мы по обыкновению расположились за последним столом центрального ряда, обложившись горой книг и альбомов. Это самое спокойное место в зале, где удобно работать и думать. Вдруг мы увидели, что в зал вошёл Моисей Самойлович Каган: как всегда, безупречно одетый, элегантный, в белом костюме, при галстуке. Он что-то просмотрел в нескольких словарях, сделал какие-то выписки и пошёл между рядами столов. Зачем? Трудно сказать. Возможно, думал встретить кого-то из знакомых. Для нас эта встреча была потрясением – ведь в ближайшее время он в числе других профессоров должен был экзаменовывать нас в аспирантуру! Это был мэтр, титан, почти Бог! Мы с замиранием сердца смотрели, как он приближается к нашему столу, и гадали, дойдёт он до него или нет, узнает или нет своих слушателей курсов спустя год... Тут и произошло то самое чудо. Моисей Самойлович подошёл, окинул взглядом гору книг и стопки исписанных карточек и на наше «Здравствуйте, Моисей Самойлович» как-то возвышенно и торжественно произнёс: «Трудитесь, и воздастся!», – развернулся и вышел из зала. Это было настоящее «явление отроку Варфоломею»! В аспирантуру мы поступили.

* * *

«Представление о том, будто средневековый художник был „скован канонном“, не вполне верно; гораздо правильнее сказать, что ни художник, ни его публика не могли обойтись без канонической точки опоры. Управление „извне“ не противоречило управлению „изнутри“, усвоенной культурной нормой».

(Художественная культура в докапиталистических формациях)

Некоторый элемент традиционности, или «теоретической каноничности», – ещё одно из специфических свойств деятельности Моисея Самойловича Кагана как учёного, теоретика, педагога. Его личности были

свойственны глубочайшая искренность, внутренняя честность и самоотдача, как это чаще всего бывает с людьми, по-настоящему одарёнными творческой силой. Эти качества сложились в своеобразную внутреннюю цензуру, не пропускающую научной и человеческой фальши, не допускающую приспособленчества и компромиссов по принципиальным вопросам. Это и есть тот случай, когда «управление «извне» не противоречило управлению «изнутри».

При поверхностном знакомстве с трудами М.С. Кагана многие принимают его концентрированный стиль изложения за категоричность. К тому же деятельность его пришлась на такую идеологически однозначную эпоху, что больше оснований удивляться тому, насколько свободными и нестандартными были его мысли по мировоззренческим и ценностным вопросам, чем сожалеть о его «скованности каноном».

Моисей Самойлович в числе немногих учёных своего времени стал олицетворением подлинной философской диалектики, удивительным образом сочетая в себе мудрое понимание объективного требования времени и научную принципиальность в решении изучаемого вопроса, которая в эти требования чаще всего явно не вписывалась. Нестандартность и традиционность, диалогичность и авторитарность – эти пары противоречий выражают суть его подхода как учёного и педагога. Именно отсюда – сложность и неоднозначность его оценки с позиций любой культуры.

В советское время М.С. Каган-учёный постоянно подвергался критике за смелость личных интерпретаций однозначных с политической точки зрения идеологических конструкций. В годы перестройки, в атмосфере активизации научных экспериментов, при значительном расширении меры нестандартности идей и изменении сферы научных интересов исследователей, в условиях смены научной парадигмы материалистические основания трудов и идей М.С. Кагана тоже стали его «ахиллесовой пятой» в представлении многих критиков разных уровней. В этом есть и доля истины, и доля заблуждения, и объективное свойство научной теории, и весомая часть человеческой субъективности автора...

Какие бы достоинства и изъяны ни находить в отдельных работах и теоретических идеях М.С. Кагана, важно признать, что это учёный большого размаха, действительно уникальный в своём роде, которому одинаково удаются и солидные монографические исследования, и тезисно раскрывающие идею краткие научные статьи, и убедительное изложение научных идей в крупных и мелких публикациях, и умение передать аудитории исследовательский азарт в устных выступлениях. Логичность, доказательность, взвешенность, последовательность, глубокая аргументированность – всё это качества научного творчества М.С. Кагана, позво-



ляющие следующим поколениям исследователей опираться на его работы как на надёжное, крепко выстроенное и убедительно представленное основание.

В многочисленных публикациях Моисея Самойловича обращают на себя внимание удивительные свойства:

– уважение к авторитетам в науке, системное знание их идей и теорий;

– смелость собственных теорий в осмыслении сложнейших вопросов развития культуры, настойчивость и последовательность в их углублении и развитии;

и при этом – обязательная свежесть идей, новизна и нестандартность собственных теорий: или в использовании традиционного научного метода, или в прочтении уже известного в науке открытия, или в выборе темы, или в сопоставлении, казалось бы, совершенно далёких явлений...

И от себя, и от своих учеников Моисей Самойлович непременно требовал «канонической точки опоры», без которой невозможна никакая вообще серьёзная «постройка», тем более – новаторство в науке. Он хорошо понимал, как важно и как сложно соблюсти меру приверженности научной теории, не извратив её познавательной ценности и возможности излишней категоричностью и абсолютизацией. Символично, что наиболее последовательно и определённо он высказывает эту идею в статье «Синергетика и культурология», где как раз и ставит задачу освоения нестандартного для культурологии научного метода: «...Опора культурологии и социологии на синергетику – не на полученные ею в ходе изучения термодинамических систем и абсолютизируемые законы самоорганизации, а на вырабатываемый ею метод познания закономерности данного процесса, ...открывает перспективы научного осмысления истории человечества... При всем уважении к деятельности Александра Галича никак нельзя согласиться с провозглашённым им осуждением тех, кто «знает как надо»... Опасаться надо новоявленных пророков, астрологов, прорицателей, но не ученых, изучающих законы развития систем и организующих их энергий».

Практически все авторские концепции Моисея Самойловича имеют фундаментальный характер и столь очевидную методологическую значимость, что было бы чрезвычайно важно включать их как обязательный элемент подготовки всех тех, кто ищет возможность познакомиться с наиболее общими законами развития мира и культуры, выстроить такой универсальный и целостный научный каркас, который будет способен выдержать не только частные идеологические перестройки, но даже и серьёзные парадигмальные потрясения.

* * *

«В культуре Возрождения... одним из важнейших показателей нарастающего признания личностного и творческого начал может служить формально или неформально допускаемая степень свободы художественного выбора».

(Художественная культура в капиталистическом обществе)

Свобода научного выбора... Это принципиальное качество М.С. Кагана-исследователя проявилось уже в студенческие годы: и в выборе сферы интересов – на стыке литературы и искусствознания, и в выборе педагога (И.Иоффе), создавшего уникальную для своего времени «Синтетическую историю искусств», и в новом подходе к изучению литературы, далеко выходящем за пределы традиционного литературоведения.

В научной биографии Моисея Самойловича поражает разнообразие его научных интересов, смелость в освоении новых форм и идей, в обращении к новым методологиям. Почти два десятилетия кропотливой работы, направленной на обоснование возможности применения системного подхода в сфере гуманитарного знания, более десяти лет адаптации синергетической методологии для изучения развития гуманитарных явлений вообще и сферы культуры в частности... В упомянутой уже выше статье «Синергетика и культурология», в частности, добавлено послесловие, в котором он пишет: «Эта статья была написана несколько лет тому назад, когда автор, не ограничиваясь абстрактной методологической рефлексией, начинал размышлять над конкретным применением основных принципов синергетики к изучению процессов развития общества, культуры, искусства». Удивительны та исследовательская радость, с какой он встречает продуктивные новации в науке, и прозорливость, выражающаяся в уникальной способности увидеть возможности новых методологий для решения насущных проблем современности.

В выборе тем исследований Моисей Самойлович действительно свободен, направляем движением «изнутри». Этот выбор всегда определяется высшей целью, далёкой от конкретного жизненного прагматизма: поиск ответов на волнующий его как учёного и человека вопрос, возможность решения актуальной для текущего момента или перспектив развития науки проблемы, открытие новых исследовательских горизонтов в развитии культуры и познании мира... Он то погружается в пучины абстрактных теоретических построений, то обращается к осмыслению творческого пути близких ему по духу людей, большинство из которых впоследствии становятся его друзьями, то отдаёт дань любви и уважения взрастившему его городу, создав уникальное в своём роде исследование, где срослись и взаимно напитали друг друга теоретические принципы и



историческая конкретность, личности давних и современных петербуржцев – и объективность движения культурно-исторического потока, частности и закономерности.

Эта работа занимает особое место в биографии М.С. Кагана. Её можно назвать программным сочинением, выражающим его научные предпочтения и главные жизненные ценности. Монография «Град Петров в истории русской культуры» наполнена столь явно читающимся личностным отношением автора к материалу – и любовью, и болью, и верой, – что становится ясно: такое отношение «сыграть», «изобразить» нельзя, оно вошло в плоть и кровь, стало частью личности. А рядом – работа о феномене рекламы, которой сам Моисей Самойлович не придавал особого значения, воспринимая её как проходящий частный случай в изучении современной культуры, но которая, несмотря на это, написана так же тщательно, системно и целостно, как и все остальные. Возможно, в этой изнутри идущей ответственности учёного, неотделимой в личности Моисея Самойловича от человека, и коренятся сущность и специфика его научного, творческого и жизненного стиля.

* * *

«С XVII до начала XX века художественная культура России формируется в сложных взаимодействиях с культурами других народов, причём для отдельных этапов её истории характерна собственная „география“ освоения зарубежного и национального культурного опыта».

(Художественная культура в капиталистическом обществе)

О многочисленных, активных и постоянных международных контактах Моисея Самойловича Кагана лучше могут рассказать те, кто находился с ним рядом в профессиональной и творческой деятельности, – коллеги, родные, друзья. Был в биографии Моисея Самойловича короткий приезд с лекциями на Алтай. Видимо, сошлись звёзды и мысли, совпали желания и возможности...

Итак, октябрь 1994 г. Программа поездки была насыщенной. Несколько лекций для городского студенчества и преподавателей в Барнауле, цикл лекций для студентов и преподавателей Горно-Алтайского государственного университета, встречи с руководством вузов... Рабочая сторона поездки – совершенно в стиле М.С. Кагана: готовность к выступлению в любое время, на любую тему, умение развернуть в позитивное русло любые вопросы... Организаторы сочли важным дополнить научную часть поездки Моисея Самойловича отдыхом и встречей с красотами природы Горного Алтая. К этому и были приурочены лекции в Горно-Алтайске.

Всех поразила жизненная азартность Моисея Самойловича, которому в то время было уже 73 года. Несмотря на все наши опасения и увещевания, он решил непременно искупаться в легендарно известном озере Ая, хотя был октябрь, вода около 15 градусов. Моисей Самойлович принял решение бесповоротно, сказав, что таковая возможность у него вряд ли в жизни повторится. На это трудно было возразить, и только выражение полного счастья на его лице после купания несколько сгладило наши переживания.

Романтики и положительных эмоций добавил вечерний костёр на природе, в горах, под звёздами: песни под гитару – любимые Моисеем Самойловичем «Флибустьеры», «Милая моя», песни Б.Окуджавы, романсы, советские песни. А водитель нашей машины, зная, что мы повезём в Горный Алтай бывшего снайпера, взял с собой «воздушку», из которой все мы постреляли по тут же нарисованной на консервной банке мишени. Попасть удалось только нашему именитому гостю. Неожиданная возможность подержать в руках ружье всколыхнула в нем незабываемые моменты военной биографии.

В мудрых, с некоторой лукавинкой, глазах Моисея Самойловича, в живости жестов и мысли, в умении привлекать к себе людей, в ясности мысли и блеске речи, в неизменно трепетном отношении к своей супруге – Юлии Освальдовне, в бессменной роли главного кафедрального (и не только) тамады проявлялась неиссякаемая радость жизни, дававшая ему особое, независимое от возраста, состояние молодости.



ЦЕЛОСТНОСТЬ КУЛЬТУРЫ КАК ЖИВАЯ ВСЕЛЕННАЯ: НАСЛЕДИЕ М. С. КАГАНА В ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ИДЕЙ

Э. В. Баркова*

Целое больше суммы своих частей – не раз слышали мы из уст Моисея Самойловича Кагана. Действительно, согласно букварю системного и хрестоматийного диалектико-материалистического анализа, безусловно, так. Но всегда ли и при любых обстоятельствах? Сам Моисей Самойлович не только показывал, но, по-моему, и был такой частью культурного пространства-времени, которая в ряде отношений неизмеримо превосходила и превосходит целое. Превосходит, прежде всего, по своему масштабу – масштабу Личности XX века, вовсе не сводимой к унылым «структурам повседневности»; превосходит по мере своей социальной ответственности, широте познаний, глубине освоенного, по способности к критике и чистого и нечистого разума, к радости открытий в науке и искусстве. Но главное, что меня не переставало удивлять, вызывая восхищение и ликование, – это его удивительно естественная, при всех особенностях времени, жизнь в мире большой Культуры мира, в мире великой русской и петербургской культуры с их трагедиями, драмами, проблемами и нечасто балующим счастьем. И одновременно, он сам – особая органичная часть советской культуры, советской интеллигенции, но часть – и это ощущалось во многом и многими, – которая «не помещалась» в границах такого целого, была больше и выше, была все же иной.

Отталкиваясь от этих, ключевых для творчества Моисея Самойловича категорий «целое – часть», и не претендуя, конечно, на теоретическое исследование, в этом эссе-воспоминании хотелось бы сказать несколько слов о тех вопросах, в которых сегодня мне видятся возможные линии перспективного развития его наследия.

Вообще сегодня, в ситуации небывалого кризиса мира человека, когда на наших глазах рушится уже не только наша общественная система, а система жизни на планете как целое с ее Культурой и Природой, со

* Баркова Элеонора Владиленовна – доктор философских наук, профессор кафедры философии Российского государственного торгово-экономического университета (Москва). Руководитель отдела философии межкультурных коммуникаций Международного Движения «Всемирный день Культуры».

М.С. Каган выступал оппонентом на защите ее кандидатской и докторской диссертаций по проблемам культуры.

сложившимся типом порядка, с ее общечеловеческими ценностями, объективное *бытие целостности культуры в ее всеобщности кажется все более неуловимым*. Такая реальность едва ли отреагирует оздоровлением и преодолением социального хаоса на какие-либо призывы к толерантности, локальные инновационные управленческие или социальные технологии и любые частичные способы воздействия. А потому в действительности жизненно необходим поиск, открытие и анализ новой фундаментальной философской парадигмы с ее современным типом мировидения и методологией философии культуры: системность в ней, по-видимому, должна быть связана и работать вместе с синергетическими принципами – основой преодоления социального хаоса – и идеей органической целостности. Но все это должно быть встроено в объективную целостность мира, а не в придуманные, сколь бы изящными и смелыми они ни были, рискованные игры философов с их новейшими смыслами-монадами, текстами и словарями новых терминов и символов.

Вот почему сегодня, по-моему, актуализируются и становятся значимыми поиски продуктивных компонентов концепций, сформированных в самые разные эпохи представителями разных культур, философских и научных направлений. И среди них совсем не последнее место займет содержание наследия, методология, центрированная идеей целостности; направленность поисков Моисея Самойловича, принципиально не «перестроившегося», не встроившегося в новейшие парадигмы, агрессивные по сути по отношению к перспективам Человека и Культуры, уводящие от их объективного научного анализа. Каган – наследник эпохи Просвещения, крупный философ-рационалист XX века, убежденный в реальной возможности формирования эстетической, художественной и нравственной культуры на основе высоких идеалов средствами культуры и воспитания и видевший именно в этом – «очеловечивании человека» – в конечном счете, смысл и назначение культуры и ее познания. Но эта же ориентация на развитие идеала классической рациональности всегда предполагала серьезное и непрерывное изучение и старых, и самых новых философских и научных трудов – и своих, российских, и европейских, и американских. «Профессия обязывает», – сказал бы М.С.Каган. А потому освоение его наследия становится даже более значимым в наши дни и в социально-гуманитарном познании, и в самой жизни, чем тогда, когда закладывались основания его взглядов и концепции, в которой последовательно осваивался мир целостности культуры, начиная с выявления системы и специфики порядка в мире искусства, человеческой деятельности, культуры и двигаясь к учению о целостном саморазвитии всей мировой культуры, подобном полнокровной живой Вселенной. Может быть, наша официальная наука поспешила объявить потен-



циал классики и такого типа рациональности исчерпанным? И может быть, нам стоит вновь – уже в контексте проблем неустойчиво балансирующего современного мира – сделать предметом рефлексии мысль Гегеля о целостности как результате *содержательного* саморазвертывания, в котором выявляется своя логика, категории-ступени с их сложным синтезом и преемственностью, а не только беспредпосылочные инновационные процессы как таковые? И возможно, есть основание поставить вопрос о том, а не впереди ли не исчерпанный в полной мере проект Просвещения? Не поспешили ли мы отказаться и от тех ценностей, включая социальную ценность гуманитарного познания, которые порождены Великой французской революцией и эпохой немецкой классики? И потому не впереди ли и детерминированная не прошлым и настоящим, а будущим, оценка наследия М.С. Кагана?

Мне кажется, оно – это наследие – важное *направление в самоопределении и самосознании нашей культуры*, ибо в нем научные социальные и гуманитарные проблемы профессионально ставятся и решаются, а не заигрываются и не забалтываются. Поэтому, не сомневаюсь, к такому наследию будут обращаться и те поколения философов, культурологов, эстетиков и искусствоведов, которые придут за нами, ибо в них – при естественной специализации и тематизации каждого исследования, – обретая полнокровность бытия, все более определенно высвечиваются глубинные проблемы современного мира, жизни. При этом в его трудах идеи последовательно обосновываются через аргументированную критику опыта, через реальное обобщение, открывая нам, подчеркну еще раз, возможность приобщения к масштабу наследия крупного мыслителя, возможность восхождения к его содержанию, как, разумеется, и его критического прочтения, и обоснованного дистанцирования или развития. Каган и сегодня открыт для критики и своего продолжения. Тогда как даже самый поверхностно-абстрактный взгляд на состояние современной отечественной философии показывает значительное снижение уровня постановки проблем и масштаба личностей философов; так же как очевиден и дефицит в действительности убежденных в чем бы то ни было ученых. С этой точки зрения, глядя на полку с книгами Моисея Самойловича, думаю, что он сам как феномен нашей культуры, как особое и совсем не простое зеркало, отразил ряд черт-констант, первостепенно важных для профессиональной культуры, черт, в общем известных, но не оцененных тогда по достоинству. Это творческая энергичная воля, достоинство Профессора Ленинградского университета, что звучало в прямом смысле гордо; готовность к крупным обобщениям, исследованиям и дискуссиям, к обсуждению фундаментальных философских проблем, как, например, многолетнее участие в дискуссии онтологов и гно-

сеологов, внутренняя направленность на поиск новых – не «раскрученных» и уже устаревающих на Западе – философских направлений, стремление к ученическому приобщению к тому, в чем есть великий смысл. Отмечу и еще одну особенность Моисея Самойловича – тоже исчезающую сегодня черту, – которую всегда знала, но не очень ценила: речь об особой щедрости научного руководителя, легко и естественно дарящего идеи, образы, книги, которые не только легли в основы сотен, вероятно, диссертаций, но выстроили многие жизни и судьбы.

Поделюсь одним важным для меня, и далеко не исчерпанным по содержанию и сегодня, воспоминанием. Помню ленинградский зимний день далекого уже – ибо прошло 30 лет – времени, когда я, как всегда, волнуясь, шла на улицу Чайковского для первого разговора о моей будущей кандидатской диссертации. Стол Моисея Самойловича, на котором еще не было компьютера, был полон книг с закладками, журналов, бумаг, папок. Больше того, они были не только на большом письменном столе, но и на стоявшем рядом и ниже столике, который не назовешь журнальным: на нем тоже было немало того, что было в работе, – книг, журналов, своих и чьих-то текстов. Вот именно с этого столика я впервые получила из рук Моисея Самойловича книгу Сесила Тейта с анализом *American studies* – ассоциации, работавшей на основе холистской концепции культуры, ставшей сначала, в 80-е годы, предметом работы, важной для части кандидатской диссертации, а потом, спустя годы, – основанием философского метода, давно уже далеко вышедшего для меня за границы дистанцированно научных работ. Они стали жизнью, взглядом на мир, открыв с позиций целостности большое дыхание Культуры, раздвинув ее горизонты; они привели к переоценке ряда концепций целостности культуры и картины мира, к пониманию смысла классики как момента абсолютного и бесконечного в конечном в пространствах художественной культуры, к новым оценкам Ренессанса и Востока; космизма, пантеизма и традиций гуманизма, сформировав установку на объективность и неснимаемость целостности, органичность связи духовного и материального, объективного и субъективного в культуре, вечного и временного, абсолютного и относительного в жизни человека и культуры. До сих пор печалюсь, что переведенный мной тогда, еще в советское время, этот труд не довела до издания. Но начиналось все с той первой книжки. Так что этот жест М.С.Кагана, его рука, дарующая книгу незнакомого автора – представителя практически незнакомого тогда направления, был в моей судьбе больше, чем просто жест научного руководителя, предлагающего тему и концептуальную основу будущей научной работы. Без труда могу предположить, что таких жестов-Даров было немало. Другой вопрос, все ли были готовы их оценить.



И не менее важной видится мне сегодня сама содержательная развернутая постановка, разработка и опыт отстаивания крупных научных идей, как и сознательное стремление, направленное на рефлексию методологии их освоения. Не случайно он стал одним из пионеров апробации и системного метода, и позднее системно-синергетической парадигмы в области культуры и ее истории. Насколько я понимаю, и сам Моисей Самойлович именно с этим, методологическим аспектом связывал новизну и оригинальность большей части своих работ. Сегодня я бы в первую очередь назвала ряд ключевых проблем, анализ которых осуществлен в разное время: это последние труды по исследованию бытия и связей бытия и небытия и значительно более ранние работы с обоснованием ключевых сфер бытия. Природа – человек – общество – культура – четыре исходные и основные сферы, которыми представлена структура бытия; теоретическое освоение их целостности, в ходе которого раскрывались генетические и структурные аспекты, их связи и отношения, – все это было новым словом и типом мысли, стремившейся внести необходимые и достаточные доказательства и порядок в науки, противостоящие естественным, – науки, как шутил, цитируя кого-то, Моисей Самойлович, противоестественные.

Тогда я не чувствовала гуманистический смысл его онтологии, даже помня его замечание в адрес статьи В.А. Кутырева о том, что нет необходимости в оправдании бытия; оно есть по определению и должно быть утверждено и обосновано, как и его связи с небытием. По Кагану, самоценность бытия – исходный момент философии, оно есть как таковое, как объективная реальность и ценность, даже если крупнейшие философы XX века ставят его статус, самодостаточность и неснимаемость под вопрос. И мысль о том, что все связи бытия и небытия и их промежуточные состояния – это все же модификации и формы именно Бытия, будь то инобытие, квазибытие, художественное бытие, но не Ничто или объективистски понятое, сменяющие друг друга, бесконечные переходы небытия-бытия, оказывающиеся равноценными. Форма объективации бытия как целостности, как она проведена в работах Моисея Самойловича, выводила его за границы тех превращенных форм, которые создавались тогда в общественной жизни и ее отношениях, с которыми соотносилось бытие в философии той поры, доминирующей догматизированной идеологии, все более уходящей от духа подлинного марксизма и научной самокритики. Многие помнят, как сражался Каган, восстанавливая смысл и значимость той большой философской традиции, которая, начиная от Канта и немецкой классики, через ряд идей К.Маркса, выводила бытие человека на уровень объективной, преобразующей мир творческой силы человека, свобода которого и состоит в утверждении и развитии бытия. И тем самым сохранялась и раз-

вивалась гуманистическая направленность этой концепции целостности бытия, жизни, культуры и самой философии.

...Иногда в самые серьезные моменты – и в жизни, и в моей памяти – вторгается непредвиденно забавное – целостность жизни все же богаче любых схем. Вспомнила, как обсуждая «Метаморфозы бытия и небытия», которое еще было в работе, я рассказала Моисею Самойловичу о рассказе Шолом-Алейхема, который я давно слышала в исполнении замечательного чтеца Эммануила Каминки – был такой театр одного актера. Герой рассказа – неудачливый еврей рассуждает: «Жить или не жить... все равно. ... Нет, но жить, конечно, лучше...» М.С. Каган просил найти цитату, чтобы вставить ее в книгу, она совпадает с направлением его мысли, но я действительно не знала названия рассказа, не нашла, а жаль...

С общими размышлениями и анализом фундаментальных категорий онтологии органично связана разработка Моисеем Самойловичем собственно *идеи целостности культуры, целостности, пронизывающей в контексте ее динамики всю жизнь человека, общества и даже природы*. Только сложно-структурированная, функционирующая и одновременно развивающаяся, всегда открытая для нового, непредсказуемого, целостность, по логике М.С. Кагана, способна удержать богатство определений и содержательность культуры. И развитие это представляет собой исключительно сложный объективный процесс. Кажется, простейший букварь? Но сегодня эта идея противостоит современному мультикультурализму в нашей философии культуры, означая свертывание ее масштаба и возрастание частичности по отношению к человеку, обществу, к бытию в целом. Конечно, это не могло не породить снижение общественного интереса к гуманитарным проблемам и вообще свертывание социального заказа на результаты нашей работы. Мелькающий калейдоскоп имен, явлений – значительных и не очень, разномасштабных культурных микромиров, слабо связанных друг с другом и оторванных от объективной целостности бытия, – все это обнаруживает сегодня девальвацию не только социальной, но и научной ценности философии культуры, утрачивающей свою ответственность, а вместе с тем свой смысл, теоретически и практически значимые результаты.

В этой связи не могу не сказать о том, сколь большое значение М.С. Каган всегда придавал тому, что сам он называл праксеологическим аспектом деятельности: ему никогда не были безразличны результаты работы, качество связи фундаментальной и прикладной науки с нашей практикой. Между тем, задолго до появления у нас такого направления, как социокультурное проектирование, он был автором многих бесценных – и сегодня далеко не утративших значимость – инновационных проектов. Моисей Самойлович вносил исключительно ценные предложения по ре-



организации культуры как социального института. В них, исходя из своей общей философской концепции деятельности, эстетики и философии культуры, он обосновывал потребность во вполне определенных практических преобразованиях в системе организации нашей гуманитарной науки и ее академических институтов, творческих союзов, в системе подготовки кадров, в педагогических технологиях, практике музейного дела и т. д. Его убедительные статьи и яркие запоминающиеся выступления не только на научных конференциях и в научных сборниках, но публицистика, многочисленные статьи в газетах «Культура», в «Учительской», во многих ленинградских газетах и журналах, выступления перед художниками и педагогами – особая и, по-видимому, немаловажная страница творчества русского интеллигента, ученого-гражданина. На Западе такого не было. В ней открывается ученый-просветитель, мастерски созидаящий саму реальность культуры, практически осуществляя связь фундаментального и прикладного знания, не боясь «опуститься» до тех, кто не владеет философским аппаратом, но искренне стремиться к познанию, к восхождению к новому, высокому и истинному. Несомненно, еще найдется исследователь, который соберет, обработает и прокомментирует весь этот материал и представит нам еще одну сторону целостности культуры Кагана-публициста, человека-созидателя лучшего, что было в его эпохе.

Так же как не оцененной в действительности оказывается, по-моему, и другая глубокая мысль М.С. Кагана, которую, впрочем, многие помнят и даже нередко цитируют, – о необходимости различения понятий «коммуникация» и «общение». Однако отечественная философия не пошла за М.С. Каганом, – а каким бы красивым и противостоящим Западу мог быть поворот! – не сделала предметом мысли, серьезного разговора потребность в приоритете в современном мире содержательного человеческого и человеческого общения по отношению к миру коммуникаций, их систем, каналов, прямых и обратных связей. А потому и нет работы, – здесь я имею в виду не научные тексты, а работу сознания самого общества, направленную на понимание этой мысли, но прежде всего все же ученых, обсуждения принципиального отличия смысла общения от коммуникации, выходящего за границы узко-профессионального разговора. Между тем книга не случайно называется «Мир общения», но не «Мир коммуникаций».

А между тем сегодня целостность пространства культуры не просто динамична и, о чем уже столько сказано, представлена временем-пространством потоков. Само это пространство – уже сложно организованная сеть связей-коммуникаций, в которой одновременно происходит многонаправленное и разномасштабное разрастание и воспроизводство системы каналов коммуникаций. Именно коммуникаций, но не каналов

человеческого общения, смысл которых, как верно показал М.С. Каган, в самой связи людей, в обнаружении себя в другом и в других – нациях, в народах, регионах, социальных группах, конфессиях. Их смысл – в сохранении самого человеческого измерения культуры, ее органичных связей между людьми и культурами. Сохранение смысла этой – одной из основных, по мысли М.С. Кагана, – формы человеческой деятельности – условие жизни Вселенной культуры, без общения нет Человека, цельности его познавательной, ценностно-ориентационной преобразовательной-конструктивной деятельности, нет бытия. Но именно и только «межкультурные коммуникации» – одно из самых «раскрученных» сегодня понятий, оно и только оно – в названиях престижных конференций и конгрессов, диссертаций и монографий. И при этом – рост одиночества во всех крупных городах и небывалое снижение статуса всех институтов, которые традиционно обеспечивали высокое качество и содержательность общения. Кажется, общение, в отличие от отлаженных коммуникаций, утрачивает свою ценность и самодостаточность, хотя только отношения, выстроенные на его основе, а не выверенных технологий грамотных коммуникаций, могут развивать культуру как уникальную человеческую деятельность. Только эти, не инструментальные, а человеческие, экзистенциальные связи, есть форма расширения человеческого, культурного опыта и потому перспективная форма современного планетарного бытия вовсе не исчерпавшего себя человечества. И к Мартину Буберу, и к Альберту Швейцеру, и к Томасу Манну, и к Моисею Кагану еще предстоит вернуться, как и ко всем другим гуманистам XX века.

Тем не менее на практике, мимо которой пока проходит философия культуры, не только сохраняются, но и получают интересное развитие многообразные формы живого опыта общения. В этих формах утверждается безусловный приоритет культуры с ее радостью человеческого общения и познания – культуры, понятой как универсальное средство очеловечивания человека, формирующее схемы его мышления и поведения. В этих формах общения зарождается – вопреки конструируемой средствами инновационных технологий – новый тип органической целостности Культуры. Он пока не крепок; как хрупкой и ненадежной кажется судьба всей культуры планеты, как и судьба русской культуры, но все же этот росток есть. Это и новые тенденции и складывающиеся ассоциации, защищающие природу и памятники культуры, где профессионалы объединяются со всеми заинтересованными людьми, это и общение ученых и управленцев, понимающих, насколько прав был Леви-Стросс, сказав о том, что наш век будет или веком культуры, или его не будет вообще. В одном из таких международных Движений я тоже в меру сил тружусь, делая сейчас проект по экологии детства и игрушки.



Могу предположить, что Моисей Самойлович сегодня поддержал бы идею новой культурной революции, направленной на отбор живых продуктивных элементов, включая философские идеи, образы и идеалы, связанных с целостностью культуры и сохранением ее человеческих оснований. Наследие М.С. Кагана, которое и само сегодня уже не только система, но живая, растущая в разных направлениях Вселенная, в этом контексте оказывается исключительно современным. Оно необходимо как выражение здоровья культуры и науки, как реальная возможность расширения ее горизонта при сохранении целостности... и внутреннего единства страны. Конечно, это не следует понимать упрощенно, как исключительно работу по переизданию его трудов и их активное освоение. Речь – о возвращении к той профессионально-ответственной, неповторимо-лично выраженной позиции в культуре, которую он представлял. В этом отношении современность Кагана – не столько в тех или иных особенностях его мышления, теоретической системы и методологии, сколько в его Даре, таланте понять и выразить дух эпохи, ее целостности в частном, в конкретном, умении раскрыть субстанциальные основания релятивных примет пространства и времени. Поэтому анализировать концепцию целостности культуры Кагана сегодня – это, по-видимому, прежде всего, продолжать внутреннюю логику постижения мировой культуры как бесценного опыта человечества, в котором всегда было не только земное, но и небесное, не только частное, но и всеобще-целостное, не только конечное, но и бесконечное, классическое. Вот почему к этой живой Вселенной еще предстоит восходить.

И – закончу эти заметки стихами замечательного поэта, творчество которого любил и знал Моисей Самойлович и замечательно читал его стихи, близкие по пониманию жизни, судьбы культуры и истории, – Давида Самойлова.

Пусть нас увидят без возни,
Без козней, розни и надсады,
Тогда и скажется: «Они
Из поздней пушкинской плеяды».
Я нас возвысить не хочу.
Мы – послушники ясновидца...
Пока в России Пушкин длится,
Метелям не задуть свечу.¹

¹ Самойлов Д.С. Избранное: Стихотворения и поэмы. – Ростов н/Д., 1999. С. 18.

НАУЧНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ М. С. КАГАНА: БУДУЩЕЕ СИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЛОГИИ¹

В. П. Бранский*

Как известно, широта научных интересов Почетного профессора СПбГУ М.С. Кагана была необычайна. Трудно назвать такую область философии и методологии гуманитарных наук, в которую он бы не внес весомый вклад². В то же время он не выносил того идеологического прес-са, который душил в советскую эпоху свободу научных исследований в гуманитарной сфере. Каким образом можно было преодолеть этот трагический конфликт между объективной истиной и тоталитарным идеалом? Оказалось, что этого можно было достичь, создав новую науку – «культурологию». В ней можно было добиться относительной нейтральности по отношению к официальному историческому материализму. Фактически в советскую эпоху философия культуры стала своеобразным *маскировочным халатом* для серьезной научной работы в любых областях гуманитарного знания. Это явилось одной из важнейших причин такого страстного увлечения философией культуры, которое было характерно для профессора Кагана.

В отличие, однако, от многих других энтузиастов той же культурологии, Каган быстро осознал, что предметом культурологии должна быть не просто развивающаяся, а *самоорганизующаяся* система. Поскольку во 2-й половине XX века выяснилось, что общей теорией социальной самоорганизации является новая наука, получившая название «социальная синергетика», он понял, что наиболее перспективной может стать не какая угодно, а именно *синергетическая* культурология. Такая культурология должна рассматривать развитие культуры через призму общих закономерностей социальной самоорганизации, установленных в социальной синергетике.

* Бранский Владимир Павлович – доктор философских наук, почетный профессор Санкт-Петербургского государственного университета по кафедре философии науки и техники. Сфера научных интересов – философия науки, синергетика, философия искусства.

¹ Расширенный доклад проф. В.П. Бранского на Юбилейной конференции философского факультета СПбГУ, посвященной 85-летию проф. М.С. Кагана (18 мая 2006 года).

² Им опубликовано порядка 750 научных работ, в числе которых более 20 монографий.



Основные принципы синергетической философии культуры были сформулированы Каганом в таких фундаментальных трудах, как «Философия культуры» (СПб., 1996) и «Введение в историю мировой культуры» (СПб., 2001, книги первая и вторая). Культурологическая концепция Кагана подверглась глубокому анализу и получила высокую оценку в «Культурологии» Кармина и на научно-методологическом семинаре «Культура и культурная политика» в Российской академии государственной службы (Москва, 2005)¹. Поскольку центральным понятием социальной синергетики является понятие социальной самоорганизации, то главной проблемой синергетической философии культуры, по мнению Кагана, становится изучение общих закономерностей взаимоотношения в сфере культуры социального *порядка* и социального *хаоса*. Поэтому начинать общую теорию самоорганизации культуры следовало с ответа на вопрос: *как* протекает самоорганизация культуры? По Кагану, такая постановка вопроса сразу приводит к применению к культурно-историческому процессу таких фундаментальных синергетических понятий, как *бифуркация* и *аттрактор*.

Бифуркация (разветвление в точке бифуркации исходного состояния социальной системы на несколько новых) делает понятным нелинейный характер развития культуры, наличие нескольких сценариев, по крайней мере, в некоторых переходах от старой культуры к новой и, тем самым, проблему справедливости, как часто говорят историки, «сослагательного наклонения» в истории культуры. При этом получается важное уточнение: история «терпит» это наклонение не «вообще», а только по отношению к будущему, когда выбор сценария еще не сделан; по отношению же к прошлому (после того как выбор сделан) она его безусловно исключает. Следовательно, объективный характер бифуркаций в развитии культуры создает объективную основу для человеческой *свободы* (возможности выбора одного сценария из множества возможных). Объективную же основу *ответственности* создает аттрактор: наиболее устойчивое состояние (из возможных состояний системы в данной среде), к которому социальная система как бы «притягивается»². Аттрактор показывает, какой сценарий предпочтителен уже не с индивидуальной, а с социаль-

¹ Кармин А.С. Культурология. СПб., 2009. 5-е издание; Культура и культурная политика. Материалы научно-методологического семинара. Выпуск 1. Синергетическая концепция культурно-исторического процесса М.С. Кагана. М., 2005.

² Если бифуркация на простом русском языке – это «развилка», то аттрактор – «притягиватель». Подчеркнем, что эти понятия отнюдь не тождественны таким классическим философским понятиям, как «скачок», «цель» и т. п. Синергетические понятия не тривиальны и не являются простыми метафорами для обозначения старых понятий.

ной точки зрения, наглядно иллюстрируя известный философский тезис («нельзя жить в обществе и быть свободным от общества»).

Нетрудно, однако, заметить, что как бы ни был интересен синергетический ответ на вопрос «как протекает самоорганизация», он неизбежно рано или поздно приводит к новому вопросу: *почему* она имеет место? Другими словами, феноменология самоорганизации неизбежно должна привести к построению *эссенциологии* этого процесса (учению о сущности этого процесса). При этом выясняется, что движущей силой социальной самоорганизации является *социальный отбор*. Он предполагает: **а)** некоторое множество, из которого производится выбор («тезаурус» возможных решений), **б)** внутреннее взаимодействие в самоорганизующейся системе, которое осуществляет выбор («детектор»), и **в)** тот закон взаимодействия (принцип устойчивости), на основании которого осуществляется выбор («селектор»). Таким образом, теория самоорганизации отнюдь не ограничивается чисто феноменологическим подходом к этому процессу (как считают некоторые противники синергетического подхода к социальным процессам), а заглядывает в самую сущность подобного процесса. При этом очевидно, что требовать «объяснения» самоорганизации с помощью действий какого-то внешнего (по отношению к самоорганизующейся системе) фактора – это значит редуцировать самоорганизацию к организации (и, тем самым, просто отрицать объективность самоорганизации). Подобно спинозовской субстанции самоорганизация не имеет причины вне себя (причем как в прошлом, так и в будущем). Аккуратно сформированная эссенциология самоорганизации не требует привлечения понятия «зов аттрактора» (кажущееся воздействие будущего на прошлое) и дополнения общепринятой в науке действующей причинности аристотелевской целевой причинностью (телеологический подход). Мистификация синергетического подхода к объективной реальности путем апелляции к понятию «зов аттрактора» («будущее времени прошло») является всего лишь красивой метафорой. Тем не менее, проблема т. н. телеологической причинности в синергетике до сих пор вызывает острые дискуссии.

Ответив на первые два вопроса относительно самоорганизации («как она протекает» и «почему именно так»), мы неизбежно подходим к третьему вопросу: «Куда она, в конечном счете, ведет?» Этот раздел теории самоорганизации удобно назвать «эсхатологией самоорганизации» потому, что именно здесь обсуждается, по мнению Кагана, такая ключевая проблема, как моновариантность или поливариантность глобального развития человечества и мировой культуры.

Для того, чтобы ответить на третий вопрос, необходимо рассмотреть процесс самоорганизации на трех уровнях: онтологическом (само-



организация социальных институтов), гносеологическом (самоорганизация социальных знаний) и аксиологическом (самоорганизация социальных желаний). Такой анализ эквивалентен исследованию самоорганизации социальных учреждений, социальных теорий и социальных (общезначимых, или intersubъективных) идеалов. Всестороннее исследование самоорганизации культуры невозможно без изучения взаимодействия объективных и субъективных факторов. При этом в числе последних ключевую роль играют идеологические установки участников исторической драмы, определяющие и все их ценностные установки. Синергетическая философия культуры при ее последовательном развитии неизбежно приводит к двум очень важным результатам. Во-первых, все необозримое множество определений *культуры* вначале сводится к трем: ценностному, деятельностному и семиотическому. А эта тройка синтезируется в следующем определении: культура – это система *ценностей* (ценностный аспект) и *навыков* по их производству, распространению и потреблению (деятельностный аспект), формируемая определенным *идеалом* (семиотический, или смысловой аспект). Отсюда сразу становится ясным соотношение таких понятий, как культура и общество (по этому вопросу Кагану неоднократно приходилось вступать в очень острые дискуссии). В случае монокультурного общества эти понятия совпадают, а в случае поликультурного становятся существенно разными. Трудности в решении указанной проблемы связаны именно с попытками ограничиться только феноменологией самоорганизации. Как только мы переходим от феноменологии к эссенциологии и эсхатологии, ситуация сразу же проясняется. Это происходит потому, что на феноменологическом уровне остаются в тени *социальные идеалы*, доминирующие в соответствующем обществе, и те *идеологические установки*¹, которые определяют в этом обществе все поведение людей и всю их систему ценностей. Второе очень важное уточнение, которое социальная синергетика вносит в понятие культуры, заключается в уточнении понятия *идеологии*. Под *идеологией* теперь понимается не «ложное сознание» (ранний Маркс и вслед за ним Мангейм), а *учение об определенном социальном идеале*. Не случайно Каган говорил, что идеологию в таком смысле следовало бы обозначать термином «идеАлогия». Идеал же есть идеализированный объект, т. е. образ не такого объекта, каким он существует безотносительно к человеку, а такого, каким он должен стать согласно желанию человека. Короче, идеал – это образ не сущего, а должного.

¹ Решающую роль социальных идеалов в развитии культуры отмечали многие авторы. При этом они прибегали нередко к необычной терминологии (например, вслед за академиком В.С. Степиным и др. называли идеалы «универсалиями культуры», «социальными генами» и т. п.).

Всякий, кто осознает ограниченность феноменологического подхода и потому переходит от феноменологии самоорганизации к ее эссенциологии и эсхатологии, сталкивается со следующей проблемой: каковы долгосрочные перспективы глобальной самоорганизации человечества? Куда оно движется: к все большему *разнообразию* (тяга к регионализации) или к возрастающему *единству* (тяга к глобализации)? Трудность в том, что эти противоположные (альтернативные) процессы в XXI в. протекают не последовательно, а одновременно (!). Первый процесс описан американским политологом Хайтингтоном в его знаменитом бестселлере «Столкновение цивилизаций» (1996), а второй – его соотечественником Фукуямой в не менее известном бестселлере «Конец истории и последний человек» (1992). Противоречивое же взаимодействие этих альтернативных тенденций четче всех сформулировал И.Пригожин в интервью российскому журналу «Эксперт» (2000) в следующей форме: парадоксальное одновременное движение человечества к глобальному единству (рост культа порядка, тяга к тоталитаризму) и к глобальному разнообразию (рост культа хаоса, тяга к анархизму). Говоря простым языком, речь идет о парадоксальном сочетании движения человечества к тотальной запрограммированности всех человеческих действий и к их тотальной вседозволенности. Проблема, следовательно, не в том, что лучше – свобода ли по сравнению с несвободой и закон по сравнению с беззаконием, а в том, как совместить в одной системе свободу и закон (ответственность). На языке синергетики вопрос сводится к следующему: как *совместить* в одной системе *хаос* и *порядок* (свободу и ответственность, права и обязанности)?

В своей синергетической философии культуры Каган подошел очень близко к анализу парадокса Пригожина, придав ему следующую форму: какова самоорганизация человечества в долгосрочной перспективе – будет ли она моно- или поливариантной? На языке социальной синергетики этот вопрос равносильен вопросу: существует ли у множества локальных аттракторов некий предел в виде *глобального* аттрактора или же такого предела нет? Это проблема существования *суператтрактора*, к которой близко подходил и И.Пригожин. Характерно, что Пригожин не дал четкого ответа на этот вопрос. В таком ответе определенные колебания испытывал и Каган, хотя он считал более правдоподобной гипотезу о неопределенном множестве перспектив у самоорганизации человечества.

Такое настороженное отношение Кагана к понятию суператтрактора было связано с тем, что, будучи сторонником последовательного научного мировоззрения (а следовательно, принципов детерминизма и рациональности), он, по-видимому, опасался, как бы понятие суперат-



трактора не вывело нас за рамки научного мировоззрения (аналогичные опасения высказывал и проф. Назаретян). В то же время без понятия суператтрактора эсхатология самоорганизации человечества (в долгосрочной перспективе) при условии признания исследователем **объективности** и **неотвратимости** процесса глобализации испытывает большие трудности. А Каган эти черты глобализации безусловно признавал.

Тем не менее, как бы мы ни относились к понятию суператтрактора, синергетическая футурология (буквально вырастающая из недр синергетической культурологии Кагана) может иметь серьезное практическое значение для критики современного «потребительского» общества и для решения старой проблемы «смысла жизни» и связанной с ней, хотя менее популярной проблемы «смысла смерти». С точки зрения синергетической философии истории «смысл жизни» не может сводиться ни к простому выживанию человечества (о чем, например, подробно писал в своих многочисленных философских сочинениях акад. Н.Н. Моисеев), ни к потенциально бесконечному сокращению житейских неурядиц и к потенциально бесконечному росту его материального благосостояния (о чем неоднократно и говорили и писали политические лидеры разных стран). Синергетическая философия истории меняет саму постановку проблемы человеческого существования (экзистенциальной проблемы). С ее позиций самоорганизация человечества неизбежно связана с самоорганизацией каждого человека, притом в планетарном масштабе. Самоорганизация человека должна привести к формированию **нового** типа человека, т. е. такого человека, который по всем параметрам соответствует **идеалу** человека. Но тут возникает вопрос: о каком идеале человека идет речь? Дело в том, что «история – это кладбище идеалов» (Ясперс). Принципиальная новизна синергетической концепции самоорганизации человека заключается в том, что она опирается на **закон самоорганизации социальных идеалов**, регулирующий взаимодействие частночеловеческих (относительных) идеалов. В результате такого взаимодействия из многочисленных исторически ограниченных идеалов постепенно формируется общечеловеческий (абсолютный) идеал человека. Он, следовательно, не дан в готовом виде, а является продуктом всей всемирной истории. «Смысл жизни», в конечном счете, сводится к формированию такого человека, который по всем параметрам должен соответствовать не какому угодно, а именно **общечеловеческому** идеалу человека.

Из сказанного ясно, что смысл смены поколений (а потому и индивидуальной смерти) заключается именно в смене идеалов, делающей возможным формирование и реализацию общечеловеческого идеала. Как это ни парадоксально звучит, но главный парадокс истории (с точки зрения синергетической философии истории) состоит в следующем: **если**

бы человек стал бессмертным, его жизнь потеряла бы смысл. Хотя Каган не завершил исследование экзистенциальной проблемы, он, тем не менее, подготовил в форме своей синергетической философии культуры очень эффективную базу для принципиально нового подхода к этой проблеме. Здесь он далеко опередил не только многих российских, но и многих западных философов (особенно экзистенциалистского и деконструктивистского профиля). Он ушел в вечность, полный оптимизма в отношении синергетического подхода к экзистенциальной проблеме, о перспективности которого большинство философов как у нас, так и за рубежом даже не подозревает.

Так как взаимодействие идеалов связано с взаимодействием разных систем ценностей и, следовательно, разных культур, то в синергетической философии культуры возникает проблема *толерантности* разных культур (а следовательно, и утилитарных компонент разных культур, называемых обычно «цивилизациями»)!. Этому вопросу Каган в своей культурологической концепции уделил особое внимание.

По его мнению, в эпоху глобализации появляется уникальная возможность решить проблему толерантности путем перехода от конфронтации культур к их *диалогу*. К сожалению, он не успел детально расшифровать смысл этого понятия. По-видимому, он имел в виду тот способ разрешения социальных противоречий, когда можно их преодолеть без применения насилия. Хотя в известной нам истории культуры это происходит не часто, тем не менее Каган полагал, что такая возможность появляется именно в эпоху *глобализации*. Однако глобализация противоречива: есть социально ответственная глобализация (так сказать, «с человеческим лицом») и социально безответственная («со звериным оскалом»). И идеалы бывают разные – просто различные и полярно противоположные. Некоторые идеалы диктуют своим носителям такие нормы поведения, которые допускают компромисс, а есть такие, которые его безусловно исключают. Проблема толерантности может быть решена на *принципиальной* основе только при достижении *идеологического* компромисса. Последний предполагает отказ от какого-то норматива в своем идеале и принятие чужого норматива. Например, норматив этического идеала Л.Толстого «непротивление злу насилием» и норматив идеала И.Ильина «сопротивление злу силой» несовместимы и, с первого взгляда, исключают компромисс. Однако при более внимательном изучении этих нормативов такой компромисс оказывается возможным. Для этого

¹ Большинство определений цивилизации отождествляет это понятие с понятием культуры или с понятием «утилитарная составляющая культуры» (система утилитарных ценностей – базис системы духовных ценностей).



надо *диверсифицировать* понятие зла. Тогда, как показывает мировая история, существуют такие виды зла, которым нельзя противостоять с помощью насилия. Но есть и такие, против которых нет других средств, кроме силы. В случае согласия с такой диверсификацией компромисс даже в столь сложном случае может быть достигнут.

Без идеологического компромисса толерантность (даже если она и будет достигнута) окажется непрочной, шаткой и кратковременной. Дело в том, что идеалы с альтернативными нормативами мешают друг другу не только духовно, но и физически, поскольку они препятствуют друг другу в воплощении в жизнь (в реализации). Поскольку служение тому или иному частночеловеческому идеалу практически определяет «смысл жизни» человека, то участники исторического процесса в своем стремлении реализовать альтернативные идеалы «ущемляют» смысл жизни друг друга. Когда же «ущемляется» не просто какой-то частный интерес, но сам смысл вашей жизни, избежать насилия с обеих сторон становится крайне трудно. Поэтому в случае не простого различия, а *поляризации* идеалов диалог сам по себе не решает проблему толерантности, но он может помочь в решении проблемы. Дело в том, что трудность в достижении идеологического компромисса часто обусловлена тенденциозным (необъективным) подходом к чужому идеалу (его недостаточным знанием и пониманием). Диалог же помогает глубже изучить чужой идеал, четче осознать его нормативы и таким образом добиться более объективного его понимания. Диалог не исключает идеологическую борьбу, но он может помочь ее существенно смягчить, обнаружив нормативы, допускающие идеологический компромисс. Каган не мог не видеть тех трудностей, с которыми сталкивалось широкое распространение синергетической философии культуры (а тем более вырастающей из ее недр синергетической философии истории) среди культурологов и философов, привыкших к традиционному гуманитарному стилю мышления. Эти трудности связаны с непониманием той *новизны*, которую концептуальный аппарат синергетики содержит в себе по сравнению с хорошо известным концептуальным аппаратом, с одной стороны, кибернетики, а с другой – диалектики.

Между тем нетрудно показать, что кибернетика как общая теория управления с синергетической точки зрения содержится в качестве составной части в эссенциологии самоорганизации (общая теория социального отбора). Что же касается диалектики как общей теории развития, то здесь по вопросу о соотношении синергетики и диалектики существуют два основных подхода. Одни считают синергетику методом интердисциплинарных исследований, используемых в рамках традиционной классической диалектики. В этом случае синергетика оказывается

составной частью диалектики. Другие же рассуждают с точностью «до наоборот»: рассматривают классическую диалектику как классическую теорию развития в качестве составной части синергетики как неклассической теории самоорганизации. Именно к этой точке зрения был близок Каган. Дело в том, что синергетическое понятие самоорганизации является более общим, чем классическое понятие развития. Если классическая теория развития рассматривала закономерности перехода от порядка одного типа к порядку другого типа (например, от более простой структуры к более сложной, называемого обычно прогрессивным развитием), то синергетика имеет более общий смысл, ибо она исследует закономерности перехода не только от порядка одного типа к порядку другого типа, но и от хаоса к порядку и от порядка к хаосу. Такая философия становится особенно актуальной в XXI веке, когда на первое место среди философских проблем выдвигается как раз **проблема взаимоотношения порядка и хаоса** (как в области природных, так и особенно социальных явлений).

Указанная проблема связана с двумя экстремальными направлениями философской мысли – абсолютизацией хаоса (деконструктивизм) и, как альтернатива первому, мистификацией порядка (неофидеизм)¹. Критический анализ этих крайних точек зрения всегда занимал видное место в синергетической философии культуры Кагана. Критике неправомерной абсолютизации порядка (критике философского тоталитаризма) и неправомерной абсолютизации хаоса (критике философского анархизма) он всегда придавал большое значение. Единственно правильным подходом в решении проблемы взаимоотношения хаоса и порядка он считал исследование **гармонии** этих состояний реальности (их согласования и синтеза), поскольку он понимал, что без такой гармонии в жизни человека не может быть ни подлинной свободы, ни настоящей ответственности. Идея гармонии хаоса и порядка, которая лежит в основании гармонии свободы и ответственности, должна сыграть решающую роль в философии антикризисной политики XXI в.

Итак, суть научного завещания Кагана состояла в том, чтобы довести развитие синергетической философии культуры до уровня **синергетической философии истории** (СФИ). Для обозначения СФИ он даже предложил специальный термин, очень точно выражающий то новое, что

¹ Общее между этими альтернативными направлениями философской мысли на рубеже XX–XXI веков состоит в отрицании ими **творческой роли хаоса**. С точки зрения Кагана синергетический историзм, ведя борьбу на два фронта, выступает одновременно как против абсолютизации хаоса, так и против мистификации порядка.



несет с собой СФИ по сравнению с традиционными историческими концепциями (Гегель, Конт, Маркс, О.Шпенглер, Тойнби, П.Сорокин, Бердяев, Ясперс и др.), – *синергетический историзм*¹. По намеченному Каганом пути движется основанная его последователями *Санкт-Петербургская научная школа социальной синергетики*. За период с 1999 по 2009 гг. исследования этой школы были обобщены в коллективной монографии «Синергетическая философия истории» (СПб., 2009). В этой монографии показано, что растущее в разработке разных философских проблем разделение труда (дифференциация современного знания), имеет двойственный (противоречивый) характер: с одной стороны, обогащается и углубляется понимание таких философских проблем, как сущность человека, искусства, религии, политики и т. п., но одновременно теряется та тонкая и глубокая взаимосвязь, которая существует между этими проблемами. А это делает невозможным научный анализ соответствующих проблем и их убедительное решение в рамках научного мировоззрения. Каган неоднократно старался привлечь внимание нашей философской общественности к уникальной *интегративной* функции синергетического метода. И как раз эта функция синергетического метода получила дальнейшее развитие в указанной монографии. В ней показано, каким образом синергетическая философия истории позволяет преодолеть самоизоляция и отрешенность (и даже отчуждение) многих философских учреждений друг от друга. Такое отчуждение особенно заметно в случае кафедр философской антропологии, философии истории, философии культуры, эстетики, музейного дела, религиоведения, политологии и т. п. в рамках одного учреждения. Не говоря уже о соответствующих подразделениях в рамках других научных и учебных заведений. Как убедительно показано в трудах Санкт-Петербургской научной школы социальной синергетики (особенно в разработанной ею синергетической теории глобализации), именно СФИ позволяет связать различные фундаментальные проблемы философии (вплоть до проблемы смысла индивидуальной жизни и индивидуальной смерти в контексте проблемы смысла истории) в единый узел и выяснить каким образом закономерности взаимодействия хаоса и порядка могут помочь найти выход из сегодняшнего не только российского, но и общемирового идеологического хаоса.

¹ Каган М.С. Синергетика как методология исследования истории культуры: перспективы. (Культура и культурная политика. Синергетическая концепция культурно-исторического процесса М.С. Кагана. М., 2005. С. 163.)

ОБ ОДНОМ НЕЗАВЕРШЕННОМ СПОРЕ:

«общественники» и «природники» о предмете эстетики

А. П. Валицкая*

В гуманитарных науках движение мысли происходит в алгоритмах преемственности, и парадигмальные изменения совершаются, как правило, эволюционным путем, в актах осмысления того, что сделано предшественниками. В этом отношении труды Моисея Самойловича Кагана остаются не только в памяти истории отечественной философско-культурологической мысли, свидетельствуя об ушедшей эпохе, но и чрезвычайно актуальны сегодня для тех, кто собирается идти дальше.

В 1970–80-х годах, когда идеология марксизма была «единственно верным» (и безопасным) для отечественных гуманитариев обоснованием любого исследования, эстетика была самой живой, активной и дискуссионной философской наукой. В те годы сложилось, как минимум, четыре научные школы эстетики: московская, тартуская, ленинградская, свердловская, горьковская. Едва ли можно говорить о методологическом единстве внутри этих сообществ, и дело будущих историков отечественной философской мысли по достоинству оценить их позиции в полемике.

В ленинградской эстетической школе этих лет отчетливо прослеживаются два крыла: «общественники» (М.С. Каган) и «природники» (П.В. Соболев). Вокруг работ М.С. Кагана, переведенных на многие языки мира и сегодня воспринимающихся как классика («Лекции по марксистско-ленинской эстетике», «Морфология искусства» и др.), разворачивались горячие споры.

Каган вел борьбу на два фронта: на внешнем – с «квазимарксизмом» (по его определению) и внутреннем – с «природниками». И если у первых его не могли устроить идеи линейного культурно-исторического прогресса, истории философии как непрерывной борьбы материализма и идеализма, а искусства как формы познания с вершиной в соцреализме, то вторые, утверждавшие онтологический статус эстетического, были подозрительны признанием тварности мира, преемственностью по

* Валицкая Алиса Петровна – доктор философских наук, профессор кафедры эстетики и этики Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, возглавляет Диссертационный совет по эстетике и этике. Основная область научных интересов – история русской эстетики.



отношению к традициям русской философской мысли. Понятно, что если полемика с официальными марксистами была громкой, опасной и весьма тревожила противников, то внутренний противник был не столь заметен научной и околонуучной публике: здесь полемика шла внутри философского сообщества и проявилась отчетливо только в последнем периоде творчества философа (в 1990-е годы), после поражения внешнего врага.

Фундаментальный труд М.С. Кагана «Эстетика как философская наука», на мой взгляд, во многом вдохновлен тем незавершенным спором с природниками, которых он именует «наивными», «доморощенными», используя лексику советской поры и отрицая глубинную традицию онтологии эстетического в отечественной и зарубежной философской мысли.

Остановимся далее, по необходимости кратко, на трех основных тезисах автора этого труда: о природе эстетического отношения, о месте эстетики в культуре и о роли субъекта в бытийной картине мира.

Свою задачу М.С. Каган видит в «системно-синергетической реконструкции целостной эстетической теории», которая учитывает связи эстетики с культурологией, антропологией и аксиологией, однако их позиции «принципиально отличаются от позиций русской религиозной философии».

«Сущность эстетического отношения, – говорит Моисей Самойлович, – в том, что оно является объективно-субъективным, то есть ценностным, а не познавательным»¹. Для его возникновения требуется особая «эстетическая ситуация» созерцания, отвлеченного от всякого интереса, познавательных запросов, от помех жизненной суеты. И тогда у того, кто обладает развитым вкусом, возникает эстетическая интуиция красоты, гармонии и совершенства, направленная на переживание («раскодирование») эстетической ценности, «носителем» которой выступает вещь, явление, произведение искусства. При этом «содержательная форма конкретного предмета, – пишет он, – является носителем эстетической ценности, но не самой этой ценностью, ибо форма предмета имеет онтологический статус, она существует объективно, вне зависимости от субъекта, его потребностей, интересов, сознания, тогда как ценность есть категория аксиологическая, характеризующая значение объекта в жизнедеятельности субъекта. Те свойства предметной формы, которые мы эстетически воспринимаем и оцениваем (ритм, цветовые и звуковые отношения и т. д.), взятые сами по себе, не являются эстетическими»².

¹ Каган М.С. Эстетика как философская наука. Университетский курс лекций. СПб., 1997. С. 24. В дальнейшем ссылки на это издание.

² Там же. С. 129.

Таким образом, согласно Кагану, эстетическое восприятие оказывается *ситуативным*, детерминированным культурным опытом субъекта, который тоже является ничем иным, как «носителем» доставшегося ему культурного опыта. И субъект, и объект, обладая «несомым», то есть эстетической ценностью, обретают его только в культуре, а их встреча, эстетическое переживание, – достаточно случайная (или преднамеренная) ситуация, не имеющая бытийного (со-бытийного) характера. «Несомое» объекта и субъекта – *ценность*, легитимированная эстетосферой культуры, которая представляет собой отдельную часть аксиосферы, наряду с ценностями нравственными, художественными, религиозными и социально-политическими¹: «эстетосфера» возникает и живет как результат удовлетворения «потребности культуры» (?) в оценочном отношении и рациональном осмыслении результатов эстетического опыта.

Применение синергетического подхода предполагает понимание культуры как метасистемы, в которой действуют имманентные законы самоорганизации хаоса; ее развитие, движение, становление происходит нелинейным путем, когда после «взрыва» могут быть реализованы случайные направления, действуют «аттракторы», которые способствуют развитию тенденций, востребованных будущим. Стихия культуры оказывается движущейся, самодвижной и движимой (по слову Л. Карсавина) имманентными законами синергетики, она обладает всеми признаками системы живой, самосознающей, испытывает потребности (в частности – в эстетическом), то есть обретает божественные качества гиперсубъекта, который определяет состояние мира собственно-человеческих, индивидуально-личностных ценностей. При этом «познавательные потребности культуры» удовлетворяет только «точное, логически развернутое и доказательно фундированное гуманитарное научное знание»².

Моисей Самойлович говорит, что главным предметом спора общественников и природников был субъект, его место и роль в бытии. Однако речь шла не только о субъекте, но и об объекте эстетического отношения, причем для общественников эстетическое качество вещей и явлений мира *появляется* по мере накопления опыта культуры и готовности сознания субъекта. Эстетическая способность сознания, полагает Каган вслед за Марксом, рождается в процессе общественной трудовой деятельности, когда постепенно глаз учится различать совершенство формы, ухо – гармонию звуков и т. д.; в трудовой творческой общественной деятельности рождается способность схватывать «несомое», получать «бескорыстное» эстетическое удовольствие.

¹ Там же. См. схему на стр. 114.

² Там же. С. 23.



Природники же полагают, что эстетические качества объекта *проявляются* сознанием в процедурах чувственного восприятия, иллюстрируя эту позицию пифагорийским примером с двумя арфами: аккорд на одной из них вызывает на другой резонансный ответ. Этот «резонанс» возможен в силу структурной изоморфности субъекта и объекта, поскольку структуры человеческого мозга и психики формируются по тем же законам, которые действуют в живой и неживой материи: ритма, симметрии, пропорции, меры.

Эстетическая способность сознания, конструирующего образ мира и человека в нем, полагают «природники», имеет *онтологический* статус, определяет самую возможность существования сознания как феномена. Более того, наличие сознания – способности целеполагания, образного видения цели действия, той вещи или ситуации, ради которой это действие предпринимается, – делает возможным общественный труд как таковой; сознание с его сущностной эстетической способностью предшествует деятельности, созидающей культуру. Действительно, работа – дело природных сил, тогда как труд – собственно человеческий способ *сознательного* преобразования мира по мере собственного (человеческого вида); бессознательно, вне эстетической способности, он, по определению, невозможен. И в таком контексте эстетическое отношение – *универсально*, поскольку является первой ступенью *познания*, способом *ориентации* в мире и последующего ценностного *суждения* о нем. Понятно, что «эстетическая ситуация» – отнюдь не случайность, но это и есть событийная форма пребывания человека в мире, в культуре, в обществе.

Способность созидания образов мира определяется структурой сознания, реконструируемой на основании его функций: потребности, эмоции («ответ на удовлетворение\неудовлетворение потребности или оценку возможности ее удовлетворения в данный момент» – по П.В. Симонову), чувства, способности, такие как восприятие, конструирование, воображение, ценностное суждение, целеполагание. Ансамбль эстетических чувств – *ориентационных* (чувство пространства, времени, движения, ритма, цвета, линии, симметрии, меры) и *аксиологических* (прекрасного и безобразного, возвышенного и низменного, трагического и комического) служит основанием процедур восприятия, познания, ценностной интерпретации, созидательных действий субъекта в культуре, которая и есть *продукт эстетического творчества* людей, мир, созидаемый человеком «по мере собственного вида», универсальный способ существования человечества в природе. Передача функций познающего, чувствующего, самосознающего субъекта метасистеме культуры таит опасность утраты субъекта (личности, человека), о чем с тревогой говорит современная философия.

«Предметом эстетического отношения, – читаем далее М.С. Кагана, – является та или иная форма наличного бытия, поскольку она доступна непосредственному чувственному восприятию и переживанию, становясь носителем определенной эстетической ценности; тем самым мы получаем теоретическое основание для различения носителя эстетической (как, впрочем, и всякой иной) ценности и самой этой ценности как его, этого носителя, значений для субъекта. Отсюда следует, что модальность эстетической ценности – красоты, величия трагизма, поэтичности и т. д. – не онтологическая, а аксиологическая, и эстетике остается лишь исследовать отличие эстетических ценностей от всех иных»¹.

Вот так: все вещи и явления бытия – лишь «носители», не имеющие сущностных оснований для того, чтобы стать предметом эстетического переживания, а эстетика должна быть озабочена только формальным различием их значения для субъекта, она должна сказать, где тут нравственные, художественные или социальные ценности. Таким образом, Каган «освободил» эстетику от философской гносеологии и онтологии, будучи «общественником», оставил за нею лишь аксиологический смысл, сформированный культурой, то есть задачу определения значений эстетических ценностей для общественной практики.

Однако разве не очевидно, что весь спектр ценностных смыслов открывается (начинается) именно с эстетического восприятия: вещь, явление, поступок, идея – явлены сознанию в чувственно-конкретной форме, и эстетическая интуиция совершает необходимый «прорыв» сквозь форму к сущности, к той структуре, которая обусловила именно эту форму, обнаруживая ее соответствие человеческой мере, а в последующей операции – ее значение для субъекта (личности, общества), ее роль в культуре? И в этой связи едва ли справедливо ограничивать задачу эстетики названным различием видов ценностей: эта операция скучна и схоластична, гораздо важнее понять, как вообще возможна эстетическая интуиция, что дает этот «прорыв» человеку, ради какой «пользы» он совершается.

«В эстетическом восприятии действительности и искусства, – справедливо полагает Моисей Самойлович, – соотнесение формы с содержанием не является логической операцией, рассуждением, анализирующим действие мысли. Соотнесение это производится человеком интуитивно, в то самое мгновение, когда он сталкивается с предметом и созерцает его. В эстетическом восприятии мы *бессознательно ощущаем* (курсив мой – А.В.) содержательность формы, а не выявляем ее умственно»². Но пойдём да-

¹ Там же. С. 68.

² Там же. С. 126.



лее: как возможна эта интуиция? Ответ можно получить, только принимая идею «резонанса», возникающего вследствие изоморфизма «разномодальных» структур бытия (сознания и вещественных форм мира).

Но послушаем еще Моисея Самойловича, когда он размышляет о взаимоотношениях эстетического и художественного. «Художественное освоение человеком мира воссоздает *бытие* в иллюзорной форме квазибытия, т. е. *небытия*..., мы имеем дело всего лишь с *кажимостью бытия*, подлинным же бытием обладает только материальная конструкция – носительница образа, так называемый „артефакт“: обтесанная глыба мрамора, холст, с нанесенными на него сгустками краски, движущиеся звуковые волны... Эстетическое отношение обращено к *наличному бытию*, в любой конкретной его форме – природной, человеческой, вещественной, художественной, – тогда как последняя в этом эстетически значимом облике содержит *сотворенное художником небытие* – мнимое бытие, иллюзорное бытие, квазибытие; поэтому эстетическое и художественное разномодальны, у них различные качественные определенности, в силу чего они и не тождественны, и друг от друга неотрывны»¹.

Что же происходит? В подлинном бытии отказано всей сфере творчества духа, идеям, ценностям, образам, коль скоро они сотканы сознанием и еще не обрели (или уже покинули) своего «носителя»? Стало быть, глыба мрамора принадлежит бытию, а скульптура Давида, образ юного героя – «превращенное небытие», иллюзия? Возможно, дело здесь в том смысловом различии понятий «действительность» и «реальность», о котором говорил С.Франк: действительность – то, что дано органам чувств; понятие реальность – шире, оно включает в себя создания воображения, фантазии, миры искусства, произведения духа, – то есть виртуальную реальность, творимую человеком и, несомненно, включенную в пространство культуры, в пространство бытия. Проблема существования, функций, структуры виртуальной реальности становится особенно острой в эпоху глобальной информационной сети, существование которой в XXI веке отнюдь не «кажимость».

Тем более неясным оказывается определение «разномодальности» эстетического и художественного: эстетическое восприятие отнюдь не завершается в пределах материальной формы объекта, это процесс конструирования, осмысления, представления, суждения и – целеполагания, развернутого в предметном поле культуры, в том числе и особенно – в искусстве. Вне эстетического отношения невозможно любое творчество, а мир художественного – ответ на сущностную потребность сознания в созидании виртуальных миров.

¹ Там же. С. 68–69.

Размышляя о формах «небытия» ценности, феномена эстетического и художественного образа, философ пишет: «Применение таких пространственных по их происхождению понятий как „структура“, „строение“ к явлениям духовным имеет *метафорический* (курсив мой – А.В.) характер», – однако тут же замечает: «...относительно правомерности переноса пространственных отношений на внепространственные духовные реалии можно лишь утверждать, что вне такого переноса организация духовной жизни человека оказывается просто неуловимой»¹. Действительно, автору приходится признать правомерность такого «переноса», оставаясь в пределах аксиологического понимания природы эстетического.

Однако эта ситуация существенно проясняется в онтологическом обосновании, предложенном еще И.Кантом, который говорил об априорном, доопытном *эстетическом чувстве* пространства и времени. Это чувство активно функционирует и развивается в освоении (познании!) мира по принципу расширяющейся ойкумены: пространство губ, пространство рук, взгляда, шага, мысли. Это чувство всегда аксиологически окрашено; ценностный смысл, действительно, обретается в практике чувственного познания. Верх, низ, правая и левая сторона – пространство, соотнесенное с человеческим телом, определяет строение Вселенной в ее физическом и духовном измерениях (верх – рай, восхождение, возвышенное; низ – ад, падение, низменное и т. д.), – все это символические константы культуры, рожденные чувством пространства как сущностной способностью сознания, обеспечивающие органичность присутствия человека в универсуме. Конечно, такие понятия, как пространство истории, пространство мысли, пространство культуры, – метафоричны по отношению к чувственному опыту, однако действительно служат самоопределению человека и человечества в бытии: они не менее реальны, чем сознание и мысль.

Кстати, о метафорах: «потребность культуры» в познании, в эстетическом и художественном творчестве, о которой говорит философ, – ничто иное, как метафора, которая состоит в переносе свойств и качеств одного явления на другое. Эта потребность познания и творчества – принадлежит человеку, а не культуре. Потребность сознания в конструировании целостного и, по возможности, непротиворечивого образа мира порождает поиск недостающих для этой цели знаний и эвристический восторг, когда эта потребность удовлетворена; вся сфера художественного порождена потребностью в созидании миров, иных, чем действительность. Однако этот процесс совершается по тем же законам простран-

¹ Там же. С. 58.



ства, времени, ритма, симметрии, света (цвета), что и конструирование эстетических, ориентационно-ценностных образов. Отличие эстетического и художественного состоит в том, что в созданиях искусства эстетический образ, будучи воплощен в материале, обретает реальность, целостность, позволяя другому «войти» в этот виртуальный мир, чтобы существовать в нем.

Культура – продукт эстетического творчества людей; эстетическое – «причина» культуры, порождающая самую возможность существования этого универсального способа бытия человека и человечества в природе.

Завершая этот краткий обзор основных противоречий природников и общественников, подчеркнем, что в определении предмета эстетики как философской науки работают все три ипостаси: онтологический, гносеологический и аксиологический подходы, схватывая природу субъект-объектных отношений и их результат. Так, онтология сознания, сущностной характеристикой которого является потребность и способность построения целостного образа мира в соответствие с данными чувственного опыта, предполагает признание эстетических качеств объекта, где форма проявляет его структурные характеристики; интуитивно-чувственное познание – акт по сути своей гносеологический, предполагающий последовательный анализ этого процесса; результат эстетического познания – суждение в форме ценности, апробированной, «обточенной» опытом культуры и укорененной в ней. Таким образом, аксиологический подход к пониманию феномена эстетического отношения, фундаментально разработанный М.С. Каганом, требуется, по принципу дополнительности, использовать в онто-гносеологическом ракурсе.

DUIS IGNŌTIS, или ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД

А. А. Грякалов*

Статью-воспоминание принято начинать с обращения к прошлому, но в случае с творчеством М.С. Кагана это совсем не очевидно. Очевидно как раз *другое* – сам исследователь диалог вел с настоящим-как-будущим. Его интересовала реформация настоящего – постоянно неудовлетворяющей наличности: как сделать так, чтобы несовершенное реальное стало реальностью идеала? Идеал – желанное, соединяющее многих, почти всех в просвещенной эстетической реальности.

Это апелляция к действительно очевидному – каждый может представить лучшую жизнь: если в нее и нельзя немедленно попасть, то ее можно более или менее целостно представить – сразу задействованы экзистенциалы творчества и свободы, мира и достижения счастья. В этом смысле работа с идеалом действительно всех соединяет – в идеальное каждый может вложить хотя бы только свои собственные желания и представления.

* * *

Семинар для студентов старших курсов философского факультета назывался «Методика самостоятельной работы».

Специализация – *этика и эстетика*.

Вокруг этики и эстетики – строгое пространство философской институции: диамат, истмат, логика, философские вопросы естествознания, история философии, атеизм, научный коммунизм. Примерно так выстроены приоритеты и значимость специализаций.

На кафедре этики и эстетики есть проф. М.С. Каган. Привлекает он и эстетика – в эстетике чудесная легкость и тайная независимость от «материи» – там возможна поэзия. Через много лет я прочитаю у Ницше, что писать хорошую прозу можно только помня о поэзии, – заниматься философией можно только помня об эстетике! А Гегель скажет, что философы, не чувствующие искусства, – буквоеды, таково большинство наших философов.

* Грякалов Алексей Алексеевич – доктор философских наук профессор кафедры истории философии Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург), писатель, член Союза писателей России.



В эстетике творческое предстает как *свое* в философии, более того – как свое в жизни. При работе с эстетическим обязательно должна быть некоторая пусть даже малейшая самостоятельность во взгляде – не самонадеянность, конечно. Профессор Каган поражал меня и теперь продолжает поражать своим знанием материала – знание всегда прикладывалось к конкретному разговору или аргументу. Он как бы прививал новое к традиции или идее – давал творчески произрастать на укоренившемся древе: по-настоящему значим только живой философский опыт.

Но с чего начинать?

Что самое главное? – построить *модель* поиска. Теперь это может показаться почти обыденным положением, но тогда само слово *модель* актуализировало порядок и телос: поверх идео-логики и субъективных предпочтений выстраивалось правило поиска. Наполнить правило каждый мог своим собственным – именно это я теперь больше всего ценю в тогдашнем семинаре. И Моисей Самойлович каждого как бы приуговаривал к встрече с самим собой. Логика и интеллектуальное обаяние были огромными – для интеллектуальной судьбы многих это оказалось непростым испытанием: повторить невозможно.

Привлекала возможность единства и родства – союз эстетики с этикой подчеркивал близость общих истоков. И если дальнейшие судьбы этики и эстетики оказались в известной степени разделенными, то на протяжении достаточно длительного времени их общность демонстрировала то, что будет осознано гораздо позже: соотношение этического и эстетического имеет событийный характер и должно каждый раз устанавливаться на новых основаниях. Калокагатийный исток значим не столько генетически, сколько топологически: соотносительность должна быть учтена во множестве других факторов самоопределения этики и эстетики. И М.С. Каган неоднократно подчеркивал, что *истина, добро и красота* разошлись в современном мире, но продуктивный смысл заключен как раз в том, чтобы сам факт расхождения понять в пределах единства.

Вот это главное: найти порядок и смысл в сфере искусства, морфологически понятого в целостности, – понять и объяснить порядок в произведении, в творчестве, в восприятии, в преподавании эстетики – через изучение эстетики представить целостность в преподавании гуманитарных, естественных и технических дисциплин. Эстетика – пространство стяженности смыслов, встречи рационально постигаемого и чувственного, типического и индивидуального, фольклорного и авторского. «Системный подход к системному подходу», преодоление ложной дихотомии «структурализм или антиструктурализм», полифункциональность искусства, соотношение генетического и прогностического – это осуществленные М.С. Каганом в разное время усилия стяженности разделен-

ного. Собственно этим философия и занимается: эротичная по своей природе, она соединяет разделенное в мире, где только разделенное и существует. Но рефлексивное усилие нуждается, естественно, в соответствующей энергии и силе – материальном производстве, бессознательном, интуитивном, свободном, любовном человеческом присутствии. Заставить их стать очевидными мог только уникальный творческий опыт – сосредоточенный и любовный эстетический взгляд. Именно тут романтическая *выразительность* становилась более значимой, чем реалистическая *изобразительность*.

* * *

Все, кто был близок к проф. Кагану, переживали самоопределение на его фоне – творческий «антропологический фактор» был чрезвычайно значим. Для меня во многом он был самым важным. Выход М.С. Кагана к обобщению в конце лекции мог быть пережит как глоток воздуха после погружения – весь предшествующий разговор становился телеологически оправдан. И понимание хода не менее важно, чем окончательный вывод. Иногда мне казалось, что вывод избыточно однозначен, но важнее был переживаемый факт того, что вывод-как-выход вообще возможен. Почти экзистенциальная ситуация: важно не само по себе то или иное решение, а сама возможность совершать выбор.

В принципиальной полемике, а имеет смысл говорить только об этом, а не об уточнениях и дополнениях, Моисей Самойлович Каган не делал уступок – я говорю, конечно, только о том, чему был непосредственным свидетелем. Услышав обвинение в идеологической невыдержанности одного из томов «Лекций по истории эстетики», он в ответе начал совсем с других замечаний. Признал недостаток в том, что отсутствует раздел по истории японской и китайской эстетики, не хватает также раздела по эстетике Ближнего Востока. Он сохранял уверенность и спокойствие – так мне казалось, признал замечания и выразил надежду, что когда-нибудь появятся нужные специалисты. Но вдавленное в кресла зала УМЛ мое поколение не имело опыта «политической дискуссии» – речь шла о прямом обвинении в несоответствии учебного пособия идеологическим требованиям и мировоззренческим положениям.

Дойдя до ответа на выступление официального критика, М.С. Каган начал со слов о том, что если все пособие идеологически неполноценно, то лучше бы начать разговор с другой главы, а не с той, с которой начал критик. Я помню, как зашелестели страницы: самая уязвимая с точки зрения критика глава была написана человеком, который совсем недавно ушел из жизни. Так разговор о философской истине был начат со слов о



человеческой памяти – существование предшествует сущности не только в традиции экзистенциализма. Тогда я почувствовал великолепное обаяние не столько профессионально-философской, сколько человеческой сосредоточенности, – вполне мог бы подумать о том, о чем узнал позже: *снайпер!* – мне тогда казалось, что катарсис переживается здесь и сейчас. И шаг за шагом обвинения были убедительно опровергнуты – в самом конце выступления М.С. сказал о том, что официальные рецензенты книги (крупный специалист в области критики западной философии М.К. и известный специалист в области идеологической борьбы А.Н.) при знакомстве с рукописью не нашли того, что там однозначно обнаружил критик. И далее: уж если студенты учат профессоров, то почему бы аспирантам не учить студентов? – критик был бывшим студентом М.С., а одна из глав написана аспиранткой кафедры – теперь она один из ведущих в России специалистов в области философской эстетики.

Тогда оторопевшее коллективное *тело*, почти нежизнеспособное от обвинений, превращалось в активную философскую *плоть*, у которой было желание жить и заниматься тем, о чем шла речь в этот день и во многие другие дни студенческих семестров и аспирантских лет. Вслед за выступлением М.С. «коллективное тело» поколения стало понемногу выпрямляться, дыхание выравнивалось – я чувствовал себя под защитой умной действительной мысли, достоинство существовало: боящийся в любви несовершенен!

* * *

До сих пор не осознаны следствия «культурологического поворота». А именно в пространстве «культурологического постмодерна» вырастает собственный демон разрушения – демон во многих обликах и личинах. Одно из явленных проявлений – постмодернистский терроризм. Время пребывания – вне времени (уже по самому определению пост-модерна), место действия – любая обжитая местность.

А что же эстетика?

Смущенная натиском, стала подстраиваться под ближайшее, рассеивается в трансэстетике, неразлично сближается с наличным – массмедиаально-рекламным, продуцируемым, проективным. Но современность еще продолжает понимать себя эстетически, правда, понимание уже на исходе: эстетика современности представила мир как произведение, что включает в себя произведенность как завершение. Одно из последних усилий сохранить эстетику – размещение ее в пространствах существования (М.Фуко). Дробящаяся культурологическая проективность делает невозможным разговор о единстве множества современного мира. Каковы перспективы? – отнюдь не «культурологический синтез».

На этом фоне возможности эстетики М.С. Каган соотносил с ее философским характером. Обсуждению подлежат условия познавательной продуктивности и эвристических возможностей сохранения эстетикой вместе с философией позиций, выработанных классической мыслью в XVII–XIX столетиях. Он подчеркивал, что это проблема по сути своей *мировоззренческая*, связанная с общим кризисом культуры на модернистско-постмодернистской стадии ее развития. Положение эстетики именно двойственное: она является философско-теоретической дисциплиной, но одновременно обращена к эстетически-художественной практике, в которой нельзя не видеть аналогии положению в философии бифуркации: с одной стороны, процесса самоликвидации искусства и его оборачиванию «*антиискусством*» как разновидностью игровой деятельности и разрушения эстетического отношения человека к миру в силу *стирания различий между прекрасным и безобразным, между возвышенным и пошлым*, а с другой, стремления сохранить классическое представление и об эстетической форме ценностного сознания, и об искусстве как способе художественно-образного освоения человеком мира. Такая задача решения органического синтеза современного и традиционного, модернистского и классического, серьезного и игрового по плечу только гениям.

Задача, стало быть, нерешаемая. Несомненные философские гении – в прошлом, а те, кто мог бы быть таковыми названы при известном расширении представлений о гениальности, не ставят перед собой задач «органического синтеза».

Но все-таки – как быть с эстетикой? Анализ материала говорит об очевидном скатывании в наличную эмпирику. Эстетика-после-искусства превращается в эстетику-позади-искусства – утрачивается собственное мыслительное искусство эстетики. Современные теоретики способны сами программно манифестировать свои представления о творчестве и мире – кажется, что эстетике осталось только то, что обойдено «классическим» вниманием: ветхое, наивное, альтернативное, исчезающее – с одной стороны; с другой – предметные данности: тело, ландшафт, танец, жест. Впрочем, и этого немало: в первом случае эстетика «хранит все», во втором – «обращает к миру».

Но что *есть* в эстетике и в эстетическом? Культурологические стратегии имманентны по преимуществу. Не так для эстетики: этимон эстетиса обращен к событийным данностям.

Постоянное усилие М.С. Кагана состояло в том, чтобы удержать эстетику на острие философской работы. И понятно: эстетика была единственной из всех философских дисциплин, в которой удивительным образом был сохранен непосредственный контакт человека с миром. Тема



первичного называния предметного и человеческого – тема творчества в его принципиальной открытости миру. Думаю, что и философы-естественники – тогдашние студенты, а нынешние доктора наук – тоже испытали обаяние эстетической мысли о красоте и творчестве.

Говоря об устаревшем в традиционной эстетике, Теодор Адорно вменил ей в вину две погрешности: во-первых, принципиально трудно, даже невозможно выявить природу искусства в общих чертах с помощью системы философских категорий, с другой стороны – эстетика слишком зависит от теоретико-познавательных позиций. Наверное, эстетике не хватает радикального номинализма. Но в опыте Моисея Самойловича Кагана это недостижимое поименование было представлено: и обращением к произведениям – помню его рассказы о творчестве Ладос Гудивавшвили, и обсуждения симфоний Шостаковича, и разговор о спектакле «Село Степанчиково и его обитатели». Эстетика не оставалась в обобщенном представлении – именно эстетика и хранила живую чувственность мира, переживания, доброжелательность ко всем, кто имел эстетический слух и умел смотреть. Искусство всегда уходило – и уходит – вперед, это, конечно, не прогрессистское представление: нужно было сообразовывать эстетику и с творчеством Кафки, и с философией бунта и абсурда. Сам опыт открытости мысли не позволял эстетике оставаться созерцательной наукой – открытость теории, в свою очередь, ориентирована на событийное в ней самой. Для М.С. Кагана идея системности была дополнена образами и смыслами интуиции, историческое прошлое соотносено с прогностикой, а семиотизированная теория коммуникации смещена философией общения, где человек встречается с человеком. Можно так сказать: М.С. Каган постоянно уходил от своих собственных построений в их относительности, но постоянно оставался в рациональном поиске новых открытий. Нерационализируемое как бы постоянно вызывало его теорию на-встречу: поэтический гений, интуиция, хаос.

В теории всему находилось свое место – место приходилось рассчитывать, создавать заново, по-новому именовать. Но сам факт обращенности к тому, что открывается, может быть названо и объяснено – понято, говорил именно об эстетическом взгляде – его принципиальной открытости, неутоленности, экзистенциальной наполненности.

В одном из разговоров – инициатором всегда оказывался я, мне нужно было вызвать Моисея Самойловича на разговор об эстетике, – я предложил провести семинар или конференцию по эстетике. Вопросы давно известны: кто мы, куда мы идем? Ответ его я запомнил: имеет смысл обсудить три концепции эстетики, которые есть в Санкт-Петербурге. Первая – его собственная, наверное, можно ее назвать особой эстетической системотехникой. Вторая – концепция А.Л. Казина, наверное, М.С. Каган имел

в виду ее религиозную ориентацию. Третья концепция, он сказал, – твоя. Сразу же и вопрос, который живет во мне до сих пор. Как бы в его системном видении могло быть то, что я пытался определить как *эстетику события*? Тогда монографии «Письмо и событие» еще не было, да и появление ее не означает завершеного ответа. Я об этом вспомнил только потому, что теперь такой разговор невозможен. И хотя совсем недавно я рассказал профессору Казину о том разговоре, о встрече не договорились.

Интересно было бы обсудить проблемы синергетической эстетики – в отечественном контексте она очень много приобрела от того, что ею занимался М.С. Каган именно в связи с эстетикой события. *Ното Aestheticus* – существо интенсивно проживаемого опыта, представления которого понуждают к пристальному всматриванию и вслушиванию в мир. Эстетический опыт отрефлексирован в мысли, обращенной к открытости события, – эта обращенность создает основание для представления событийной целостности, отличной от *мировоззрения*, от *проекта*, от *картины мира*, но сохраняющей в своей данности следы предшествующих опытов понимания. Речь, следовательно, вовсе не идет о (пост)современном аналоге картины мира или об интеркультуральном или транскультуральном монтаже некоей галереи современности, где соединились образ и рефлексия. Речь о другом: взаимосоотнесенность эстезиса и логоса позволяет сопоставить событие космотелесных и антропологических интуиций («эстетический опыт») с философской рефлексией. Событие находится *между* – в пространстве встречи и понимания, но не сводится к интересубъективности.

Внимательное отслеживание события путем реконструкции свидетельствует прежде всего об одном: событие оказывается уходящим из сетей истолкования и не схватываемо ни через обращение к символическому («структура»), ни через обращение к бытию («онтология»). Структуралистский и онтологический соблазн утратили однозначное обаяние для ситуации конца века, но получившие распространение синтетические построения («реалистически ориентированная философия») тоже оказываются с небогатым уловом. В сфере социальной жизни *реальное* всегда шире и сложнее его рациональных объяснений, – уверенность в том, что реальность может быть постигнута во всей ее сложности, для социальной философии не более чем иллюзия. Тем более неизмеримо сложнее и многообразнее событие предстает там, где встречаются эстетический опыт и логос.

Событие («встреча») рождается в эстетическом опыте и рефлексивном постижении таким образом, что опыт и рефлексия оказываются постоянно смещаемы с собственных путей и представлений в развертыва-



нии события. Но этот путь ухода не случаен и не корыстен – событие одновременно же представление горизонтов истока, где исток – не точка детерминации, а устойчивые данности жизнестроения («антропологическая константа»). Именно приключения *Homo Aestheticus* представляют пути необходимой нудительности – событие стремится к своему *месту*.

Вопросы остаются именно потому, что они были правильно заданы.

* * *

М.С. Каган, мне кажется, уходил от постоянного комплекса эстетики «быть-вслед-искусству» именно потому, что эстетику стремился сделать особого рода искусством – искусством эстетически мыслить. Он ведь даже не допускал мысли о таком месте или времени, в которых эстетическое могло бы отсутствовать. И это всеприсутствие принципиально противостояло представлению об эстетике как об инфантильном занятии – об эстетике как о второстепенной философской науке. Ведь искусство, как и счастье, вызывает подозрение в инфантильности, что на деле означает не что иное как скрытое проявление страха – боящийся стремится защитить себя «чистой рациональностью». Такое творческое – эстетическое – существование не может быть «технически репродуцировано», что казалось Вальтеру Беньямину неизбежным для современности. Эстетике в версии М.С. Кагана не приходилось ковылять вслед за искусством, потому что свое искусство мысли она содержала в себе. Почему опыт личного эстетического обаяния не может быть учтен в опыте мысли?

В известном смысле усилия эстетического романтизма могут напоминать экзистенциальный бунт – за исключением того, что такому философу-эстику, как М.С. Каган, – существование не представляется абсурдным. Создание оснований, подходов и категориальных построений означает встраивание себя в мир – себя любящего и понимающего в несовершенное реальное, – реальности же, как известно, никто никогда не видел. Но почему при этом возникает и удовольствие? – мысли, дружбы, преподавания, совместного поиска. Состоит природа удовольствия именно в его самодостаточности? Ведь эстетическое удовольствие имеет самодовлеющее значение – в жизненном смысле оно бесполезно и безвредно, или, вернее, оно не заинтересовано ни в какой специальной предметности.

Соблюдение правильности – основание для удовольствия. Правильность вос-произведения: кто не знает сущности («усия»), замысла, кто не знает, изображением («ейкон») какого предмета произведение является, тот ничего не может миметически представить. Нужно знать то живое существо или данность, которые послужили оригиналом.

Разработки последних лет, которые вел М.С. Каган, свидетельствуют не только о дальнейшем развитии его устойчивых интенций в науке, но и о принципиальной перемене оптики. Обращение к теме *бытия* гораздо значимее, чем апелляции к синергетике. И хотя можно было их соотносить и даже сращивать по «принципу дополнительности», недоказанное, непоказанное... намеченное, вызванное навстречу *эстетическое* гораздо важнее схематики методов. Честно признаюсь, уход М.С. в культурологию огорчал меня, но, наверное, и там он хотел создать постоянно привлекающее его единство анализа и понимания.

Самим своим присутствием он создавал «эффект (эстетической) реальности». Ведь мир эстетически представлен: чувственно-телесное интуирование, возвышенность жеста, пребывание в предельности-пограничности, внимание к эстетической оформленности социального проекта – человек XX–XXI вв. продолжает действовать как «человек эстетический». Апелляция к эстетическому связана с возможностью усиливать или ослаблять дискурс в его способности быть властью. Автономизируя дискурс, *эстетическое* выводит его к пределам актуального поля – некоторым образом дискурс ставится против самого себя. *Эстетическое* противодействует не только господствующей институализации одного из дискурсов – «эстетика дискурса» специфическим образом противостоит «этике дискурса» в ее претензии на универсальный консенсус. Жизнь может быть оправдана лишь как эстетический феномен: чувственно-телесная пластика понята в соответствии с формирующей активностью – в пределе с жизненной радостью утверждения. Даже постоянное обращение к теме целостности и порядка может предстать как утверждение понимания события жизни. Сама фактичность теории в таком случае должна постоянно изменяться: эстетическое постоянно ускользает от определений. Конечно, и многое другое – тоже, но существование эстетического жизненно-очевидно. Новое «блуждающее истинное высказывание» (Ален Бадью) произведено под знаком немислимого, но означает утверждение и возможности новой философской оптики.

М.С. Каган постоянно говорил о своей вере в людей – гуманизм в его понимании не был «исторической конструкцией» человека. Вот почему, мне кажется, он всегда стремился теоретически точно попасть в место смысла. Человеческая природа представляет некую напряженную творческую заряженность, собственную самость существования, которая стремится к выражению, – это придает смысл индивидуальному содержанию. Есть как бы заранее заданная смысловая форма, поэтому все бессмысленное, противоестественное, противоречивое существует лишь в ущербном, неполном человеческом познании.



Сам образ существования М.С. Кагана, каким он был известен мне, говорил иногда чуть ли не больше, чем интеллектуальные конструкции. И сейчас – в воспоминаниях – разговор почти всегда начинается с личности, его обаяния, умения создать праздник в обычном университетском дне. Он умел подхватывать новые идеи и сразу развивать их – в этом смысле представлял гуманизм как открытое предстояние миру.

За это ему сердечная благодарность.

В одном из многих воспоминаний – о военной молодости, об университетской жизни тех лет, о чтении по радио текста с критикой марксизма, о дружбе с Федором Абрамовым и Ладом Гудиашвили – Моисей Самойлович сказал, что было время, когда он курил трубку. То, о чем он рассказывал, почти всегда незаметно имело особый задушевно-метафизический смысл. Надо сказать, что он особенно чувствовал и ценил его и у других.

Следует помнить, конечно, что «дух форм един».

* * *

...Себе в подарок я купил чудесную трубку из можжевельника.

Правда, раньше я никогда не курил. И теперь тоже – трубка существует как дар, что, как известно, ни на что другое нельзя обменять.

М. С. КАГАН: ВЫДАЮЩИЙСЯ ТЕОРЕТИК КУЛЬТУРЫ

А. С. Запесоцкий*

Последние десятилетия XX – начала XXI века – время интенсивных поисков в области гуманитарных наук, в первую очередь культурологии, – появления различных теорий культуры, способов ее истолкования.

Вторая половина XX века выдвинула целый ряд блестящих имен философов, историков, культурологов, составляющих гордость отечественной научной мысли. В их ряду значительное место занимает М.С. Каган. Моисей Самойлович создал фундаментальную, целостную концепцию человека, культуры, новаторскую теорию эстетической деятельности. Ему удалось подняться до высот постижения специфики гуманитарного знания в целом. Системный подход, разработка структуры человеческой деятельности, теория культуры, универсальная и всеобъемлющая, философская антропология, теория ценностей, история мировой культуры – во все эти области М.С. Каган внес весомый вклад.

Мне посчастливилось учиться по книгам Кагана в аспирантуре. Его идеи хотелось не только исповедовать, но и развивать. Вот почему особой честью для меня стало выступление Моисея Самойловича 21 января 1997 года в Санкт-Петербургской государственной академии культуры в качестве первого официального оппонента на защите моей диссертации «Гуманитарная культура как фактор индивидуализации и социальной интеграции молодежи» на соискание ученой степени доктора культурологических наук. Это была первая защита докторской диссертации по культурологии в стране. А 4 сентября 1997 года М.С. Каган приступил к работе в качестве профессора на нашей кафедре культурологии в СПбГУП и был с нами до своего ухода из жизни. Многие из нас считают себя его учениками и последователями, поэтому его наследие представляет для нас особый интерес.

Разработку концепции культуры ученый начал с изучения проблем эстетики и искусства – его «Лекции по марксистско-ленинской эстетике» (1966) (позже переиздавались в принципиально обновленном виде под названием «Эстетика как философская наука» (1997), включены в 4-й том «Избранных трудов» (2007) и содержали переработку эстетической теории на основе системно-синергетического подхода) стали выдающимся вкладом в эстетику, значительным шагом вперед в развитии и обогащении этой науки. Моисей Самойлович обосновал особое место художественных феноменов в структуре человеческого бытия, показав, что в

* Об А. С. Запесоцком см. стр. 136.



художественной деятельности органически слиты: познание, ценностное осмысление и идеальное проектирование реальности.

Лекции по эстетике рождались в бурных дискуссиях 60-х годов XX века по проблеме сущности эстетического: одни видели ее в самом объективном мире, другие связывали эстетическое с человеческим сознанием. М.С. Каган был одним из первых, кто отстаивал объективно-субъективную сущность эстетического. Именно такое понимание наиболее продуктивно вело к постижению феномена культуры и могло быть расширено в культурологии.

Рассмотрение законов художественной деятельности закономерно привело М.С. Кагана к анализу деятельности в целом (монография «Человеческая деятельность» (1974), вошла во 2-й том «Избранных трудов» (2006)). Первоначально ученый исходил из марксовских представлений о деятельности как сущностной характеристике человека, затем деятельность была им истолкована шире, в контексте достижений синергетики. М.С. Каган выделил пять основных видов деятельности: преобразовательную, познавательную, коммуникативную, ценностно-ориентационную, художественную. Уже в этой монографии ученый анализирует взаимоотношения человеческой деятельности, культуры, личности и социума, а также выходит на проблему человека, которой он потом специально займется в рамках философской антропологии.

В 1996 году издательство нашего университета выпустило фундаментальный труд М.С. Кагана «Философия культуры» (1996), вошел в 3-й том «Избранных трудов» (2007). Культура, по М.С. Кагану (и здесь полноценно заработал системный подход) – универсальная система человеческой деятельности, включающая все ее формы, виды, аспекты. Культуре присущ внутренний динамизм, она представляет собой иерархию саморазвивающихся слоев, пластов, уровней. В данном плане Моисей Самойлович шел в русле целостного истолкования культуры, характерного для А.Лосева, Э.Маркаряна, А.Флиера и ряда других исследователей. При этом система культуры рассматривается М.С. Каганом как прогрессивно развивающаяся (ученый не сомневался в поступательном, восходящем в конечном счете, пути развития человечества), при этом переход от одного уровня организации к другому осуществляется через прохождение фазы неупорядоченности, хаоса. Анализ культуры М.С. Каганом многогранен: здесь и ее место в структуре бытия, в контексте взаимодействия природы, общества и человека, тут и морфологическое строение культуры, основанное на разделении видов деятельности и форм предметности, выступающих их результатом.

Специальная проблема, которой фундаментально занимался ученый, – закономерности культурно-исторического процесса. Общий абрис ее содержался уже в «Философии культуры», но специально разработана она в фундаментальном труде «Введение в историю мировой куль-

туры» (2-е изд. СПб., 2003). М.С. Кагану удалось уйти и от линейно-прогрессивной, идущей от просветительства, концепции, представлявшей историю культуры как монотонно-однозначный процесс поступательного движения, и от теории «замкнутых цивилизаций» О.Шпенглера – А.Тойнби, согласно которой исторический процесс описывается как циклы рождения, роста, расцвета и гибели отдельных культур. Ведь каждая новая форма, при всем своеобразии, начинается не с нуля, а по-новому воспринимает и формирует старую, традиционную. Кроме того, путь «от гармонии к хаосу и обратно» реализуется различными вариантами, осуществляется каждый раз по-разному.

Весь историко-культурный процесс ученый делил на четыре больших периода: **эпоха антропосоциогенеза**, когда в процессе отделения биологического от социального возникли первые человеческие общества; **первая фаза**, где происходит переход от первобытной культуры к культуре традиционной, патриархальной. При этом, как показал М.С. Каган, были испробованы и вариант скотоводческой культуры племен, которые вели кочевой образ жизни, и вариант земледельческих объединений, основавших цивилизации Египта, Ближнего Востока, Индии, Китая, и, наконец, путь древних греков и римлян, который привел к развитию городов. Только этот третий вариант оказался способным, как считал Моисей Самойлович, создать подлинные центры экономической, политической, духовной жизни, дал импульс развитию и оказался наиболее плодотворным. Из него потом, через глобальные катаклизмы, возникнет средневековая европейская цивилизация с ее религиозными, светско-аристократическими и простонародными субкультурами; **вторая фаза**, обозначенная ученым как переход от культуры традиционной к культуре креативной. Она началась с эпохи Возрождения, осознавшей единство духовного и телесного в человеке, эпохи, по-настоящему открывшей индивидуальность и ее творческие силы. В Новое время (XVII–XIX века) возникает буржуазная цивилизация, повлекшая за собой развитие промышленности, техники, науки, рационалистическое объяснение мира, одновременно породившая прагматизм и вещизм, вытеснение нравственно-эстетического сознания на периферию культуры. Основными вехами культуры Нового времени М.С. Каган считал Просвещение, романтизм, позитивизм, модернизм, причем именно в эпоху модернизма противоречия буржуазного строя достигают, по его мнению, своего апогея.

Современную ситуацию («**третья фаза**»), которую М.С. Каган считал переломной и глубоко кризисной, он обозначил как эпоху постмодернизма. Человечество как бы нащупывает пути и способы трансформации экономической, социальной, духовной жизни, стремясь избавиться от уродливых сторон современной ситуации и перейти к новому состоянию, которое было бы достаточно устойчивым. Пройдя два этапа – теоцентристский и натуроцентристский, с середины XX века цивилиза-



ция начинает переходить в стадию антропоцентризма, концентрируя свои силы и возможности на реальном человеческом существовании.

Фундаментальная разработка теории культуры позволила М.С. Кагану выйти далее на проблему человека, гуманизма, особенностей гуманитарного сознания, которые он рассматривал в контексте системного подхода, с широких историко-философских позиций (см. его работы, опубликованные в 3-м томе «Избранных трудов» (2007), — «Человек как проблема современной философии», «Гуманизм как проблема научной философской антропологии», «И вновь о сущности человека» и др.). Велик вклад Моисея Самойловича в теорию воспитания и образования. В образовании ученый видел прежде всего важнейший фактор «окультуривания» человека, его «самостроительства», механизм созидания полноценных качеств человеческой личности.

Хочется подчеркнуть прежде всего просветительский, в самом высоком смысле этого слова, пафос творчества М.С. Кагана, он был подлинным представителем рационализма в теории знания. Философия, эстетика, культурология были для Моисея Самойловича в первую очередь науками, органической частью научного знания. Он не разделял модных сегодня мистических увлечений, заигрывания с иррационализмом, до конца своих дней оставался противником религии, всюду отдавая пальму первенства Разуму. Отсюда и проходившее через все его творчество единство методологии. Системный подход, системно-функциональный анализ как способ постижения сложноорганизованных объектов — вот что пронизывало всю логику развития его философско-культурологических воззрений. М.С. Каган был по сути дела первым, кто применил к постижению феномена культуры такой важный современный метод, как синергетический подход. Как известно, синергетика была разработана первоначально в математике и естествознании. Моисей Самойлович показал, что она может иметь и более универсальный смысл, в частности, сыграть важную роль в познании сложных сверхсистем, к которым относятся социокультурные образования.

Особая заслуга М.С. Кагана (радушно сознавать, что она связана с работой в нашем Университете) — разработка истории культуры Петербурга, создание монументальной монографии «Град Петров в истории русской культуры», учебного пособия «История культуры Петербурга», а также программы курса лекций по этой дисциплине. Да и сам Моисей Самойлович был не только выдающимся ученым, он был истинным ленинградцем, петербуржцем, сам по себе являлся культурным достоянием нашего города.

Сейчас, когда мы обзираем жизненный и творческий путь Моисея Самойловича Кагана, особенно ясно высвечивается масштаб этой фигуры, приходит осознание того, как велик его вклад в отечественную науку, в историю российской культурологии.

«ИСТИНА – ЭТО ЦЕЛОЕ»

Системный подход М. С. Кагана и музей

Т. П. Калугина*

Не устаю благодарить судьбу за счастье знать Моисея Самойловича и за честь считаться его ученицей. Очень и очень немногие могли бы сравниться с ним ясностью и живостью ума, в высшей степени организованным и логичным мышлением, неподдельной страстью к научному творчеству и потрясающей работоспособностью.

А в последние два десятилетия проявилось и еще одно, очень редкое ныне качество – чувство собственного достоинства и честность ученого, не позволявшие суетиться и угождать веяниям современности, предавая себя самого. Как я была восхищена, когда в 1991 году в составленном Моисеем Самойловичем сборнике его избранных статей, в указателе трудов обнаружила первые марксистские работы. И это тогда, когда многие делали вид, что их прошлые научные взгляды не имеют к ним никакого отношения, и трусливо вымарывали из редактируемых текстов цитаты из своих работ советского периода. Более того, профессор Каган не «честно признавал ошибочность своих марксистских теорий», а принципиально отстаивал прежние убеждения, их продуктивность и ценность. Поскольку, освобожденные от неизбежного марксистского оформления, убеждения его отнюдь не утратили сути и смысла. Можно сказать, что он и в последние годы жизни мог бы подписаться почти под каждым словом своих прошлых трудов. Причем «почти» подразумевает здесь естественную эволюцию ученого, а не конъюнктурные изменения позиции.

Обо всем этом я позволяю себе судить как читатель и слушатель М.С. Кагана, «со стороны». «Изнутри» мне посчастливилось наблюдать его работу только в области музееведения, того самого культурологического музееведения, «отцом» которого он, собственно, и стал. Думаю, однако, что и в этой сфере отчетливо проявился стиль научного мышления Моисея Самойловича, определяемый «тремя источниками, тремя составными частями» – живым интересом ко всему, так или иначе связанному

* Калугина Татьяна Павловна – культуролог, музеевед, доктор философских наук. Заведует Отделом координации выставочных проектов Государственного Русского музея. М.С. Каган был руководителем кандидатской и научным консультантом докторской диссертаций.



с культурой и человеком, широчайшей эрудицией и системным подходом, который был таковым уже и тогда, когда и моды на него еще не было и названия ему еще не придумали.

В 1981 году М.С. Каган предложил мне писать под его руководством кандидатскую диссертацию на тему «Художественная экспозиция как феномен культуры». Я с радостью согласилась, так как уже была увлечена этим материалом, но биографические катаклизмы надолго прервали мои научные занятия. Потом, когда я вернулась к этой работе, тема несколько изменилась, и только в 1991 году была защищена диссертация «История и типология экспозиции художественного музея». Характерный эпизод тех лет: М.С. Каган и я приехали в Москву в Научно-исследовательский институт культуры, где я была аспиранткой, утверждать тему. Это оказалось делом непростым, нам назидательно объясняли, что в музееведении (а оно тогда считалось разделом истории) приняты такие темы, как, например, «Краеведческие музеи Вологодской области в 1930-е гг.», а наша тема – ненаучна и вообще «непонятно что». Моисей Самойлович тихо свирепел и, наконец, не выдержав, грозно спросил, неужели коллеги не знакомы с такой процедурой исторического исследования, как типологизация, и не знают, что, чем шире материал, подвергающийся этой процедуре, тем точнее и достовернее ее результат. Смущенные коллеги махнули рукой и тему утвердили.

Поразительным было для меня с самого начала то, с каким любопытством и как легко и уверенно М.С. Каган входил в новую для него область. Конечно, музеи он хорошо знал, но ведь они не были прежде предметом его научного интереса. Тем не менее он мгновенно понимал, о чем идет речь, и абсолютно верно и точно корректировал траекторию моих изысканий. Более того, складывалось впечатление, что любой новый объект его научного внимания мгновенно запускал в его голове процесс формирования некой системной модели, которую Моисей Самойлович накладывал затем на сам феномен, и все становилось ясно – верх-низ, право-лево, причина–следствие, функция–структура, исток–завершение, иерархия, целеполагание. Понятно, что такой взгляд предполагал рассмотрение конкретностей и частных только в контексте целого, только целое обеспечивало верное понимание частей и нижних уровней. «Истина – это целое».

Причем «гегельянство» Кагана сказывалось еще и в том, что и это целое следовало интерпретировать только в системе более общего феномена высшего порядка. Таким «феноменом высшего порядка» была для музея – и для других частных, «ведческих» предметов исследований Моисея Самойловича, – культура, в большом смысле как «совокупный способ и продукт человеческой деятельности», а в более частном, наибо-

лее важным для музея смысле как «механизм социального наследования». «Музей в системе культуры»¹ – именно так называлась наша статья, заложившая основы культурологического музееведения.

Вот ее история. Мне казалось, что после защиты моей диссертации, Моисей Самойлович отошел от музейной темы. Однако в 1994 году он пригласил меня на свою лекцию о музее, предложив на ее основе написать совместную статью. Я была поражена: оказалось, что за эти годы он не только не забыл о музее, но и выявил – с культурологической точки зрения – самые сущностные его черты, сформулировав их в четырех кратких афористических тезисах. (Кстати, число четыре было для него гораздо более значимым, чем привычные двойка или тройка, он даже читал лекции о семантике четверки в истории культуры.) Как и многое в системах и схемах Кагана, тезисы эти казались очень простыми, абсолютно ясными и очевидными, даже само собой разумеющимися, и было удивительно, что никому в голову это раньше не приходило. А не приходило потому, что для такой глубокой и верной простоты нужен взгляд на явление в целом, нужно понимание его целостной структуры и его феноменобразующей функции в культуре, нужно вычленение именно и только необходимых и достаточных, но основополагающих признаков. Позволю себе эти тезисы воспроизвести:

1. Музей есть способ преодоления закона человеческой жизнедеятельности «здесь и теперь».
2. Музей – это встреча с подлинностью бытия.
3. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
4. Музей – это предстающие перед нашим взором «вещи–свойства–отношения».

За легкими, почти беллетристическими формулировками скрывался глубокий философский смысл. Главным же было то, что эти четыре тезиса, четыре принципа, выражающие специфические особенности музея как культурного феномена, составляли в совокупности своей ту уникальную структуру, которая отличала музей от всех других институтов культуры.

Мне оставалось лишь наполнить скелет статьи плотью конкретного материала, раскрыть содержание предложенных тезисов и интерпретировать их. Мы послали статью в журнал «Вопросы искусствознания», в четвертом номере которого за 1994 год она и была опубликована². (По-

¹ Для стиля мышления Кагана было логично рассматривать и саму культуру в контексте феномена высшего порядка, поэтому естественно, что в последние годы жизни он посвятил себя онтологической проблематике.

² Каган М. Музей в системе культуры // Вопросы искусствознания, 4/94. М., 1994. С. 445–460.



скольку непосредственно после этого текста в журнале была напечатана другая моя статья¹, главный редактор В.Т. Шевелёва попросила снять мою фамилию с нашей совместной работы.)

Анализируя музей в контексте предложенных тезисов, статья поставила тогда многие вопросы и указала на многие проблемы, которые станут потом отдельными темами культурологически ориентированных музееведческих исследований. Среди них такие важнейшие и поныне не утратившие актуальности узлы музейной проблематики, как:

- диалектика «видимого» и «невидимого» применительно к музею,
- музейное созерцание – понимание – общение,
- проблема сущности музейного предмета,
- специфика музейной науки,
- семиотический смысл экспонирования,
- соотношение реальности и музея,
- инструменты социализации и культурации человека в музее,
- музей как средство и способ производства культуры,
- актуальность музея как возможного инструмента необходимой анимации культуры.

С тех пор прошло уже почти семнадцать лет. И культурологическое музееведение расцвело пышным цветом. Созданная по инициативе Моисея Самойловича кафедра музееведения и охраны памятников на философском факультете петербургского университета целиком и полностью работает в русле этой школы. Однако и другие, существовавшие и прежде музееведческие кафедры все активнее принимают культурологическую ориентацию, по крайней мере, доклады их представителей на конференциях и семинарах свидетельствуют именно об этом. Абсолютное большинство наиболее фундаментальных текстов по культурологическому музееведению имеют ссылки на Моисея Самойловича и опираются на него концептуально. Его индекс цитируемости в этой области не менее высок, чем в эстетике. Неудивительно, ибо указанный им путь оказывается наиболее продуктивным. В музееведении «учение Кагана все-таки, потому что оно верно».

Более того, осмелюсь утверждать, что с годами оно становится еще «вернее». Связано это с актуальной культурной ситуацией. Подчиняясь ее диктату, музей вступает в конкуренцию за массового потребителя с другими культурными учреждениями и формами проведения досуга, причем играет на их поле и, естественно, проигрывает. Он изо всех сил

¹ Калугина Т. Оживают ли мумии? // Вопросы искусствознания, 4/94. М., 1994. С. 461–472.

пытается стать массово привлекательным досуговым центром, используя инструментарий то театра, то искусства, то интернет-клуба, а чаще всего – сельского Дома культуры. Объяснить, почему такая политика не имеет перспективы, способен именно культурологический подход. Отвечая на главный вопрос – «Зачем музей нужен культуре?», культурологическое музееведение выявляет уникальную модальность музея, не присутствующую никаким другим институтам культуры, и показывает, чем, со своей стороны, отличается музей от других средств и способов производства культуры.

Скажем, от искусства: «Само по себе преодоление „здесь и теперь“ – не исключительная способность музея – искусство, например, тоже предоставляет такую возможность. Однако искусство преодолевает „здесь и теперь“ иллюзорно, музей же отличается тем, что позволяет погружать человека в прошлое или раздвигать для него границы пространства, вводя и то, и другое в его, зрителя, реальный опыт»¹.

Или от образования: «Образование тоже имеет целью преодоление границ нашего узкого конкретного опыта, но оно может только рассказать нам о том, что лежит за его пределами, к тому же говорит нам главным образом о законах мира <...>, а не о „наличном бытии“ в бесконечном многообразии конкретных форм его существования. <...> образование не способно включить в наш опыт элементы невидимого мира в их подлинности. Но такова уникальная способность музея»².

Ту же логику можно применить к сопоставлению музея и театра, музея и библио-, фото- и видеотеки, музея и клуба, музея и парка развлечений и т. д. Значит, все другие институты культуры не могут выполнять функции, возложенные культурой на музей, но точно так же и музей не способен подменить собой другие культурные механизмы или эффективно использовать их методы и способы привлечения публики.

Можно возразить, что и сама культура эволюционирует и трансформируется, что сегодня она возлагает практически на все культурные институты лишь одну функцию – развлечения и отвлечения. А ведь «в музее происходит актуализация нужного данной культуре социально-культурного опыта, и происходит она ради практически-духовного или теоретического использования его **в соответствии с потребностями данной культуры** (выделено мной – Т.К.), а потому, естественно, актуализируется этот опыт в системе ее собственных координат»³. Значит, в соот-

¹ Каган М. Музей в системе культуры... С. 448.

² Там же. С. 449.

³ Там же. С. 456.



ветствии с потребностями современной культуры, музей должен своих посетителей (в системе нынешних координат – своих потребителей) развлекать и отвлекать, вот почему он так активно пытается мутировать в сторону Диснейленда.

Однако, согласившись с тезисом об историчности типов культуры, надо признать и неизбежную преходящность нынешнего ее типа, и, кроме того, сегодняшнюю культуру, бедняжку, настолько крепко держит за горло костлявая рука бизнеса, что трудно утверждать, кто именно говорит ее устами, возлагая те или иные функции на те или иные культурные институты. А музей служит не сегодняшнему дню только, музей – это в любом случае то, что делегируется в вечность. Как «консервы культурных мутаций»¹, как шанс будущей гуманистической социализации и культурации человека².

Культурологический, системный подход М. С. Кагана к музею как объекту исследования дал результаты, актуальные до сих пор и до сих пор не исчерпавшие еще своей эвристической ценности. Можно утверждать, что он сформировал целую школу в культурологическом музееведении, – на основе предложенной им концепции была защищена не одна кандидатская и докторская диссертация. Что касается нашего с Моисеем Самойловичем сотрудничества в этой области, то оно, конечно, продолжалось и после статьи 1994 года. Он стал первым и придирчивым читателем моей книги, вышедшей в 2001 году³, и научным консультантом написанной на ее основе докторской диссертации. Кажется, Моисей Самойлович был искренне доволен и тем, и другим. Я старалась продолжать и развивать направление, заданное в наших первых общих работах, и если мне что-то удалось, то обязана я этим первоначальному импульсу, полученному от сотворчества с ним.

Более того, он был для меня образцом и настоящего ученого, и достойного человека. Мое восхищение его стройным и ясным стилем научного исследования, убедительным и рациональным строем мышления, сравнимо с восхищением его человеческими качествами – ни одной фальшивой ноты, ничего, что надо было бы прощать или оправдывать. Огромный круг друзей разных поколений, и ни один из них не перестал быть другом. О его широко известном таланте общения лучше меня расскажут другие, но талант этот был просто несравненным.

¹ Калугина Т. П. Художественный музей как феномен культуры. СПб., Петрополис, 2001. С. 43.

² «Функции социализации и культурации личности оказываются вообще едва ли не важнейшей функцией музея». Каган М. Музей в системе культуры... С. 457.

³ Калугина Т. П. Художественный музей как феномен культуры...

И, может быть, главное: он успел в жизни так много! Так много сделал в науке, так много написал, так многих направил и вдохновил, в стольких головах и сердцах оставил глубокий и важный след. Статья 1994 года заканчивалась словами: «музей может и должен вернуть вещам их человеческое измерение» и «в этом – возможный вклад музея <...> в самореализацию Человека»¹, я же хочу закончить этот текст утверждением, что М. С. Каган – это в высшей степени самореализовавшийся Человек, внесший огромный вклад в исследование и понимание музея.

¹ Каган М. Музей в системе культуры... С. 459.



КУЛЬТУРОЛОГИЯ ПО М. С. КАГАНУ

М. Коськов*

Термин «культурология» появился в начале XX века. Так предложил именовать науку о цивилизациях выдающийся немецкий химик В.Оствальд. В 1949 году английский антрополог Л.Уайт использовал это понятие в труде «Наука о культуре».

В нашей стране новая наука стала активно развиваться с 1960-х годов. В системе отечественного образования культурология утвердилась в последние два десятилетия, причём акцентировалась мысль, что она – фундаментальная наука и как учебная дисциплина – базовый предмет, видимо, предназначавшийся компенсировать элиминированный марксистско-ленинский цикл. Новая дисциплина была решительно введена в программы учебных заведений разного уровня. Естественно возникла проблема соответствующих учебников и преподавательских кадров. Лакуны заполнили специалисты советских общественно-идеологических дисциплин, оказавшиеся в эту пору не у дел. Они, столь же естественно, толковали новый предмет в русле хорошо знакомых им традиционных дискурсов, прежде всего как историю мировоззренческих учений, религиозных доктрин или художественных стилей.

Сегодня мы свидетели своеобразного культурологического бума, охватившего Российскую Федерацию. Он выражается во множестве разномасштабных конференций, в обилии статей, монографий и прежде всего учебных пособий по дисциплине «Культурология». Однако количество учебников и даже их толщина не определяют зрелость науки. Каково же качественное состояние этой дисциплины?

Один из пионеров преподавания теории и истории культуры в нашей стране, Э.В. Соколов до конца своих дней считал, что на современном этапе «систематизация обширного культурологического материала возможна лишь в виде „мозаики” теорий»¹. Другой лидер отечественной культурологии, С.Н. Иконникова полагает, что уровень исследований «значительно снижают... неясность общих границ предмета и ареала культурологии, соотношения ее структурных разделов и логики построения, механическое соединение различных сфер духов-

* Михаил Алексеевич Коськов – доктор философских наук, профессор Санкт-Петербургской Художественно-Промышленной Академии им. А.Л. Штиглица.

¹ Соколов Э.В. Культурология. М., 1994. С. 268.

ной и материальной жизни общества, неумение исследователей применять системный подход»¹.

Параллельно существует мнение, что сегодня «культурология заявила о себе в качестве самостоятельной сформировавшейся науки, обладающей определенным предметом и методами исследования»², что «**факт самоопределения культурологии как целостной науки** (выделено мной – М.К.) способствует дифференцированному освоению наследия гуманитарной мысли и маркированию определенных концепций тех или иных авторов в качестве культурологических»³.

К сожалению, уважаемый автор в данном случае проявил безосновательный оптимизм, принимая желаемое за действительное, за «факт». В реальности между ними очевиден разрыв, в снятии которого и состоит исходная проблема культурологии. Признаком самоопределения науки является **четкость в постановке вопроса**, т. е. в понимании и раскрытии **объекта** рассмотрения (в данном случае – самой культуры), **предмета** рассмотрения (специфической плоскости, среза – цели) и адекватного предмету **метода** (совокупности принципов рассмотрения объекта).

Приходится констатировать, что во всех названных компонентах самоопределения у культурологии сегодня отсутствует необходимая ясность. Отсюда самая разнообразная ее трактовка (часто даже у одних и тех же авторов): от наиболее общей теории культуры (в этом случае она приближается к философии культуры, и тогда ее предмет – сущность и общие закономерности) до «комплексной дисциплины», включающей в себя и историю культуры, и ее философию, и социологию, и антропологию, и археологию, и этнографию, и семиотику, и аксиологию и т. д. вплоть до методики практического проведения «культурных» программ и мероприятий (подобный набор традиционных дисциплин, изучающих различные аспекты культуры, видимо, правильнее называть культуроведением; тут не может быть и речи о едином специфическом предмете исследования и соответствующем методе).

Сегодняшнюю реальную ситуацию в культурологической науке отражают материалы конференции, организованной Межрегиональной ассоциацией фундаментальных исследований культуры им. А. и В. фон Гумбольдтов, которая видит **первостепенную задачу культурологии** в «осознании собственного предмета на фоне неохватного междисциплинарного поля»⁴. Картина такова: несмотря на провозглашенную задачу, из 58 авторов, представивших свои тезисы, лишь два ведут речь о культуроло-

¹ Иконникова С.Н. История культурологических теорий. Часть 1. СПб., 2001. С. 33.

² Дианова В.М. Культурология: основные концепции. СПб., 2005. С. 3.

³ Дианова В.М. Ук. соч. С. 4–5.

⁴ Гумбольдтовские чтения. СПб., 2003. С. 3.



логии как науке в целом, остальные продолжают разрабатывать излюбленные аспекты того, что они представляют культурой. При этом под культурологией, как правило, подразумевается некая комплексная дисциплина, «интегрирующая», «синтезирующая» множество традиционных наук, изучающих культуру.

В сложившейся ситуации выделение тех или иных учений, составляющих основной массив большинства учебных материалов, и «маркирование» их в качестве культурологических происходит на основе личных представлений создателей этих учебников о «наиболее представительных, ставших уже классическими, теориях»¹, о «классических и всемирно известных авторах»².

Следует отметить, что подавляющее большинство обычно избираемых таким образом учений представляют собой весьма субъективные и как правило односторонние трактовки эволюции общества, авторы которых оперируют избранными фрагментами истории, наиболее отвечающими развиваемой концепции. Характерно, что при выборе подобных «классических» учений действует закон «нет пророка в своем отечестве» (пусть даже его зовут Моисей).

Единственный, кто удостоил вниманием историческую концепцию Моисея Кагана, это А.С. Кармин, отметивший ее перспективность и ориентацию, в отличие от большинства предшественников, на целостное видение, позволившее открыть общие закономерности развития культуры, «высветить некоторые глубинные связи и зависимости, оставшиеся до сих пор в тени»³. Эта концепция – один из трех разделов монографии «Философия культуры» (1996). Она более обстоятельно развита в двухтомном «Введении в историю культуры» (2002), неоднократно обсуждавшемся философской общественностью на презентациях ее в Санкт-Петербурге и Москве⁴.

Отметим основные отличия кагановой концепции культуры как саморазвивающейся системы от классических предшественниц.

Во-первых, автор по-философски ведет речь не о каких-либо фрагментах истории, а о культуре **в целом и общих универсальных закономерностях** ее возникновения и развития как единого процесса, протекающего своеобразно в различных условиях.

Во-вторых, он опирается при этом на современную **системно-синергетическую методологию**, позволяющую «найти диалектическое со-

¹ Соколов Э.В. Ук. соч. С. 8.

² Иконникова С.Н. Ук. соч. С. 8.

³ Кармин А.С. Культурология. СПб., 2003. С. 906.

⁴ Культура и культурная политика. Вып. 1. М., 2005.

пряжение **единства** и **многообразия**, общей направленности и разных путей движения культуры человечества, тем самым открывая новые познавательные перспективы перед изучением ее истории»¹, последовательно ее разрабатывает и проводит, развернуто характеризуя нелинейную эволюцию и точки полифуркации, начиная не с первобытности, как это обычно делается, а с перехода от биологического состояния человека к социальному.

В-третьих, разговору об эволюции культуры предшествуют логически необходимые и обычно отсутствующие у других авторов суждения о ее **функционировании и строении** как целого. И здесь на фоне разлитанного бульканья «системной» фразеологии современных исследователей особенно впечатляет твердая последовательность логики действительно системного мышления.

Наконец, концепция Кагана принципиально отличается от подавляющего большинства рассуждений четкой постановкой вопроса. Обратимся к фактам.

Постановка вопроса

Любой серьезный разговор, казалось бы, должен начинаться с уяснения **объекта** рассуждений. Однако большинство авторов, пишущих о культуре и провозглашающих ее целостность, предпочитают обходиться без этого затруднительного и ограничивающего свободу словоизвержений акта. Лишь наиболее ответственные мыслители выдвигают достаточно определенные концепции, например, ценностную, знаковую, религиозную, игровую, художественную, познавательную, информационную и т. д., трактуя культуру как совокупность соответствующих явлений. Поэтому представление о культуре каждый раз оказывается односторонним, ее сущность, инвариантные черты растворяются в многообразии ее феноменальных форм.

Принципиальное отличие позиции Кагана состоит в том, что он всегда начинает с уяснения применяемых исходных понятий, поставленной цели и оптимальных средств ее достижения. В данном случае он исходит из **деятельностного**, материально-духовного понимания культуры, охватывающего все частные ее аспекты и потому обеспечивающего предпосылки действительной целостности, многогранности выстраиваемой модели. На протяжении десятков лет он настойчиво выдвигал в качестве наиболее общих, необходимых граней культуры – **субъектов** творческой активности, **процессы** деятельности и ее **продукты**. Таким образом «субстрат» культуры выступает как взаимодействие трех ее «мо-

¹ Каган М.С. Философия культуры. СПб. 1996. С. 327–328.



дальностей»: человеческой, процессуальной и предметной, в своем единстве противостоящих природе¹. Эта троищность субстрата культуры сохраняется на всех ее уровнях от всеохватывающего мегаобъекта культуры в целом до индивидуальных миниобъектов.

Любой объект может быть рассмотрен с разных точек зрения и, что не менее важно, с разной целью. При обращении к культуре вопрос о цели исследования в большинстве случаев вообще не ставится, а выражение «предмет исследования» употребляется как синоним «объекта исследования». Для Кагана философской целью обращения к культуре, т.е. **предметом** рассмотрения, являются ее **сущность и общие закономерности** функционирования, устройства, возникновения, эволюции.

Каждая цель требует, как учили еще Бэкон и Декарт, соответствующих методологических средств. По глубокому убеждению М.С. Кагана, адекватной в данном случае является **системная методология**. Будучи серьезным современным ученым, не только отмечавшим наличие тех или иных проблем, но и постоянно стремившимся их решать, он уделял первостепенное внимание выработке стратегии движения к цели – уяснению и развитию принципов системной методологии, ее приспособлению к специфике социокультурных проблем. Начиная с 1972 года, когда была напечатана его концептуальная статья «О системном подходе к системному подходу», это стремление присутствует и в «Морфологии искусства» (1972), и в «Человеческой деятельности» (1974), и во всех последующих философских монографиях. Проследим логику ученого при работе над «Философией культуры».

Первый принцип системного подхода – движение исследовательской мысли **от целого**. У Кагана речь идет о культуре как объективированном творчестве, как совокупности всего, созданного человеком и противостоящего природе.

Второй обязательный принцип – рассмотрение намеченного объекта в более широкой системе. В данном случае такой метасистемой по отношению к культуре является Действительность, или Бытие. Ее Каган некогда представил лаконичной формулой: «Действительность включает в себя, во-первых, **природу**, во-вторых, **общество** как сферу социальных отношений, в-третьих, синтез природной и социальной „субстанций” – **человека** и, в-четвертых, **культуру**, которая является совокупным способом и продуктом деятельности общественного человека...»² Позднее эта формула обстоятельно раскрывается им³. Важнейший тезис, настойчиво подчеркиваемый ученым, гласит, что в системе бытия культура возника-

¹ Каган М.С. Ук. соч. С. 45

² Каган М.С. Социальные функции искусства. Л., 1978. С. 14.

³ Каган М.С. Философия культуры. СПб., 1996. С. 36–40.

ет из природы одновременно с человеком и обществом и немыслима без взаимодействия с ними. Он внимательно рассматривает эти внешние отношения культуры как целого, посвящая соответствующие главы своей монографии экологическим, антропологическим и социологическим проблемам теории культуры.

Но данный принцип иерархического рассмотрения обращен не только вовне, но и внутрь культуры как системы. Он требует учета различных по степени абстрагирования **уровней рассмотрения** объекта и соблюдения избранного уровня, ибо на каждом из них свой состав элементов, своя структура отношений. Так, можно рассматривать культуру человечества в целом, культуру социальных групп различного масштаба или культуру личности (всегда в субъектной, процессуальной и продуктивной модальностях).

По мере усиления строгости системного подхода возрастает актуальность принципа **необходимости и достаточности** состава выделяемых элементов, доказанности именно такого состава.

Наконец, совершенно обязательным является учет различных **плоскостей рассмотрения** изучаемого объекта, выделение среди них сущностных и соблюдение избранной плоскости, ибо в каждой из них объект имеет особую структуру. В упомянутой статье Каган убедительно раскрывает три необходимые и достаточные плоскости системного анализа и двойную направленность в каждой из них. Так, в предметной плоскости необходимо рассмотрение состава компонентов изучаемого объекта, а также его структуры, т. е. связей, взаимодействий этих компонентов. В функциональной плоскости столь же необходимо рассмотрение внешних функций объекта – его назначения, и внутренних функций – способа существования. Наконец, в историческом исследовании наряду с традиционным генетическим вектором необходим и прогностический, превращающий историю в науку о будущем (разумеется, степень ее научности напрямую зависит от глубины понимания сущности объекта).

Функции и строение культуры

Деятельностное понимание сущности культуры означает, что она неотрывна от деятельности как способа существования человека. Человек создает культуру, а культура формирует человека деятельного (*Homo agens*). Культура и деятельность порождены необходимостью выживания наших предков в ужесточившихся условиях природной среды. Сохранение биологического вида – их общая исходная функция. Освоение, приспособление природы – внешний вектор этой функции; самоорганизация, самоуправление, самосознание, повышение КПД – ее внутренний вектор.



Особенность человеческой активности, ее средств и продуктов, – в осмысленности, целесообразности, одухотворении природной материи. Таким образом, субстрат культуры, в отличие от природного, изначально материально-духовный. В процессе саморазвития названные исходные функции по закону природы обретают все более сложные и дифференцированные формы. В своей замечательной книжке «Человеческая деятельность» (по нынешним либеральным в присвоении титулов временам ее смело можно назвать гениальной) М.С. Каган выстроил убедительную и весьма плодотворную модель видов деятельности и соответствующих функций культуры. Она может быть представлена в форме пирамиды, основание которой образуют четыре необходимые и достаточные базовые виды деятельности: **преобразование, познание, ценностная ориентация и общение**, а вершину – **художественная деятельность**, фокусирующая и органично включающая в себя все четыре исходных вида. В полученном пространстве происходят самые различные взаимодействия пяти функциональных потенциалов и, соответственно, находят место все мыслимые функции культуры, которые могут быть рассмотрены под самыми разными углами зрения.

В онтологической плоскости принято выделять духовную и материальную культуру. Причем подавляющее большинство авторов воспринимает культуру прежде всего, или даже исключительно, как духовный феномен. И здесь принципиальное своеобразие концепции Кагана в ее диалектическом дуализме. Он утверждает:

– весь массив культуры и материален и духовен. Эти полярные начала взаимодействуют в разных соотношениях, образуя спектр переходных форм;

– исходным базовым пластом культуры, ее фундаментом является **материальная культура**, где ведущие виды деятельности – преобразование и общение посредством материальных носителей информации; однако и самое примитивное орудие уже несет в себе все пять функциональных потенциалов;

– в **духовной культуре** ведущие виды деятельности – познание и ценностная ориентация. Соответствующее содержание продуктов культуры: знания, идеи, оценки – могут фиксироваться, материализоваться в различных формах, менять языковое воплощение;

– существует третий особый специфический пласт культуры, где все четыре базисных вида деятельности всегда необходимы, где духовное, познавательное-оценочное содержание немислимо без конкретной образной материальной формы, где они нерасчленимы, тождественны. Это – **художественная культура**, обычно отождествляемая с искусством, трактуемым как часть духовной культуры.

Каган намечает пути дальнейшей конкретизации представлений о культуре в каждой из выделенных подсистем.

Вместо всеобщего традиционного понимания материальной культуры как совокупности вещей, устройств, сооружений и т. п. он логически последовательно выделил сферы материальной культуры, принципиально различающиеся по материалу, в котором происходит окультуривание. Наиболее обобщенные из них – **материалы природы, человеческое тело**, подлежащее выращиванию, совершенствованию, лечению, и **социальные отношения**, прошедшие материализацию, оформление в учреждениях, законах, институтах, школах, языках.

В духовной культуре, кроме обычно выделяемых обобщенных сфер – религии, философии, науки, М.С. Каган называет **проектирование**, первоначально подсознательное идеальное преобразование, пронизывающее всю человеческую деятельность опережающее моделирование, отчетливо обособившееся и обретающее все большую весомость по мере развития промышленности.

Художественная культура по Кагану отнюдь не отождествляется с искусством, а представлена в виде развернутой системы, в которой искусство, понимаемое как совокупность художественных произведений, является лишь ядром. Его создание, функционирование, воспроизведение, сохранение, изучение и т. д. обеспечивается как материально-организационной базой, так и сферами духовного порядка (критикой, обучением, осмыслением и т. п.)¹.

Наконец, само искусство, его дифференциация на классы, семейства, виды, разновидности, жанры и т. д., детальнейшим образом представлены во многих эстетических работах ученого и прежде всего в монографии «Морфология искусства».

Таким образом, в результате функционально-структурного рассмотрения М.С. Каган намечает необходимые наиболее емкие компоненты культуры, их сущность и взаимосвязи, иными словами – **объектный ряд**, так или иначе проходящий сквозь все эпохи и регионы и представляющий костяк, стержень системы.

Выводы

Выражение «система культуры» широко используется в работах и студентов, и солидных ученых. Однако в подавляющем большинстве случаев оно звучит лишь как модный оборот речи, не содержащий ничего конструктивного. Творчество М.С. Кагана представляет собой редчай-

¹ Художественная культура в докапиталистических формациях. Л., 1984.



шее исключение, когда системность не только провозглашается, но и обретает ощутимые формы. По отношению к культурологи это отчётливо проявилось в коллективной работе¹, где им написаны главы «Культура и цивилизация», «Закономерности процесса культурогенеза» и «Антропологические аспекты культуры».

Мы старались в сжатом изложении отразить процесс и результат работы ученого по выявлению такой системы – сущности культуры и общих закономерностей ее функционирования, строения и развития.

Представляется бесспорным, что сформулированные М.Каганом положения самой общей теории культуры могут и должны послужить исходной позицией для широкого фронта культурологических исследований, развивающих, уточняющих и конкретизирующих эти положения во всех плоскостях и модальностях на материале различных сфер культуры (ее объектного ряда), различных эпох ее эволюции, различных регионов ее функционирования, **не теряя своего предмета, не подменяя и не подменяя частные конкретные науки**, а лишь опираясь на их данные, обобщения и выводы как на «питательную», эмпирическую базу. Именно в своем собственном своеобразном философском предмете культурологии ее ценность для познания культуры, для других наук и в конечном счете для социальной практики.

¹ Культурология: Учебник. М., 2005.

ПРОЕКТ: КЛАССИКА

Е. Г. Соколов*

Моисея Самойловича считаю своим учителем, хотя формально я был лишь одним из тысяч и тысяч студентов, которые слушали его лекции в Ленинградском–Санкт-Петербургском университете (да и во многих других учебных заведениях страны) на протяжении более полувека. Он не был моим научным руководителем ни в студенческие, ни в аспирантские годы. И тем не менее...

С учителями отношения всегда сложные. Впрочем, как и со всеми, кого допускаешь в свое сокровенное. Мои отношения с Моисеем Самойловичем – не исключения. Хотя, почти уверен, что с его стороны – да и со стороны любого внешнего наблюдателя, буде такой нашелся бы, – все выглядело иначе: никаких ни «особых», ни тем паче «сложных» отношений не было вовсе. Но я говорю о *своих* переживаниях и ощущениях, о *своем* отношении к отношениям, а они имели долгую четвертьвековую историю. Знакомство мое с Моисеем Самойловичем случилось заочно: еще до университета я прочитал его «Морфологию искусства», которую воспринял как «классическую». Был немало удивлен, когда потом узнал, что автор, М.С. Каган, – не просто мой современник, но и земляк-ленинградец, профессор ленинградского университета, чьи лекции я могу *сам, прямо и непосредственно, «вживую»*, посещать. В студенчестве прослушал три его курса. Точнее – два, с третьего, с общего курса «Эстетики», был с громким позором выдворен (и это был единственный случай в жизни, когда меня выгнали с лекции) за то, что все время болтал с барышней, предпочитая ее лектору. Это случилось на четвертом году обучения. Как и любой четверокурсник, я чувствовал себя «дедом» и полагал, что, приходя на лекцию, уже одним этим делаю великое одолжение преподавателю. Поэтому ужасно разобиделся и больше уже на лекции Моисея Самойловича не ходил. Сейчас-то я понимаю всю потешность и глупость своей позы, точь-в-точь повторяющей расхожие ситуации вроде «Назло маме отморозил уши!» или «Мужик три года дулся на барина, а барин-то о том и не ведал!». Но был молод, нахален и скор на «радикальные решения и выводы». Экзамен сдал на отлично.

* Соколов Евгений Георгиевич – доктор философских наук, профессор кафедры культурологии философского факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Соавтор книги «М.С. Каган, Е.Г. Соколов: диалоги» (Издательство СПбГУ., 2006).



Моисей Самойлович для философского факультета 80-х годов прошлого века – уже фигура знаковая, привлекающая всеобщее внимание, вызывающая пересуды, чей каждый шаг, слово или действие непременно обсуждаются, и с ненавистью, и с любовью, и с завистью, и с восхищением. Легендарный человек, все время будоражащий факультетскую жизнь. Несомненно популярный, даже и «шумно популярный» как в городе, так и в стране. К таким людям я всегда относился с настороженностью. Без предубеждения, но и без доверчивости. Наверное, потому и не попросился к нему в ученики. Потом, уже после окончания университета, читал его книги, не соглашался, не принимал, отвергал, спорил (конечно же, заочно), но все работы Моисея Самойловича задевали, не формально и внешне, но очень внутренне и глубоко.

Потом мы стали с Моисеем Самойловичем работать на одной кафедре. И тут для меня лично началось самое интересное и захватывающее. Когда формально заканчиваешь учиться и сам начинаешь учить других, то с грустью понимаешь, как многое упустил, как был рассеян, невнимателен, да попросту глуп, отвлекаясь на постороннее и второстепенное, вместо того, чтобы, затаив дыхание, смотреть и запоминать то, что открывали на занятиях перед тобой учителя. Эх, оказаться бы вновь на студенческой скамье, да понаблюдать с пристрастием за тем, «как они это делают», как «монтируют» и «представляют». Но увы! Начав трудиться бок о бок с Моисеем Самойловичем, я получил роскошную возможность продлить обучение. Чем непременно и воспользовался. Я за ним «подглядывал»: прислушивался к его словам, анализировал его поступки и действия, запоминал позы и манеры. Разумеется, не для того, чтобы копировать (хотя, конечно же, волей-неволей какие-то «ужимки» все равно произвольно перенял), но, прежде всего, для того, чтобы «вычленив позицию», схватить ее не умом, но «существом», ибо для меня интеллектуальное – мысли, идеи, образы, информация – всегда вторично по отношению к «позе», коей они скрепляются, подпираются и распределяются. Она, эта поза-позиция, для меня намного интереснее, ценнее и важнее. Как в старинном коэне: «Хожу смотреть на то, как Учитель завязывает сандалии». Вот так и я: наблюдал за тем, как Моисей Самойлович «завязывает сандалии». А делает он это мастерски, гениально. И дело, разумеется, не в опыте или навыках, но, опять-таки, как смог убедиться, в позиции, и в даре. Кое-что понял, но многое так и осталось неясным. Оно, оставшееся сокрытым, уходит корнями в «экзистенциальное ядро», в кардинальную жизненную установку, в те области интимности, в которые в принципе вторгнуться невозможно, хоть выспрашивай – хоть не выспрашивай, хоть наблюдай – хоть не наблюдай. Если человек захочет, если он сможет – сам о том скажет или невольно «проговорится». Мои-

сей Самойлович множество раз о том и сказал, и «проговорился». И то, что мне довелось увидеть («подглядеть»), то, чему удалось стать не единожды свидетелем, тех откровений-открытий, коими Моисей Самойлович меня одарил (может быть даже сам о том не подозревая), – одни из моих самых сильных и волнующих переживаний в профессии.

В случае с М.С. Каганом проблема состоит даже не в том, что сделано (написано, проговорено, воспитано, сконструировано) невероятно много, но в том, как это, все сделанное, редуцировано в повседневность научного сообщества, аккумуляровано в мощный интеллектуальный импульс, не захлебывающийся на старте, но, напротив, захватывающий новые горизонты, активно влияющий даже вне прямого и силового воздействия, чему свидетельствует прошедшее после его ухода пятилетие.

Другого термина не подберу: классика. Моисей Самойлович Каган – классик, классик, которого мне довелось повстречать въяве, с кем удалось поработать бок о бок в течение 10 лет: по позе, по интонации, по значению. От того – и робость (не только последыш студенческого восприятия, в котором спрессован извечный ужас нерадивого студента перед грозным, величественно-мудрым и «всегда правым» профессором), и беспокойство: как вести, что чувствовать, как реагировать... И теперь, когда его нет среди нас, ничуть не меньше, чем в суе рутинно-служебных будней, что невольно, «по определению», профанируют – частотой, перечеркивающей дистанцию – всякую значимость. В случае с Моисеем Самойловичем значимость не зачеркивается и сейчас, когда его работы стали «просто одним из сюжетов» собственных лекционных курсов. Всегда остается неизменным «И страх, и трепет, и восторг!». Неизменна же и неловкость «в присутствии» – человеческом, учительском, профессиональном. Потому что...

Уверен, на все 99%, не было на философском факультете Ленинградского/Санкт-Петербургского государственного университета, в последние лет 40 по крайней мере, такого студента-аспиранта, который не учился бы у М.С. Кагана, не слушал бы либо его собственных лекций, либо лекций его непосредственных последователей-учеников, не читал бы его книг. Я не говорю о других дидактических и публичных пространствах, на которых присутствие Моисея Самойловича не менее неизменно и плодотворно, но лишь об университетских, даже уже – факультетских стенах. В них интонация его личности – факт «контитутивный». Выпускники данного коридора, хотят они того или не хотят, отдают себе отчет или нет, принимают или отвергают, – его наследники, сформованные (в том числе!) его голосом, его мыслью, его жестами, памятью о нем. И несть им, разбросанным по просторам Земли проводникам философской мысли, числа! – «Всех и не сосчитаешь!» Поразительная «лекцион-



ная активность», не затухающая с годами. И 30 лет тому назад, когда я пришел на факультет студентом, и 10 лет спустя и почти до самого конца неизменно повторялось одно и то же: на Кагана, на его лекции и выступления, собирались «фаны» со всего Ленинграда/Питера. Его работы, написанные в различных жанрах – от учебников, до воспоминаний, – читались и читаются, вызывая отклик и признание как в научно-академической среде, так и вне ее. М.С. Каган едва ли не самый издающийся профессор нашего университета. Его голос звучал с экранов телевизоров и из радиоприемников. Выражаясь сегодняшним языком, он был и остается самым «раскрученным» человеком философского факультета. С какой стороны ни посмотри (Ученый, лектор, Учитель, воспитатель, оратор-транслятор знаний, популяризатор философских идей) – везде первый, лучший, образцовый, или, опять-таки, в прямом смысле слова – классический. Классик, т. е. и званный, и призванный служить образцом.

Образец. Классика, любая, и философская, и культурная, и дидактическая, – «вещь» тотальная и принудительная. С ней невозможно спорить, вступать в равноправный диалог, тем более пытаться опровергнуть. Она тебя схватывает-скручивает и подчиняет своей воле. Конечно, можно попробовать что-то возразить, начать в запальчивости перечить, но любые попытки обречены. Непреклонность классического императива определяется именно тем, что он «имманентен», т. е. сущностно присущ тому разряду, в котором артикулируется, ибо в нем он выступает формообразующей структурой, макетом, по которому отливаются последующие разверстки. Состояния чувств, личная привязанность здесь не имеет никакого значения: классику необходимо знать, «пройти», увидеть, как она просвечивает архитектурную ткань и наличную текстуру. А еще, в задушевной простоте, после титанических и тщетных усилий по ниспровержению кумира, через которые проходит всякий неопит в ритуалах инициации (вхождения в соответствующий дискурс), классика декларирует «так есть». И точка. Дальнейшее же движение – уже от «так есть», которое всегда удерживается в качестве фундамента или точки отсчета.

Когда читаешь работы Моисея Самойловича, то всегда испытываешь – передаю не только свое собственное ощущение, но и мнение почти всех, кто его читал-слушал, – чувство «очевидности»: «так есть». Такое же впечатление производили и его выступления. Сказанное-написанное им – несомненно настолько, что даже и доказательств не требует. Это вовсе не означает, что произносимое-выписываемое М.С. Каганом всегда прогнозируемо или жестко предвосхищено предыдущими текстуальными суждениями. Отнюдь. Но артикулируемое заново – все равно «очевидно» и, опять-таки, «так есть». По невероятной «оплошности» ранее, до того

как Моисей Самойлович это произнес, ты почему-то (ну почему?!!!) сам этого не сформулировал, сам до этого не дошел, ведь – «это же так просто и понятно».

Классика как раз и выступает тем набором простых (по кажимости, не по сути, излишне добавлять, что самое простое – прозрачное, оно и есть самое сложное!) и «ясных как солнышко» очевидностей, по которым центрируется, к которым пристегивается, наконец, от которых отталкивается скольжение (мысли, разговора, повествования). Необходимо, жизненно необходимо, чтобы кто-то «это однажды озвучил». В противном случае – «пагубное безначалие», хаос невразумительного лепетания, или невозможность начать движения. Причем, что удивительнее всего, и это я понял на примере Моисея Самойловича, для такого классического, «простого» и «очевидного», речения не требуется дистанция времени, длительный процесс темпоральной утряски-проверки, многообразные и многотрудные экспертизы «на соответствия». Оно, классическое речение, – позиция, или, лучше, состояние, некоторый посыл, или, еще лучше, способ «улавливания», аккумуляирования, конденсирования и продуцирования очевидностей, «витающих в воздухе», всем знакомым и незнакомым одновременно. Причем, и 30 лет тому назад, когда я впервые услышал его слово и прочитал его работы, он был уже классиком, и презентировался и воспринимался как образец. Возможно ли «становление» классика? Длительный путь эволюционных мытарств? Уверен – нет. Здесь важнее – Поза и Дар.

Конечно, почти наверняка с теми или иными положениями, мыслями, мнениями, высказываниями, нашедшими свой итоговый приют в классической постановке, ты наверняка уже сталкивался, встречал их «у других»¹. Но, думается, важнее не тот, кто хронологически-генетически «впервые» (в крайнем выражении эта позиция зафиксирована еще у Екклесиаста «Все было!»; да и мало ли кто чего случайно ни обронит в суесловии, не особенно вдумываясь в произнесенное между строк, да «на полях»!), но тот, кто «сделал очевидным», довел до очевидности, выразил так, что это стало очевидным настолько, что в дальнейшем могло служить образцом, формообразующей и эволюционирующей структурой. В этом – доблесть классики: «не на пустом месте», конечно, но так, что все предшествующее – как предыстория, намек, преустройство того жеста, которого «ждали все».

¹ Замечательна в этом отношении научная щепетильность и кропотливость Моисея Самойловича: всегда, во всех работах – подробнейшие библиография и историография, археология и адресная предыстория! И тут – образец жанра!



Обнаружение и протест. Почти что со времен сотворения философического мира бытует замечательная метафора познания: сократическое припоминание, узнавание в новом-внешнем привычного-внутреннего. Водитель-учитель «только присутствует» при родах, исполняя скромную роль повивальной бабки. В полной мере возможность (или необходимость?) подобной ситуации я ощутил только в одном случае – при знакомстве с интеллектуальными наработками Моисея Самойловича (на его лекциях, при чтении его книг). Высказанное (проговоренное и написанное) для меня потому очевидно, несомненно и прозрачно, что уже есть «мое собственное», во мне пребывающее, может быть, не слишком приятное, но, что самое главное, – нечуждое. Одному Богу ведомо, как оно «туда попало». Разумеется, по каждому отдельному положению можно провести кропотливое «дознание», отследить генетическую преемственность, сделать обобщающий, ничего не объясняющий вывод (типа «по одному культурному срезу скользим», «в одной традиции воспитывались», «по одному муравейнику ползаем», «положены в одну и ту же размерность», «одержимы одинаковыми идеями» и пр.): один век, одна страна, одна культура, один город, хоть и с разницей в 40 лет. Но загадка подобным разъяснением все равно не разрешится и вопрос «Почему это уже есть во мне?» не перейдет в разряд риторических. Литургика мистической сопричастности – через многоярусные, многоступенчатые, многовариантные опосредованные звенья, схватывающие и удерживающие в определенных пределах всякий эволюционирующий процесс, – как раз и обнаруживает существование силовых линий, констант мысли, культуры, дискурса; тех как смысловых, так и оперативных акцентов, без которых не может не только развернуться, но и вообще начаться любая конструкторская инициатива. Каганом ли, так или иначе, сформована мелодика нынешней российской культуры, российского гуманитарного знания, во всех их положительных и отрицательных чертах, или, напротив, они сформировали М.С. Кагана, его пристрастия и антипатии, характер его речи, – не имеет, в данном случае, принципиального значения. Важно, что оно, очень многое, интимное, собственное, даже, как было сказано, и очень неприятное, артикулируется «через Кагана», благодаря ему или «с его помощью». И это – не только мое мнение.

В чем это проявляется? Да во всем. Прежде всего, конечно же, в структуре, ментальной, экзистенциальной, дискурсивной, наконец, профессиональной. Не только те, кто открыто и прямо, с гордостью называют себя учениками Моисея Самойловича, но и те, кто пытаются его опровергать, «поднимать руку», критиковать и восставать, все равно воспроизводят обертоны кагановских высказываний. Никакого парадокса нет и в помине, но лишь повторение извечной ситуации, ныне, кстати ска-

зять, ставшей знаменем времени¹. Темы, сюжеты, проблемы, нормативы приоритетности и второстепенности, чередование дискурсивных ритмов, построение интеллектуальной интриги, выбор и компоновка «профессионального иконостаса», наконец, декламационная поза (выговор) и технология производства нарративов – все это «от стен воспринято», ими санкционировано и легитимировано, следовательно – и от Моисея Самойловича. Показательно, что именно «беглые, заблудшие и неблагодарные дети», осевшие во «вражеских голосах» периода «великих противостояний», там прославившиеся и отменно попинавшие alma mater, вернувшиеся назад в ареоле «иных имиджей», ближе всего к отвергнутым «родителям», ортодоксальнее всего воспроизводят первичный канон², ибо даже «враг», вернее, в первую очередь «враг» (или, скажу мягче, оппонент), – это то, что наследуется, что конституируется на фундаментальном уровне, что есть «исподнее и интимное», т. е. твое собственное, а конкретная проекция импульса, осязаемость негативного образа – дело вторичное и непринципиальное. Не-свое, абсолютно чужое не может выступать ни как вражеское, ни даже как чуждое, твое-чуждое. И в этом смысле все без исключения оппоненты, недоброжелатели, противники и хулители Моисея Самойловича – а его профессиональная жизнь не была безоблачной, не только аплодисментами заканчивались его публичные выступления³, – лишь «тайные воздыхатели», своим нервным отторжением еще раз утверждавшие справедливость слов Кагана. Эк ведь задевало!

Истина. Моисей Самойлович Каган, прежде всего, – классик гуманитарного знания, классик науки. А это, в первую очередь, определяет и облик той истины, которая им выговаривается: она изначально сформована как эталон, предназначенный для многократного и продолжительного репродуцирования. Не меньше (но и, справедливости ради следует добавить, – не больше). Поясню. Истина, воспринятая и презентирован-

¹ Советский строй, марксистско-ленинскую философию, социалистическую интонацию «вытравить» невозможно ни открещиванием от них, ни утверждением «я не такой», ни сменой декоративной стилистики (слов, терминов, «возлюбленных имен» и пр.). Это – гораздо глубже, фундаментальнее, в сердцевине ментально-экзистенциального каркаса, по отношению к которой всякая *выраженность* – не более, чем акцидентальное свечение субстанциональных – онтологических! – акцентов.

² Знакомясь с работами Б.Парамонова, я ясно видел, «чувствовал запах» тех, у кого он учился. Голос Моисея Самойловича и здесь звучит достаточно четко.

³ О том, сколько и по каким поводам пришлось М.С. Кагану претерпеть, он прекрасно рассказал в своих воспоминаниях.



ная как откровение, – эзотерична и не подлежит копированию-распространению, она замкнута в харизматической недостижимости, исключая, или, во всяком случае, не предполагая особую заботу о механизмах своего собственного, более или менее адекватного оригиналу, распространения. Она – «не общедоступна».

Классическая же истина немало сил и времени уделяет выработке технологий самораспространения, самоинвестирования в иные пространства, их переделке и перекомпоновке по собственной модели¹. С некоторыми оговорками, она может считаться просто механизмом или, еще лучше, стратегией освоения, практикой захвата, арматурой и технологией одновременно. Поэтому она, классическая истина, – систематична и методична. Система и метод – это как раз то, чему Моисей Самойлович всегда уделял огромное внимание. Его собственные положения всегда систематизированы и безупречны в методологическом отношении. Поэтому-то так непреклонны и требовательны, или, что то же самое, «просты и очевидны». Никакой «расхлябанности», зазора, несогласованности или «непритертости» фрагментов (высказывания, лекции, статьи, тезиса, книги) друг к другу, всегда – единый монолит, *уже*, даже в самых спонтанных и импровизационных ситуациях, интегрировавший и переработавший первичный субстрат. Наверное, это – дар, склад ума, не может быть, чтобы просто профессиональный навык, приобретенный многолетним опытом. Я уже признался, что за годы общения с Моисеем Самойловичем я «подглядывал» за ним в разных ситуациях, специально пытался нащупать «разрывы», узелки, обнаружить, как и из каких лоскутков плетется дискурсивная ткань. И хоть бы раз удалось «схватить за руку», отыскать непоследовательность, несистематичность, методологическую оплошность; отследить, как отливается каркас и «микшируется» ткань!

Разумеется, речь ведь идет не просто об артистизме, – хотя и он присущ был Моисею Самойловичу, скольким эффектным сценам я был свидетель! – но о вещах гораздо более серьезных. Систематичность и методичность – не самоцель, но единственный на сегодняшний день механизм, позволяющий совершать трансляцию знания без существенных и принципиальных утрат, организовать бесперебойный познавательный конвейер, доступ к которому открыт. В этом – и ущерб, и достоинства новоевропейской, классической системы знания, института науки. То, что говорил и писал М.С. Каган, – принципиально *доступно*. Доступно в

¹ Как выразился, резко, но во многом справедливо, Ж.Ф. Лиотар, наука не прибавляет знаний, но лишь трансформирует по собственному образу и подобию все новые горизонты.

том смысле, что предназначено «быть взятым», служить даром. И это легко, может быть, даже слишком легко, что и порождает иной раз некоторую превратность как трактовок, так и отношения, взять, использовать в своем собственном интеллектуальном опыте. Легкость, конечно же, не от «простоты», а, о чем уже было сказано, от «имманентности», «знакомости». Таким образом презентированный, внедренный и воспроизведенный канон – очевидный, доступный, легкий, красивый – уже словно и не императив вовсе, не властная инстанция, не карающий перст, но – расчерченное поле, вернее – расчерченные и снабженные, заботливо и предупредительно, «кагановскими маяками» поля.

Поля. У меня есть «две глубоких и умных уверенности». Первое: проект Эстетика был открыт Гегелем (хотя, конечно же, не им зачинался) и по сути дела закрыт Каганом, его, ставшими классическими уже в момент появления, «Лекциями по марксистско-ленинской эстетике». Больше, на мой взгляд, на этом дисциплинарном пространстве делать нечего «по определению». Нет, конечно можно «пасть», измышлять сюжеты, писать диссертации-монографии по «отдельным проблемам», даже «все-речь задумываться», но ничего принципиально нового, соизмеримого по масштабу и значимости с уже написанным, классического и фундаментального здесь не сотворить. Виновато ли время, время постмодерна, воспрещающее даже мысль о подобных потугах, или причина кроется в самой дисциплине, так поздно и так довольно-таки несуразно рожденной (да простят мне эти слова коллеги-друзья эстетики!), не играет существенной роли. Моисей Самойлович был и остается до сего дня последним. Совсем не случайно и то, что в завершающее десятилетие своей жизни Каган редко и эпизодически посещал пространство «чистой» эстетики, переключившись почти полностью на другие, еще не вспаханные горизонты, а после «отпочкования» культурологии в отдельное административно-служебное подразделение – открытия на философском факультете кафедры философии культуры и культурологии – перешел работать туда.

Второе: проект Культурология, над которым М.С. Каган работал до самого конца, – это исключительно его собственный, можно сказать, личный проект, только в его исполнении обладавший и убедительностью, и онтологической целесообразностью, и... изящностью. Поясню, дабы не создалось превратного мнения. То, что дисциплина культурология – номенклатурный, постсовесткий чиновничий жест, не является новостью. Также очевидно, что это поле стало и до сих пор выступает прибежищем сбежавших из упраздненных социальной пересменкой прежде «фаворитных» идеологических дисциплинарных, некий приют «потенциально безработных». Отсюда и все беды: полная неразбериха во всем культуроло-



логическом отсеке. Он отвратительно организован, сумбурен, суматошен, рыхл, случаен по ассортименту, «онтологически»-конститутивно более чем проблематичен. Не имеет ни внутренней логики, ни собственного субстрата, ни иной, кроме властно-дисциплинарной, цели, ни собственного облика – ни репрезентабельного вида. Что, в общем-то, понятно: делалось наспех, в судорогах кабинетного экстаза, без какой-либо серьезной и специальной предварительной – профессиональной! – экспертизы. Запустили, а потом стали присматриваться, как выразился однажды по сему поводу М.С. Каган, «шо се такэ». Получилось же, по меткому высказыванию другого классика, классика современной политики (уже покойного), ...«как всегда», хоть и думали «как лучше». Картина была бы совсем удручающей, если бы не титанические усилия Моисея Самойловича.

Опять-таки, можно искать-доискиваться, кто первый, кто вначале (у истока), а кто в конце (в апогее регламента), где жили прародители и праотцы, – и эта работа ведется, – но легитимное влияние и право «первого голоса» имеет тот, кто *сделал очевидным необходимость*, артикулировал потребность и предложил свой, самый убедительный вариант. М.С. Каган – не просто «один из зачинщиков» культурологического движения, и даже не «самый крупный представитель», он, и на сегодняшний день, – «вся культурология», та ее часть, что может считаться знанием, наукой и классикой. Все остальное, да простят меня коллеги, – не слишком вразумительный, очень фрагментарный, временами занимательный, временами скучный, почти всегда поверхностный, натужный и вымученный, несистематичный, непоследовательный «ропот», из которого может быть, когда-нибудь и родится Слово, но пока – извините! – ничего достойного на свет не появилось¹. Отдельные разрозненные сегменты, плохо согласующиеся друг с другом, даже и пронизанные общим благородным пафосом, – еще не наука, не знание, но, в лучшем случае, пожелание, благое намерение, вектор, показывающий, в каком направлении следует искать истину, где она может быть, а может и не быть, укрыта. В любом случае – это еще не повод, чтобы в упоении рапортовать о достигнутых результатах. Конечно, любая наука создается «росчерком пера» и является «номенклатурным предприятием», но – «не так быстро», не в одночасье, требуется время и труд. М.С. Каган, именно благодаря своим собственным, индивидуальным качествам, если хотите – своим даром создал тот шаблон культурологии, который с момента своего рождения «обречен» быть классическим, образцовым, систематическим примером

¹ Столь безапелляционно говоря о культурологии, я, прежде всего, адресуюсь к самому себе, ибо подвигаюсь на сем поприще вот уже более 20 лет.

позитивного знания в форме науки (в том виде, в котором она существовала на всем протяжении эпохи модерн). И это тем удивительнее, что время, нынешнее время, менее всего благоволит к такого рода фундаментальным начинаниям.

Никакой профанации или конъюнктуры нет и в помине, но целенаправленная, серьезная, сосредоточенная методичная работа по созданию «комплексной» – универсальной! – Науки Наук. Проект науки гуманитарных наук раскручивается на наших глазах, как раз тогда, когда все другие метанауки потерпели крах и рассыпались по локальным «междисциплинарным» закоулкам-проблемам. Насколько удачным и жизнеспособным будет последнее детище Моисея Самойловича, покажет время. Пока же оно свидетельствует отнюдь не в пользу культурологии: после ухода Кагана дисциплина очень сильно забуксовала. Существует, правда, и опасность. Если культурология и в самом деле призвана увенчать гуманитарное знание, то не означает ли это, что она станет тем самым проектом, что закроет весь проект новоевропейских гуманитарных наук как таковых?



СТИЛЬ ПЕТЕРБУРГСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Е. Н. Устюгова*

Тема Петербурга появилась в творчестве М.С. Кагана достаточно поздно, в конце 90-х годов. В это время уже были созданы системы его эстетических и культурологических идей, однако его натура не укладывалась в рамки строгой теории, хотя, как известно, он с жаром отстаивал то, что философия – это прежде всего наука. Но будучи теоретиком, методологом, систематиком, синергетиком, он всегда оставался эстетиком и в своем мировоззрении и в мироощущении. Поэтому не удивительно, что книги о петербургской культуре были написаны именно в это десятилетие, венчающее его творческую эволюцию.

У М.С. Кагана были сочинения, в которых проявлялись его убеждения, его интеллект и мастерство, его увлечения. Книги о Петербурге – выражение его любви к городу, которым он восхищался, любовался, считал собеседником и относился не как к объекту рационального анализа, а как к субъекту, духовно и душевно близкому. Я бы сказала, что отношения Моисея Самойловича с Санкт-Петербургом могут быть выражены понятием *Genius loci* (гений места). Те, кто хорошо знали М.С. Кагана, не могут не чувствовать, что образ и стиль его мышления, его вкус, артистизм, перфекционизм родственны этому городу, произрастали на его почве. И потому петербургологию Кагана можно было бы считать его благодарным ответом своей духовной родине.

Создавая свою культурологию Петербурга, он был прежде всего эстетиком и писал, что постичь «душу» этого города может только тот, «...кто воспринимает его уникальные красоту и величие, воспринимать же их можно лишь... эстетическим переживанием, а не холодным рассудком».

М.С. Каган видел свою задачу как культуролога в том, чтобы представить Петербург как ансамбль духовной, материальной, художественной и человеческой сторон культуры в историческом движении. Такая ансамблевость наиболее очевидна в стиле города, имеющем эстетическую природу, может быть, наиболее явную именно на петербургской

* Устюгова Елена Николаевна – доктор философских наук, профессор кафедры эстетики и философии культуры философского факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Под руководством М.С. Кагана защитила кандидатскую диссертацию по проблемам стиля в истории культуры и в эстетике.

почве. В предисловии к книге «Град Петров» М.С. Каган писал, что «душа града Петра» заключена в стиле культуры этого города, который есть единство и взаимопревращение трех основных модальностей целостного существования и развития – духовно-человеческой, процессуально-деятельностной и предметной – «только таким путем можно постичь культуру как нечто целостное, ибо при всех различиях между отдельными ее областями они освещают друг друга перекрестным светом, будучи в реальном бытии культуры города разными проявлениями единых духовных устремлений»¹.

Опираясь на такой принцип понимания неповторимости стиля петербургской культуры, ученики и коллеги М.С. Кагана продолжили целостный анализ феномена Санкт-Петербурга в сборнике, посвященном памяти М.С. Кагана «Мир петербургской культуры» (СПб., 2007), а затем в коллективном исследовании под названием «Санкт-Петербург как эстетический феномен» (СПб., 2009).

Памяти Моисея Самойловича посвящается представленная здесь в сокращенном варианте одна из статей этого сборника.

Стиль Петербурга как гарант его культурной идентичности

Не каждый город имеет свой стиль, но если он существует, то это означает, что перед нами произведение культуры, которое обладает культурной ценностью и, следовательно, должно сберегаться и охраняться как культурная ценность, подобно произведениям великих мастеров. Стиль свидетельствует о наличии исторически сложившейся целостности, укорененной в традиции формообразования, о внутреннем порядке, возникшем благодаря длительному выстраиванию системы устойчивых ценностных ориентаций и достигшем выразительности эстетического образа. Интегрируя внутреннее многообразие содержаний и формообразующих тенденций, присущих такому сложному образованию, как город, стиль является одновременно структурой, символическим выражением и эстетическим образом этой целостности, придавая городу особое, присущие только ему черты, уникальное лицо и внутреннюю атмосферу специфического культурно-символического пространства, которые позволяют отличать этот город от любого другого. По мере того, как социальная организация города наполняется культурными смыслами и культурно-исторической памятью, город обретает свой стиль, как особое произведение культуры, ценность, принадлежащую, прежде всего, истории культуры, а уже потом социуму.

¹ Каган М. С. «Град Петров в истории русской культуры». СПб., 1996. С. 8–9.



Санкт-Петербург является жемчужиной мировой культуры, прежде всего, благодаря своему уникальному архитектурному стилю, в пространстве которого сложились стилиевой образ петербургской культуры и искусства и определенный культурно-антропологический персонаж – петербуржец, а это уже ценность, в первую очередь, отечественной культурной истории и жизни его жителей.

Петербург всегда существовал одновременно и как жизненное пространство и как культурный текст. Определяющая роль в существовании этого двуединства принадлежит архитектуре. С одной стороны, она конкретно-исторична, так как онтологизирует в настоящем жизненное пространство. С другой стороны, статика телесности архитектурной формы над-исторична, она как будто встает на пути обновления жизни, что усиливается классической ориентацией петербургской архитектуры, поэтому, хотя историческая судьба города была насыщена событиями, складывается впечатление, что будто бы он принадлежит не реальной истории, а какой-то метафизической процессуальности, запечатленной в образе классической красоты. Архитектурный макро-экстерьер дал Петербургу ту материальную устойчивость формы и облика, благодаря которой он продолжал существовать как целое во времени и пространстве, неся сквозь столетия образ исторической жизненности классики, объединяя времена и жизни в целостности стиля как образе единства судьбы этого города.

Архитектура Петербурга на протяжении двух столетий несла в себе образ преемственности по отношению к устоявшимся формам европейской в культуры: в первую очередь античной классики, барокко, классицизма, модерна. В этом процессе присутствовали как мотивы осознанного привнесения в российскую среду лучших черт современного (соответственно 18, 19 векам) европейского города, так и стремление установить собственную преемственную связь с историческими основаниями европейской культуры, что проявилось в устойчивой приверженности классической традиции. Отношением к античной классике как к органичной собственной базе, гарантирующей принадлежность к твердой систематической основе переработки всякого нового опыта в уже имеющиеся исторически авторитетные формы, было проникнуто устремление к воплощению в Петербурге модели идеального города, выстроенного по классическим законам гармонии, соразмерности, симметрии, по просчитанным принципам формообразования, осуществленным как в планировке городского пространства, так и в архитектурных сооружениях. Не внешнее подражание античности, как давно минувшей славной эпохе, а отношение к ней как к своему культурному настоящему, когда античный образец мыслится не «позади», а «впереди и сверху», было

характерно в целом для европейского 18 века¹, но в Петербурге оно прививалось с особым пристрастием, поскольку многие представители петербургской культуры ощущали себя прямыми (а не только через посредство Европы) и лучшими наследниками античности. Это родство утверждалось, прежде всего, воплощенными в городской архитектуре принципами структурных соответствий частей и целого, архитектурной организованностью общественных и частных смыслов, ясностью и, тем самым, внятностью для гражданского коллектива и его отдельных членов эстетических форм материальной и духовной деятельности².

В истории культуры есть немало примеров того, как высочайшими достижениями искусства оказывались те, которые трудно отнести к какому-то определенному стилю (достаточно назвать имена Гете, Моцарта или Пушкина). Не принадлежа никакому направлению, не ограничивая себя никакими творческими программами, они существовали в пространстве универсального языка культуры, аккумулируя в себе его многоголосие. Они были открыты миру, ощущали его как целое, а себя как язык этой целостности, именно поэтому этих творцов называют классиками. Столь же классичен и Петербург. Архитектурный образ «классичности» оказывал эстетически организующее воздействие на формирование всего петербургского стиля, пронизывающего как различные виды культурного творчества, так и уклад жизни петербуржцев.

Разрастание культурного пространства города происходило по образу исторической вертикали, вокруг которой совершались творческие приращения петербургского текста. Осмыслением истории всегда движет интерес, обусловленный потребностью современности осознать свое место в историческом процессе и понять перспективы будущего развития. В самосознании Петербурга «историчность» оказывается существенным параметром определения как сущностной идеи Петербурга, так и перспектив его последующего развития либо как города-музея, подобного Венеции, либо как творчески развивающегося в истории культурного образования.

Историческое и современное были диалектически связаны еще в изначальном замысле Санкт-Петербурга. Идея Петра о создании новой столицы опиралась на принцип исторической преемственности. Его отказ от «боярской» государственности и патриархального уклада жизни, стремление включить Россию в европейскую цивилизацию были революционным скачком по отношению к отечественной традиции. С дру-

¹ Михайлов А.В. Античность как идеал и культурная реальность // Михайлов А.В. Языки культуры. М., 1997. С. 513–515.

² Кнабе Г.С. Гротескный эпилог классической драмы. М., 1996. С. 7–9.



гой стороны, в этом шаге было и желание расширить само содержание отечественной историчности перенесением ее в масштабы европейской и мировой истории. Об этом говорят те имена-образы, которыми с самого начала наделялась новая столица, – «Северная Пальмира», «Петрополь», «Новый Рим», «Новый Амстердам», «Северная Венеция». Творческий замысел города опирался на диалог «этого мира» (современного, настоящего) и «другого» мира, укорененного в иной историко-культурной традиции. Историчность Петербурга проявлялась как в его соотносительности с европейской традицией и в осознанной преемственности античного классического наследия, так и в том, что его создание по образу идеального города, «парадиза», было своего рода утопическим проектом, устремленным в будущее.

Второй важный аспект историчности Петербурга лежит в плоскости проблемы соотношения «естественного» и «искусственного». Противопоставление естественного, как объективно-исторического, и искусственного, как произвольного, генетически субъективного, являлось одним из оснований тезиса об исторической «нежизнеспособности» Петербурга. Утвердившийся в петербургской мифологии образ «умышленного» города, олицетворенной воли его создателей, трактовался как искусственный императив, противопоставленный естественному ходу реальной жизни и несовместимый с существованием людей в этом городе. Ощущение несоизмеримости грандиозных проектов, управленческих регламентаций с правом обыкновенного человека на суверенность повседневной жизни сопровождало всю историю Петербурга и запечатлено в фольклорной и художественной мифологии города, согласно которой он воспринимался как субъект, отождествляемый с функцией, приданной ему государственной волей. Превращение функции в субъективированную характеристику является одной из черт мифологического сознания – в данном случае здесь кроются социальные корни возникновения так называемого «отрицательного мифа» Петербурга.

Но, несмотря на то, что два столетия город интенсивно строился согласно определенным идейно-социальным программам, смысловая сфера петербургского стиля не укладывается в их жесткие рамки. Любые общественные объективации – продукты конструирования мыслящего и волевого субъекта – в контексте культуры способны к саморазвитию, в ходе которого они могут приобретать новые значения и формировать самого субъекта. В ходе истории сам город стал постепенно восприниматься как Субъект, с которым у жителей города складывались сложные противоречивые отношения. Но эта субъектность раскрывалась разными смысловыми гранями и не сводилась исключительно к значению государственной воли, рационального надличностного порядка и прину-

дительной регламентации. Какими бы ни были устремления разных поколений царей и властителей страны и города, они одновременно и питали городскую культурную среду, но и поглощались и трансформировались ею, благодаря чему Петербург приобретал качество саморазвертывающегося историко-культурного текста. Ю.М. Лотман отмечал, что «город, как ...генератор культуры, ...представляет собой котел текстов и кодов, ...принадлежащих разным языкам и разным уровням». Благодаря этому качеству, названному им «семиотическим полиглотизмом», «город – механизм» постоянно рождает заново свое прошлое, которое получает «возможность сополагаться с настоящим как бы синхронно»¹.

Таким образом, его различные смыслообразы, перекликаясь и дополняя друг друга, предстают не в ракурсе необходимости, однозначности, «ставшести», а в ракурсе возможности, интерпретационной открытости, смыслотворческой потенциальности, которая более всего открыта для эстетического восприятия. А оно, как известно, с одной стороны рефлексивно, то есть погружено в содержание собственного духовно-эмоционального опыта, и одновременно, с другой стороны, оно продуктивно, то есть существует благодаря творчеству воображения. Поэтому Санкт-Петербург на протяжении всей своей истории породил и мифологические, и художественно-образные интерпретации, становился главным героем литературных, музыкальных, живописных и графических произведений.

История Петербурга подобна сжатой пружине, вместившей в три столетия столько, сколько другим городам хватало на срок вдвое больший. Временами эта пружина, словно резко срываясь со своих креплений, порождала мощные энергетические взрывы, ломающие упорядоченную жизнь города. Казалось, город не успевал просто жить, спокойно и неторопливо обрастая удобствами, необходимыми для нормального существования людей, не успевавших обжить это пространство, почувствовать себя в нем дома. Город был открыт созидательным начинаниям, умел быстро принять их в себя и органично приспособить к новой жизни знаки и формы «иного», обрастая собственной историей, сложной топокультурной структурой, вследствие чего «стал городом культурно-семиотических контрастов»². Сказанное позволяет сделать вывод о том, что историчность Петербурга, как диалектическая взаимосвязь прошлого и настоящего, содержится во всей полноте его бытия.

¹ Лотман Ю.М. Символические пространства. // Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб., 2000. С. 325.

² Там же. С. 334.



Петербург воплощал стремление России почувствовать себя и заявить о себе в смысловом контексте европейской истории и культуры. Он был изначально предназначен к миссии взаимопроникновения, самоутверждения посредством активной коммуникации. Новый образ России должен был формироваться через творческое освоение опыта и образов иного, чужого, трансформированного в соответствии с амбициозными замыслами российских государей. Таким образом, Петербург должен был быть открыт «другому», но при этом не слиться с ним, а выявить свое отличие и через него утвердить себя как самостоятельного субъекта социокультурного мира, осуществляющего собственные цели. В такой модели культурного взаимодействия, которую можно было бы назвать интересубъективной, между внутренними и внешними границами устанавливается особого рода дистанцированная связь, обнаруживающая одновременно сходство и несовпадение. Ситуация «*между*» двумя отражающими друг друга ценностно-смысловыми полюсами создает оптимальные условия для стилеобразования. Своеобразие петербургского стиля является следствием того полифонического культурного контекста, в котором он возник, развивался и продолжает функционировать, и вне которого невозможна интерпретация его культурных смыслов.

Петербургский стиль – один из выразительных примеров культурного диалогизма. Он свидетельствовал о том, что сложился новый субъект культуры, артикулирующий взаимное отражение пограничных смыслов, формирование новой культурной позиционности, образующей новую целостность. Положение «*между*» – осознанное выражение соотношенности и несовпадения с другими культурами и временами, формировало культурную судьбу города. Попадая в это интенсивно диалогическое поле культурных векторов, человек оказывался втянутым в активную интерпретационную и идентификационную деятельность.

Долгий исторический процесс постепенного развития европейской истории, запечатлевшийся в стилевых формах античной классики, готики, ренессанса, классицизма и барокко, был вписан в петербургский текст в «снятом» виде, как напоминание о не-пережитом историческом прошлом, преемственная связь с которым в то же время должна была быть обозначена как важный контекст понимания места и предполагаемой роли столицы новой европейской империи в сообществе старых европейских стран. Эстетический аспект имеет принципиальное значение для понимания особенности историчности Петербурга. В культурном пространстве его архитектурной телесности гармонично сочетаются различные европейские стили, столетиями развивавшиеся в иных исторических контекстах, связь между которыми осуществляется по принципу эстетической дистанцированности, т. е. одновременного и присутствия,

и отсутствия, когда внимание концентрируется на том, что между ними. Трудно сказать, что проявляется в большей степени – сходство или различие между петербургскими барокко и классицизмом с их историческими прообразами. По-видимому, именно эта энергия вневходимости и придает петербургскому стилю его собственный характер и яркую эстетическую выразительность. В петербургском пространстве стилевая разноголосица обрела уравновешенность и гармонию, как будто некая эстетическая воля собрала в созвучие и усмирила своенравные голоса прошедших европейских эпох, наделив их интонацией вслушивания друг в друга, мерой гармонии согласия различного.

Двухсотлетняя архитектура петербургского центра сохраняла эстетическую дистанцию и по отношению к самобытным характерам исторического и национального зодчества, и по отношению к бурным социально-историческим событиям, и по отношению к прагматическим интересам обывателей. Петербургская архитектура складывалась и функционировала как в значительной степени замкнутое и обособленное от жизненного настоящего образование, живущее своей внутренней эстетически самодостаточной жизнью. Но этот образ отвлеченности поддерживается эстетической интенцией целостности, с присущим ей единым внутренним ритмом полифонического порядка, соразмерности, созвучия. Нарушение этой эстетической гармонии различного, как структурообразующего принципа петербургского стиля, диссонансами архитектурных модернизаций разрушает сущность стилевого образа города, то есть уничтожает его как уникальную культурную ценность и ствол исторической памяти.

Петербургская архитектура – в значительной степени эстетически самодостаточное образование. В то же время в нем «закодирована» присущая античной классике визуализация общественно значимых смыслов, которая создает вокруг них пространство идеологической общности. Уникальный петербургский архитектурный стиль соединяет эстетическую самососредоточенность с идейной-проективностью и транс-историчностью классики. Царствующие российские реформаторы изначально стремились к тому, чтобы Петербург как столица новой России был не просто большим и современным городом, а идеальным, совершенным, превосходящим великолепием, красотой, продуманностью все другие мировые столицы. Соотнесенность с идеалом стала инвариантом петербургской архитектоники и, требуя соответствия, задавала масштаб, на который не могла не быть ориентирована жизнь горожан.

Высокий градус напряжения исторической жизни столицы Российской империи проявлялся в ускоренном темпе смены событий и частом ритме пульсации судьбоносных взлетов и крушений, приходившихся на жизнь одного, а не многих поколений. От момента строительства



Петропавловской крепости до времени, когда Петербург стал пышной столицей империи и центром политической и культурной жизни России, прошло всего сто лет. Люди, родившиеся в конце 19 века, пережили и время «блистательного» Петербурга Серебряного века, и три революции, и падение империи, блокаду, долгий период духовной и идеологической опалы и обветшания, и знаменующие эти этапы переименования: Санкт-Петербург–Петроград–Ленинград–Санкт-Петербург. Житель города оказывался одновременно человеком Истории (прошлого) и человеком Современности (настоящего). Постепенность повседневности регулярно катастрофически взрывалась, заставляя обывателя быть всегда настороже, готовясь к вероятной скорой перемене участи. Вся история Петербурга состоит из чередования взлетов и падений, умирания и возрождения. Не случайно одной из главных в мифологии города была эсхатологическая тема начала и конца. По мере накапливания исторического опыта смены этих циклов в менталитете петербуржцев появляется как бы ритмический метроном, уравнивающий страх перед мифом возможного конца с верой в миф возможного возрождения.

Мифологизация Петербурга, то есть отождествление субъективных и объективных черт, приписывание городу таких характеристик, как дух, душа, воля, действие, черт демоничности или божественности, светлой или темной магии, зарождалась на социально-антропологическом уровне, но окончательное выражение получала в эстетических, художественных, словесных и изобразительных образах. Парадокс Петербурга состоит в том, что при всей своей, казалось бы, над-личностной природе он наполнялся символическими смыслами благодаря воле и творческим усилиям ярких, определяющих судьбы страны и русской культуры личностей (начиная с Петра I и Екатерины Великой до выдающихся художников, архитекторов, поэтов). В оживотворении петербургской мифологии огромна роль образного мышления и языка искусства. Художественные личности, создававшие образы и мифы города, обозначили, наряду с государственными личностями, вехи его исторической и культурной жизни (петровский и екатерининский Петербург, Петербург пушкинский и блоковский, Петербург Достоевского – этапы, а может быть, миры, в сплетении которых складывалось самосознание живущих здесь людей). Смыслы культурного текста города раскрываются в его художественном тексте как в самосознании культуры; он предназначен для со-творческого прочтения. Художественно-культурные смыслы являются всегда актуальной креативной силой, формирующей образ города во времени и во взаимодействии с людьми, принадлежащими этому пространству, то есть с петербуржцами, воспитанными петербургским текстом и осознающими себя через сопричастность к нему.

Художественный текст Петербурга, давший эстетический язык петербургской мифологии, изменил первоначальное представление о нем как городе «без истории». Современный образ города – это эстетический, то есть вероятностный, текст, кодирующий реальные исторические события, в результате чего архитектурное тело Петербурга становится носителем памяти истории культурного пространства, окутывающей различные историко-культурные топоры призрачным покрывалом воображаемой, таинственной и магической прошлой жизни, в которой реальность трудно отделить от вымысла, от художественных преобразений.

Петербург представляет собой уникальную саморазвивающуюся целостность, жизненный пульс которой вобрал в себя и объединил социальную и историческую дискретность событий, динамику культурно-смысловой разнородности, ритмику личностной культурной пассионарности с континуумом целостности исторического пути. Культурное пространство города наполнено знаками пульсирующей исторической памяти, входящей в целостность его языка, благодаря чему весь город как целое воспринимается как живой образ истории. Таким образом, смысл историчности Петербурга может быть раскрыт через образ *со-временности*, как звена в историческом процессе, опосредующем настоящее, прошлое и будущее, как вертикали исторической доминанты, вокруг которой совершается рост творческих обращений и приращений петербургского текста. Петербургский стиль, являясь записью культурно-исторической судьбы города, служит живым камертоном, помогающим чувствовать фальшивые звуки и настраиваться на слышимую внутренним слухом интонацию города. Способность воспринимать ее – гарантия продолжения жизни Петербурга как культурно-символической целостности.

Настоящие петербуржцы, воспитанные красотой, духовной наполненностью города, понимают свою культурную миссию как бескорыстное служение ему. М.С. Каган посвятил теме петербуржцев и петербургских интеллигентов один из ключевых разделов книги «Град Петров». Наряду с такими качествами российской интеллигенции, как толерантность, связь «познания мира с нравственной оценкой всех жизненных явлений», готовность к диалогу, М.С. Каган подчеркивал, что петербургскому интеллигенту присуща «особая эстетическая чувствительность, ...широта, даже универсальность действия эстетических критериев как регуляторов деятельности, поведения, общения, ...властное желание единения добра и красоты»¹. Эти качества проявились с особой силой в последнее десятилетие в активной деятельности горожан по защите Петербурга от коммерческой модернизации, направленной на разрушение ис-

¹ Каган М.С. Град Петров в истории русской культуры. СПб., 1996. С. 309.



торического центра города и застраивание его зданиями, чуждыми его стилю. Такого рода модернизация стала разворачиваться во многих городах, славящихся своей историей и культурой: так, например, она привела к необратимому искажению эстетического облика Москвы. Но именно петербуржцы оказали наиболее стойкое, организованное сопротивление этой тенденции и заставили власти считаться с их мнением. Не сомневаюсь, что Моисей Самойлович Каган, как человек активной гражданской позиции, как истинный петербуржец, поддержал бы такую деятельность и принял бы в ней активное участие.

Р. С. Приложением к статье о петербургском стиле может послужить фрагмент полусушительного текста из рукописного сборника «В мире Кагана», составленного учениками и коллегами Моисея Самойловича в честь его 70-летия.

Стиль «Каган»

«Стиль – есть человек»

Ж.Бюффон

«Каган – это стиль»

Из околонуточных преданий

(...) Большой стиль – это откровение энергии духа, прорастающей мощной структурой сквозь многоликие видимые формы. Произведения этого, еще не классифицированного вида творчества дано оценить лишь тем, кто понимает, что подлинные и неповторимые ценности культуры – это сами ее творцы, которые всегда больше своих творений, будь то идеи, картины или вещи.

В те донаучные времена, когда еще не писали диссертаций о стиле, бытовало и сегодня не потерявшее свое обаяние суждение, что стиль – это единство в многообразии. В рамках этого представления нельзя не увидеть явственных очертаний кагановского стилевых профиля. Необъятность его человеческих, общественных и научных интересов общеизвестна – искусства всевозможных разновидностей: литература и живопись, театр и кино, музыка и дизайн; целый букет наук – философия и эстетика, науковедение и искусствознание, культурология и история, информатика и эвристика, педагогика и психология, даже математика и физика (вспомним, что его единомышленниками были и Бурбаки, и Н.Бор), политика и публицистика; богатство методологий – от марксистского исторического и диалектического материализма до системного подхода и синергетики; а в личной биографии – обилие друзей, очарова-

тельных муз, сонм учеников, рассеянных по всему миру – от Острова Свободы до Китая, от Карелии до Бурятии. Удивительна при этом не столько его полифункциональность, сколько то, что во всех проявлениях он оригинален и неповторим, что заставляет задуматься о существовании загадочного «феномена Кагана».

Ключ к разгадке «феномена Кагана» бесполезно искать описательным или рассудочным путем. Оставив эту пустую затею для педантичных классификаторов и скучных аналитиков, дадим волю фантазии, доверимся интуиции – уж верно, они не подведут. И тогда на фоне разнообразных интересов и увлечений нашего героя станут проступать иные очертания, станет явным образ большого стиля, имя которому КАГАН. Говорят, генетическое сходство проявляется через поколение, от деда к внуку: «советские родители» Кагана пытались его воспитывать, но гены Петрополя оказались сильнее, петербургские благородные черты оказалось невозможно скрыть за усердно прививаемыми государством советскими манерами. Родословная установлена, и, вот уже мы слышим божественный стилевой аккорд, исполненный маэстро Каганом и маэстро Санкт-Петербургом, – это стиль Кагановско-Петербургского классицизма XX столетия.

Общеизвестно, что всякий большой стиль как образование высшей сложности тем выразительнее, чем напряженной энергия его внутренних взаимосвязей, которую О.Шпенглер называл «орнаментальной волей, подобной демоническому порыву». М.С. Каган под стать своему Великому прообразу являет собой клубок контрастов – он столь же ясен и логичен, сколь артистичен, столь же сдержанно строг, сколь франтоват. В нем органично сочетаются страстный пафос и академическая уравновешенность, мирно уживаются заводи шумных пиров, неукротимый полемист, неутомимый путешественник, с одной стороны, а с другой стороны, любитель тиши библиотек, почтенный мэтр, премудрый наставник, величавый оратор. Воспитанный стилем города, знаменитого своими ансамблями, Каган сам есть ансамбль отношений, воплощенный в его неподражаемом стиле.

Подобно Санкт-Петербургу, придавшему молодую энергию усталому духу старушки Европы, артистично представив его в новом великолепии, мэтр и маэстро Каган погружен в традицию, поражая своей эрудицией и остроумием, в том высшем смысле этого слова, какой вкладывали в него еще в XVII веке, – он продуктивно остроумен, ибо умеет заставить блистать блеском нового смысла даже уже поблекшие или неразвитые идеи.

Мэтр Каган не боится быть старомодным, оставаясь верным своему легендарному рационализму, ибо в его душе живет тот столичный



петербургский аристократизм, которому чужды суетность и купеческий шик *иных столиц*. Дух классицизма всегда тяготел к четкому графическому выражению – скрещение небесной линии набережных и проспектов, перспектив петербургских улиц с вертикалями шпилей соборов и овалами площадей создает неповторимый орнамент Петербурга. Кто же мог воспринять эту школу лучше, чем маэстро Каган, графически выразительный от усов и галстука до чертежей своих теоретических схем, похожих на бюро работы старинных мастеров, с множеством ящичков, полочек, хитроумных секретов. Но все же более рисовальщика он – архитектор, конструирующий свои концепции как эстетически завершенное и совершенное здание, вдохновляемый своим неукротимым *Formdrang*. Когда-то архитектурные стили считались прообразами историко-культурных типологий – Кагановско-Петербургский классицизм XX века – заметная веха в жизни культуры нашего великого города, узнаваемый профиль его «строого и стройного вида».

Но если говорить серьезно, возвращаясь к началу данной статьи, Каган как *Genius loci* Санкт-Петербурга – это не метафора, прежде всего, потому, что в обоих случаях перед нами феномены Большого стиля. Моисей Самойлович Каган как человек, как ученый, как гражданин являлся неповторимой, масштабной, пассионарной личностью, вся жизнь которой представляла собой путь целеустремленного творческого развития.

В ВОЛШЕБНОМ ЗЕРКАЛЕ ИСКУССТВА

И. О. Фояков*

«Ессе homo! – Се человек!» – воскликнул некогда Понтий Пилат, глядя на избитого, залитого кровью Христа. Многих и сейчас волнует вопрос: какой смысл вкладывал римский наместник в эти слова. Восхищение («вот это человек, как он силен духом, как негибает»)? Высокомерное сожаление («и это – человек? Как он беззащитен и слаб, как, в сущности, ничтожен!»)? Скорее всего – и то, и другое. Потому что человек противоречив. Что ни скажи о нем – все может оказаться правдой. И не случайно именно так – «**Се человек...**» (с многоточием в конце) назвал известный искусствовед и культуролог *Моисей Каган* свою книгу, дав ей подзаголовок: «Жизнь, смерть и бессмертие в волшебном зеркале изобразительного искусства».

Книга эта необычна в ряду книг об искусстве. Автор не рассматривает его в привычном хронологическом аспекте, не вдается в подробный анализ мастерства художников, их влияния друг на друга. Импровизация «отца абстракционизма» В. Кандинского здесь может оказаться рядом с динамичными изображениями бегущих охотников эпохи верхнего палеолита, знаменитый силуэт Марины Цветаевой работы Е. Кругликовой – с профилями на античных монетах и камеях, а монументальный меркуровский Сталин (как, впрочем, и Гитлер, запечатленный старательной кистью Г. Клиру) переключается через несколько страниц с изображениями европейских королей XV–XVI столетий. Мысль о сходстве между собою всех тоталитарных режимов, особенно в XX веке, в принципе не нова, она стала уже общим местом, но важно отметить, что на сей раз в этой переключке нет ни малейшего оттенка фельетонности. Потому что тема книги серьезна: искусство как способ постижения человека, его сути, его силы и слабости, величия и ничтожества. Что и делает труд М. Кагана, несмотря на некоторую усложненность языка и обилие «диссертационных» ссылок, чтением не только познавательным, но и достаточно увлекательным. Конечно, для тех, кто любит и умеет думать.

Интересны размышления автора о религиозной живописи: казалось бы, изображению Иисуса Христа, как поистине уникального, центрального героя христианского миропонимания, должна быть изначально

* Фояков Илья Олегович – петербургский поэт, литературный критик, переводчик. Автор более сорока сборников стихов, переводов, эссеистики, публицистики. Член Союза писателей Санкт-Петербурга.



но присуща яркая человеческая индивидуальность. Но нет: «изображение Христа как подлинно уникальной личности придет в искусство на Западе, пожалуй, только в творчестве Рембрандта, в России – в живописи Н.Ге и И.Крамского». А до того – обобщенный образ страдания, подчиненный к тому же «жестким иконографическим схемам». Спорно? Сводится ли только к этим схемам «Распятый Христос» Чимабуэ (XIII век)? Можно проверить себя, взглядеться в репродукцию – книга богато иллюстрирована (правда, в черно-белом исполнении).

Показательны названия отдельных глав: «Изобразительное искусство как образное человекознание», «Художественное постижение пола», «Таинство рождения и духовный мир детства», «Трагедия смерти и художественный дар бессмертия».

Благотворительный фонд «Мир книжной культуры» включает книгу М.Кагана в подарочные наборы, передаваемые библиотекам города и области. И, думается, поступает правильно. Кто сказал, что массовым библиотекам, в том числе и сельским, нужны лишь популярные просветительские выпуски «Школьной библиотеки классиков»? Может быть, для юноши, тяготеющего к искусству, именно такая книга, как «Се человек...», окажется в какой-то момент самой своевременной и нужной.

Из журнала: Петербург.
Летопись культуры и искусства. 3/2004. С. 27.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ МОДЕЛИ В НАУЧНОМ ТВОРЧЕСТВЕ М. С. КАГАНА

Л. Ф. Чертов*

Не только в художественном, но и в научном творчестве сказываются особенности личности, которые придают его результатам индивидуальный отпечаток и особый стиль. Мышление М.С. Кагана, конечно же, обладало всем тем, что необходимо любому философу и чего он требовал от своих учеников и коллег: оно было рациональным, логично выстроенным, концептуальным, системным. В то же время его мышление имело свой собственный стиль, по которому работы М.С. Кагана всегда узнаются. Даже если оставить в стороне существенные расхождения с коллегами по поводу совместимости с философией марксизма таких новых научных дисциплин, как кибернетика, теория информации, семиотика, теория систем или синергетика, остаются еще «стилистические расхождения», связанные с особым строем и, можно сказать, с особой стройностью мышления М.С. Кагана.

Эту стилистическую особенность мышления ученого вполне правомерно назвать архитектоничностью, имея в виду такое свойство создаваемой понятийной конструкции, благодаря которому она способна предстать перед мысленным взором как хорошо спроектированное произведение архитектуры. Концептуальные построения М.С. Кагана могут быть не только изложены вербально в системе достаточно строгих терминов, но и представлены визуально с помощью «архитектурно» выстроенных пространственных моделей. Как и законченные архитектурные сооружения, эти модели можно оценивать со стороны их симметрии, пропорциональности, уравновешенности, соразмерности частей и целого. В них присутствует свойство, которое В.Кандинский назвал «внутренней необходимостью» и которое в равной степени обязательно как для логически точных теоретических концепций, так и для состоявшихся художественных произведений. Подобно целому архитектурно-

* Чертов Леонид Файбышевич – философ, кандидат наук. По окончании ЛВХПУ им. Мухиной был соискателем на кафедре этики и эстетики под руководством М.С. Кагана, ставшего позже и научным редактором его книги «Знаковость. Опыт теоретического синтеза идей о знаковом способе информационной связи» (1993). Читает курс семиотики в Русской христианской гуманитарной академии.



му сооружению, теоретические построения М.С. Кагана могут быть представлены в наглядной форме, демонстрирующей необходимую связь своих частей. Это всегда целостные строения, а не руины, будоражащие чувства, но не сохраняющие последовательность мысли, ясную в завершённой постройке. Не случайно столь резкое отторжение вызывали у М.С. Кагана интеллектуальные «руины», в которых остается несистемное мышление или в которые превращаются результаты последовательной деконструкции. Как творцу, занятому не деструкцией, но, наоборот, конструированием своих мысленных построений, М.С. Кагану присуще стремление не разбрасывать камни, а собирать их.

Архитектоничность пространственных моделей делает возможным визуальное выражение системности мышления, требуемой М.С. Каганом от всякой философии, прежде всего – от своей собственной. Те же принципы целостности и структурной взаимосвязи частей, их соразмерности и симметрии, их необходимости и достаточности, которым подчиняется производство архитектуры и других архитектурно организованных искусств, составляют и требования системного подхода. И в том, и в другом случае системность и целостность конструкции – материальной, из каменных блоков, или идеальной, из теоретических понятий, – становятся условиями ее эстетической оценки.

Сочетание логической стройности с эстетической выверенностью теоретических построений М.С. Кагана – еще одна стилистическая особенность его научного творчества. Это тот случай, когда научная и эстетическая деятельность не противоречат, а, наоборот, усиливают друг друга. В той трактовке эстетического, которую давал этой категории М.С. Каган, оно обнаруживается во всех сферах деятельности – не только в художественном, но и в научном, и в философском творчестве. Сам М.С. Каган, говоря об эстетической оценке результатов научного познания в точных и естественных науках, отмечает, что здесь оценке подлежат интуитивно схватываемые архитектурно-композиционные моменты научной конструкции, структура доказательств и облик модели¹.

С тех же позиций эстетически оцениваться могут и результаты его собственной научной деятельности, идеалом которой было *«точное, логически развернутое и доказательно фундированное гуманитарное знание»*². Если в эксплицитной форме М.С. Каганом была создана «Эстетика как философская наука», то имплицитно философские науки в его трактовке получали основание стать предметом эстетики. Красота концепции дает дополнительный аргумент в ее пользу, а не против нее. Она

¹ Каган М.С. Эстетика как философская наука. СПб., 1997. С. 126.

² Там же. С. 22.

не заменяет логических аргументов, но появляется благодаря им, когда выводы становятся очевидными. То, что прошло через цепь умозаключений, в этом случае приобретает силу интуитивно ясного. Понятие интуиции здесь уместно в своем первоначальном смысле, связанном с прямым значением латинского *intueri* – пристально, внимательно смотреть. Интуиция, понятая таким образом, позволяет непосредственно усматривать постигаемый объект. Это усмотрение может происходить на до-рациональном уровне, но может появиться и после работы рассудка в виде осознания настолько ясного, что постигнутый предмет, кажется, можно нарисовать.

Именно такое наглядное представление исследуемого предмета и делает М.С. Каган в своих многочисленных рисунках, сопровождающих его работы. Пространственные фигуры здесь – это не украшения и даже не иллюстрации мысли ученого, а существенная ее часть, проясняющая структурный каркас создаваемой им концепции. Вглядываясь в такое пространственное представление связей между элементами исследуемого объекта, усматривая его структуру и сопровождая чувственное созерцание соответствующим интеллектуальным действием, можно «схватить» этот объект как единое целое. Графическая форма здесь не заменяет философское рассуждение, но дает визуальный аналог тем мысленным категориям, которые в нем участвуют, и тем связям между ними, которые в нем выводятся. Пространственные схемы могут следовать за словесным рассуждением или опережать его, «подсказывая» направления предстоящим рассуждениям. Но в любом случае визуально-пространственный и вербальный компоненты мышления остаются при этом согласованными и проясняющими друг друга.

Такой параллелизм логического системного и пространственного архитектурного мышления имеет глубокие внутренние основания. Пространственное мышление, которое можно понимать как целенаправленное образование и преобразование пространственных представлений субъекта, отличается от собственно логического мышления тем, что оперирует не понятиями, а наглядными образами. Вместо родо-видовых отношений между понятиями в логическом мышлении пространственное мышление ограничивается построением наглядных отношений между частями и целым. Но, как и логическое мышление, оно представляет собой не случайный набор ассоциаций, а последовательность идеальных действий с образами пространственных объектов, сознательно направляемую на решение определенных задач – не только конкретных практических, но и более абстрактных теоретических.

О связях между теоретическими построениями и пространственной формой их выражения рассуждал и сам М.С. Каган, которого эти свя-



зи интересовали не только как ученого, постоянно использовавшего их в практике своего научного творчества, но и как теоретика, думавшего об их методологических основаниях и ясно осознающего их эвристические возможности. В статье: «О способах представления структур социальных объектов» он внимательно исследует возможности наглядных пространственных построений репрезентировать непространственные структуры объектов, исследуемых гуманитарными науками. Его интересуют «не столько иллюстрационно-дидактические, сколько методологически-эвристические принципы графического моделирования структур объектов, изучаемых общественными и гуманитарными науками»¹. Ученый задается вопросом: «Почему возможно применение графических моделей в тех науках, которые изучают социальные закономерности и духовные процессы, не локализуемые в пространстве?» Отвечая на него, М.С. Каган приходит к выводу о том, что «перевод в систему пространственных представлений есть вообще единственная возможность наглядного представления структуры любого объекта, хотя бы он и не имел пространственного характера»². Ведь и сами понятия «структура», «строение» перенесены из мира пространственных представлений на объекты непространственного характера, подобно многим другим словам вербального языка, который различает «внешнее» и «внутреннее», «центральное» и «периферийное» и т. п. Словесный язык насквозь пронизан пространственными метафорами такого рода, и потому уже само вербальное мышление постоянно сопряжено с пространственными коннотациями.

В самом деле, известно, что зрительные образы пространства обладают уникальной способностью концентрировать в единой симультанной картине множество разнообразных отношений между частями и целым. Такая способность важна и для процесса мышления, которое в своем психологическом аспекте представляет собой постоянное перекодирование информации из вербальной формы в форму наглядных пространственных образов и обратно³. Эти особенности пространственного мышления позволяют ему служить средством представления в наглядной форме некоторого чувственно не воспринимаемого содержания в различных системах и быть основой для развития представлений и понятий о непространственных структурах. Подобный «полиглотизм» при-

¹ Каган М. С. О способах представления структур социальных объектов // Проблемы методологии науки и научного творчества. Л., 1977. С. 152.

² Там же. С. 154.

³ См.: Веккер Л. М. Психические процессы. Т. 2. Мышление и интеллект. Л., 1976. С. 134; Жинкин И.И. О кодовых переходах во внутренней речи // Вопросы языкознания. № 6. 1964. С. 36.

сущ и практическому, и теоретическому мышлению. И для теоретика существенно возможность представлять предмет своих размышлений как в словесной, так и в невербальной пространственной форме¹.

Как и результаты логического мышления, идеальные пространственные модели могут быть экстерииоризированы и выражены вовне, но уже не в форме устных рассуждений или письменных выкладок, а в форме наглядных схем. Пространственные схемы и модели создают семиотические средства для интуитивного схватывания объектов и их отношений и могут осознанно использоваться в науке как инструмент теоретического познания. Визуализация понятийных конструкций с помощью пространственных моделей часто делает более явной их логическую структуру, которая скрывается структурой речевых построений. В частности, пространственные конструкции оказываются более подходящими для выражения целостного комплекса соотношений, чем линейная последовательность знаков². При этом логическое мышление, выявляющее отношения между классами, интуитивно опирается на «инфралогические» пространственные схемы отношений между частями и целым.

Графическая форма выражения мысли переводит вербально-логическую конструкцию в визуально-пространственную структуру и поэтому не вносит чего-то совершенно чуждого теоретическому мышлению. Она, по крайней мере, проявляет те скрытые пространственные коннотации, которые уже есть в самом вербальном языке, и позволяет визуализировать невидимые связи между элементами исследуемых структур. Однако графические модели дают и нечто большее. М.С. Каган пишет, что «они, во-первых, обладают *гораздо большей степенью определенности, точности и строгости*, чем словесные описания; во-вторых, они могут быть несравненно *более подробными, разработанными, детализированными*; в-третьих, позволяют *охватить одним взглядом* то, что при словесном описании можно сопоставить лишь напряженными усилиями воображения, которое неспособно состязаться здесь с наглядностью зримой графической модели; наконец, в-четвертых, они – как истинные модели! – *становятся сами предметом анализа*, дабы его результаты были перенесены потом на моделируемый объект»³. Такие модели оказываются незаменимым семиотическим средством особенно тогда, когда требуется понять строение сложных систем, имеющих многочленное и разно-

¹ См.: Адамар Ж. Исследование психологии процесса изобретения в области математики. М., 1970. Гл. 6.

² См.: Вейль Г. О философии математики. М., 1934. С. 35.

³ Каган М. С. О способах представления структур социальных объектов // Проблемы методологии науки и научного творчества. Л., 1977. С. 156.



плановое строение, которое раскрывается как сеть координационных и субординационных связей между элементами иерархически организованной структуры.

Именно такую роль особого семиотического средства, представляющего комплексы соотношений, связанные в целостные структуры, играют пространственные модели у М.С. Кагана. Таковы, в частности, его схема субъектно-объектных связей в системе человеческой деятельности, схема взаимосвязей между видами этой деятельности, схемы строения мира искусства и его исторического развития в «Морфологии искусства» и «Эстетике», схемы строения и исторического развития мира культуры и многие другие¹.

При всей своей выстроенности схемы Кагана допускают развитие, подобно живым организмам. Можно проследить, например, как развивается в «Морфологии искусства» первоначально простая схема мира искусств – пространственных, временных и пространственно-временных. Следуя за логикой рассуждения, она членится на части, усложняется и, наконец, разворачивается в детально разработанную форму. Такое же развитие допускает и схема субъектно-объектных и межсубъектных отношений, образующих «клеточку» деятельности, которую можно было бы назвать «треугольником Кагана». «Жесткость» этого треугольника не мешает развитию опирающейся на него мысли, сохраняющему выявленные в нем связи. В середине этого треугольника может появиться новый компонент – средство деятельности (знаки, орудия) – то, что опосредует связи между уже найденными крайними компонентами схемы. Более того, в случае описания системы связей, в которые вступает знак как посредник познавательной, преобразовательной, оценочной и коммуникативной деятельности, исходная схема может «расслоиться» и предстать в виде уже двух треугольников, зеркально отражающихся друг в друге и соответствующих «плану выражения» и «плану содержания», каждый из которых своим особым образом связывает знаковое средство с остальными компонентами деятельности в структуре «знаковой призмы»². Таким образом, элементарная «клеточка» человеческой деятельности, начерченная М.С. Каганом, оказывается отнюдь не «мертвой схемой»,

¹ См.: Каган М.С. «Опыт системного исследования человеческой деятельности» // «Философские науки», 1970, № 5; Каган М.С. Человеческая деятельность. (Опыт системного анализа). М., 1974; Каган М.С. Философия культуры. СПб., 1996; Каган М.С. Эстетика как философская наука. СПб., 1997; Каган М.С. Введение в историю мировой культуры. СПб., 2000.

² См.: Чертов Л. Ф. Знаковость. Опыт теоретического синтеза идей о знаковом способе информационной связи. СПб., 1993.

а наоборот, подобно живой клетке, может репродуцироваться и участвовать в образовании более сложных конструкций, сохраняя при этом свою исходную структурную программу.

Такая способность концептуальных построений М.С. Кагана к дальнейшему структурному развитию, способность инициировать образование новых моделей, которые и логически, и графически могут опираться на добротнo выстроенный ими фундамент, позволяет этим теоретическим конструкциям жить долго и плодотворно.



О СЕКРЕТАХ МАСТЕРСТВА

Э. П. Юровская*

Перечитала сейчас написанное к 80-летию и порадовалась тому, что все мы не сомневались, что уж 85-летие-то отметим вместе с учителем... И тон наших заметок был поэтому лёгким, хоть и серьёзным.

Сейчас многое стало понятным. Например, внимание Мики, Моисея Самойловича, к воспитанию с детских лет восприимчивости к эстетическому, что объясняет такое количество его работ по этой проблеме вместе с педагогами, на их поле. Кто только не увлекался тогда проблемой эстетического воспитания. А что случилось теперь с интереснейшими программами в этой области... Как не хватает сегодня в молодом поколении этой с младых лет формируемой эстетической восприимчивости. *Никогда воспитание не заменить образованием!*

Сегодня следует вспомнить ту широту, которой отличалась сама личность Кагана, захватывавшая и присущую ему элегантность, и глубину его ума, и юмор, а главное, дисциплину мышления, стремившегося всегда вперёд, к новому. В эстетике, которая виделась очень широко, в какой-то момент ему стало тесно, и он ушёл в культуру, затем и в такие проблемы как время, бытие и ничто. Большой и давний друг Мики вспоминал, что последние проблемы приходили к нему с определённым возрастом, и он никак не хотел согласиться с тем, что бытие и ничто стало темой последней книги. Однако это так. Изменить этот факт никто уже не в силах. Но думалось об этом, видно, давно. Помню, как мне, в 60-е годы писавшей об эстетике Сартра, он с возмущением говорил, имея в виду название монографии последнего, что никакого НИЧТО нет, есть только Бытие. Каган был оптимистом, это было основой его обаяния и отношения к жизни. Это помогало выстоять в трудных ситуациях семидесятых годов, когда его блестящая «Морфология искусства» подверглась прямо-таки непристойной критике.

Несомненно «звёздная» популярность М.Кагана в 60–70-е годы, когда и в Ленинграде и в других городах его встречали переполненные аудитории, книги кроме русского печатались на языках соцлагеря, а в ГДР его «Лекции...» почтительно называли *Der Kagan*, объясняется преж-

* Эльга Павловна Юровская – доктор философских наук, профессор кафедры эстетики и философии культуры философского факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Написала под руководством М.С. Кагана кандидатскую диссертацию «Эстетические взгляды Жана Поля Сартра».

де всего самым характером системы его теоретических взглядов, дававшей глоток свободы. Чего стоило в те годы хотя бы такое определение: «...эстетическое отношение к действительности вбирает в себя, втягивает индивидуума значительно более глубоко и полно, чем отношение познавательное и даже другие ценностные ориентации. *Переживание, в котором реализуется эстетическое отношение, есть ведь наиболее сокровенная интимная и неотрывная от индивидуальности форма субъективного*».

Но «втягивание» в орбиту Кагана людей самых разных уровней образованности, разных профессий (особо вспомним популярность у творческих работников, принимавших его в свои союзы за понимание искусства, а можно было бы и за одну фразу – «По нашему мнению, всего нужнее – поэтическое призвание, художнический талант») шло и благодаря тому, что в книгах, а тем более на лекциях вы попадали в атмосферу высокого и требовательного отношения к искусству, которое не только раскрывало теоретические положения, но и апеллировало к области вкуса, в том числе и к вашему. Ведь эстетика не только философия эстетического, но и «наука о художественной культуре общества».

Стоит вспомнить и о том настрое, который создавал М.С. Каган, появляясь в аудитории: подтянутый, даже элегантный, сосредоточенный. Он сразу как бы заявлял о серьёзности предстоящего разговора. Студенты шутили, что он как орёл парил над аудиторией.

Более сорока лет, проработав рядом с Каганом, не могу не вспомнить одного из первых впечатлений от его лекций, где наряду с ярким содержанием проявлялся интересный воспитательный прием. Его лекции отличались такими примерами, которые не только открывали его эрудицию, но и воспитывали ВКУС слушателей. Выделяя эту проблему в педагогическом мастерстве учителя, я касаюсь лишь одной грани поставленных им для себя задач на широком пространстве эстетического и культурного поля. Но она, как принято у нас говорить, по-прежнему актуальна – то есть интересна и важна для всех нас, занятых как преподаванием, так и исследованиями в этом пространстве. Замечу, что она всегда и достаточно деликатна. Так приводимые иллюстрации теоретических положений раскрывают ВАШ вкус и потенциально содержат опасность предстать перед слушателями или читателями «голым королём». Размежевание с аудиторией или её «проверка» происходят нередко именно на этих «дорогах».

Что же вспоминается в тех лекциях, которые читал М.С. Каган, придя на философский факультет в 60-е годы? Во-первых, открытое и чёткое обозначение своей позиции в исследовании искусства. Последнее выступало при этом как *особая* форма познания, деятельности, общения и ценностной ориентации. Это определение, в котором элементы формы



стягивались системными связями, дополнялось и таким пониманием функции искусства, о котором в эпоху официального чисто «отражательно-познавательного» её понимания говорить было не только не принято, но и не позволительно. Речь о том, что в определение функции искусства входило дополнение «реального жизненного опыта человека опытом **ВООБРАЖАЕМОЙ** жизни во имя социально целеустремленного формирования человеческого сознания и человеческой деятельности».

Значимость воображения как особой силы сознания было требовательным призывом к активному творческому характеру художественного восприятия. Конечно, Каган был не одинок в таких призывах. Помню и часто вспоминаю на лекциях статью А.Ф. Асмуса «Чтение как труд», где последний был как раз трудом воображения.

Открытым вызовом гносеологизму в понимании искусства было и опровержением царившего в те годы литературоцентризма, с чем не уставал бороться учитель.

На этой «платформе» разговора об искусстве выстраивались и примеры, раскрывающие теоретические положения и в своей совокупности представляющие определенную систему влияния на формирование и развитие вкуса.

Примеры пёстрым роем окружали те или иные теоретические положения, и пестрота эта была далеко не случайной. Я никогда не говорила с Моисеем Самойловичем о его методе работы с иллюстрациями к теории. Представлялось неловким выведывать «секреты мастерства», черпавшего примеры из каких-то неисчерпаемых глубин его личного не только знания, но и проживания искусства, даже данных естественных наук. Однако это не мешает мне попытаться проанализировать то, что и как он нёс нам, его слушателям и читателям, влияя на формирование нашего вкуса.

Во-первых, важно, как известно, мобилизовать внимание слушающих или читающих. Как это делал Моисей Самойлович? У него был устойчивый приём – введение в начале лекции или текста имен мало или совсем вам неизвестных имён, названий произведений. Призывно звучал рог Неистового Роланда (который звучит разве что для студентов-романистов), из небытия вставали братья Ленен (доныне юные искусствоведы вспоминают их лишь при напоминании об ослике на их полотне в Эрмитаже), опускалась ночь Селина... Это – вызов и «планка» разговора. Но тут же появлялись хорошо знакомые вещи – вращались мельницы Дон Кихота или упоминалось что-то в такой же степени знакомое. Начиналась диалектика незнакомого и знакомого, в результате вы не отбрасывали незнакомое, а брали его на заметку как интересное, желательное для усвоения, расширяющее границы вашего не только знания, но и вкуса.

Во-вторых, как мне представляется, Моисей Самойлович учил активности в обращении с тем, что вами уже усвоено и покоится достаточно пассивно и нередко разрозненно в вашей памяти. К этому толкали те сопоставления, которые он делал со знакомым вам материалом, вводя «длительное время»: средневековая легенда о Фаусте и Мефистофеле, «немыслимые истории» Гофмана, «кошмарные видения» повестей Кафки – все они соединялись «человековедческим, сердцеведческим и обществоведческим знанием» их авторов, ролью мифологических образов, знакомых как олицетворение зла и «сплав отрицательных и положительных эстетических качеств» героев Байрона и Лермонтова. Впрочем, примеров увлекавшего вас «эстетического динамизма» (пользуюсь выражением Кагана в несколько ином, чем он предложил, смысле) было много, и уже лежавший в наших «запасниках» фактологический материал оживал и подталкивал к самостоятельным поискам возможных сопоставлений, делая горизонт вашего вкуса шире, а сам вкус – активнее.

Третьим моментом в моём анализе хочу выделить очень симпатичный ход Моисея Самойловича – создание атмосферы определённого единства вкусов с аудиторией. Она возникала благодаря тому, что в разговор вводилось то, чем в данный момент увлекалась и аудитория. Это было творчество и личность Хемингуэя (у скольких тогда был на стене его портрет), романы и повести Ремарка, Кафки, Камю, история гонимого пса Аркура Ю.Казакова, воспоминания Льва Любимого, раздумья о судьбе деревни Ф.Абрамова (заметим, что со студенческих лет он был большим другом Моисея Самойловича). По этим примерам можно воссоздать картину наших вкусов 60–70-х годов.

Это, однако, не исключало наличия примеров собственно личного вкуса Моисея Самойловича – скульптура Матвеева, искусство Франции XVII века, пейзажи Левитана, трагедии Шекспира, музыка Шостаковича и т. д. Тут он нередко становился тонким художественным критиком – запомнился его анализ левитановского полотна «Над вечным покоем», сопоставление трагедий Шекспира и оперы Шостаковича «Катерина Измайлова» и многое другое. Но мне, раз уж воспоминания отмечены субъективностью, нельзя обойти такой близкий мне источник вкусовых предпочтений и примеров, как культура Франции. В лекции входили примеры живописных работ XVII века, импрессионисты, Пруст, Селин. Эта культура притягивала и при определении научного руководства, когда вместе с аспирантом он не отказывался погружаться в малоизвестный в 60-е годы экзистенциализм (моя первая диссертация «Эстетика Ж.-П. Сартра»). Да и просто «прорывалась» эта любовь, когда, например, на сосны вдоль залива он предлагал посмотреть как на деревья Дерена... А вот воочию увидеть М.С. Кагана в Париже как участ-



ника конференции Санкт-Петербург–Париж – это стоило многого. Единение столь значимых для него городов, да ещё на базе обсуждения Человека эпохи Просвещения! Большая Аудитория Сорбонны, где шло заседание конференции, залы Лувра с издавна знакомыми, но ещё раз увиденными полотнами, огромные пространства и уютные залы Орсэ, пешие прогулки от Сены вверх до подножья Монмартра, «фланирование» вдоль бесконечной Вожирар – всё это было ещё одним свиданием с давним другом, с которым многое передумано и пережито. Как здорово, что Мика пережил превращение Франции из фигуры виртуальной (студенческие годы в довоенном Ленинграде, долгие годы в послевоенном) в фигуру реально осязаемую, подтвердившую (или не совсем?) её характеристики из нашего далека.

Можно бы и ограничиться запомнившимися формами развития вкуса, но нельзя обойти ещё один яркий момент. В 60–70-е годы личность М.С. Кагана была как бы подсвечена солнцем Грузии, о которой он с удовольствием говорил, современное искусство которой знал и со многими его деятелями дружил с первого симпозиума по ценностям. Пусть не улыбаются те, кто его знал. Речь не об искусстве «столоведения», которому многим стоило бы тогда поучиться и блеск которого доставлял многим из нас удовольствие. Речь совсем о другом. В рассказах Моисей Самойловича эта страна представляла как *иное, в те* годы ещё доступное и увлекательное. Инициированные им совместные со студентами, аспирантами и преподавателями походы на грузинские фильмы, открывали нам любимого в Грузии Важа Пшавела («Молитва»), особый строй национальной образности. Имя Кагана как «сезам» – раз уж ты в Тбилиси – открывало двери мастерских и гостиных. Довелось в просторном старинном доме Ладо Гудиашвили (М.С. написал о его живописи, которую в те годы в Тбилиси замалчивали, альбом-исследование) беседовать с хозяином в гостиной, стены которой (легенда?) слышали Пушкина и читавшего свои стихи (уже не легенда) Бориса Пастернака. Такой понятной становилась атмосфера, в которой жили герои фильмов Иоселиани... А какой наполненной была практика нашей специализации в Тбилиси (был ещё «порох в пороховницах» у ЛГУ), программу которой именем Кагана удавалось согласовывать с тбилисскими художниками и критиками. Теперь это кажется почти что сном, но это было и служило воспитанию вкуса.

О том, как Моисей Самойлович выходил на философию, он рассказал к книге «О времени и о себе» и более прямо, отвечая на вопросы Е.Г. Соколова в их совместной и интересной книге «Диалоги» (СПб., 2006). Математические способности и постоянно мучивший юношу вопрос «Почему» вели его к поиску ответов именно философского плана,

так отличавших в будущем самые разные его работы. Не случайно в последней книге «Метаморфозы бытия и небытия. Онтология в системно-синергетическом осмыслении» (Logos, 2006 – вышла после смерти автора) Моисей Самойлович вторгается в проблемы самой сердцевины философии. Поэтому хотелось бы добавить к чисто человеческим воспоминаниям несколько слов об этой работе, пусть дискуссионной, но содержащей призыв к нам, живущим.

В предваряющем работу разделе «К читателю» он писал: «...сейчас нашей философской мысли свойственно противостояние мировоззренческих позиций – апологии Бытия и утверждение примата Небытия или даже Ничто». Говоря о закономерности такого положения в наше идеологически «смутное время», автор обращает внимание читателя на важные предложения, которые звучат со стороны физики о возможностях использования выводов, сделанных относительно природных явлений, при анализе явлений культурных и социальных. На рубеже XX и XXI столетий научное мышление, доказав обоснованность теории систем и синергетики, дало философии такие возможности для пересмотра онтологии, которых ранее не было. Игнорировать это «было бы безответственно».

В последней книге М.С. Каган и предлагает онтологию «в системно-синергетическом осмыслении», когда она раскрывается как учение об отношениях бытия и небытия в разных сферах сущего – природе, обществе, культуре и человеку. Это последовательно рассматривается в одиннадцати главах книги. При этом автор исходит из того, что при всём различии мнений относительно предмета онтологии все считают, что бытие имеет системный характер, доказанный наукой (квантовая механика, астрономия, генетика, социология, эстетика). Добываемые знания доказываются практикой.

В главе «Четвёртое расширение системы онтологических категорий» автор обращается к культурным явлениям как значимым и дающим примеры промежуточных состояний между бытием и небытием. Это – инобытие, художественное бытие, мнимое бытие (квазибытие). Раскрывая эти понятия, М.С. Каган пишет, что инобытие – есть превращенная форма бытия как предметное бытие культуры по отношению к человеку. Художественное бытие является удвоением реального бытия, «которое не выдаёт себя за подлинное бытие, но «честно, открыто утверждает иллюзорность изображаемого». Что же касается мнимого или квазибытия, то здесь имеется в виду миф как образное удвоение бытия, выдаваемое за подлинно сущее и воспринимаемое как таковое.

Внимание привлекают главы под названием «Метаморфозы бытия и небытия в жизни и развитии культуры». Во второй из них вслед за



анализом самоопределения научного познания, нравственности автор обращается к интересному для эстетиков параграфу «Искусство как самоопределившаяся форма духовной деятельности». Во многом нам известны взгляды Моисея Самойловича на судьбы искусства («Эстетика как философская наука»). Но при обращении к онтологическому их осмыслению и с учетом реального положения общественного сознания автор вводит детальное рассмотрение отношений между «двумя дочерьми» синкретичного в прошлом ценностного сознания – религии и искусством – в современной культуре. Это делается на уже известном нам тезисе о том, что религия выдает небытие за реально существующее, а искусство «честно» признает, что его творения есть лишь видимость. Отсюда проистекает различие восприятия той же иконы, религиозной картины в храме или в музее. Впрочем, на примере «Владимирской Богоматери» автор говорит о «неком инвариантном содержании», которое делает возможным подобные духовные метаморфозы.

Важной проблемой является вопрос: почему культуре необходимо искусство? Ответ отсылает не к самому искусству, а к принципу системности и его закону, что каждый элемент системы раскрывает свою сущность лишь при рассмотрении его в «контексте целостного функционирования и развития системы». При этом необходимо учитывать двойственность или – по выражению автора – «хамелеонность» искусства: созданные при разных режимах храмы, дворцы и другие выражения политико-эстетических симпатий и после падения этих режимов не утрачивали качеств произведений искусства. Вновь утверждается известная по его же «Эстетике как философской науке» мысль, что искусство сделалось «необходимым цивилизации, потому что оно расширяло жизненный опыт людей, дополняя их реальное бытие множеством форм квазибытия, переживавшегося, однако, как бытие и тем самым формировавшего в том или ином направлении мировоззрение и характер людей».

В наши дни получило распространение отождествление двух практик человека – художественной и игровой. В параграфе «Искусство и игра в целостном пространстве культуры» Моисей Самойлович настаивает, что при всём сходстве искусства и игры нельзя превращать сходство в тождество: «Игровая редукция стирает границы между смежными, но *сущностно* различными проявлениями человеческой активности».

Последняя книга учителя разворачивает перед нами панораму онтологии, получающей как бы новые силы. Думаю, что предложенный книгой вариант системы онтологических категорий будет обдумываться и вызовет дискуссии, к чему Моисей Самойлович был готов. Но главное, что автор успел закончить книгу и предложил её научной общественности как прощальный подарок. Поэтому как завещание следует выделить

в ней раздел, который автор назвал «Заключение. Человечество перед альтернативой быть или не быть». В наши дни вопрос, поставленный когда-то Шекспиром для одного индивида, теперь стоит уже для человечества. Моисей Самойлович многократно цитирует книгу Никиты Моисеева «Быть или не быть... человечеству» (М., 1999), первым заговорившего об этой угрозе и поставившего вопрос о необходимости выработки *новой нравственности*, когда человек осознает свою принадлежность ко всему планетарному сообществу и возьмет на себя ответственность за судьбу всего человечества. Моисей Самойлович считал, что осознание *общих угроз* должно открыть путь новым отношениям между культурами. В этом – справедливо полагал он – есть важная миссия философии. Не менее важной её миссией является утверждение, что культурные ценности передаются *диалогом*, то есть путем единства с Другим, достижения общего миропонимания. Мы встречаем здесь давнее убеждение М.Кагана в том, что именно *диалог является высшей, идеальной формой духовного общения людей*. В последней книге он поднимает диалог на уровень формирования характеристики нашей эпохи. Ещё в 2003 году во «Введении в историю мировой культуры» Каган характеризовал диалог как сущностный принцип нового *исторического типа общественных отношений и культуры*. В завершающем книгу разделе Заключения «Проблемы воспитания диалогически-глобалистского сознания человека нового типа» говорится о том, что прежде всего следует *БЫТЬ* «в прямом и точном значении этого слова». Необходимо, чтобы весь поток человеческой деятельности обеспечивал «осознанно и целеустремлённо» всё многообразие *«форм служения небытия бытию»*.

В этой оптимистической фразе, завершающей последнюю книгу М.С. Кагана, – весь учитель и наказ, с которым он обращался к нам, ко всем людям. Каждый должен воспринять его и подумать, что же он может сделать для его реализации.



*Р*АЗДЕЛ III.

Из «ЮБИЛЕЙНОГО»

К 70-ЛЕТИЮ

К 80-ЛЕТИЮ

«В СВОЁМ ОТЕЧЕСТВЕ ПРОРОКА НЕТ»

Е. И. Балакина*, И. А. Жерносенко**

«В своём Отечестве пророка нет» –
Известно это по России всей,
Но жил же ведь когда-то Магомед,
А здесь сегодня с нами – Моисей!
Пророком быть – нелёгко этот путь:
Не счесть поклонников, да и врагов не счесть...
Но мы хотим сегодня подчеркнуть:
У нас на кафедре пророки есть!
Пусть расширяется Ваш мощный Каганат
И ширится наследников семья,
Чтоб в каждом из подросших «каганят»
Вы были, как частица этих «я»!
Чтоб с каждым днём писалось веселей,
Чтоб издавались новые труды,
И чтобы Ваш столетний юбилей
Вы встретили таким же молодым!

18 мая 1991 г.

* О Балакиной Е. И. см. стр. 279.

** Жерносенко Ирина Александровна – 1962 г. р., г. Барнаул, кандидат культурологических наук, заведующая кафедрой культуры и коммуникативных технологий Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова. Почётный работник общего образования. Область научных интересов – культурология образования, история культуры Алтая.



М. С. КАГАН КАК СИСТЕМНЫЙ ОБЪЕКТ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА

А. Ф. Еремеев*

Когда смотришь на Кагана, то в голову не приходит и мысли о каких-либо системах и, тем более, его нельзя представить частью одной из них: независимый вид, манеры абсолютно уверенного в себе человека, неповторимая внешность, быстрое и цепкое разглядывание любой попадающей в поле зрения особи через привычный иронический прищур вечно лукавых глаз, не терпящая возражений, подчиняющая интонацией и логикой речь – вот лишь несколько характерных мазков портрета некоронированного короля ленинградских эстетиков. Его непохожесть, индивидуальность – на виду, о какой же системности можно говорить?

Для ответа на этот вопрос нам даже не придется прибегать к книжному афоризму корифеев системного подхода, гласящему: «Нет такой системы, которую нельзя было бы выдумать». В нашем случае сочинительство не потребуется – Каган сам по себе, без всяких вкраплений в иные естества и без всяких вкраплений их в него, представляет собой сложную или, воспользуемся здесь определением юбиляра, данным хотя и по другому случаю, но зато более точным, – сверхсложно сложную систему. Описание такого рода систем, как известно, занимает гораздо больше места, чем они сами, и если бы мы занимались этим делом, то обрекли бы себя на бессрочный труд с непредсказуемыми последствиями. И хотя подробное описание достоинств Кагана, а равно и его недостатков, способно доставлять несказанное удовольствие многие годы, мы, как раз лимитированные временем, – юбилей ведь не может длиться вечно – ограничимся лишь взглядом на жизнь юбиляра с нескольких характерных точек. Итак – первый взгляд – *юмористический*.

Мы начинаем с него не потому, что предпочитаем его патетическому или торжественному. Напротив, и пафос, и величие, и торжество сами собой выбираются на первый план – столь велики заслуги юбиляра перед наукой и обществом, коллегами и учениками, перед многими эпоха-

* Еремеев Аркадий Федорович (1933–2002) – эстетик и литературный критик, доктор философии, профессор, создатель и бессменный заведующий кафедры эстетики Уральского госуниверситета; с 1974 возглавлял Проблемный совет по эстетике, эстетическому воспитанию и культуре Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР. Заслуженный деятель науки РФ.

ми и поколениями. И все же нас более привлекает юмористический взгляд, ибо если о человеке в семьдесят лет можно говорить с юмором, то этот человек чертовски молод. То есть свеж, крепок, полон идей и начинаний и стоит у начала бесчисленного числа дорог, которыми он может идти, не боясь скучных ограничений. Тем более, что у Кагана есть некий алмазный стержень, позволяющий ему всегда быть гордым и сильным. Проявляется он по-разному.

...Вспоминается один поздний московский вечер. Перерыв в какой-то эстетической конференции. Гостиница «Университетская», еще тех лет, когда там селили не только иностранцев и мафиози, но и вузовских работников. Контрольный час, когда выпроваживают гостей, пробил. А спор по поводу то ли эстетического, то ли типического в полном разгаре. Хорошо поставленная разведка донесла, что на одном из этажей дежурной на месте нет. Крадучись, со всеми возможными предосторожностями, просочились в отдаленный номер. Заспорили. Вполголоса, но не вполсилы. Однако нас засекли. Раздается стук в дверь, и в номер вдавливаются делегация. Но поскольку жадно нюхающие носы вошедших не уловили даже оттенков крамольного запаха, на столе вместо ожидаемого сиротливо лежала брошюрка с надорванной обложкой, да вдобавок один из нас был в иссиня-черном бархатном пиджаке, доступном лишь высшему свету, справедливый гнев сдержали, а нам монотонно, но твердо было заявлено, что дежурная нас несколько раз предупреждала (а ее никто в глаза не видел!), что мы нарушаем распорядок, что вот даже были вынуждены вызвать зам. директора (похожий на швейцара мужчина кивнул), а потому необходимо очистить помещение.

Против такого рода аргументов, какой бы порцией лжи и хамства они ни были начинены, обычно не мог устоять ни один советский человек, он лишь понуро отправлялся исполнять предназначенное. И тут вдруг в звонкой тишине раздался негромкий, но безапелляционный голос: «Я петербургский профессор. Я говорю о проблемах науки где угодно и с кем угодно. Мы никому не мешаем...»

Власть – зачем ее иметь, если не показывать и не утверждать? Административный нажим повторился, усиливаясь, но неизменно неслось в ответ: «Я петербургский профессор...» И аргумент устоял. Настроение было испорчено, спорить никому не хотелось, но администрация отступила...

Я вспоминал этот случай, когда вдруг с тревогой читал об очередном разносе Кагана, о том, что он впал не в те «измы», в какие надо, когда вдруг слышал разрывы ракетных залпов М.А. Лифшица. Вспоминаю об этом и сейчас, когда Кагану с неменьшей опасностью «угрожают» уже не кистенем и обрезом, а сладким елеем славословия и заманчивыми ман-



тиями прижизненного классика... А в ушах по-прежнему звучит отчетливо: «Я петербургский профессор...»

И когда Каган из нескольких названий его родного города предпочитает именно это и увлеченно берется за труд «Художественная культура Петербурга», а гора исписанных листов на письменном столе растет и растет... И когда Каган достает из заветного ящика «изрешеченную» многими осколками, «продырявленную» пулями, но до конца не обескровленную первую часть «Морфологии искусства», чтобы добавить к ней вторую... И когда с одного авиационного рейса пересаживается сразу не другой, чтобы лететь в какую угодно Тьмутаракань, чтобы совершенствовать гуманитарную подготовку или деятельность общения... Когда он превзошел – казалось бы, никогда не способного быть превзойденным – Виктора Константиновича Скатерщикова и оказался не только в нескольких местах одного города, но и в нескольких городах одновременно... При всех этих «когда» невольно вспоминаю: «Я петербургский профессор...» – и возникает полная уверенность, что дела будут в полном порядке, намеченное сделано и неизменно начнут набухать почки, из которых брызнут новые побеги. И тут мы уже незаметно начинаем говорить с еще одной позиции – *обыденной, человеческой*.

В просторной прихожей гагановской квартиры на не менее просторных вешалках тесно. Еще доперестроечный период и есть что купить в магазинах, и человек не ходит в единственном – пусть бобре или обдергае. И вот во тьме глубин, образованных разными одеждами, пронзительно сверкнул серебряный свет. Медаль «За отвагу». Мальчишеская медаль за мгновенное геройство, за пренебрежение смертью, за удар по врагу. Металл медали «За отвагу» светлей, чем у медали «За боевые заслуги», где нужна длительная безупречная служба. До нее доброволец – ополченец студент Каган не дошел – был тяжело ранен на подступах к родному городу, на фронт больше попасть не мог. Но медаль «За отвагу» мог бы получать еще многократно.

...Единственный очевидец, Леонид Наумович Столович, наверное, расскажет, как Каган выстоял под сосредоточенным огнем в одну точку всей Академии художеств.

...Я был свидетелем, как в Иркутске на широко разрекламированный форум – встречу творческой интеллигенции со светилами советской науки – прилетел лишь один Каган и с жалким подкреплением вышел перед разочарованной и разгневанной огромной аудиторией «инженеров человеческих душ», и завладел их вниманием и много часов отвечал на вопросы...

Не будем множить примеры, они лишь подкрепляют сказанное, а нам есть еще что сказать.

Ну хотя бы еще одна черта – эстетическое братство. Эстетиков в массе специалистов гуманитарных и общественных наук капля в море. Наука их гонимая, не входит в обязательные программы, ее при нехватке нагрузки дают читать человеку любой специальности – и никого не шокирует профанация. У этой науки, не в пример другим странам, нет своего журнала или хотя бы бюллетеня, ее название не любят произносить ректоры, так как не могут уяснить, в каком случае поминать ее, а в каком – тоже гонимую ее сестру-этику. В отличие от животных и растений, у наук нет Красной книги. А то бы эстетика давно туда попала. Но раз таково положение вещей, тем более нужно беречь эстетиков и эстетику. И Каган явился одним из тех, кто основал эстетическое братство. Любой – начинающий ли, маститый ли – специалист в эстетической сфере найдет в доме на улице Чайковского или на кафедре ЛГУ понимание и помощь. И не только там.

Наш Проблемный Совет по эстетике Минвуза РСФСР за многие годы собирался в разных республиках и городах. Всегда Каган – один из основных докладчиков на теоретических семинарах, один из полезнейших консультантов на докторантских совещаниях или встречах молодых ученых. Он готов выступить оппонентом где угодно, чтобы помочь официально утвердиться сибирскому или украинскому эстетике, грузинскому другу или в глаза не виданному и знакомому лишь по работам юному дарованию с Урала.

Конечно, у Кагана есть недоброжелатели и противники и о какой-то прямой взаимопомощи тут говорить не приходится. Но и полемика обогащает, если не становится самоцелью. И здесь уже за порог переступает третий взляд – *научный*.

Еще в 1955 году в рецензии на первое издание «Лекций по марксистско-ленинской эстетике» М.С. Кагана я писал (процитируем заключительные строки): «Лекции» начисто лишены дурного академизма, написаны живо, интересно и могут быть полезны не только всем студентам и преподавателям, а всем, кто стремится постичь природу эстетического освоения действительности и такой его важнейшей области, как искусство. Несмотря на «неброское» название и явную оформленность под учебное пособие, книга М. Кагана представляет собой лучшую на сегодняшний день обобщающую работу по эстетике и теории искусства, где широкий читатель в доступном виде может познакомиться с последним словом научной мысли.

Время не изменило оценки кагановской книги. Но к ней можно добавить: с тех пор у Кагана выходило немало книг и статей, посвященных разным проблемам, но всем им было свойственно одно: нетривиальность, обращение к острой современной проблематике, стимулирование



новых исследований, высокий профессионализм, – иными словами, мы имеем дело с типом ученого, не снижающего, а, напротив, наращивающего свою творческую активность, окруженного сонмом учеников и задорно подшевеливающего тех, кто задремывает на лаврах или даже не имеет их. Поэтому становятся понятен интерес не только к трудам Кагана (многие из них переведены на разные языки), но и к его личности, – меня настойчиво атаковали два китайца, узнав, что я знаком с Каганом. Их интересовало буквально все. Так изучают уже не объект научного интереса, а объект влюбленности. Но если возвращаться к науке, то в Китае, Турции работы пишутся о творчестве Кагана, и я не удивлюсь, если в ряд с ними встанут и другие страны. Исключением скоро можем стать только мы, кто твердо усвоил правило: «Нет пророков в своем отечестве». Но не будем пессимистами, тем более в день юбилея и тем более, что это время не наступило и, может быть, никогда не наступит. И еще раз – тем более, что юбиляр пишет новые труды, готовит учеников, спешит на новые лекции и консультации, добавляя к сфере своего благодетельного воздействия не только новые города, но и новые страны.

* * *

Р. С. Юбилей может выразить недоумение по поводу несовпадения заголовка этих заметок с текстом. Где же тут столь любимый им системный подход и где – он сам как объект системного подхода?

Конечно, мы помним записанное в каждом словаре положение, что системный подход... ориентирует на раскрытие целостного объекта и обеспечивающих его механизмов. За неимением места мы ограничились всего лишь тремя штрихами, надеясь, что они если и не вполне соединились в тексте, то полностью совпадут в воображении читателей, ибо ими, как и мной, будет двигать единое чувство.

Из ротационного сборника «В мире Кагана» (1991). С. 27–30.

ФЕНОМЕН МСК

В. Г. Иванов*

«Who» or «What»?

Из учрежденного группой лично ответственных любителей мировых загадок научно-популярного журнала «Незнание – сила», № 5, май 1991 г. Печатается в сокращении.

Кто есть Каган?

И есть ли он в действительности?

Некий гуманоид, видовыми признаками коего являются усы над иронически-улыбчивым ртом, постоянно прищуренные, стреляющие без промаха (почему-то преимущественно в гуманоидок) глаза, глуховатый с хрипотцой (хотя курить, согласно легенде, бросил лет 25 назад) голос, повергающий в трепет аспирантов, когда Он говорит после доклада очередной труженицы на ниве эстетики: «Весьма любопытные соображения» – что следует понимать как: «Бред собачий»... Шаг столь стремительный, что даже не слишком склонные к преувеличениям коллеги считают Его чемпионом по спортивной ходьбе, лишь вследствие исключительной личной скромности не участвующие в Олимпийских играх.

Точная ориентировка на местности, глазомер и наблюдательность (правда, несколько избирательная, иначе слава известного детектива с Бейкер-стрит померкла бы) давно стали легендой. История, когда Он в небрежно рассыпанных перстеньках, ожерельях, бусах, заколках, клипсах, браслетах и прочей изящной бижутерии Прекрасных Дам Превосходнейшей из Кафедр философского факультета, в отличие от всех посрамленных в этом испытании мужчин, безошибочно опознал сережки одной из них... бусы другой... и даже золотой крестик третьей, коего никому из коллег видеть не приходилось, ибо он всегда был надежно скрыт от взоров... Не явное ли это доказательство дара ясновидения?

И все же, несмотря на столь очевидные, зримые, опытно подтвержденные факты, следует ли доверять обыденному сознанию, как известно ныне, более чем склонному к созданию мифов, идолов, легенд, подверженного иллюзиям и галлюцинациям, столь беспомощно несамокритичному, чуть дело доходит до полтергейстов (в российской традиции – домовых),

* Иванов Владимир Григорьевич (1922–2009) – этик, доктор философских наук, профессор. В 1960 основал на философском факультете ЛГУ кафедру этики и эстетики, которой заведовал 30 лет, до 1989. Автор многочисленных трудов по проблемам этики.



экстрасенсов, парапсихологов, йогов, теософов и даже тривиальных ведьм или «мужиков с дурным глазом»? Не к ночи будет сказано, многие корифеи эстетической мысли при случайной с Ним встрече шепчут: «Чур меня!» – и крестятся, вспоминая, что некий известный во многих землях ниспровергатель зловредных происков на ниве эстетики и уподобившийся Льву Толстому и Берtrandу Расселу трактатом «Почему я не абстракционист», пытаясь разгрызть сей твердый орешек, не только поломал зубы, но и тронулся умом. Последнее печальное обстоятельство выразилось в том, что в посмертно изданном группой товарищей труде этого «никогда не поступавшегося принципами» последнего твердокаменного могикинина Он бесспорного Гуманоида упорно величал бабуином Джеком!

Приходится признать, что только Мифический образ оказывается столь многогранным и неисчерпаемым, соединяющим, казалось бы, нечто прямо противоположное... Скажем, спортивную подтянутость и готовность на воде (в Черном море или Финском заливе), на суше (предпочтительно извилисто крутых лыжных трассах Кавголовских высот) и в воздухе (подразумевая лихие авиаброски от Парижа до нашеньского города Владивостока без оглядки на непрерывно возрастающее непредсказуемое племя авиазахватчиков) бросить вызов на скорость и выносливость любым дважды докторам и бессменным кадровикам, – со способностью «держат стол» в Тбилиси и Баку, быть абсолютным Чемпионом Тамадизма со столь очевидным преимуществом в тостах и питии накрепчайших напитков (согласно заповеди отца Онуфрия), что сами аборигены, сгруппировавшиеся в Институте АН Грузии, предложили заменить понятие «тамадизм» понятием «каганизм»... Или сочетать тончайшую нюансировку в толковании понятий, переводе с европейских и латиноамериканских языков на русский (стал хрестоматийным пример, когда Он утер нос коллективу переводчиков ИМЭЛа, показав всю глубину различия в переводе французского «Ensemble» не как «совокупность всех», но как «ансамбль», ибо спутать сии понятия все равно, что посчитать совокупность всех артистов Ленконцерта тождественными ансамблю Моисеева или «Березке») и неисчерпаемость анекдотов, баек, бухтинок, притч, по сравнению с которой потуги Юрия Борева в «Сталиниаде» или серии «Огонька» «Анекдоты от Никулина» и даже в полуподпольном издании «Французские анекдоты о сексе» – не более, чем «мелочь, в кармане бренчащая нищем», как заметил Лучший поэт далеко не лучшей эпохи.

Что уж говорить о легендах, которые преимущественно передаются с некоторым придыханием только из прекрасных уст в еще более прекрасные уста уже в третьем поколении, о тех Его качествах, перед которыми меркнут подвиги Дон Жуана и Казановы, Пушкина и Генри Миллера... Но... не будем говорить о маленьких секретах, предназначенных только для ушек Прелестниц всех эпох!

Сказанное выше – лишь предварительные суждения, но они, бесспорно, вызывают определенное смущение и зарождают законное сомнение: не встречаемся ли мы в феномене МСК с явной историзацией мифа, не поддаемся ли мы иллюзии, что Сей Муж Многими Талантами Отмеченный – легенда, художественный образ, воплощение в, казалось бы, очевидном Едином некоего Множества? Ведь и мираж в пустыне кажется реальностью, а чем пустыня Марксистской Эстетической Мысли отличается от Сахары, Гоби или Калахари? Там – выветрившиеся бесплодные песчаники и горы песка, здесь – Монбланы выветрившихся и бесплодных мыслей и россыпи пустых словес, заключенных в коленкоровые, полумягкие и мягкие переплеты, о которых недавно Андрей Нуйкин сказал, что «...это был эклектический бред, который сейчас и критиковать-то скучно – настолько все это несерьезно».

И не сам ли МСК в одном из последних своих трудов дал нам спасительную нить Ариадны, дабы мы не заблудились в этом лабиринте, предположив объяснение понятия «субъект S» и указав на его полимодальность? Не очевидно ли, что из модусов субъекта наиболее предпочтителен не «S – отдельный человек», но «S – группа людей, объединенных не случайно и механически, а органически, системно», либо «S – как квазисубъект», правда, не в качестве художественного образа, а как предполагалось, в качестве мифа, индивидуализирующего нечто объективно существующее (как Зевс или Перун есть мифологизированное олицетворение молнии и грома).

Надо сказать, что первая попытка осмыслить феномен МСК была предпринята известным специалистом по моделированию систем и наукознанию хохмачества И.А. Майзелем в 70-е годы. Наша аргументация сходна с его обоснованиями: в ней соединены как *Argumentum ad Nominem*, так и аргументы от противного. Достаточно обратить внимание, что под аббревиатурой «МСК» или более развернутой – «Каган» за три десятилетия вышли сотни публикаций – от двух-трехстраничных до двух-трехтомных по столь широкому спектру проблем, сфер деятельности и наук, что совершенно очевидно: «S – отдельный человек» сотворить всего не в силах. В самом деле: даже человеку далекому от специальных наук, при обращении к сверхобширной библиографии, любезно предоставленной нам ИНИОН, Британской энциклопедией, немецко-швейцарским словарем Тоток «Философы мира», а также частично включенной в библиографический словарь «Этика» (Вильнюс, 1990), становится ясна титаническая работа плеяды разносторонних менталитетов.

Разве могли выйти из-под пера одного, пусть даже экстраординарного, *Homo sapiens* и «Эстетика Н.Г. Чернышевского», провозглашающая, что «прекрасное есть жизнь», и рецензия на кинобоевик «Тело», утверждающая безусловный приоритет высокой духовности, без коей даже прекрасное тело мертво? А что общего у острой критики наивного догматиз-



ма природников и поднимающегося до высот панегирика очерка о Ладо Гудиашвили, певце изящной эротике, истинном грузинском Рубенсе XX века? Возможен ли тотальный универсализм, при котором автор с одинаковой компетентной легкостью рассуждает о кризисе в педагогике, прокладывает пути теории общения, исследует деятельность в многообразии парадигматических интервалов времени, сочетает семиотику с танатологией, а кибернетику с астрологией, обнаруживает непроявленную ценность художественной фотографии и скудость изобразительных средств имитаторов социалистического реализма! А его гипотеза иронического отношения Пушкина к героям «Евгения Онегина» (сохранившаяся в уникальном самиздатовском манускрипте 50-х годов), предвосхитившая идеи «Прогулок с Пушкиным» Андрея Синявского? Или наделавшая столько шороху в мире эстетиков «Морфология искусства», которую иные, бдящие даже во сне, назвали «Евангелием от Сатаны»? И многие иные труды, воистину завоевавшие мир и переведенные повсеместно; от объединенной Германии (ибо вышли и в Берлине, и в Гамбурге) до Китая, где они помогли преодолеть кризис, порожденный культурной революцией, и от Венгрии до Кубы, что не помогло первой, но спасло вторую, определившуюся как «последний бастион социалистического реализма». С одной стороны – изощренная уникальность серии статей в «Советском фото», с другой – уникальная изощренность в публикациях в «Искусстве кино»...

Очевидно, что ни Субъект-как-Отдельная-Личность, ни Квази-Субъект, подобный хитроумному Одиссею и даже покровителю наук и искусств солнцеликому Аполлону, не в силах были в одиночку очистить Авгиевы Конюшни гуманитарной науки, а ведь именно на это направлен концептобойный заряд энергии, аккумулированный в феномене МСК, действующий подобно инновационному запалу, взрывающему многослойные завалы в эстетике, философской антропологии, аксиологии, этнологии, педагогике, социальной психологии, философии культуры, кинематографии, искусствознании, теории фотографии, герменевтике, сексологии, теософии, парапсихологии, душеведении, теории твердого и мягкого тела, духоведении и прочих сферах макро, микро и квазиисследований.

На основании репрезентативной совокупности изученных явлений, связанных с феноменом МСК (как-то: эффект «озонной дыры», кислотные дожди, следы популяции снежного человека в Ленинградской области, участвовавшие случаи посещения НЛО Северо-Западного региона, по данным пионерской дружины села Каганка Подпорожского района – инопланетяне, вошедшие с ними в контакт, активно включились в изучение феномена МСК, ожидаемый бум гуманитарных наук и объявление Кафедры философии культуры, этики и эстетики ЛГУ свободной зоной научных спекуляций), – с необходимостью следует вывод о феномене МСК как некоем Субъекте – Невидимом Научном Коллек-

тиве, аббревиатуры которого не случайно повторяют формулу энергии Альберта Эйнштейна: ведь МСК – не что иное, как переданное на русскоязычном диалекте MC^2 , что и равно E !

Более сложна и неоднозначна расшифровка аббревиатуры «КАГАН». По предварительным данным специалистов, разгадавших тайну языка майя и дешифровавших надписи на осколках Атлантиды, она означает, подобно АПК, АЗЛК, ИНИОН, ИМЭЛ, название организации – Киборгеническая Автоматизированная Гиперуниверсальная Ассоциация Новаторов. Количество ее членов пока не выявлено, и, возможно, они останутся столь же неизвестными, как «Братья чистоты» в X веке и «Бурбаки» в XX веке. Впрочем, ни к обществу «Память», ни к масонам и иным подрывным организациям «КАГАН» не имеет никакого отношения.

В заключение отметим, что в феномене МСК обнаруживается еще одна закономерность, впервые исследованная Н.К. Рерихом и Е. Блаватской при обращении к восточным культам, – так называемая «вторичная мифологизация», сменяющая этап историзации мифа, о чем говорилось в самом начале статьи.

Неофиты-восьмидесятники в деятельности и общении воспроизводят и канонизируют присущие, по их мнению, МСК особенности: при вкушении яств отдают предпочтение соленьям и маринадам, полностью отвергая сладости в любом виде.

Напротив, в отношениях с прекрасным полом отдают предпочтение сладкому перед острым, утверждая, что «Пятичленка Кагана», переведенная на язык сексуально-эротический, по шкале классификации на первое место ставит «глупышку», а не «умную бабу», и подкрепляют сие афоризмом Василия Ключевского, который, якобы, заимствовал его у Кагана: «Мужчина падает на колени перед женщиной для того, чтобы помочь ее падению».

Что же касается основного постулата Каганизма как культа, отвергающего талмудизм, во многом восходящего к зороастризму, но базирующегося на незыблемых основах тамадизма, то он гласит: «Вы выше всех, Вы один понимаете, что говорите».

Впрочем, главное в Каганизме – и в этом смысле он всего ближе к культу Телемитов, – не в догме, не в обрядах и ритуалах, но в провозглашении высшей ценностью духовность питания¹.

Из ротапонтного сборника «В мире Кагана» (1991). С. 31–35.

¹ Видимо, опечатка, и читать следует «бытия».



**ЧЕЛОВЕК ПРОСВЕЩЕНИЯ СРЕДИ КЕНТАВРОВ,
ИЛИ С НАМИ ВСЕ В ПОРЯДКЕ, ПОКА КАГАН С НАМИ!
(К 6-летию выхода статьи М. С. Кагана «К проблеме переходного
типа культуры»)¹**

К. С. Пигров*

«Мне тридцать лет.
Иллюзий никаких.
Кулак мой тверд
И весел ясный разум».

И. Шкляревский

Эпоха смуты (или «эпоха переходного типа») томится по ясности. Чем мутнее время, чем больше кажется, что история уже давно скончалась и разлагается, отравляя воздух, и теперь мы доживаем в какое-то странное, выморочное, незаконное «время», существующее лишь постольку, поскольку есть одноименная телевизионная программа, тем больше мы нуждаемся в людях, которые бы со спокойной ясностью замораживали вязкую жижу исторического процесса, убеждая нас, что все странное – естественно, выморочное – нормально, незаконное – легитимно. Эта столь необходимая историческая психотерапия возможна лишь в форме Просвещения.

Настоящий Учитель, Учитель по профессии и по призванию, организует расплывающуюся под руками историческую плоть своей неколебимостью. И поэтому с ним всегда легко и хорошо.

И сама История, покрывшись мимолетной краской стыда (о, она всегда остается Женщиной!), становится лучше, добрей, определенной, однозначней под спокойным, но не холодным взглядом Просветителя, под его твердой, но не жесткой рукой. История начинает понимать, что она, собственно, имела в виду, когда М.С. Каган втолковывает ей смысл ее неясного, захлебывающегося бормотания. (История – женщина несколько рассеянная и, увы, глуповатая.)

* Пигров Константин Семенович – доктор философских наук, заведующий кафедрой социальной философии философского факультета СПбГУ. Возглавляет секцию философии Российского философского общества. Член-корреспондент Международной академии высшей школы.

¹ М.С. Каган. К проблеме переходного типа культуры // Античная культура и современная наука / М., 1985. С. 317–320.

Философия М.С. Кагана словно французский парк: учебные и научные дисциплины в нем – аллеи и перспективы. Вот аллея Эстетики: подстриженные в виде шаров деревья уходят вдаль как по струнке. Под прямым углом аллея Эстетики пересекается с аллеей Философии. Как солдаты на параде стоят деревья, подстриженные в форме кубов.

План парка – четыре вида деятельности, пятая – эстетическая деятельность, выпадающая из симметричной четкости, а потому и становящаяся центральной и соединяющей. «Параллелограммы сил», уравнивающие западные и восточные, античные и христианские ветры, не могут поколебать гармонии кагановского парка.

Перед нами просвещенный (или структурно-деятельностный) вариант марксистского землеустройства. И сам Карла Марла ведет себя пристойно в аллеях кагановского французского парка. Чинно прогуливается в сюртуке и с подстриженной бородой, оставляя на деревьях таблички со своими цитатами, подходящими к случаю и выдающими гуманизм и систематичность познания классика. Кроме Маркса по аллеям парка гуляют другие классики, а также прочие, но серьезные исследователи, безусловно относящиеся к лучшему обществу. В парк пускают А.Ф. Лосева, С.С. Аверинцева, конечно, М.М. Бахтина, но разные павианы обходят благоустроенное место стороной.

Чисто на аллеях французского парка. Чуть что не то, – ему сразу же найдется надлежащее место. В изящно-бездонную урну системной диалектики уйдут любой исторический мусор, несообразность и скандальность – чтоб грязь не оскорбляла взоров аспирантки-первокурсницы. Если голый волосатый сатир вдруг выскочит на аллею, распугивая почтенную публику, – не бойтесь! В парке ДОЛЖНЫ водиться сатиры. Они гоняются за нимфами – это в порядке вещей, общая гармония не нарушается.

Пусть пасть на лужайке кентавра – «переходный тип культуры». Он своей химерностью только оттеняет царящую вокруг систему. Конечно, есть с ним и хлопоты, но наука не бывает без трудностей: «история изучения культуры и искусства Возрождения показывает, как трудно давалась науке их адекватная интерпретация». И копытная хвостатость волосатого мира переносима. Переносима потому, что она не единична, даже необходима: существует «необходимость переходных стадий между последующими формационными этапами общественного развития».

История мировой культуры – эта необъятная и рыхловатая в своих рубенсовских прелестях красавица – под строгим (но где-то ласковым) взглядом М.С. Кагана подбирает живот, вытягивается прямо в струнку, и под ее одеждами рисуются «четыре основных, т. е. „чистых“, „одноосновных“, ее типа и три переходных».



Сколько в этой Матери-истории сомнительного! И именно оно и привлекает в первую очередь! Ах, эти переходные фазы – особенно! Они «двузначны, внутренне противоречивы и синтетичны, амбивалентны и диалогичны». В них есть что-то близкое нам. Вернее – это мы сами! Мы тоже – оказывается! – и есть вот эти кентавры, мы и есть эта самая «переходная культура»! Как многое это объясняет и позволяет самим себе простить! Всю эту нашу причудливость и удивительность, эту противоестественность, тем не менее тяготеющую к гармонии.

Вот откуда симпатии! Возрождение симпатизирует Античности, а «молодая социалистическая культура» симпатизирует и тому, и другому! И когда чувствуешь свое внутреннее сродство с Пико делла Мирандолой или (если ты бомж, хиппи) с Диогеном Синопским, появляется светлое чувство собственной причастности к мировой системе. Нет, все-таки равнодушна к нам необъятная и волоокая красавица Всемирной истории культуры! Отличает она нас своим лукавым прищуром.

Что роднит нас с другими кентаврами? «Сочетание внутренней драматической напряженности с общим оптическим ощущением», «высокого гуманизма – с пониманием включенности Человека в Мир...»

И оказывается, что мы не на помойке истории, а на стержне ее. И потому с нами все в порядке, пока М.С. Каган с нами.

Так выпьем же за М.С. Кагана, Человека Просвещения, который берет на себя ответственность за определенность! Выпьем за мужественного Рыцаря, который держит на себе Историю и не дает ей пасть!

Из ротопринтного сборника «В мире Кагана» (1991). С. 67–69.

МОЙ УЧИТЕЛЬ

Г. Ф. Сунягин*

Если творческое сознание вообще можно было бы представить как мощное негэнтропийное излучение, способное противостоять рассеивающе-усредняющему влечению космоса, то мой учитель воплощает родовые особенности такого излучения в наивысшей степени. Его способность строить из наличного «сора», вроде бы просто бесхозного и равнодоступного всем, нечто поразительно оригинальное и вместе с тем упорядоченно устойчивое и гармоничное буквально гипнотизировала меня. Его книги – это своеобразные логические соборы, в которых, несмотря на внешнюю рискованность опор, все взаимопредполагается и взаимобуравновешивается, давая ощущение надежности и умиротворения.

Но особенно впечатляюще эта способность к гармоничному упорядочению обнаруживает себя в живой речи, творя свои преображающие чудеса прямо на глазах у загипнотизированных слушателей. И учитель никогда не пытается облегчить свою задачу. Наоборот, он сначала убеждает слушателей в том, что перед нами материал, вроде бы никак не предназначенный для гармонизированного строительства – бросовый, угловатый, несомещаемый. «Ну, – думаешь, – уж на этот раз у него точно ничего не получится». Но вот он начинает говорить и все постепенно становится подвижным, сходит со своих мест, каким-то непонятным образом перемешивается и далее поразительно естественно, почти без видимых усилий, занимает новые «истинные» места, выстраиваясь в некую самоочевидную гармонию. И уже кажется странным другое: как легко и убеждающе просто выстраивается эта упорядоченность, как она самоочевидна и, вообще, как мы могли жить в прежнем хаосе, косноязычной недосказанности и несогласованности частей.

О, эта соблазнительная легкость и мудрая простота – душа всякого истинного научения! Казалось, нужно было обладать тупой серьезностью вола, чтобы взяться за дело, когда вся неподатливая огромность выворочена наружу. Но для него это был только повод, чтобы отсечь непосвященного и подчеркнуть тем самым непогрешимую исключительность посвященных, отваживающихся взяться за дело. Так за дело, которое, играючи, не напрягаясь, делал он, и мы, его ученики, тоже отваживались братья, будучи совершенно уверенными, что научимся, нужно только дать свободу естественному предчувствию гармонии, каковое есть в каждом талантливом

* Сунягин Герман Филиппович – философ, эстетик, доктор наук, профессор. Окончил в 1966 г. аспирантуру по кафедре этики и эстетики, работает на кафедре социальной философии философского факультета СПбГУ.



человеке! А разве среди нас, его учеников, могли быть не талантливые? И трудная, а часто просто скучная и всегда низкооплачиваемая работа по овладению большой наукой становилась праздником. А мы, превращаясь в ее ревностных служителей, оставались людьми веселыми, свободными и порядочными. И рядом с ним это было опять же так легко, нужно было только глубоко вдыхать в себя атмосферу, всегда окружающую учителя. Сколь уникальна была эта атмосфера свободного научного поиска и порядочности, какой мы все дышали, не мысля себе иной.

Сейчас, когда большинство из нас уже за перевалом, становится понятно, какой огромный объем работ мы, взбираясь за ним и пересмеиваясь (в его обществе всегда было весело), успели совершить. Но всегда ли мы понимали, как рискованно трудно было сохранять этот островок естественной чистоты на материке напыщенной и воинственной противоестественности? Мой учитель не уехал за свободой и порядочностью куда-то (хотя многие его недруги ох как этого хотели!), он умел вопреки всему воспроизводить их вокруг себя, там, где он был. Он не уходил в горы, горы следовали за ним.

Когда сейчас возникла возможность свободно высказывать все то, что для нас, его учеников, всегда было чем-то само собой разумеющимся, извне это воспринимается как отчаянное новаторство. «И давно это вы стали так думать?» – спросили меня не без ехидства на недавней теоретической конференции. В научной и человеческой среде, которая формировалась вокруг учителя, так думали всегда, и перестройке вовсе не нужно было нас менять. Чтобы оказаться с нею вровень, нам нужно было просто заговорить, не приглушая голос, и только.

Поколение современников великого социалистического котлована. История как бы задалась целью испытать его на все возможные способы разлома, выбраковывая тех, кто не поддавался. И триумфально-разбойные тридцатые, и позорно-трагические сороковые, и очищающе-обманные шестидесятые, и казенно-затхлые семидесятые. Тем не менее, несмотря на все круги испытаний и систематизированный отлов нестандартных экземпляров, какими мощными фигурами представлено в анналах отечества это поколение! Дотянем ли мы до него? Оглядываюсь на подельников своих, которых люблю, и вижу, что до учителя нам, видимо, не дотянуть никому. Эпоха сказывается. Тешу себя мыслью, что молодежь, просветлённая перестройкой, будет круче нас, обманутых шестидесятью. Но будут ли у них такие учителя, как тот, у кого выпало учиться нам?

Говорят, что земная твердь уже не держится на китах, как когда-то, а болтается посреди космоса. Но в отношении научной тверди все по-старому, эта последняя держится именно на китах. Так пусть же учитель не устает!

Из ротопринтного сборника «В мире Кагана» (1991). С. 91–92.

ОДА МОИСЕЮ КАГАНУ

Л. Н. Столович

Моисейте Разумное, Доброе, Вечное!

Ты Гегеля и Маркса пережил,
И вот теперь достигнут возраст Канта.
Но Кант в маразме был. Ты ж – полон сил
И до сих пор имеешь облик франта.

Не просто закалялась эта статья,
Пройдя сквозь фронт и искусаний множеств.
Ведь кем ты есть, тебе мешали стать
Горком и Академия художеств

Но как их, оскорбленных, не понять,
Способных лишь на подлую интригу!
Каган все пишет книги – так их мать! –
И в каждой книге видят только фигу.

Ты клал на них... Что? – новых книг тома.
Однако твой пример – не всем наука:
Иметь детей – не надобно ума,
А у кого есть сын моложе внука?

Таить не буду, знаю, не одна
С восторгом слушала тебя, немея.
Но всех затмила для тебя Жена,
Как будто бы сошедшая с камен.

Пусть творческий не угасает зуд!
Пусть будет все, что требуется дома!
А главное, конечно, *зайд гезунд!*
Ты, дорогой наш Мика, – *Ессе Ното!*

18 мая 2001 г.

Из кн.: Размышления: Стихи. Афоризмы. Эссе. Таллинн–Тарту, 2007. С. 110.

* О Столовиче Л.Н. см. стр. 199.



ДЕКАРТ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЭПОХИ

Л. А. Закс*

Он родился, когда еще был жив Ленин. Поэтому его не назвали Владимиром. С другой стороны, в те времена даже интеллигентные евреи не стеснялись своего происхождения. Поэтому его назвали Моисеем – не так красиво, как Владимир, но тоже внушительно. Это имя, думается, многое определило в его жизни. Не то чтобы сделало его любителем гулять по пустыням или организовывать большие народные движения в ту или иную сторону. Более того, кое-что в своей жизни он делал даже вопреки своему имени. Например, увлекался изобразительным искусством, что, как известно, осуждалось именно начиная с первого Моисея.

Но главное было не в этом. А в том, что вместе с легендарным именем он получил две важнейшие, характернейшие для него и определившие его судьбу вещи: во-первых, неодолимое стремление преодолевать хаос, в чем бы он ни проявлялся, – и утверждать (открывая или творя) вокруг себя порядок и гармонию. И, во-вторых, столь же неодолимое стремление постоянно открывать фундаментальные истины, именно в них видя основное средство преодоления хаоса и приближения гармонии.

Что говорить, исторического хаоса выпало на его долю с лихвой: процессы врагов народа и репрессии конца 30-х, мировая война, блокада родного города, фронт, ранение, потом снова борьба – на сей раз с космополитами, писателями, художниками. Потом боролись и с ним самим, поскольку он предложил неправильный порядок связи видов искусства. С учетом судьбоносного значения этого вопроса ему всыпали по первое число.

Но он уже был далеко от того места, где его пытались высечь, – он ушел на философскую глубину и там докопался до очень простых, но, как потом оказалось, краеугольных вещей. Справедливости ради надо сказать, что не один он погружался в глубины сущего. Но многим в этих глубинах полюбилась тьма, а кто-то просто заблудился во тьме, утонул в ее безднах, принял ил со взбаламученного дна за последнюю сущность. Он же нырял на глубину, как искатели жемчуга, и был столь ловок, столь умел, столь талантлив в своих попытках, что каждый раз доставал со дна все более крупные жемчужины. И этими жемчужинами стал укреплять свет и строить прочный дом гуманитарной картины мира. Невзирая на

* О Заксе Л.А. см. стр. 117.

моду ломать, моду на хаос, моду на переворачивание верха и низа и вообще на отмену их в принципе. Он слишком хорошо знал и о верхе, и о низе, чтобы согласиться на их отмену. Он предпочел строить – снизу вверх. Базовые кирпичи – то есть те самые, извлеченные из глубины жемчужины – оказались столь надежными, столь ладно и точно скроенными, что получилось отличное – просторное, удобное и очень красивое здание в классическом стиле, на четырех фронтонах которого выбито: Природа, Общество, Человек, Культура.

Чем дальше мог бы заняться этот великий ученый-архитектор? Наверное, математикой – это единственный универсальный язык, на котором пока не говорил Декарт компьютерной эпохи. Я бы, честно говоря, предложил ему тему, ею он пока теоретически не занимался: Любовь. Но тут он безусловно предпочитает практику.

* * *

Не образумлюсь, виноват,
Средь бестолковой жизни бала
Кагана дата, как снаряд,
В меня нечаянно попала.

Попала и разорвалась
Во мне на тысячи осколков,
И в каждом в миг отозвалась
Восторгом изумленным: сколько?!

Но романтический восторг
Пал жертвой сумрачного зверя –
Явился разум и исторг,
Как Станиславский сам: не верю!

Нет, этого не может быть,
Какие восемь там десятков,
Когда все те же шарм и пруть,
И та же интеллекта хватка,

Все те же красота и стать,
Костюм все так же элегантен,
И тексты рвутся рассказать
О дерзком молодом таланте.



Он также истиной любим,
И замыслов масштаб – вселенский,
И все по-прежнему за ним
Бредет прелестный профиль женский.

И на Васильевский опять,
Как будто не прошло полвека,
Он лекцию летит читать
Про деятельность человека,

Читать о том, как ремесло
От земледельца отделилось,
И что потом произошло,
Когда наука зародилась

А после лекции к нему,
Как прежде, аспиранток тучи –
На все их „как” и „почему”
Ответит Моисей могучий.

Подскажет тему, даст совет,
Подарит умную идею
И заразит на много лет
Всех синергетикой своею,

Расскажет свежий анекдот
Неторопливо, очень вкусно,
Улыбкой доброю блеснет,
Изящный, острый, златоустый.

В нем жизни плоть и неба высь
Сошлись друг с другом без смущенья,
Как гармонично в нем слились
Познание, ценность, труд, общенье!

Как дух его неутомим,
Какие силы в нем теснятся!
Как хочется бежать за ним,
Но понимаю: не угнаться.

Я лишь смотрю ему вослед
С благоговеньем и любовью,
Я лишь шепчу: на много лет
Пошли, Господь, ему здоровья.

Даруй ему не благодать –
Дай только силы и работу,
А если будет не хватать,
Отдай мою Кагану квоту.

Пока он мыслит и творит,
Пока в троллейбусе трясется,
Пока есть к жизни аппетит,
Каганом этот мир спасется.

18 мая 2001 г.



ФЕНОМЕН М. С. КАГАНА

Э. С. Маркарян*

С юбиларом меня связывает длительная, большая дружба, причем она возникла внезапно, с момента первой же нашей встречи, произошедшей в 1971 г. во время одной из моих командировок в Ленинград. Нас так многое связывает, накоплено столько воспоминаний о многочисленных встречах, имевших место по самым разным поводам, что я, приступив к написанию настоящего очерка, почувствовал настоятельную потребность насытить его биографическими и автобиографическими штрихами.

Начну с упомянутой выше встречи. Договорившись с Моисеем Самойловичем о встрече с ним утром у него на квартире, я полагал, что она продлится максимум час, и поэтому планировал еще увидеться с несколькими своими ленинградскими коллегами в течение дня, о чем заранее условился с ними. Но встреча наша продлилась до самого вечера, и не только потому, что мы оказались с ним единомышленниками и сразу стали понимать друг друга с полуслова, без долгих объяснений. Дело в том, что М.Каган предстал предо мной как удивительно обаятельный человек, обладающий огромным набором положительных качеств.

Как-то давно, в связи с очередным его юбилеем, в поздравительной телеграмме, в которой мне нужно было выразить свое видение его наиболее яркой отличительной черты как человека, я назвал его вполне реально существующей многогранно и пропорционально развитой личностью. Причем эта характеристика пришла мне на ум сама собой, без каких-либо раздумий, настолько подобный образ Мики, как его обычно называют друзья, спонтанно утвердился во мне в процессе общения с ним. И действительно, он был таковым и как исследователь, и как педагог, и как друг. Бывая в Ленинграде, я обычно останавливался у него на квартире и тем самым имел возможность составить о нем впечатление и в кругу семьи. И как семьянин, он вполне оправдывал намеченный выше образ.

М. Каган по своему призванию, а не только по образованию – философ в подлинном смысле этого слова. Мой жизненный опыт дает ос-

* Маркарян Эдуард Саркисович (1929–2011) – социолог, культуролог, этнолог, доктор философии, профессор Ереванского университета. Многолетний президент Международной ассоциации содействия созданию стратегий выживания и развития (АСВР). Заведовал Отделом стратегических проблем выживания и развития Института философии, социологии и права АН Армении.

нование полагать, что мне также присущ философский стиль мышления, но его все же скорее можно назвать общенаучным. У Кагана же стиль мышления, вне всякого сомнения, является последовательно философским. Это философ с редким, очень ярко выраженным синтетическим мышлением, склонный к весьма широким теоретическим обобщениям. Причем данная способность все более возрастает.

Начав свою педагогическую и научную деятельность как эстетик, юбиляр на рубеже 60–70-х гг. стал систематически заниматься, если так можно выразиться, теоретическим культуроведением, которое существенно способствовало раскрытию его теоретического потенциала. В частности, такое профессиональное увлечение дало ему возможность рассматривать предмет эстетической теории в гораздо более широком поле. А это, в свою очередь, позволило Кагану посредством своих многоплановых теоретико-культурных исследований весьма существенно обогатить и эстетическую теорию. Убедительно об этом свидетельствует одна из самых последних его работ – монументальная книга «Эстетика как философская наука» (1997), написанная на основе университетского курса лекций.

Забегая вперед, следует отметить, что последний период оказался исключительно плодотворным в исследовательской деятельности Кагана, ведь в том же году вышла в свет его книга «Философская теория ценности», а годом раньше были опубликованы две другие обобщающие книги: «Философия культуры» и «Град Петров в истории русской культуры».

До первой нашей встречи я не был знаком с исследованиями Кагана, он же, как оказалось, успел прочитать мою книгу «Очерки теории культуры» (Ереван, 1969), которая неожиданно для меня самого сразу же вызвала довольно широкий резонанс. Ее стали переводить за рубежом, и мне во время моих командировок коллеги часто высказывали свое мнение о моей технолого-деятельностной культурологической концепции, в соответствии с которой культура была охарактеризована как специфический, надбиологически выработанный способ осуществления человеческой деятельности. Но, насколько я помню, никто даже не обратил внимания тогда на предложенную в книге многомерную системную модель общественной жизни людей. В соответствии с ней предлагалось данную жизнь рассматривать с точки зрения субъектов человеческой деятельности, предметов, на которые она направлена, и средств ее осуществления. Мне она была очень важна для четкого различения предметов культурологии и социологии.

Причем в книге были намечены пока лишь контуры данной модели, без должного ее систематического обоснования, которое было дано мною позже. Каган же сразу обратил внимание на эту схему. И мы гово-



рили не столько о культуре, сколько об этой многомерной модели. Я помню, насколько меня поразила точность и лаконичность формулировки ее сути посредством трех слов: «кто», «что», «как».

Итак, мы оказались с Каганом единомышленниками – нас сразу же сблизил системный подход к общественной жизни людей, общие культуроведческие приоритеты ее рассмотрения и деятельностная интерпретация культуры. Наиболее близкой мне по духу была очень интересная книга Кагана «Человеческая деятельность», опубликованная в 1974 г. в Москве.

Но сказанное ни в коей не мере означало тождества наших концепций. Приняв общую характеристику культуры как способа человеческой деятельности, он считал, что «способ» сводится к умениям и навыкам. Для меня же была характерна более широкая трактовка понятия «способ», включающая в понятие «способ человеческой деятельности» также и объективированные формы культуры. Кроме того, наши взгляды расходились в вопросе объема понятия и термина «деятельность»: Каган считал правомерным прилагать данный термин лишь к проявлениям человеческой активности, я же придерживался точки зрения, согласно которой он должен охватывать как человеческую, так и биологическую активность.

Мы полемизировали по этим и некоторым другим вопросам, нередко и публично, но это никак не отражалось на наших дружеских взаимоотношениях. Я даже припоминаю один случай из нашей лекционной практики, который, вообще-то, можно было бы с полным основанием квалифицировать как некую инновацию, если бы она закрепилась в преподавательской деятельности. И возник он именно в связи с тем, что мы решили вынести наши споры на суд аудитории, перед которой нас пригласили прочитать специальные курсы лекций в Латышском университете в Риге, что оказалось интересным и слушателям, и нам самим.

Как-то Каган в своей лекции затронул спорные для нас проблемы. Я задал ему ряд вопросов, и когда после его ответов я выразил кратко свое мнение по ним, меня вдруг осенила идея одновременного прочтения наших лекций в форме диспута. Каган как полемист по своему характеру мою идею сразу же принял, и мы именно так, весьма своеобразно, прочитали наши специальные курсы, что, должен сказать, очень оживило лекции. На них всегда присутствовали не только студенты, но и преподаватели, поэтому аудитория была полна.

Вообще я с большим удовлетворением слушал лекции Кагана, который, обладая ораторским даром, всегда безупречно логичен и последователен в своих суждениях. Он является одним из самых лучших лекторов, которых я когда-либо слушал. Кроме того, он обладает столь же большим педагогическим даром и благодаря этому воспитал плеяду прекрасных специалистов.

Я лично очень рад, что мне довелось часто общаться с человеком с таким огромным зарядом позитивной энергии, щедро передаваемой окружающим. Общались же мы не только в Ленинграде и Ереване – в каких только городах Советского Союза мы ни побывали на различных конференциях, которые столь часто организовывались в 60–80-х гг. Вообще это время можно считать золотым веком советского обществознания, весьма продуктивным периодом, возникшим после «оттепели», когда сформировалось неповторимое сообщество исследователей. Особенно мне запомнились часто организуемые научные встречи в Старом Петергофе, на берегу Финского залива. Несколько лет назад вышла в свет автобиографическая книга Кагана «О времени и о себе», в которой, в частности, они красочно описаны. Причем участники одной из них, в том числе и я, запечатлены на фото. Получив от него данную книгу и залпом прочитав ее, я ощутил острое чувство ностальгии по тому безвозвратно прошедшему времени.

Данное чувство оказалось для меня тем сильнее, что в 90-е г., особенно после развала СССР, я оказался оторванным от друзей и коллег, причем в тяжелейших специфических условиях блокадной Армении. Могу сказать, что особенно часто я в этот исключительно драматичный период постсоветского кризиса вспоминал, в первую очередь, именно Кагана, ощущая отсутствие присущего ему заряда позитивной энергии, которую я привык постоянно получать от него. Целых 10 лет мы не встречались. Наша встреча произошла лишь в 2000 г. Непосредственным поводом для нее явились культурологические чтения «Науки о культуре и императивы современной эпохи», проведенные в апреле в Москве и Санкт-Петербурге (коллеги решили таким образом отметить мое 70-летие).

Я хотел бы выразить свою глубокую признательность Кагану за то, что он настоятельно рекомендовал мне написать научную автобиографию. Первоначально, будучи очень занят в тот период, я вспоминал данное предложение неохотно, но потом, когда я начал работать над автобиографическим очерком, увидел, какие огромные возможности таит в себе этот специфический вид исследования. Очерк я послал Кагану, но пока еще не опубликовал, поскольку он, как мне кажется, нуждается еще в существенной доработке.

Как я уже заметил, первый цикл культурологических чтений был проведен в Московском Государственном институте культуры и искусств Министерства культуры РФ. второй же в Санкт-Петербургском университете культуры и искусства. Внешне, как и Москва, Санкт-Петербург, уже начиная с вокзала, показался мне очень чужим из-за бросающегося в глаза торгашеского духа города, который проявляется в примитивных атрибутах первоначального капиталистического накопления. Но доста-



точно было войти в просторную, столь хорошо знакомую квартиру на ул. Чайковского и оказаться в обществе мало изменившегося Мики и оставшейся такой же, как и прежде, красивой и милой Юлии, как отмеченные первые впечатления сразу же исчезли. Осталось же лишь чувство большой радости от встречи с близкими людьми.

Должен сказать, что с супругой Кагана, прекрасным искусствоведом, специалистом по геммам, у меня также с самого начала сложились теплые дружеские отношения. Они были настолько доверительными, что мы привыкли делиться возникавшими у нас проблемами. В частности, Юлия посвящала меня в дела семьи, связанные с детьми, другими близкими родственниками. Этот характер отношений сразу же восстановился, и мне показалось, что я как будто полностью окунулся в прошлое. Это чувство вновь и вновь возвращалось ко мне в процессе общения с Микой и Юлией. Я с удовлетворением отмечал про себя, что в типе их взаимоотношений не произошло никаких существенных изменений, что они столь же теплы и стабильны. Мне, как и прежде, было приятно наблюдать, как они уважительно и нежно относятся друг к другу, образуя нерасторжимую пару. По-видимому, единственное, что их стало разделять за последнее время, – два компьютера, установленные в одной комнате. Один принадлежит Мике, другой Юлии. Меня очень забавляло, когда я порой входил в эту комнату и видел, как они в разных ее концах трудятся, освоив умную машинную премудрость.

Дни моего пребывания в Санкт-Петербурге запечатлелись в памяти. К сожалению, меня дома ждали неотложные дела, и я пробыл там всего неделю, а этого было явно недостаточно.

Вообще меня очень многое связывает с данным городом. Хотя я долгое время прожил в Москве и полюбил ее, поскольку окончил там институт, аспирантуру, приезжал туда часто и надолго и в последующее время, особенно в первой половине 60-х гг., когда работал над своей докторской диссертацией по методологическим проблемам общественной жизни, но к Ленинграду у меня сложилось особое отношение, и не столько потому, что это прекрасный в архитектурном отношении город, – главное, что привлекало в нем, это более теплые, нежели в Москве, отношения между людьми. В Ленинграде у меня появилось много друзей, и поэтому я с удовольствием ездил туда. Сейчас я рад представившейся возможности написать очерк, посвященный юбилею моего самого близкого ленинградского друга.

Из сборника: В диапазоне гуманитарного знания.
К 80-летию профессора М.С. Кагана. С. 467–471.

НЕМНОГО ВЫПАДАЯ ИЗ ЖАНРА...

Л. В. Мочалов*

Какие уж там эстетические изыски! – К «обнажению приема» приходится прибегнуть поневоле... Но – по порядку.

Декан философского факультета Санкт-Петербургского университета Ю.Н. Солонин обратился ко мне с просьбой написать о М.С. Кагане. К его юбилею. Почему же не написать? Ведь мы знакомы почти полвека. И не только знакомы, но и... Да что говорить! Только, когда это нужно? Да... Срок – точно рок!..

Как объяснить глубокоуважаемому Юрию Никифоровичу, что я пребываю в затяжной житейской передрыге – вынужден был отказаться от мастерской и на меня «свалилось» 90 (девяносто!) коробок с книжками, каталогами, рукописями (в общем-то единственным, остающимся после нас!) и – пойти отыщи нужное...

Ладно, говорю, тяжело вздыхая, постараюсь...

Ползая среди инсталляций, произвольно воздвигнувшихся из коробок с почти магическими надписями «Danich Ementaler», «Santa Maria» и совсем уже трансцендентальными «Кристалл», «Русский размер» (куда там Уорхолу с его натужной подделкой картонной тары из дерева! – здесь все подлинное!), соображаю, что же я скажу о Кагане, об искренне мною уважаемом Моисее Самойловиче, о дорогом Мике? Да не воспримется последнее словосочетание как фамильярность. М.С. Каган старше меня не только на 7 лет, но и на целую – самую большую в XX веке – Войну. Война – тот водораздел, который определил огромную дистанцию между нами. Уже этого было бы достаточно, чтобы я относился к М.С. Кагану как к старшему брату. Притом – фронтовику. Сколь почтительно, столь и доверительно. Тем более, что М.С. Каган никогда не подавлял своим авторитетом, всегда готовый и к участию, и к поддержке. Он был оппонентом на моей защите. Он рецензировал в издательствах мои книги (неизменно «входя» в авторскую концепцию и развивая ее). Конечно же, суть дела не в положительных рецензиях (безусловно, очень важных в те времена) и даже не в конструктивных советах. Шла борьба. Сложная, упорная, изнурительная, в которой не без труда приходилось

* Мочалов Лев Всеволодович – искусствовед и поэт. Автор сборников стихов и научных трудов по живописи и о художниках. Член Союза художников России и Союза писателей Санкт-Петербурга.



отвоевывать одну позицию за другой. Но так или иначе – в истории ли с группой «Одиннадцати» (под этим «кодовым названием» объединились на выставке 1972 года замечательные питерские художники: Е. Антипова, З. Аршакуни, В. Ватенин, Г. Егшин, Я. Крестовский, В. Рахина, К. Симун, В. Тетерин, Л. Ткаченко, В. Тюленев, Б. Шапанов – первая легальная оппозиция официозу), когда «Ленинградская правда» превратила меня в главный громоотвод партноменклатурного раздражения, а М.С. Каган выступил со статьей в московском – всесоюзном! – журнале, отстаивая творческое кредо участников Группы («Творчество», 1973, № 11); или при обсуждении книг Г.А. Недошивина и «Морфологии искусства» самого М.С. Кагана мы всегда – не сговариваясь! – были по одну сторону баррикад. (Тут-то, наверное, и перешли на «ты», и мое дружеское обращение «Мика» стало лишним свидетельством доверия.)

Все это так. Но, вспоминая об этом (среди коробок с гипнотизирующими заклинаниями: «Ливиз», «Талосто», «Bananas»), я с грустью понимал, что для адекватного разговора о М.С. Кагане чисто фактических сведений маловато. Да и в них ли главное?

И вдруг – прямо-таки по законам волшебной сказки – звонок М.С. Кагана.

– Знаешь, я, наконец, прочел твою последнюю книжку «Эмпири», – понравилось! И вот что я подумал: может быть, согласишься дать в тот самый юбилейный сборник свои стихи? Об искусстве. О Слове.

Признаюсь, я немного ошел. В голове прокручивалось: очевидно, мой тяжкий вздох был услышан деканом Философского факультета и смысл этого вздоха как-то долетел до Кагана. Мика в очередной раз протягивает мне руку. Трогательно! Вспомнилось и то, что рассказывал мне мой старинный друг, тартусский мудрец Леня (Леонид Наумович) Столович: «Мы с Микой как-то долго ждали поезда, и я читал ему наизусть твои стихи: «На мексиканской выставке», «Расстрелянные мученики гетто...» И Мика удивлялся: «Неужели это Лева?»

В самом деле, почему бы не «преподнести» к юбилею друга стихи, которые находят его душевный отклик? И все же такая мотивировка почему-то не казалась мне убедительной. Оторопь не спадала.

– Мика, но ведь это нарушит жанр: в сборник, издаваемый философским факультетом, – и какие-то стихи?!

– Ну и что? Ты же пишешь о философии искусства. И в стихах – философичен.

Я (про себя) усмехнулся – вспомнил, что на одной из книг, подаренных М.С. Кагану, я вполне осмысленно и убежденно написал примерно следующее: «Поэту философских построений...» Вот где он, «мостик» для внутреннего диалога! К нему, такому диалогу, должно быть, и

приглашал М.С. Каган. В самом деле, разве не является поэзия в своем пределе – философией? И разве философия в своем замахе не есть поэзия? Не вожделеют ли втайне друг о друге эти взаимодополняющие формы «человеческой деятельности»? Не зря же позвонил М.С. Каган. Уж, наверное, ему ясно, что и когда «говоришь стихами», главными вопросами остаются вопросы о конечном и бесконечном, о сбывшемся и несбывшемся, об одиночестве, преодолеваемом любовью и творчеством, – то бишь о смысле отпущенного нам бытия. Ну, разумеется, М.С. Каган не мог не понимать этого. И пусть многие коллеги, исповедующие принципы «дегустационного» искусствознания, говаривали: «Каган идет не от искусства, он – отвлеченный теоретик, схематик», я, знавший с детства, как пахнут краски, с этим не соглашался. Ибо чувствовал себя в «построениях» М.С. Кагана свободно. Они меня никогда не сковывали. Наоборот, задавали масштаб размышлению.

Наверное, как и для многих, М.С. Каган был для меня мощным камертоном интеллектуального всеохвата. (Использую глаголы прошедшего времени, так как пишу о явлениях, для меня очевидных в своей свершенности, состоявшихся.) Он обладал счастливым даром индуцировать мысль собеседника, пробуждать его креативные способности. Не боялся обнажать полярности и находил их взаимообусловленность. При этом его умственные конструкции поражали и восхищали живой подвижностью, вариативностью. Он умел выстроить концепцию и умел рыцарски отстаивать ее.

Думаю, именно как рыцарь в своей исповедальной книжке «О времени и о себе» М.С. Каган смотрит на себя «вчерашнего» весьма сурово; что ж, собеседование с собственной совестью – процесс глубоко интимный. И каждый вправе судить себя – что делает ему только честь! – по высшему счету. Но ей-богу же, мы – я говорю о себе и о коллегах, моих ровесниках – стремились на лекции и доклады М.С. Кагана не в надежде научиться тому, как «ходить по проволоке, махая белой рукой», то есть постигать искусство балансирования-лавирования. Но – ловили, впитывали в себя дух антидогматизма, широту осмысляемых горизонтов, а значит – той «тайной свободы», о которой, вспоминая Пушкина, писал Блок.

Собственно, здесь можно бы и перейти уже к стихам. Только одна оговорка.

Полагаю, что заповедь о «тайной свободе» – «сегодня» столь же актуальна, как и «вчера». Да-да, я тоже хотел бы надеяться на «бескорыстный поиск истины». Но «бескорыстье» в условиях рынка, тоталитарного монетаризма, – нонсенс. Внимая экономистам, допускаю, что извлечение прибыли является мощным стимулом развития экономики. Одна-



ко прибыль никогда не была и не может быть целью человека, творчества, и это никак не учитывается философией рынка. Согласно его системе, выходит, что труд художника, поэта, философа не имеет собственной стоимости. Следовательно – и критериев качества. И это губельно для культуры, поскольку культура – мир не количеств, а качеств. Не цен, а ценностей. Недаром же с детства вошли в наше сознание строки о творце: «Всех строже оценить умеешь ты свой труд. Ты им доволен ли, взыскательный художник?» И – чуть перефразируя классика: можно продать рукопись, но вдохновеень не продается.

Остальное, я думаю, доскажут стихи. За возможность опубликовать их мне – как автору – бесплатно (что по нынешним временам почти диковинно!) я благодарю философский факультет Санкт-Петербургского университета. Хотя это и не философское решение вопроса.

А дорогого и искренне любимого мною Моисея Самойловича Кагана, с которым я позволил себе разговаривать все-таки, немного выпадаю из юбилейного жанра, от души поздравляю с его Большой Датой и желаю здоровья, а также реализации всех творческих замыслов.

* * *

ФИЛОСОФСКАЯ ПОЭЗИЯ

ПРОМЕТЕЙ

Я же знал – за любовь мою
уготована мне расплата.
Громовержца речь узнаю,
как стихи, что учил когда-то:
«Ты бессмертен,
Прометей,
ты провидишь вперед на столетья,
но известно ль тебе, грамотей,
что устанешь ты от бессмертья?
В кандалы его!
Под конвой!
Да, провидца, бишь, проходимца.
Но чтоб был немножко живой,
потому – еще пригодится...»
...Вот она, и моя скала.
Это место я вспомнил сразу.

Узнаю моего орла
по косящему нервно глазу.
Над моей жужжа головой,
вороненные вьются мухи.
О, за что я еще живой?
Не иначе – за эти муки!
Призываю смерть. – Невмочь.
Мне дышать уже больше нечем.
Но нисходит на землю ночь.
И к утру зарастает печень.
Когда огненный этот паук-
солнце
снова к небу прилипло,
я, наверно, не вынес мук,
я, наверно, выдохнул хрипло...
Тенью
облако нашло.
Потянуло ветром с залива.
Солнце сдвинулось тяжело
и за полдень перевалило. ...
Я почетно списан в запас,
примиренно увенчан славой.
Где угодно мое «сейчас»,
но «всегда» – на скале той самой.
И как будто сплю наяву –
мой орел прилетает усердно.
Оттого и вечно живу, что страданье мое –
бессмертно.

Начало 1970-х гг.

* * *



УРОКИ РИСОВАНИЯ

Так говорил учитель, кроме шуток:
«Смотрите иногда по сторонам,
хватайте не предмет, а промежуток.
Кому-то бублики. А дырки – нам.
Нет чайника! Есть сегменты и клинья,
похожие на плавники, на крылья,
изогнутые туго и легко,
пускай не здесь они, а далеко...»
Рука моя антипредмет чертила,
который лик предмета намечал.
Из вычитаний строилась картина,
из несовместных будто бы начал.
Мне памятен завещанный урок:
живи, ежеминутно просыпаясь!
И знай: осмыслен длительностью пауз,
ах, вроде бы пустячный диалог.
Прислушиваясь к речи на теченье
немного жеста слух переключи.
А слова сокровенное значенье –
в том, как метнулся язычок свечи!

Начало 1970-х гг.

* * *

Но только песня зреет...

А. Фет

О, Господи, прости меня!
Я не готов в дорогу –
Взойти мои растения
Не успевают к сроку...

Ах, это лишь метафора.
Но смысл – кому неведом?
Кормить уже kota пора, –
И оправданье в этом!

Все в жизни одноразовой,
Все только лишь попытки,
И как ты их ни связывай, –
Не собраны пожитки.

Прости, но не готов еще!..
Вот, вымою посуду, –
И – отыщу сокровище!
А отыщу – прибуду!

Не отвечай усмешкою
На просьбу об отсрочке. –
Я не напрасно мешкаю
Оставить на листочке –

Скорей всего – послание.
К себе – и от себя же.
О чем оно – заранее
И сам не знаю даже...

2000

Из сборника: В диапазоне гуманитарного знания.
К 80-летию профессора М.С. Кагана. СПб., 2001. С. 432–437, 444.



ФЕНОМЕН КАГАНА. ЗАМЕТКИ ОЧЕВИДЦА

С. Х. Раппопорт*

Достоин изучения.

Юбилей маститого ученого – добрый повод, а для близких – и обязанность вдумчивой оценки его вклада в науку, анализа вошедших в ее обиход обнаруженных им фактов, привнесенных идей, разработанных теорий. Но это и повод (без прямой связи с оценкой конкретных трудов, идей, теорий) внимательно присмотреться к самой натуре юбиляра, его явлениям миру, особенностям его личности и личностных отношений, то есть ко всему тому, что можно объять понятием «ФЕНОМЕН КАГАНА»... Конечно, сей феномен достоин изучения, если он предстает заметным фактором плодотворного воздействия на многих людей. Именно таким он и состоялся, причем уже давно, набирая вплоть до нынешних дней все большую силу и большее влияние.

Я осмеливаюсь утверждать это как многолетний очевидец многообразных явлений миру моего друга.

Сорок из восьмидесяти.

Ровно половину нынешних юбилейных лет М.С. Каган судьба позволила мне идти по жизни рядом с ним: следуя за его поисками и принимая его находки, а нередко и до хрипоты споря с ним; радуясь, а порой и негодуя; совместно участвуя во многих событиях в разных городах и весях в официальной обстановке и в родственной среде, – чаще одинаково, а нередко и в разной тональности относясь к ним...

Сорок лет – возраст зрелости развитой личности, акме, как говорили в древности греки: расцвет, вершина. Проведя следующие сорок лет рядом с М.С. Каганом, смею утверждать: он необычен и в этом. Его расцвет – не позади, его вершина – еще впереди. Вторая половина жизни М.С. Кагана – неостановимое развитие тех оснований, которые созрели в первой.

А это прежде всего – неумная творческая активность. Ею освещены уже ранние, а тем более – зрелые работы, и она нарастает непрерывно на его жизненном перегоне и от 40 до 60, и от 60 до 80 лет. Кажется, нет

* Раппопорт Семен Хаскевич (1915–2005) – философ, эстетик. Участник ВОВ. Кандидат технических и исторических наук, доктор философии. В 1969–2005 гг. – профессор Московской Государственной консерватории, в 1970-х – Института им. Гнесиных, в 1989–1993 гг. читал спецкурсы в Чехии, Словакии, Польше. Автор многих книг.

предела этому мощному эвристическому потоку, а он еще и ширится, врываясь в разные сферы социогуманитарного знания, чтобы внести в каждую из них нечто существенно-важное, новое, никогда не бывшее.

Творческий огонек освещает не только его работу над рукописями. Он то и дело вспыхивает и в рядовой лекции, в частной беседе с учеником, в общении с коллегами и близкими друзьями, в президиуме научной конференции и за пиршественным столом. Бывают вполне сравнимыми и затраты творческой энергии при сочинении, скажем, научного *opus'a* и шуточного стихотворения в честь домашнего события... Главное основание «феномена Кагана» можно сформулировать, перефразируя знаменитые строки Маяковского: творить везде, творить всегда до дней последних до конца...

Еще одно его основание – неутолимая жажда все новых и новых впечатлений – научных, художественных, профессионально-значимых и обыденно-жизненных, жажда, которая гонит его от одной встречи к другой, из города – в город, из страны – в страну. В этом М.С. так же неутолим. Полагаю, что по плотности эффективных встреч и поездок нет ему равных среди сегодняшних российских гуманитариев.

Мне видится еще и третье важнейшее основание «феномена Кагана»: прямо-таки бешеная работоспособность М.С.! Она сорок лет изумляла и восторгала меня и не перестает изумлять и радовать сегодня. Прошлый свой знаковый юбилей – 75-летие – М.С. встретил публикацией четырех объемистых трудов по насущнейшим проблемам разных отраслей гуманитарного знания! Не меньше набирается и к 80-му...

Актуальным видится мне изучение и самого этого феномена (равно как и других уникальных творческих личностей). Сродни постижению художественного произведения, оно требует психологического перенесения во внутренний мир такой личности, своеобразного, будто чувственного, осмысления (наподобие «умных эмоций» искусства) сущности ее явлений внешнему миру – то есть особой близости к ее творческим деяниям. Разумеется, и самому близкому в этом смысле человеку не дано ни малейшего шанса, чтобы стать таким же, как эта личность: уникальное неповторимо... Но мощное магнитное поле ее воздействия обещает ему другое: пробудить собственные творческие возможности; заразить жаждой нового; увлечь вдохновенным трудом...

«Я не ищу, я нахожу!»

...«Феномен Кагана» – это еще и своеобразная творческая манера. В чем-то она сходна с искусствоведческой манерой Бенедетто Кроче и художественной – Пабло Пикассо, чья известная самохарактеристика на этот счет приведена выше. Высокая чуткость ко всему новому совмещается у них с быстрой творческой реакцией на него, как правило, с после-



дующим развертыванием найденного решения, его уточнением, насыщением, развитием в контексте других находок для обретения все новых и новых, дабы идти ко все более масштабным художественным или научным обобщениям...

Я не раз бывал свидетелем того, как посетившая М.С. собственная мысль или увлекшая его чья-то идея; новый поворот в уже, казалось, завершенном исследовании или новые веяния в других отраслях знания; запавший в душу факт, событие, отношение и многое другое будто «отвертывали кран» его творческой энергии. Их нельзя было упустить! На них следовало реагировать – и незамедлительно!

Обратите внимание на необычно высокий удельный вес в публикациях М.С. Кагана небольших статей, сообщений, тезисов выступлений на всевозможных научных собраниях. Заметьте, что один и тот же «сюжет» разрабатывается в нескольких изданиях (например, в ряде отраслевых искусствоведческих журналов и сборников), но в разных ключах и вариантах, отвечающих специфике того или иного вида или жанра искусства. Добавьте к этому публичные и университетские лекции, индивидуальные занятия со студентами, аспирантами, докторантами, учебные программы и пр., которые не обходятся без тех же «сюжетов» в соответствующих наклонениях.

Таким путем можно не только «застолбить» свое творческое видение чего-то нового и отправить его в свободное плавание, дабы обратной с читателями и слушателями связью обнажить сильные и слабые стороны, проверить «на прочность». Осмысливая это новое по горячим следам, поворачивая созданный сюжет то так, то этак, М.С. начинает развертывание многих сюжетов и открывает долгий путь к фундаментальным трудам, основанным на проработке огромного и разнообразного материала. Но уже о своих с пылу-с жару сделанных публикациях М.С. мог бы сказать: я не ищу, я нахожу! Мог потому, что он не хаотично мечется в поисках нового, а целенаправленно, настойчиво движется к нему, как бы предвосхищая свои находки.

Я и в этом вижу непремennую особенность той творческой манеры в искусстве и в науке, о которой идет речь. Ее обеспечивает интуитивное чувство художником или ученым назревающих в поле его активной деятельности проблем и складывающихся на обширной художественной или научной территории линий осмысления сходных проблем. Интуиция художника толкает его к тем жизненным импульсам, которые жаждет вобрать в себя подготовленное эволюцией искусства интрахудожественное лоно грядущих сочинений мастера. Интуиция ученого нацеливает на тот новый семенной материал, который жаждет взрастить взрыхленная эволюцией науки почва грядущих исследований мастера.

Конечно, бывают и промахи, и несбывшиеся надежды, поиски без находок и находки, оказавшиеся бесплодными... Не только в поэзии, но и в науке приходится перелопатить тонны руды, чтобы добыть грамм радия... М.С., однако, чаще попадает в «яблочко».

Попадает еще и потому, что чувствует (по его же признанию) личную ответственность за то, чтобы не пройти мимо нового, важного, нужного людям и помочь ему выйти в мир. Помню, он познакомился в Тбилиси с живописью Ладо Гудиашвили. Она вплоть до «оттепели» 60-х пребывала под домашним арестом – закрытой для выставок, салонов, художественных журналов, репродукцирования и пр. Потому она не получила должного признания за пределами Грузии. М.С. долго и в разных вариантах развертывал посвященные ей сюжеты, вылившиеся и выстроившиеся в поныне единственный на русском языке капитальный труд о выдающемся художнике. В Тбилиси же и в то же примерно время М.С. встретился с искусствоведем и художником Отаром Пиралишвили, работавшим над первой в СССР книгой о знакомой только узкой группе специалистов всего мира проблеме *non-finito* в изобразительном искусстве. М.С. Каган сразу же разглядел в этой проблеме общеэстетический смысл и высокую значимость для изучения природы не какого-то вида, а искусства в целом. Он пишет предисловие к первому изданию труда Пиралишвили и на долгое время «заболевает» ее идеями. Отар говорил мне, как много дали ему беседы с М.С. при работе над вторым, существенно улучшенным, изданием его книги. Ныне же в наших учебных курсах и учебных пособиях по эстетике специальный раздел отведен идеям грузинского исследователя и современному видению проблемы *non-finito* в целом.

Острую ответственность чувствует М.С. Каган, я полагаю, перед своим родным городом. Многолетние разнообразные сюжеты – подступы к теме – развернулись пять лет назад в фундаментальное, великолепно изданное исследование «Град Петров в истории русской культуры», а в 2000 году – уже в учебное пособие по истории культуры Петербурга, рекомендованное Министерством образования РФ студентам, которые обучаются по специальности «Социально-культурная деятельность». Напомню, что в эти годы в творчестве М.С. Кагана превалируют проблемы истории и теории культуры, а искусство все чаще рассматривается в системе культуры, исследуется в культурологическом ключе.

Все же главная ответственность, воспринимаемая М.С. Каганом как личная и непререкаемая, принуждает его прежде всего и особенно пристально следить за новациями в разных, даже далеко отстоящих друг от друга, отраслях знания, если их целесообразно применить в своих. Не перечислю тех случаев, когда М.С. Каган ввел в обиход социо-гуманитарного знания новые идеи, методы, теории, выведенные им самим либо в



процессе творческого переосмысления «чужих», в частности, такой трансформации достижений ряда революций в естествознании XX в., их преломления в призме специфики знания гуманитарного, которая позволяет плодотворно использовать здесь эти достижения. Вспомним о впечатляющем ряде его работ – от предварительных сюжетов до капитальных исследований, отворивших многим гуманитариям двери к новейшим открытиям семиотики и кибернетики, теории систем и теории моделирования, физиологии высшей нервной деятельности и психологии, информатики и теории общения.

Конструирование теоретических систем.

Поговорим теперь о пленительной страсти, которая овладела М.С. Каганом: о конструировании теоретических систем. Не будь в науке сложившегося системного метода, М.С. Каган, сдаётся мне, придумал бы его. Системное мышление – органичное свойство и потребность его недожизненного ума. Здесь уму есть где разбежаться, выверить себя, проявить свою мощь!

Помню, какой громкий резонанс вызвало одно из первых его системных деяний: пятичленная теоретическая модель системы искусства. Оно предстает в ней целостным и одновременно сложным многосторонним организмом; в единстве своих необходимых и достаточных сторон и в своеобразии каждой из них; в прямых и обратных ее связях со всеми другими и в их синтетическом слиянии в центре этой конструкции. Она еще и красива!.. При немалой сложности, она компактна; ее смысл очевиден, доступен; она экономна, в ней нет ничего лишнего, все работает...

«Пятичленка» в схематическом изображении сразу же была подхвачена, заняла заметное место на страницах научных изданий, вошла в учебные курсы. Она не могла не вызвать и споров, и стремлений ее перекрыть, предложить взамен другие модели (к чему приложил руку и автор этих заметок). Но о них все успели позабыть, а «пятичленка» в своем первоизданном виде действует и сегодня. Полагаю, что не последнюю роль сыграла в том и ее эстетическая привлекательность... У М.С. Кагана нашлось немало последователей. Схемы – конструкции теоретических систем – замелькали в печатных и словесных выступлениях. «Началась эра начертательной эстетики», – шутил профессор Л.Н. Столович...

Наблюдая на протяжении многих лет за системосозидательной работой М.С. Кагана (с «начертательной» составляющей и без оной), я обнаруживаю системность и в развертывании этой работы. Если сложный объект предстает перед исследователем на разных уровнях теоретического осмысления во множестве системных «срезов», то неисчерпаемым в принципе может быть и конструирование его теоретических моделей. Отталкиваясь от «пятичленки», которая претендует на охват системы

искусства в целом, можно идти и «вниз» – к ее подсистемам, и «вверх» – к тем более масштабным системам, в которых целостный художественный организм выступает лишь одной из подсистем. Созданные М.С. конструкции изящно укладываются в последовательный ряд именно такого неуклонного движения: все «ниже» и «ниже» в одном направлении; все «выше» и «выше» – в другом.

Так, в «Морфологии искусства» М.С. Каган рассматривает художественное семейство как подсистему искусства и как систему своих полноправных членов. Но в теоретических моделях нуждаются и системы разновидностей и жанров каждого вида, а они, в свою очередь, являются своеобразными системами своих произведений... Впрочем, и сами произведения оказываются уникальными динамичными идеально-материальными системами. М.С. Каган реализует дальнейшее движение «вниз» уже в работах, посвященных разным видам искусства, в частности, в недавно вышедшей книге о музыке. Он поднимается и «вверх», высвечивая место искусства в системе культуры, а культуру – как человекотворную систему в ее оппозиции к природе и во взаимодействиях с ней, и т. д.

Вспомните многочисленные коллективные труды, чьим организатором и научным редактором являлся М.С. Обычно уже в замысел каждого из них он «закладывал» определенную теоретическую конструкцию в роли ведущего, который направляет и объединяет исследовательскую активность всех участников совместной работы. Такова, например, трехмерная теоретическая модель, предпосланная им первому у нас «структурно-типологическому исследованию» истории мировой художественной культуры. Она проступает во всех главах обоих томов этого уникального издания. Работа большой группы видных специалистов по отдельным эпохам, регионам, аспектам этой истории обрела благодаря этому единое дыхание, а сама история предстала под их пером не в виде разрозненных событий, а системой логически развертывающегося, сквозного процесса в специфическом для каждой эпохи взаимодействии трех основных его измерений... Присмотримся и к диссертациям учеников М.С., защищенных в последние годы. Разве не просвечивает и сквозь их тексты общее теоретическое основание исследований разных систем разного характера, уровня, объема?

Я уклонюсь (как обещал) от оценок тех теоретических моделей, которые сотворил сам М.С. Каган: одни больше соответствуют изучаемому объекту, другие – меньше, а некоторые, на мой взгляд, скорее уводят от изучаемого оригинала, чем помогают проникнуть в его сущность. Но говоря о «феномене Кагана», нельзя не увидеть среди его оснований плодотворного во всех случаях принципа системных исследований и, более того, научного системного мышления. Он несет в себе решительное



«Нет!» хаотичному теоретическому поиску, методу теоретических проб и ошибок; и столь же решительное «Да!» неуклонному, целенаправленному, научно обоснованному движению от одних теоретических конструкций к другим – «вниз», «вверх» и «вширь» – к широко охватной системе всей своей системосозидающей теоретической работы, индивидуальной и коллективной.

Созидание научных сообществ.

«Феномен Кагана» разворачивается в полную силу не в изоляции от водоворота стремительно текущей жизни, не в уединении, не в тиши кабинета, а на людях, в постоянном активном общении с широчайшим кругом коллег. Высокая коммуникабельность так же органична натуре М.С. Кагана и так же потребна ей, как его творческая манера и системное мышление.

...М.С. Каган в Москве. Температура телефона в моей квартире достигает точки кипения. Непрестанно спрашивают Кагана, либо он сам, перелистывая пухлую записную книжку, набирает один номер за другим... Обмен информацией... новые проекты... Договоренность о встрече... Приглашение в Питер... Я 60 лет проработал в вузах и научных учреждениях Москвы и на свою общительность не жалею. Но до масштаба научных контактов М.С. даже в Москве мне далеко... А есть у него постоянные собеседники и в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Перми, Петрозаводске, Тамбове, не говоря уже о Петербурге: объемистая записная книжка таит номера телефонов и адреса в Киеве и Одессе, Тбилиси и Ереване, Минске и Симферополе, Тарту и Варшаве, Берлине и Гамбурге, Хельсинки и Париже...

Плотная коммуникабельность, омытая гейзером творческих замыслов, которыми щедро делится М.С. Каган, превратила его в одного из влиятельных неформальных лидеров процесса развития и распространения социо-гуманитарного знания. Не сосчитать статей, книг, диссертаций, лекционных курсов молодых и маститых авторов, состоявшихся под прямым или опосредованным влиянием этих его творческих замыслов! Но «феномен Кагана» тянет на большее: он, как нельзя лучше, отвечает рожденной научно-техническим прогрессом XX в. необходимости новых форм организации научной деятельности и нового типа ее организатора.

Эту необходимость вызвали к жизни бурное возрастание общенациональной значимости науки и невиданный размах научной деятельности, потребовавшие ее интенсификации – и также в общенациональном плане. В научную жизнь вводится плановое начало: выявление ключевых проблем на каждом ее направлении и сосредоточение сил и средств на их решении. Складывается и та отвечающая ему форма организации этой жизни, которую я условно назову «научным коллективизмом». Она осо-

бенно важна при решении сложных и масштабных задач, нуждающихся даже для своего осмысления в коллективной «мозговой атаке» специалистов разного профиля, а для эффективного решения – тесно сплоченных в творческое сообщество совместно мыслящих и действующих (нередко длительное время) людей. В середине прошедшего века зачинается процесс образования густой сети специальных учреждений для организации научной деятельности в духе такого «коллективизма». К участию в этом деле привлекались и высшие учебные заведения.

...Лет тридцать назад тогдашнее Министерство высшего образования РСФСР создало с этой целью проблемные Советы при кафедрах ведущих российских университетов; один из них – при кафедре этики и эстетики ЛГУ. Ее заведующий, В.Г. Иванов, стал председателем Совета, а М.С. Каган – его заместителем по эстетической части. Замечу, что назначенные Министерством руководители проблемных Советов наделялись определенными правами и средствами: они обретали поэтому официальный статус. Однако главное, решающее в их работе – создание из вузовских педагогов творческих сообществ, способных к совместному выявлению ключевых научных проблем своей отрасли и эффективному их решению, никакой статус не обеспечивал. Созидание творческого сообщества и руководство им – дело и само по себе творческое, требующее к тому же особой одаренности... Талантливый организатор современной научной деятельности в любой стране на вес золота... Только ему дано стать душой образованного им сообщества, его формальным и неформальным лидером одновременно. Таким и видится мне М.С. Каган в роли лидера эстетической части проблемного совета при кафедре этики и эстетики ЛГУ.

Редкая научная эрудиция и высокоразвитое «чутье» нового в науке и в общественной жизни, слитые с не менее редкой «кадровой» эрудицией – знакомством с широким кругом работающих во многих городах коллег разных гуманитарных специальностей и глубоким знанием их творческих потенций, – способствовали точному отбору ключевых проблем и людей, могущих обеспечить их совместную эффективную разработку. Творческая энергия М.С. заряжала, сплачивала, направляла этих людей. Его находками озарялся буквально каждый шаг в становлении и деятельности их сообщества: начиная с определения его цели и задач, главных проблем, последовательности и характера коллективной работы над ними, формирования и введения в жизнь ее плодов и завершая тщательно продуманной организацией времени, свободного от научных заседаний. Совет собирался в Питере 1–2 раза в год на 3–5 дней. Участвовать в его работе мог по желанию любой преподаватель эстетики любого российского и другого советского вуза. Хорошо организованное времяпрепровождение в этом великом городе насыщало нас всех не толь-



ко сугубо профессиональной, но и незабываемой и незаменимой «питерской», элитарной и повседневной, духовной пищи.

Заседания строились циклами по образу и подобию гегелевской триады. Первое, «тезисное», многодневное собрание – свободный разговор вокруг выдвинутой проблемы, коллективный «мозговой штурм» для того, чтоб очертить круг вопросов, охватывающих эту проблему, отчетливо увидеть ее в целом; спустя полгода-год – второе, «антитезисное», собрание – анализ отдельных граней проблемы, обсуждение тем и планов их разработки; завершение цикла – подготовленная в результате совместной работы к изданию рукопись и новый «тезис» – начало следующего цикла. Каждые 2–3 года – новая книга по актуальным ключевым проблемам этики и эстетики, вышедшая по рекомендации Совета в издательстве ЛГУ. Эти книги быстро входили в научный обиход и педагогическую практику. Они стимулировали новые совместные работы, привлекая к ним расширяющийся круг участников. В первом выпуске этой серии (1973 г.) выступили вузовские преподаватели четырех российских городов, в третьем (1976 г.) – уже десяти. Более точным становился отбор наиболее жгучих тем, более требовательными обсуждение, редактирование рукописей, более совершенным их издание. М.С.Каган оставался душой каждого заседания, каждого цикла, эстетической части каждой книги¹.

Он оставался душой и последнего, уже нерабочего дня каждой встречи – времени разъезда ее иногородних участников. М.С. создал особый «сценарий» этого разъезда, чтобы превратить его в творческий апогей прошедших встреч.

Происходил он на квартире М.С.: домашние полностью оставляли ее нам на весь день. Мы приходили утром, а уходили каждый в свой час. Я, отбывая в Москву полуночной «Стрелой», покидал гостеприимный дом последним вместе с провожавшими нас питерцами. Какие это были дни! Не побоюсь выпретенных слов и назову их днями духовного пиршества; не возбранялось, впрочем, и материальное.

Мы собирались все вместе и отдельными группками: обговаривали пережитое и намечали будущее; выдвигали новые предложения, идеи, темы; обменивались и серьезными задумками и анекдотами, рассказами о научных делах и о занятных жизненных историях, книгами и адресами. Мы сами стряпали и то и дело, провожая очередного «иногородни-

¹ Деятельность этико-эстетического проблемного Совета в Ленинграде может служить примером и совместного творческого руководства им В.Г. Ивановым и М.С. Каганом. Владимир Георгиевич – один из тех замечательных людей, с которыми меня сблизили питерские встречи. Но здесь я выступаю очевидцем только «сорока из восьмидесяти» лет деятельности М.С.

ка», присаживались к столу, не теряя ни аппетита, ни нитей длящихся бесед. М.С. ненавязчиво направлял весь этот пестрый праздник. Он оказывался неутомимым запевалой в многоголосом хоре и в камерном общении, в научном споре и веселом застолье. Он лихо руководил общей трапезой в роли несравненного тамады. Своими благожелательными, оригинальными, остроумными тоспами обносил каждого, присевшего к столу, не забывая никого. Мы именовали его шутя заведующим кафедрой научного тамадизма.

Прошло немало времени, а полки моей памяти остаются занятыми плотно примыкающими друг к другу воспоминаниями о питерских собраниях 70-х годов; заложенный ими энергетический запас не исчерпан и донныне. Наше творческое сообщество крепло от одной встречи до другой, но, увы, не дожило до 80-х.

Минвуз решил отделить эстетику от этики, а новый проблемный Совет «по эстетике и эстетическому воспитанию» вывезти из Ленинграда на другое местожительство. Он с пиететом отнесся к своему предшественнику и посчитал себя прямым продолжателем его дел. Им руководили очень достойные люди, обсуждались актуальные ключевые проблемы: издавались книги. И все же, все же...

Передо мной одно из последних изданий под маркой «Проблемный Совет по эстетике Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР». Оно посвящено важной, остроактуальной и ныне проблеме. Как никогда широк и круг, и география его авторов: более 30 вузовских педагогов из 18 городов СССР. Но не случайно они названы не участниками заседаний проблемного Совета, а «докладчиками научной конференции». В их длинном списке нахожу хорошо знакомых москвичей: они узнали об этой конференции, а, никогда не занимаясь ее проблемой, решили использовать нечто из запасников, чтобы удлинить список своих публикаций. Следы такого «притягивания» с той же или иной целью просматриваются и в тезисах некоторых других докладов. Ряд имен в этом списке никогда не значился в материалах Совета. Далекое не все докладчики были знакомы прежде друг с другом: факт, естественный для участников любой конференции, но не для единого творческого коллектива. Под общей обложкой издания собраны разрозненные работы группы авторов, а новые формы организации современной научной деятельности зиждятся как раз на созидании таких творческих сообществ и обеспечении их эффективной работы... На мой взгляд, в жизни проблемного Совета в 80-х годах если и не иссякла полностью, то заметно оскудела та творческая энергия его руководителей, которая заряжает, спланирует, направляет призванных к совместному труду людей, чьи творческие находки озаряют каждый шаг коллективных усилий. Ушла душа...



Но не ушел в песок уникальный питерский опыт 70-х. Уверен, ему уготована счастливая судьба в нашей науке, избавленной (надеюсь, навсегда) от идеологического командования и цензурных рогаток, и в которой свобода творчества становится реальностью. Этот опыт уже успел найти и новые применения и дальнейшее развитие, в частности, в организаторской деятельности М.С. Кагана.

Так произошло, например, в 80-х годах при создании по его инициативе и замыслу и под его руководством упомянутого выше коллективного труда по истории мировой художественной культуры (вышедшие две его книги – «Художественная культура в докапиталистических формациях» и «Художественная культура в капиталистическом обществе» – появились, соответственно, в 1984 и 1986 гг.). Найти около ста видных специалистов по истории разных регионов в разные эпохи и в разных аспектах, объединить их неформальными связями и образовать из них временное, но прочное сообщество – дело в чем-то более трудное, чем строить долговременное сообщество из педагогов, которые вполне официальным путем прибывали на заседания проблемного Совета по командировкам своих вузов...

Здесь организаторская активность нашего юбиляра обрела недоступный ей прежде простор. Но и ее «вершина» не осталась в XX в., она (вместе со всей многогранной творческой активностью М.С. Кагана) еще впереди – в новом столетии.

Из сборника: В диапазоне гуманитарного знания.
К 80-летию профессора М.С. Кагана. СПб., 2001. С. 450–459.

ОБАЯНИЕ ДУХОВНОСТИ (К 80-ЛЕТИЮ ВЫДАЮЩЕГОСЯ ФИЛОСОФА)

А. А. Щербакова*

2001-й год отмечен праздничными торжествами в честь нашего замечательного современника и соотечественника М.С. Кагана. Это событие вызывает радостно-приподнятое настроение в рядах петербургской интеллигенции. Юбиляра горячо, с благодарностью и любовью, поздравляют его последователи разных поколений. Резонанс события связан с тем, что ученый-философ М.С. Каган – глава ленинградско-петербургской школы эстетиков, разработавший системно-структурный, а ныне разрабатывающий синергетический метод в философской эстетике.

Моисей Самойлович Каган – имя знаковое. Для одних – это память студенческих лет, 50-е и начало 60-х, лекции по эстетике блистательного молодого профессора, увлекательные аспирантские семинары, для других – взыскательный и пытливый научный руководитель, верный наставник, неприменный друг, для третьих – ученый с мировым именем, с тревогой всматривающийся в настоящее искусства, верящий в гуманистическое будущее культуры: классик отечественной философии, со своим лицом и слышанием времени.

Юбилей в стенах СПбГУ ознаменовался на философском факультете международной научной конференцией «Методология гуманитарного знания в перспективе XXI века». Любопытно, что здесь он был назван «последним философом-картезианцем», после чего развернулась официально-дружественная философская баталия, начатая еще много лет назад. Путь Кагана к Олимпу не был устлан розами. В книге «О времени и о себе» (1998 г.) развернута духовная биография автора, рассказывающего об этапах своей жизни, драматических коллизиях судьбы, о подавлении науки идеологией, жесткой критике его деятельности, о собственных ошибках и прозрениях в поиске истины, о постоянном внутреннем борении и сопротивлении различным формам внешнего давления. Главы книги вполне совпадают с историей нашей страны, рисуют портрет российского гражданина-интеллигента. Светлые тона соседствуют в повествовании с пестрыми зловещими всполохами.

* Щербакова Алла Александровна (1934–2009) – философ, музыковед. В 1986 соискатель у М.С. Кагана по теме «Музыка как способ человеческого общения». Преподавала эстетику в Педагогическом институте им. Герцена. Книга М.С. Кагана «Музыка в системе искусств» в 1996 г. вышла в издательстве «Музыка» под ее редакцией.



Не счесть учеников и друзей Моисея Самойловича, разбросанных волею судьбы по уголкам и весям России, ближнего и дальнего зарубежья. Его труды переведены на множество языков, а влияние распространяется не только на последователей, но и оппонентов. Принципиальный и последовательный ученый, он мог бы повторить в свой адрес слова А.Н. Серова: «Моя позиция в оппозиции». Полемический пафос высказываний Кагана служит освежающим творческим зарядом для широкого круга его коллег. Сам философ называет своим учителем Декарта, а системно-синергетический метод эволюционно связывает с диалектикой Гегеля. На такой основе углубляет он свою эстетическую концепцию в этапном труде «Эстетика как философская наука» (1997), в котором структурная логика накладывается на принцип историзма, а в содержании эстетически интерпретируются деятельность и общение.

Понятие рационализма, базисное для европейской классической философии, отнюдь не исчерпывает феномена философии Кагана. Как никто другой из современных философов, он близок духу искусства. Филолог по образовательным истокам, блестящий художественный критик, теоретик театра, создатель современной морфологии искусства, учения о его полифункциональности, теории художественного общения, он предстает в своих трудах как один из самых художественных современных отечественных философов. Чутко ощущая живую материю искусства, анализируя его эстетическую природу, Каган исходит из основ своей философской концепции – теорий человеческой деятельности и общения. В культурологии также в первую очередь его привлекает искусство. Красноречиво свидетельствуют об этом ставшие хрестоматийными коллективные труды кафедры этики и эстетики философского факультета ЛГУ под ред. М.С. Кагана по истории художественной культуры, которая многогранно исследуется в целостной системе всей культуры. Кульминацией эстетического анализа искусства на сегодняшний день стала монография Кагана «Музыка в мире искусств», явившаяся продолжением «Морфологии искусства» и разработкой одного из разделов «Лекций по эстетике». Впервые в анализе системы искусств в центре внимания одно искусство – музыка, рассмотренная в аспекте теоретических, исторических, синергетических связей. Абстрактность, логика, эмоциональность, одухотворенность музыки всегда импонировали философам. Музыкальная линия проходит лейтмотивом в крупных работах Кагана разных лет, в отдельных статьях, посвященных музыке. К этому искусству, возможно, привлекает ученого его содержательно-технологическая сложность, разработанность специальной теоретической сферы, терминологически-понятийного аппарата.

Следует сказать особо о работе Кагана в области кино. Член Союза кинематографистов, он нередко выступал в качестве научного консультанта на студии «Леннаучфильм», сотрудничая с М.М. Клигман в работе над фильмами по культурологической и искусствоведческой тематике. Памятно участие Моисея Самойловича в роли сценариста в фильме «Творческий процесс» (реж. М.М. Клигман), в котором были представлены такие фигуры, как художник Е. Моисеенко, режиссер Г.А. Товстоногов, композитор Б.И. Тищенко, рассказывавшие о себе, о своем творчестве. Позже Б.И.Тищенко признавался, что многое в творчестве, эстетике, не осознанное ранее, Каган объяснил ему просто, ясно и навсегда. Существует заблуждение: эстетика, мол, – столь отвлеченная область знания, что искусству практически не нужна. Но это не так. Слово ученого-эстетика для художника куда более значимо, чем отзывы его непосредственных коллег. Основные положения, идеи и законы этой науки включаются в самосознание художника, помогают ему ориентироваться в развивающемся и усложняющемся мире. Одухотворяя искусство, эта наука наполняет художественную деятельность глубоким смыслом, раздвигает пространство художественного общения, искусства, прозревает пути его развития. Слово ученого-эстетика освещает перспективу искусства, особенно когда оно нравственно и ответственно, когда оно принадлежит такому философу, как М.С. Каган. Признание его в кругу художественной интеллигенции, известность среди молодой ее поросли высоки и, думается, неиссякаемы.

В семье и с друзьями Моисей Самойлович – открытый, сердечный, отзывчивый человек, веселый и остроумный, раздираемый желанием успеть на театральную премьеру, интересный концерт или выставку. Человек с фантастической работоспособностью. Его произведения отличаются силой убеждения, строгой логикой, ясностью мысли. Если взглянуть на эволюцию его научного творчества, то она предстанет перед нами как непрестанное восхождение – трудное, целеустремленное, возможное лишь при большом таланте, высоком полете философской мысли, неизменной твердой позиции.

Из журнала: Петербург. Летопись культуры и искусства. 3/2001. С. 16–17.



ТОСТ ВО СЛАВУ!

Г. Ф. Сунягин*

В честь ушедшего в вечность моего учителя и друга Моисея Кагана пью «горькое вино» и провозглашаю тост во славу. Конечно, не так ошеломляюще пронзительно, как это умел делать он сам, а только так, как я смог у него научиться. Я прославляю его ум, сверкающий чёткими правильными гранями и освещающий глубоким ясным светом всё, на что бы он ни обращался. Как божественно хорошо было следить за игрой его ума, которая часто оказывалась более захватывающей, чем самый интригующий объект его приложения. Легко приближая и проясняя далёкое и непостижимое, этот ум вместе с тем никогда не был высокомерен, не гнушался самых обыденных вещей, умудряясь наполнить их неуловимым еврейским лукавством и многозначительностью. Преломившись в гранях его ума, все темы становились интересными. Отвлечённая наука переставала быть занудной, а анекдоты – пошлыми.

Я прославляю его верность. И прежде всего верность своей русской Родине, которая – увы! – не всегда была добра к нему. Но он умело защищал её во времена своей огненной студенческой юности и, не дослужившись до офицерских чинов, дослужился до солдатской медали «За отвагу». Он не предал её и потом, уже став известным на весь мир учёным, когда «сладкие голоса» манили его оксфордами, а верноподданные «подручные партии», не выдерживая честной интеллектуальной конкуренции, так хотели замарать его предательством за жирную похлёбку.

Он был верен марксизму. Он защищал его от воинствующих атеистов, доказывая, что марксизм не приём для выискивания и травли еретиков, а научный и потому свободный поиск. Он остался верен ему и тогда, когда самые ярые атеисты вдруг ударились в религию и стали пинать марксизм «как дохлую собаку».

Он был верен роскоши человеческого общения. Рядом с ним было не только интеллектуально светлее, но и душевно тепло, уютно. Поэтому вокруг него всегда было тесно. Даже когда на него время от времени устраивались капеэссесные гонения, он всегда мог собрать под свои знамёна столько свободных умов, как никакой райком.

Он был утончённым ценителем загадок женской души и походя учил нас, молодых бычков от науки, их разгадывать. И прежде всего личным

* О Сунягине Г.Ф. см. стр. 404.

примером: величина загипнотизированных им обольстительных умниц всегда превышала величину его свободного времени.

Но более всего я хотел бы восславить его трудолюбие. Высокий склад ума и манеры истинного джентльмена, знающего толк в досуге, он умел сочетать с усердием местечкового еврейского портного, день и ночь ковыряющего иголкой. В компьютере один текст, в гранках – другой, в планах – третий. Он был буквально двужильным и духовно, и просто физически. Нам живым далеко до него даже мёртвого. Коварная болезнь настигла его лишь на девятом десятке, схватив своей цепкой клешнёй из-за угла. Его, сильного и стройного, идущего вперёд под всеми парами.

И вот, заняв свой «промежуток малый» в клину сверстников, он летит высоко-высоко. Но как много оставил он нам, задержавшимся на этой Земле!

Из газеты «Час пик» от 12 февраля 2006 г.;
вторая публикация в сборнике: Мир петербургской культуры.
Памяти М.С. Кагана. СПб., 2007. С. 3–47.



MCMLXXI



ВСЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ ПРЕКРАСНО
ВСЕ ПРЕКРАСНОЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО

*1981. М. А. Коськов. Портрет М. С. Кагана к его шестидесятилетию.
Надпись вверху – парафраз знаменитого гегелевского тезиса
«Все действительное разумно, все разумное действительно»*

КАГАН
МОИСЕЙ САМОЙЛОВИЧ

Избранные труды
в 7 томах

Том VIII. Дополнительный

МОИСЕЙ КАГАН ВО ВРЕМЕНИ И В ПРОСТРАНСТВЕ

Компьютерное макетирование — Гороховский И. Ю.
Дизайн обложки — Данилова Е. Г.

Подписано в печать 11.05.2011.
Формат 70×100 ¹/₁₆. Печать офсетная. Бумага офсетная.
Гарнитура PetersburgC. Усл. печ. л. 28,5.
Тираж 1000 экз. Заказ № 36.

Издательский дом «Петрополис».
Санкт-Петербург, ул. Б. Монетная, д. 16,
офис-центр № 1, 5-й этаж, офис 12, тел.: 336-50-34

Отпечатано в типографии «Град Петров».
197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16
E-mail: info@petropolis-ph.ru
www.petropolis-ph.ru



*1938. На первом курсе
филфака ЛГУ*



*1941 и 1995.
Солдат и ветеран*



*Конец 50-х.
Доцент истфака ЛГУ*



1996. На симпозиуме в Риге



*Март 1988. В Софии
у болгарских эстетиков*



*Середина 1960-х.
Конец «оттепели»*



1948. С группой слушателей из разных уголков страны



1950. С курсом выпускников-искусствоведов



1971. Н.Н. Калинина поздравляет с юбилеем от кафедры истории искусств истфака ЛГУ



1960-е. Кафедра этики и эстетики философского факультета ЛГУ



1983. Кафедра этики и эстетики философского факультета ЛГУ



2000-е. Контраргумент в научном споре



*1986. Отвечая на вопросы.
III Международный симпозиум в Вильнюсе*



1992. На лекции



1995. Не оратор – трибуны!



*2004. На обсуждении своей книги в РАГС,
Москва*



Конец 1990-х. Слушая оппонента...



1976. Проблемный совет по эстетике. Петергоф



1992. Проблемный совет по эстетике. Самара



*Начало 2000-х.
С профессором В.Г. Ивановым*



*Начало 2000-х. С деканом философского
факультета СПбГУ Ю.Н. Солониным*



*1984. С Л.Н. Столовичем (Тарту)
и А.Ф. Еремеевым (Екатеринбург)*



*Около 2000. С С.Х. Раппопортом
и Л.А. Заксом (Екатеринбург)*



*2002. С ректором СПб. Гуманитарного
университета А.С. Запесоцким*



*2004. С И.С. Коном (Москва)
и Ю.О. Казан*



1991. На своем семидесятилетии
с писателем Ф.А. Абрамовым



1980-е. С Ю.О. Казан в гостях
у любимой учительницы
В.Н. Полубояриновой (Морозовой)



1994. С Е.И. Балакиной
и И.А. Жерносенко. Барнаул



1999. На защите диссертации
В.В. Власенко – учитель явно
доволен ученицей



2004. На конгрессе ЮНЕСКО в Петербурге.
Слева – Л.М. Мосолова, справа – Е.М. Целма



1994. С культурологом Л.Я. Шамес.
Иркутск



11960-е. С Б.М. Галеевым, основателем
НИИ «Прометей» в Казани



1980-е. С М.А. Киселем (Москва)



Конец 1970-х.
С В.А. Штоффом (ЛГУ)



1980-е. С В.М. Межуевым
(Москва)



1990-е. С В.А. Коневым
(Самара)



1990-е – начало 2000-х. С В.Ж. Келле
(Москва), но кто кого поздравляет?



Начало 2000-х. В президиуме
с С.Н. Иконниковой и Ю.Н. Солошиным



*Середина 1970-х.
С искусствоведами
Б.М. Бернштейном,
Л.Ю. Генсом и
философом, социологом
Э.С. Маркаряном
после лекции в
Кадрирорге. Таллинн*

*1988. С философом и
переводчиком Густаво
Пита. Сеспедес
Гавана*



*1997. На конференции в Институте технологии марки в Женеве,
слева – профессор А. Дайксель (Гамбург)*



*1991. На лекции
в Пекинском
университете*



2000. Выступление в Сеульском университете



*2000. На конференции в г. Тампере, Финляндия.
Слева – А.А.Грякалов и Н.Ю. Грякалова*



1996. «Философская» беседа
с Нико Чавчавадзе (Тбилиси)
и Г.А. Праздниковым на казановской кухне



2000-е. В компании с З.Я. Корогодским,
А.П. Петровым, А.С. Запесоцким (сидят),
Г.А. Праздниковым и И.Е. Таймановой
(стоят)



Начало 2000-х. С О.Н.Астафьевой
(Москва) и Г.Э. Бурбулисом



2001. С С.А. Филатовым
и Г.М. Биржетоком на Лихачевских
чтениях в СПбГУП



1991. С Н.Н. Кирсановой-Бурбулис
(Москва) и А.Ф. Еремеевым
(Екатеринбург)



2002. С ректором Гуманитарного
университета в Екатеринбурге
Л.А. Заксом



Конец 50-х. На Черном море



2001. На озере Селигер. Валдай



1997. На Волге близ Самары



Начало 1950-х. На горе Серенада в Комарово



*1987. На озере Иссык-Куль
в горах Тянь-Шаня*



*Начало 1950-х гг. С участниками семинара по
эстетике истфака ЛГУ*



1989. С Н.Н. Суворовым на выставке
«40 лет Ленинградского авангарда»
в Ленэкспо



2004. Со скульптором М. Бердзенишвили у
мемориала героям Дидгори. Грузия



1980-е. На катке Медео близ Алма-Аты
с Ю.О. Казан



1996. В мастерской художника Аусеклиса
Баушкениекса. Рига



2001. С Г.К. Чернявской и Л.А. Заком в
г.Верхотурье на Урале



2000. Экскурсия по Сеулу



1972. На Монмартре в Париже



1991. С Ю.О. Казан
на Великой Китайской Стене



1995. В университетском кампусе в г.Тампа.
Флорида, США



1995. В Сан-Франциско, США,
с Ю.О. Казан



2000. По дороге в Сеульский университет.
Южная Корея



1990-е. Где-то за границей.
Неожиданная встреча в парке



1975. С Юлией Освальдовной и сыном Мишей



2001. На праздновании 80-летия с дочерью Ингой



Начало 1970-х. С сыном Мишей (слева) и внуком Максимом (справа).
Фото Валерия Плотникова



2003. С внучкой Полиной



Начало 2000-х. С сыном Сашей (Александром Эткингом) и внучкой Анотой



2003. Со взрослым Мишей



1996. Дома за рабочим столом



Лето 2002. В своем кабинете



Конец 80-х. У книжного стеллажа



Начало 90-х. Просто самая хорошая фотография



2005. В раздумьях о времени и о себе...



Июнь 2005. На Менделеевской линии после последней лекции